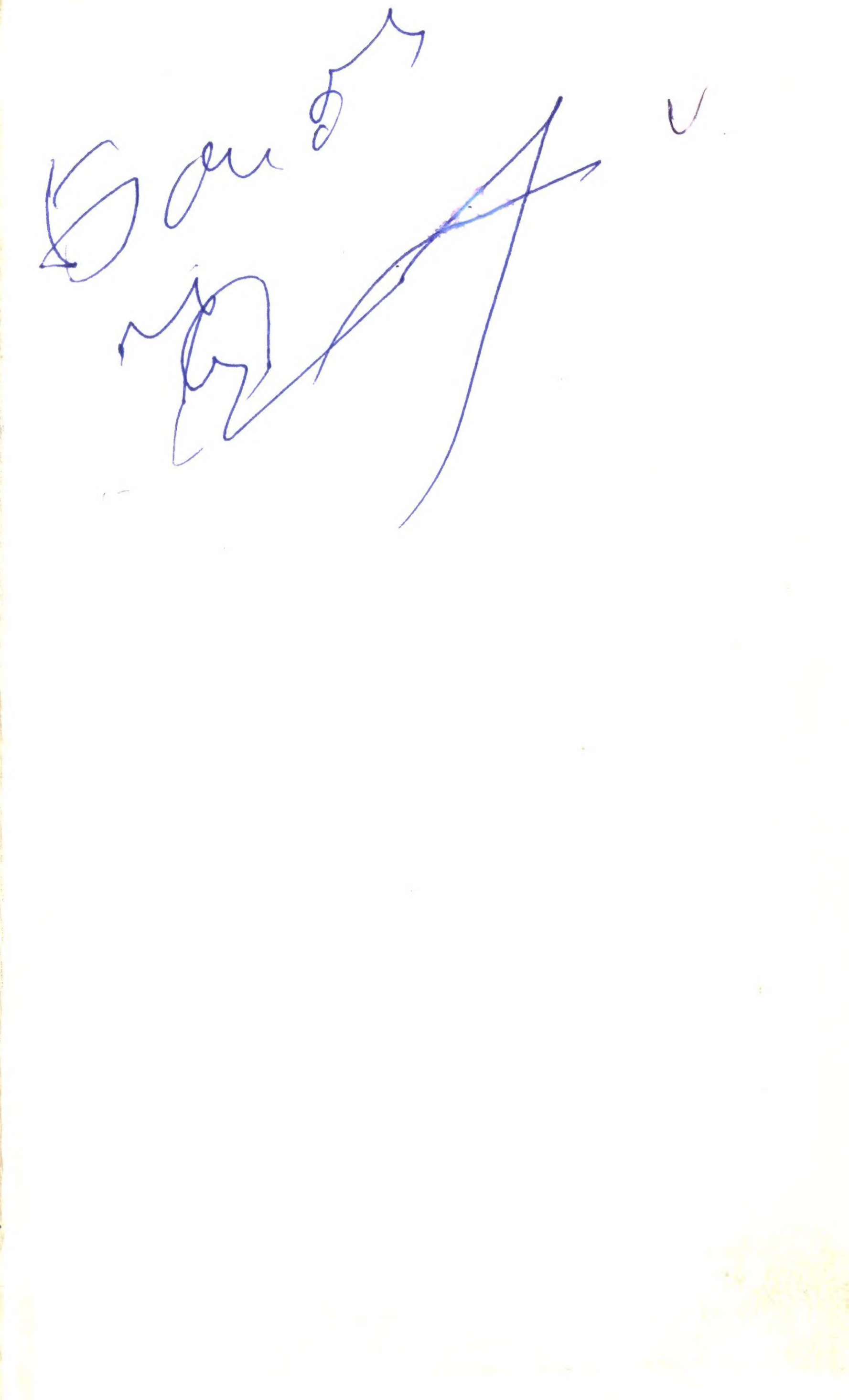
Софрон Данилов

Красавица Амга





Софрон Данилов

Красавица Амга

Роман

Перевод с якутского
Николая Ершова

«Современник»
Москва
1976

С(Як)
Д18

Данилов С.

Д18 Красавица Амга. Роман. Перевод с якутского Н. М. Ершова. М., «Современник», 1976.

431с. (На обл.: Новинки «Современника»).

Исторический роман Софрона Данилова освещает последние события гражданской войны в Якутии. Острая напряженная обстановка описываемых событий выдвигает ряд проблем, которым автор уделяет пристальное внимание: национальное самоопределение, интернациональное содружество народов России, непримиримость классовых отношений, а также проблемы нравственные.

Д $\frac{70303-119}{М106(03)-76}$ 159—76 **С(Як)**

Глава
первая

Зимний день быстро пошел на убыль. Подернутая морозным маревом долина реки уже теряла ясные очертания и сливалась в одно с массивами стылого леса и хмурым тяжелым небом. Незаметно и вкрадчиво, словно охотничий пес, подступали сумерки и, сгустившись до угольной черноты, как-то буднично поглотили все без остатка: и горы, и лес, и речное лоно, и пути-дороги человеческие. Казалось, уже не оставалось в мире ничего, кроме этой лютой стужи да жуткой тьмы, немой завесой соединившей землю и небо.

Громоздкий дом Митеряя Аргылова притаился под восточной горой в излучине реки. Из трубы его вылетали искры, в тот же миг алчно пожираемые мглой. Хозяин вышел на подворье. Остановясь возле коновязи, он приподнял наушник меховой шапки и прислушался. Было тихо, лишь за хотоном[1], у сеновала, под копытами лошадей поскрипывал снег. Старик пошел к амбарам, стоявшим в ряд перед домом, и с силой подергал замки на дверях. Прежде особо не заботились о запорах, а теперь настали такие времена, что нельзя довериться и железным замкам. Вот уж почитай пять лет весь белый свет ходит ходуном, как вода в турсуке[2]: нынче живешь, а увидишь ли солнечный свет завтра — этого и бог, как видно, не знает. До недавних пор старик Аргылов не мог нарадоваться тому, что живет поблизости от оживленной Нельканской дороги — у ворот широкой торговли. Он дивился уму и дальновидности своего деда, удумавшего

[1] Хотон — хлев, коровник.
[2] Турсук — сосуд из бересты.

поставить здесь этот дом. Но теперь всякий раз, когда красные день и ночь снуют по тракту, угрожают ему оружием, уводят у него лошадей или отбирают съестные припасы, Аргылов в бессильной ярости клянет своего давно истлевшего в земле деда: «Безмозглый дурак! Выбрал место возле становой дороги!»

Прислушиваясь, Аргылов забеспокоился: вроде чего-то недостает. Чего? Старик постоял, понурив голову, и вспомнил вдруг: «Голубчик мой, Басыргас! Вечерами, когда я выходил вот так же проверять замки на амбарах, он подскакивал и, ласкаясь, прыгал ко мне на грудь...» Аргылов покосился на пустующую собачью конуру у амбара и вздохнул. Бедного Басыргаса на днях подстрелили красные: кинувшись прямо из конуры, он опрокинул на спину красноармейца, который требовал у Аргылова лошадей. Перетрухнул тогда Митеряй, опасаясь, что порешат и его, да обошлось. «Бедняга Басыргас! Говорят, собака лишена разума. А вот Басыргас за версту узнавал, кто красный, кто белый. Только наедут красные, он — ширк в конуру и лишь ворчит. А с белыми бывал очень ласков».

Сходив до ветру, Аргылов вернулся в дом. Длиной в восемь, шириной в пять саженей, сгроханный из могучих в обхват бревен, дом был разделен посредине капитальной стеной. В южной благоустроенной половине жил хозяин с семьей, вторая предназначалась для жилья хамначчитов[1] и имела отдельный выход. На подворье, кроме того, стояла еще юрта, построенная из тонких бревен, поставленных стоймя — тоже для хамначчитов. «Белая» половина имела на левой стороне хаппахчы[2] с дверями на обе половины дома. В середине разместилась огромная двусторонняя печь — камелек[3]: одной стороной к хаппахчы хозяев, другой — к югу.

На «черной» половине дома и в дворовой юрте в лучшие времена жили по семь-восемь семей прислуги и хамначчитов. Теперь не то. Как только установилась эта богом проклятая власть красных, так сразу же отделились четыре семьи хамначчитов .Мало того, под нажимом новой власти пришлось им выплатить уйму денег и

---

[1] Хамначчит — батрак, работник.

[2] Хаппахчы — чуланчик на северной стороне дома, где обычно спали.

[3] Камелек — печь с открытым очагом.

даже выделить — подумать только! — часть собственного кровного имущества и скота. Нынче дворовую юрту занимает многодетная — мал мала меньше — семья Хоохоя, а в «черной» половине большого дома живут бездетная семья старика Аясыта, в прошлом очень удачливого охотника, а также семья Халытара, известного хвастуна и враля, хотя работника неплохого. Их теперь хамначчитами не называют, они теперь джукках — «соквартирники». Хамначчитом мог бы называться разве только Суонда, холостяк средних лет, живущий вместе с хозяевами в их половине. В позапрошлом году ревкомовцы потребовали, чтобы Аргылов распустил работников, чтобы он, как выразились они тогда: «не эксплуатировал чужой труд». Аргылов тогда сказал про Суонду, что не намерен его задерживать, пускай-де уходит на все четыре стороны. Для вящей убедительности он, не будь дурак, попросил самих ревкомовцев, чтобы они убедили Суонду уйти от Аргыловых и тем самым избавить его, Аргылова, от лишних нареканий. Ревкомовцы с жаром пустились растолковывать Суонде, что такое гнет богачей, горемычная судьба хамначчита и желанная свобода, но Суонда ни за что не хотел покинуть Аргыловых. Сидел лишь и тряс отрицательно косматой головой. Разве можно его теперь называть хамначчитом, если он у Аргылова остался жить по доброй воле и даже вопреки настояниям представителей власти?

Зайдя в дом, Аргылов разделся у дверей. Повесил на гвоздь шубу с облезлым подбоем из беличьих шкурок, а поношенную пыжиковую шапку, порыжевший ошейник из собольих хвостов и ровдужные[1] рукавицы с оторочкой из лисьих лапок он бережно положил сушить на висячую загрядку перед камельком и обратился к Суонде, сидящему перед затухающим огнем:

— Станешь ложиться, так заткни трубу и запри дверь.

Не выказав особого почтения к хозяину, тот еле слышно бормотнул что-то в ответ.

Хозяин зашел к себе в хаппахчы. Жена, отвернувшись к стене, кажется, уже спала. Раньше Аргылов не мог без насмешки слушать про то, как бывает сладок и желанен сон, думал, что так болтать могут одни лентяи.

[1] Ровдужные — из ровдуги, шкуры, выделанной под замшу.

В ответ на это он говорил: кто меньше спит, тот и счастлив, так как больше наработает. Но в последние годы он по себе узнал, как бывает дорог сон. Оказывается, нет большего наказания, чем лишиться его. Сон к Аргылову не шел и этим вечером: только смежит веки, как в голове начинается ералаш: мысли и воспоминания путаются, как гагары в сети. Когда потухли последние уголья в камельке, с нар у наружных дверей донесся могучий храп. «Этот леший засыпает сразу, стоит ему коснуться головой подушки, — с завистью подумал Аргылов о своем хамначчите. — Ему, ведьмаку беззаботному, еще бы не спать!» А тут, ко всей этой маете, пошло вздрагивать за спиной одеяло.

Это плакала Ааныс. Аргылов зло двинул жену локтем:

— Чего тебе и на этот раз не хватило, что опять залилась в три ручья? Небось опять взгрустнулось по распрекрасной дочери? Не бойся, никто ее не съест: в худшем случае выскочит замуж. Лучше бы вспомнила о сыне, помолилась бы за него, неизвестно, в живых ли...

Одеяло успокоилось, но сон уже совсем отлетел, и Аргылов пролежал так очень долго. Злость его постепенно улетучилась, и пришло запоздалое чувство раскаяния: почему в злой заносчивости своей он думал, что лишь он один, избранная душа, проводит бессонные ночи в страданиях, когда то же происходит и с его Ааныс? Вместо того чтобы утешить, он на нее прикрикнул... Хотя досадно все же, когда жена встречает тебя спиной. Но человек раскрывает душу перед тем, кому доверяет, в ком находит поддержку и внимание. Он же с женой прожил больше трех десятков лет, но, по правде сказать, помнит не много случаев, когда они проводили супружескую ночь в нежной ласке и душевном согласии. Было, правда, несколько таких случаев, но давно, в молодости — так давно, что было ли? Если уж рассудить теперь, в старости, когда кончилась былая прыть и силы уже на исходе, он, признаться, был мужем грубым, как немятая бычья кожа.

Женщине нравится, когда с нею говорят тепло, балуют ее! Ей по душе, когда муж приветлив и ласков, а супружеское ложе — не холодное. А что он, Аргылов, дал своей суженой, кроме крика, угроз да безрадостных, похотливых объятий? Жену принято называть госпожой,

хозяйкой дома. Но если быть откровенным, Аргылов жену свою не особенно-то чтил за госпожу, не считал ее ровней себе. Вопреки воле отца, желавшего высватать его за дочь богача из соседнего улуса, он выбрал себе в невесты дочь просто зажиточных хозяев из-за редкой ее красоты. Даже обычного в таких случаях сватовства и других церемоний не было, у девушки и согласия ее не стали спрашивать. Попросту говоря, алчный отец продал свою дочь за тугой мешочек и тридцать голов скота. Не от этого ли с той еще давней поры Аргылов стал глядеть на жену как на вещь, недешево купленную. А если так, могла ли Ааныс ожидать от него ласку да любовь? Ведь любовь требует времени, и не малого, а у Аргылова всю жизнь было его позарез — все работа, бесконечная купля-продажа, долгие отлучки. Жил он взахлеб, второпях, недоедал, недосыпал и, залезая под супружеское одеяло, в любви был груб да тороплив. Так, не разбирая вкуса, что ни попадя хватая, спешит насытиться вконец изголодавшийся человек.

Как теперь понимает Аргылов, Ааныс долго ждала от него мягких рук, горячего сердца и радости любви. Не дождалась... Однажды, грубо отброшенная к стене, она вскрикнула: «Больно же! Ведь и я человек...» Не придал он тогда этому значения, пропустил мимо ушей.

А между тем, как теперь вспоминается, Ааныс все же его любила. Встречая мужа из долгой поездки, она, бывало, так и светилась. Иногда, проснувшись ночью, он обнаруживал тесно припавшую к нему мягкую грудь Ааныс и ее голову у себя на груди. Выбранив: «Спать не даешь!», он обычно отталкивал ее прочь. Короток век у безответной любви, и она стала гаснуть: улыбку заменил отчужденный взгляд, приветливые слова — холодное молчание. Более тридцати лет на одном ложе и под одним одеялом они спят, повернувшись друг к другу спинами. Как чужие...

Аргылов настолько привык к присутствию жены, что вроде и не замечал уже ее, пожалуй, заметил бы только вдруг исчезни она. С молодых лет до старушечьего возраста вечно в хлопотах ради него и ради его детей, не получая в награду ни одного задушевного слова, доживала она свой бабий век. Если теперь, уже будучи стариком, рассудить здраво, так единственным верным ему человеком была и есть только она, Ааныс. А он? Как видно,

правду говорят, что человек умнеет лишь тогда, когда станет уже наступать на свою бороду.

Аргылов притронулся к одеялу:

— Ааныс...

Ответа не последовало.

Он приподнял голову и прислушался: жена не спала. Аргылов приподнял край одеяла и сухими негнущимися пальцами неумело погладил притихшую жену по голове:

— Ну, Ааныс! Ты не сердись...

Она в ответ не шевельнулась. Раньше в таких случаях Аргылов не деликатничал, но в этот раз почувствовал себя как-то скованно. Молча полежав чуточку, он вздохнул и попробовал потихоньку за плечи повернуть жену к себе лицом. Та резким движением сбросила мужнины руки. Только было разнежившийся налимьей печенкой[1] Аргылов вдруг вскинулся, как спущенная тетива самострела, и зло толкнул жену в спину.

— Она еще ломается!

Аргылов вскипел от ярости. Правду говорят, что у бабы волос долог, а ум короток: захотелось ему побаловать жену, так она же еще и брыкается! И чего она добивается, дура? Теперь-то уж вовек не дождешься ты, чтобы я в чем-либо уступил тебе или что попросил. Как захочу, так и заворочу: могу подмять под себя, могу оттаскать за волосы — на все моя воля! Да чем ты отличаешься вон от той шубы на крючке? Да ничем, дурья башка! А я-то хорош, разнюнился! Любила она меня! Черта с два! А вот ненавидит — это уж точно! Мало того, и дочь склонила к тому же: прошлым летом та, приехав на каникулы, глядела на отца, как на врага. Ну ладно, пусть только вот жизнь поуспокоится, я вас, голубушек, приструню!

Аргылова еще долго мучила бессонница. Потом зыбкую полудремоту его оборвал треск, старик в испуге вскочил, но тут же понял, что это лопнула на морозе ледяная обмазка дома, и выругался про себя.

«Смахивает на ружейный выстрел, — подумалось Аргылову. — Ну и времена настали! Не удивишься, если вот сейчас под твоими окнами загремит бой». По трактовой дороге в эти годы валило и красных и белых — не

[1] Разнежиться налимьей печенкой — якутская поговорка.

счесть! Шел слух, что в Аяне, на побережье Охотского моря, высадилась армия генерала Пепеляева, прибывшая из Китая. Неизвестно, насколько правда... Дай бог, чтобы не оказалось ложью. Только почему-то сынок, Валерий, не подает вестей, как ушел весной с Артемьевым, так и канул без следа. Одна надежда, что сынок весь в меня, мое копыто[1], обойдет настороJкку самострела![2]

Вспомнив, как давеча проверял замки на амбарных дверях, Аргылов усмехнулся: еще запирает, будто в амбарах хранится что-нибудь путное. «Товарищам» ничего не досталось — опоздали они, выгребли лишь немного зерна, оставленного для отвода глаз. Конечно, выпытывали: «Куда спрятал добро?», да только как же, скажет он им! Угрожали, что дом отберут под коммуну, а самого пустят по миру, да почему-то последнее время замолкли. Не иначе нагнал на них страху генерал Пепеляев, слух о нем стал заливать их норы. Ну погодите теперь, мокрые суслики! Аргылов утешил себя наконец, убаюкал этими приятными мыслями и задремал. Но не долог был его покой. Даже в дреме чутким ухом старик уловил дальний, еще на трактовой дороге, скрип санных полозьев. Послышалось, как сани съехали с тракта и направились к дому. Ну и гонит коня этот путник! Вот он открывает уже жердяные ворота изгороди, вот завел коня во двор, остановился возле коновязи. Кто бы мог это быть? Неужели опять эти дьяволы из ревкома припожаловали к нему на ночь глядя? О, боже ты мой, дали бы немного покоя хоть ночью!

В дверь постучали — вначале тихо, затем настойчивее. Эта туша Суонда разве проснется? Храпит, стервец, как ржавая пила.

— Суонда! Нохо![3]

Храп набрал новую силу и стал подобен храпу жеребца, а в дверь уже били ногами.

Кляня про себя и дрыхнущего хамначчита, и нежданного ночного гостя, Аргылов поспешно влез в торбаса[4] и вышел из хаппахчы, мельком заметив, что жена тоже проснулась и села на постели. В кромешной тьме не сра-

---

[1] Мое копыто (*якут. выражение*) — достойный мой наследник.

[2] Насторожка — спусковое устройство самострела.

[3] Нохо — грубое пренебрежительное обращение.

[4] Торбаса — обувь из коровьей или оленьей шкуры.

зу нащупал он железный крючок на двери и проглотил едва не вырвавшийся по привычке вопрос: «Кто там?» Бесполезно спрашивать: человек с ружьем — теперь и бог, и тойон[1]. Вместе с валом морозного воздуха, занимая весь дверной проем, ввалился человек в огромной дохе.

— Дорооболорун![2] Крепко же вы спите в такое тревожное время!

Сердце Аргылова, до того бешено колотившееся, враз будто бы остановилось, перехватило дыхание.

— Бэ... Бэлерий?[3]

— Да, отец, это я! — хриплым с мороза голосом отозвался вошедший. — Где Суонда? Не можешь поднять этого подлеца?

Ночной гость чиркнул спичкой и направился было к нарам, где лежал не вполне еще проснувшийся Суонда, но старик схватил его за рукав.

— Не надо! Эй, Суонда! Приехал наш Бэлерий! Встань, оживи огонь.

— Бояться еще всякого дерьма! — рыкнул Валерий. Тяжело вздымаясь в дохе, он подошел к круглому столу и засветил на нем жирник.

— Ну, сынок, раздевайся! — Аргылов стал развязывать кожаные завязки на дохе сына, неприязненно поглядывая на эту густо облезающую доху из оленьей шкуры. — Откуда приехал?

— Из Нелькана.

Общими усилиями — с кряхтением и сопением — отец и сын принялись снимать доху, и тут из спальни кинулась к сыну простоволосая Ааныс. Уткнувшись лицом в широкую грудь сына, слепо шаря руками по его плечам и спине, будто стараясь убедить себя, что это не сон, она запричитала:

— Сыночек! Голубчик! Миленький!..

— Ну, это я! Это я... — отчужденно, с холодком отозвался сын и отстранился от матери.

— Ты дашь человеку раздеться или нет?! — окоротил жену Аргылов-отец. — Лучше иди-ка поставь чайник.

Ааныс, сгорбившись, побрела в югях[4].

---

[1] Тойон — господин.
[2] Дорооболорун! — Здравствуйте!
[3] Якутское произношение имени Валерий.
[4] Югях — кладовка на северной стороне дома.

Освободившись от дохи и растопырив застывшие пальцы, Валерий поспешил к огню, даже не взглянув в сторону Суонды, стоявшего у камелька. Старик Аргылов любящими глазами оценил сына, фигура которого четко обозначилась на ярком фоне пламени: высок да строен, для якута — парень хоть куда! И мать и отец ростом не высоки, а гляди-ка, от двух низкорослых родился такой молодец! По всему может Валерий соперничать с русскими: чистое и румяное, чуть удлиненное лицо, мягкие каштановые волосы, светло-карие глаза — все это у него от матери, пусть так... В остальном же — весь в отца: характером, речью, складом ума. Только уж больно горяч и дерзок — молод еще...

— Суонда, коня распряги и заведи в сарай...

— Нет-нет, не надо! — Валерий не дал отцу договорить. — Сена немного задай. Я выпью чай и поеду дальше.

— Что-о? Даже не переночуешь?

— Не могу.

— Что за спешка такая! — рассердился отец. — Поезжай утром! Если так уж надо, встанешь пораньше...

— Нет-нет, нельзя! Иди, Суонда, задай коню корму. Да очисть его скребницей от куржака[1].

Отец покосился на сына, но промолчал. Суонда вышел во двор.

— В Амге много ли красных? — спросил Валерий.

— Не считал, что-то около двухсот.

— Здесь бывают?

— А как же!

— А просишь остаться! Заявятся ночью или утром — что тогда?

— Погоди-ка, а ты зачем приехал сюда? Куда путь держишь? — вопросом на вопрос ответил отец.

Валерий кивнул в сторону «черной» половины: не подслушивают ли?

— Э, дрыхнут! — нетерпеливо отмахнулся Аргылов. — Я тебя спрашиваю, куда и зачем ты едешь?

— Еду далеко...

— Ну, а все-таки?

— В Якутск.

— Куда, говоришь? — вскинулся ошеломленный старик. — К красным?

---

[1] Куржак — морозный иней.

— К ним.

— Что-то несешь пустое!

— Это правда, отец, — обескураженный вид старика подействовал на Валерия, и он сказал уже потеплевшим голосом: — Лучше меня обычай знаешь: хочешь убить зверя — лезь к нему в берлогу.

— Объясни-ка, растолкуй.

— Ну, отец, это долго рассказывать!

— Пусть будет долго! — Аргылов сел перед камельком на стульчик, сплетенный из тонкого тальника, к сыну пододвинул другой. — Ты со мной загадками не разговаривай, я тебе все же отец. С самого отъезда как в воду нырнул: нет того, чтобы по-людскому вспомнить о нас, послать хоть весточку. А явившись в родительский дом, хотя бы для приличия поинтересовался, как мы тут живем. То ли спешка тебя заела, то ли вовсе забыл нас.

Валерий понял, что рассердил отца, но не подал вида, что винится в этом. Стоя лицом к огню и спиной к отцу, он явственно ощущал на себе его тяжелый взгляд, и то, что взгляд этот по-прежнему действовал на него, взрослого мужчину, раздосадовало и обозлило.

— Разве я хожу по гулянкам, — вскипел он. — В поисках игр и забав? Говоря по правде, сам не знаю, буду ли завтра в живых. А вы тут на теплых палатях...

Сын не юлил, не заискивал, и это пришлось Аргылову по душе: «Моя кровь! Этот скорей сломается, чем станет гнуться!»

Гнев его рассеялся:

— Никто не говорит, что ты праздно шатаешься! Время сейчас и вправду такое — только встав утром, можно сказать, что переночевал. А ты совсем пропал. Думаешь, нам от этого сладко?

— Хоть и не слал вестей о себе, про вас все знал. Потому вот и заехал.

— Ладно, оставим это! Встретились живы — спасибо и на том. Все-таки нужно вести себя помозговитей, не лезть в самое пекло.

— Это как понимать?

Старик уловил настороженность в тоне сына и решил переменить разговор:

— Понимай, как можешь, — не маленький. — Аргылов многозначительно крякнул. — Мы здесь живем в глухом неведении, как в кожаной суме сидим. Садись-ка вот

да рассказывай: как и что на востоке? Есть слух — идет сюда войско генерала Пепеляева. Правда ли?

— Правда, — смирился Валерий, тоже усевшись на стульчик перед камельком спиной к огню. — Отряд Пепеляева в Охотск и Аян прибыл еще осенью. Семьсот человек в отряде. Народ отборный, как крупные караси в неводьбе. Большинство офицеры, генерал на генерале, полковник на полковнике, все испытанные воины. У Пепеляева план: сначала взять Якутск, затем завоевать Сибирь и двинуться дальше в Россию. Все, кто против Советов, собрались под его знамя. Отряд нашего Артемьева тоже присоединился к нему. Пепеляев давно был бы уже здесь, да задержался в Нелькане — тунгусы его там неохотно обеспечивали ездовыми оленями. На днях только тронулся в нашу сторону.

— Слава богу всемогущему! — От избытка чувств старик Аргылов закрыл лицо ладонями и шумно во всю грудь вздохнул. — Дождались и мы светлых дней...

Незаметно появившаяся Ааныс передвинула стол поближе к камельку, разлила чай:

— Ну, поешь, голубчик. Вот оладьи, чохон[1], земляника в сметане. Наверное, в чужих краях ты этого и не видел.

Отстранясь, она села в сторонку и уже не сводила глаз с дорогого лица.

— А теперь расскажи о себе, — потребовал отец.

— О себе? Вот еду...

— Вижу, что едешь! Я насчет того — с какой целью?

— По личному приказу Пепеляева.

— У них что — кроме тебя никого не нашлось?

— Об этом я их не спрашивал.

— Спрашивать надо! А то все так и норовят словчить, чтобы деревья валил другой, а белки бы все достались им. Не будешь спрашивать, весь век будешь валить деревья для других[2].

— Не из таких дураков! Еще неизвестно, кому больше достанется белок.

Старик Аргылов выплеснул на шесток камелька недопитый чай, оттолкнул на середину стола блюдце из-под чашки и обратился к жене:

---

[1] Чохон — сливочное масло, сбитое с теплым молоком и застывшее.

[2] Валить деревья и собирать белок — якутская поговорка.

— Иди, собери сыну на дорогу провизии. Лепешек там, масла, мяса вареного. И отдай Суонде — пусть получше уложит.

Ааныс попыталась что-то спросить, но, встретив суровый взгляд старика, молча отошла. Дождавшись, когда она зашла в югях, Аргылов вперил в сына пронзающий взгляд:

— Ты знаешь, куда и на что идешь?

— Знаю.

— «Знаю»! Если б знал, так бездумно не ответил бы. Что тебе генерал приказал?

— Неизвестно разве, каковы бывают приказы на войне?

— Значит, секрет?

— Если уж так сильно хочешь знать, так слушай. Должен я установить связь с нашими сторонниками. Объединить их. Узнать планы красных. Сообщать своим о каждом их шаге. Когда генерал подступит к городу, должен поднять мятеж и уничтожить советских руководителей...

Со двора зашел Суонда, и Валерий замолчал.

— Не беспокойся, продолжай. Суонда, иди попей чайку.

Недовольный Валерий только крякнул, но продолжал:

— Такова моя задача. Что будет дальше, и сам не знаю.

— Ваших людей там много?

— Найдутся...

— Стоят ли доверия?

— Не знаю.

— Не знаешь, а едешь! Уж не думаешь ли ты, что в Чека сидят дураки? Понимаешь ли, что быть там опаснее, чем под градом пуль?

— Тебе не угодишь: знать — плохо, не знать — тоже плохо! Если все будут сидеть сложа руки...

— Умные люди, я тебе сказал, белок подбирают.

— Сомневаюсь, чтобы такие «умники» остались в выигрыше.

— Зря сомневаешься: при дележе они не останутся без своей доли Скорей всего, заграбастают еще чужую.

— Это мы еще посмотрим!

Убедившись, что сына не переспорить, старик замол-

чал. За лето старик сильно сдал. И прежде низкий да худой, он стал теперь совсем маленький, будто усох. Лицо его вытянулось. Щеки совсем запали, только глаза по-прежнему были остры и живы. Если время кому и пошло на пользу, так только Суонде: стал он поперек себя шире, напоминая «зеленое пузо», — карикатуру, рисованную комсомольцами на богачей. Незнакомый человек мог бы Суонду принять за хозяина, а отца — за его хамначчита.

— Сволочи! Сами-то боятся идти, так посылают его... Подлецы!

— Ты про кого, отец? — Ааныс подошла к столу. — Валерий, куда ты едешь?

— Куда б ни ехал, тебя не касается!

Не обращая внимания на ворчание мужа, Ааныс подошла к сыну:

— Сыночек, когда поедешь?

— Сейчас.

— Тыый?![1] В такой мороз? У тебя же была лисья доха. Зачем ты надел эту рвань? Да и шубенка плоховата...

— По-твоему, большевики очень жалуют людей в лисьей дохе! — оборвал жену Аргылов. — В Якутск твой сын едет!

— В Якутск? — Ааныс подошла к сыну, погладила его рукав. — Сынок, постарайся там увидеться с сестрой твоей. Что-то уж больно долго нет писем от Кычи.

— Дура-баба! Разве он туда едет в поисках родни?

— Ладно, ладно... — чтобы избежать лишних уговоров, согласился Валерий. — Ну, мне пора. Затемно я должен миновать заставы красных.

— Заставы красных вдоль тракта, надо ехать по обходной, Суонда тебя проводит до безопасных мест. Суонда, иди запряги Валерию моего коня — он посвежее. А сам поедешь на Валерином.

Суонда оделся и молча вышел, прихватив с собой мешок с провизией, приготовленный Ааныс. Начали одеваться и отец с сыном.

— Оружие надежное? — шепотом спросил отец.

— А как же! Суонду не особенно-то пускай себе за пазуху.

---

[1] Тыый — возглас удивления.

— Не беспокойся, Суонда — человек верный. К тому же, на окрике далеко не уедешь. Наметил себе, где будешь в пути останавливаться?

Подошла мать с берестяным ведерцем в руках.

— Кыче, девочке моей. Там — сливки с земляникой, ее лакомство.

— Ну, давай, давай!

— Голубчик, ради бога, береги себя...

Не дослушав, Валерий толкнул дверь и шагнул за порог. Отец последовал за ним. Протянув руки в пустоту, мать осталась стоять в морозном облаке, хлынувшем снаружи.

Суонда запряг в сани коня Аргылова и перетащил туда поклажу молодого хозяина. То ли благословляя, то ли прощаясь, старик бормотал что-то, обходя несколько раз своего коня. Разобрав вожжи, Валерий сел в сани.

— Ты уж щади коня, — сказал старик, подойдя к саням. — Пепеляев-то сам скоро ли в наши места пожалует?

— Примерно через месяц.

— Скажи-ка, дело их надежное? — Голос старика дрогнул.

— Можно надеяться. Сам я верю крепко. Примкнул же я к этому Артемьеву.

— Говорят, что к красным подходят на подмогу новые войска.

— Пусть! Один воин Пепеляева стоит пятерых, не чета бродягам вроде Коробейникова. И наверное, генерал не стал бы затевать такой поход, если бы не был уверен. Корни он пустил вширь и вглубь, говорят, ему помогают японцы и американцы.

— Ну, и слава господу...

— У нас нет другой надежды. Надо надеяться.

Суонда выехал за изгородь. Направляя вслед за ним своего коня, Валерий только сейчас заметил, что все еще держит под мышкой берестяное ведерко. Шепотом выругавшись, он закинул его в сугроб.

— Ну, прощай, отец!

— Будь осторожен, сынок...

Уехали... У ворот раза два всклубился морозный туман, и все поглотила тьма. Облокотясь о коновязь, старик Аргылов долго еще стоял, пока не утих вдали стук копыт.

Глава
вторая

Легкая кошевка на поворотах ударялась о придорожные деревья, то и дело взметывалась и, казалось, лишь изредка касалась извилистой дороги. Прошло уже часа два, как Суонда повернул обратно, и Валерий дал волю резвому коню. Длинная зимняя ночь была ему сподручна. До утра осталось недолго, но небо по-прежнему было еще затянуто мглой. Боковая эта дорога скоро должна соединиться с главной, потом, через два кёса[1], будет развилка, там ему — налево. В семи-восьми верстах от развилки — усадьба давних должников его отца. Там Валерий даст передышку коню, поспит, а с вечерними сумерками двинет дальше. Места захолустные, опасаться нечего — за каким лешим припрутся туда хоть красные, хоть белые?

А мороз, кажется, нешуточный — ишь как звенит! У передка саней, в тумане равномерно покачивался закуржавевший до пенной густоты круп лошади. Валерию, одетому во все меховое, мороз был нипочем. Увертываясь от придорожных кустов и веток, он даже вспотел. Миновав опасные места, Валерий взбодрился и предался воспоминаниям.

«Ну, счастливого пути! С честью выполняйте вашу высокую миссию», — сказал ему на прощание Пепеляев и по русскому обычаю трижды облобызал Валерия крест-накрест. «Высокая миссия...» Да, это так! А старикашка мой, обломок древности, не может глянуть дальше своего подворья, пусть нашли бы другого человека вместо меня, говорит. Старику не понять, что сына его выбрали не случайно, а сочли лучшим из лучших. Другой бы на его месте гордился таким сыном. Ну да ладно, поймет потом. «Когда установим свою власть, на чашу весов будет положено все, спросим всех, кто и как себя вел в эти суровые дни испытаний, — сказал как-то Михаил Артемьев, командир белого отряда якутов. — Пусть никто не питает напрасных надежд на то, что после победы станет жить на всем готовом, за счет других!» И это справедливо! Сам генерал, при разговоре с Валерием, высказал схожую мысль: «Будущее Якутии — это

---

[1] Кёс — якутская мера расстояния, равная примерно десяти километрам.

вы сами. Править Якутией будете вы», — сказал он. Так что, старикан мой, можешь не сомневаться: сами свалим дерево, сами и белок соберем! Разным господам из ВЯОНУ[1], чинушам вроде «областного управляющего» Куликовского не дадим взобраться на свой горб.

Был у Валерия еще сокровенный план — к приходу белых поднять в Якутске бунт и свалить красных. Что, если войска генерала он встретит главой правительства Якутии или губернатором Якутской области? Сам генерал наверняка не позарится стать правителем Якутии, у него иная цель, он замахивается на всю Сибирь и Россию. Мечтает въехать в Московский Кремль на белом коне. Говоря по правде, на это опасное поручение Валерий согласился, в тайном расчете на осуществление своего плана.

Получив задание генерала, Валерий пошел к своему командиру Артемьеву. Тот оборвал его на полуслове: «Знаю! Держи язык за зубами. О твоем отъезде никто не должен знать». Не он ли подсказал, кого послать лазутчиком в Якутск?

«Не улыбайся, не на ысыах[2] едешь!» — осадил его Артемьев сурово и стал говорить о явках. Оказалось, в Якутске нет ни одного человека, в которого бы Артемьев верил до конца. Валерий только и слышал: «Не знаю, на чьей стороне он сейчас. Поостерегись...» В конце беседы Артемьева прорвало, он долго яростно материл большевиков, а еще больше — якутскую интеллигенцию, которая поверила их посулам.

Валерий побаивался этого худощавого, с виду не очень грозного, но в действительности сурового и волевого человека. Тот подавлял его. Артемьев был сдержан, не кричал, не набрасывался на людей, но все же его боялись. Особенно боялись его немигающего взгляда. Валерий с Артемьевым были земляки, оба из Амгинского улуса. Был Артемьев годами старше и по учености серьезней — в свое время он окончил Якутскую учительскую семинарию, а затем работал улусным писарем и учителем. Находясь в одном отряде, они так и не стали друзьями. Да и времени не оставалось для излияний: из боя в бой, всегда в пути — то гоняясь за противником, то убегая от него.

---

[1] ВЯОНУ — Временное Якутское областное народное управление — администрация белых.

[2] Ысыах — якутский национальный кумысный праздник.

Дорога начала взбираться в гору, значит, до тракта осталось несколько верст. Тьма поубавилась: лес, недавно черневший сплошной стеной, стал распадаться на отдельные деревья. Конь заметно устал. Валерий отряхнул себя от куржака.

«Будущее Якутии — это вы сами...» От этих слов у Валерия сладко заныло сердце и что-то сдвинулось в душе. И кому сказал? Ему, Аргылову! Одному! Это сказал большой человек, не чета пустозвону и трусу корнету Коробейникову, который то и знает, что избегает открытого честного боя, зато любит нападать из засады. В наступлении тяжел, зато прыток в бегах. А Пепеляев—боевой генерал, закаленный в боях: при Колчаке захватил у красных город Пермь и стал героем. Во время последнего решительного наступления красных он свалился в тифу. Не случись этого, может, судьба кампании была бы и иной, чем тогда, — ведь исход как политической борьбы, так и военной кампании зависит от руководителя. Говорят, что его старшего брата, Виктора Пепеляева, бывшего премьера правительства Колчака, большевики расстреляли вместе с Колчаком, а их трупы спустили в прорубь, под лед Ангары... Генерал Пепеляев известен не только в Сибири, но во всей России, и даже правительствам других стран. Такой большой человек не кинется очертя голову, он наверняка все взвесил, все учел и рассчитал наперед, нащупал дно-глубину: вряд ли он желает себе участи старшего брата.

Пепеляев в своей армии не единственный высокий чин: генерал Ракитин да генерал Вишневский, да еще полковник Леонов, Андерс, Рейнгардт, Шнапперман, Иванов, Варгасов, всех не перечесть. Якутия, может, за всю свою историю не видывала стольких высокопоставленных военных чинов. Можно ли подумать, что такие опытные люди поднялись на безнадежное дело?

Заметно рассвело, на снежный наст легли серые тени. На верху высокого косогора лес поредел, до тракта осталось рукой подать. Валерий перевел уставшего коня на шаг, когда услышал с запада приближающийся топот копыт. «Неужели патруль красных? Как далеко забрались!» — подумал Валерий, и тут, как на грех, конь его звонко заржал. Схватив винтовку, Валерий соскочил с саней, подбежал к коню, зажал ему храп рукавом, поспешно взвел курок.

Топот копыт приближался.

— Никак лошадь заржала? — по-якутски спросил молодой, звонкий голос. — Вы не слыхали?

— Нет... — ответил кто-то по-русски басом.

— Ерема-то от нас отстал. Наверное, ржет его конь,— сказал третий.

Стало слышно, как они подошли к развилке дороги.

— А не поехать ли нам по этой дороге? — сказал звонкоголосый якут.

Валерий тихонько приблизил дрожащий палец к собачке. Конь, чуя беду, просунул голову хозяину под мышку и задышал тихо, еле заметно. Валерий осмотрелся: неужели влип? Повернуть назад нельзя, это верная гибель, шутя поймают. Спасение в одном — прорываться вперед. Если они приблизятся, — обстрелять, снять одного-двух, вот по этой прогалине прорваться к тракту — и коня в кнуты!

— Есть какие-нибудь следы? — спросил бас.

Кто-то спрыгнул с коня. Под торбасами заскрипел снег. Скрип приблизился к развилке.

— Новых следов не видать.

— Тогда едем дальше.

Дружный топот копыт стал удаляться на восток. Вскоре туда же прорысил одинокий всадник. Видно, Ерема, который отстал.

Рукавом дохи Валерий вытер мокрый лоб и заиндевевшие ресницы, несколько раз со всхлипом глубоко вздохнул и, унимая дрожь в пальцах, стал гладить переносье коня, припав лицом к его теплой плотной шее. Придя в себя наконец, он с руки покормил коня клочком сена и вскоре выбрался на почтовый тракт, стегнул коня вожжами и накатанной дорогой направил его бег на запад.

Ко времени, когда на востоке из-за леса выкатился огромный красный диск зимнего солнца, Валерий уже успел свернуть на нужную ему боковую дорогу. Следов не было, значит, по этой дороге давно никто не проезжал. Вскоре он резво подкатил к уединенной маленькой елани[1], прижавшейся к берегу разбежистой речки. Чем ближе он подъезжал к приземистой одинокой избушке на краю елани, тем больше одолевало сомнение: из печной трубы не вился дымок, на скотном выгоне не

[1] Елань — лесная поляна.

было видно животных, все подворье завалил глубокий снег.

Набросив повод коня на коновязь, Валерий пошел к избе. В гулкой тишине пустого промерзшего дома скрип отворяемых дверей оказался неожиданно громким. Валерий огляделся. Судя по всему, люди уехали отсюда в спешке: заготовленных дров было довольно, возле хотона на сеновале стоял початый стожок сена. Старики выехали отсюда среди зимы, как видно, опасаясь войны.

Валерий с досады плюнул. Уже две ночи он провел без сна, глаза слипались, надо было хоть немного вздремнуть, да и конь сильно устал. Среди бела дня в путь трогаться нельзя, волей-неволей придется переждать тут до вечерних сумерек. Валерий завел коня за дом, в тень смежного с избой хотона. Распрягать не стал, только ослабил супонь и чересседельник — кто знает, не придется ли улепетывать, говорят, береженого бог бережет.

Подняв крышку ящика, привязанного ремнями к задку кошевки, Валерий пришел в восторг: там было всего вдоволь — и лепешки, и оладьи, и масло, и мясо. Вся эта снедь была собрана руками матери, но Валерий подумал лишь об отце. Он занес в избу охапку дров, растопил камелек, натаял снегу и поставил в огонь чайник. Разморившись в тепле, он уснул, а когда «стрельнувший» в него уголек разбудил его, из чайника уже била струя белого пара, мерзлые куски мяса и слипшиеся комки оладий, оттаяв на огне, местами даже обуглились. Уплетая за обе щеки, он с сожалением подумал о ведерке сметаны с земляникой, которое так нерасчетливо выбросил давеча. Насытившись и взопрев в тепле, он вышел наружу, отнес коню охапку сена из стожка. А потом в старых посудинах, отыскавшихся в доме, натаял снега, чтобы напоить коня. Заложив дверь на крючок, с винтовкой в обнимку, он улегся перед камельком. Перед тем как уснуть, рассчитал: если нагрянут красные, он, не открывая дверей, через хотон кинется прямо к коню...

С наступлением вечерних сумерек Валерий тронулся в путь. Каждые два кёса делая короткие остановки, он подкармливал коня, наспех съедал кое-что сам, пригоршнями снега утолял жажду. Как и в прошлую ночь, с обеих сторон дороги плотной темной стеной тянулся сты-

лый, оцепеневший в немоте лес. Лишь изредка, в долинах уснувших речек и на еланях, лес чуть расступался, чтобы тут же сомкнуться опять.

Проведя ночь в спокойствии, Валерий заметно повеселел. От испуга, охватившего его вчера при встрече с красными, не осталось и следа. Было так тихо, что и не верилось, будто где-то рядом идет война. Лишь изредка гулко лопалась на морозе земля да постреливали промерзшие ветки деревьев. Валерий совсем успокоился и даже перестал понукать коня.

Уже далеко за полночь Валерий свернул к старой пустой избе возле дороги, чтобы подкрепиться чаем и дать отдохнуть коню. Опять ему пришлось копаться в снегу, добывая дрова для растопки камелька, и натаивать снег. До места его сегодняшнего ночлега осталось четыре кёса с небольшим, так что после этой передышки конь в пути не должен устать, если дать ему несколько остановок. Валерий, прикинув так, щедрой рукой отнес с саней коню почти все оставшееся сено.

Опять весело запылал в камельке огонь, опять, дожидаясь, пока закипит чайник, Валерий присел к огню, навалившись спиной на столб возле шестка, и опять, как в прошлый раз, уснул.

Проснулся он от холода. Поленья в камельке прогорели дотла, лишь кое-где в остывающей золе посверкивали последние угольки. Валерий выглянул наружу и оторопел: начинало светать. Непростительно проспал он, но сделать уже ничего было нельзя: не оставаться же здесь!

...Примерно через кёс рассвело совсем. Валерий решил не останавливаясь доехать прямиком до усадьбы старика Ордах[1] Онтоопа, друга отца. Отсюда верст тридцать. Красных в этих местах не должно было быть. По слухам, они гнездились южнее, в Маинцах и Павловске.

Вдруг из-за поворота вынырнул навстречу конь, запряженный в сани. Встречный чуть посторонил сани с дороги и придержал коня: сбруя не из добротных, сани рабочие. Валерий не успел отвернуть, и сани схлестнулись.

— Капсё? [2] — откидывая одной рукой нависающий на

---

[1] Ордах — лютый.

[2] Капсё — якутское приветствие, дословно: рассказывайте.

глаза козырек облезлой шапки, полупривечающе-полувопросительно обронил встречный.

— Ничего... А у тебя?

— И у меня ничего! Куда твой путь?

— Да вот, в эти места...

— Что за нужда у тебя?

— По заданию ревкома... — с трудом выдавил из себя Валерий. — «Ишь, сатана, пристал! Недоставало еще допроса посреди дороги!»

— Ну, брат, тогда ты проехал! Большой наш ревком находится южнее.

— Нет-нет, мне нужно в эти места, — Валерий неопределенно махнул рукой вперед.

— Кем же ты будешь? Глазам вроде знаком, да не признáю.

— Это... Я из алтанцев.

— О, алтанских я хорошо знаю. Ты там...

Валерий тайком от собеседника шевельнул вожжами, и конь его рванулся вперед.

— Тпру!.. Тпру!.. Взбесилась, что ли, животина?! — Делая вид, что пытается остановить коня, Валерий подхлестнул его вожжами.

«Черт меня дернул ляпнуть про алтанцев. Болтун этот, как видно, из тех мест, — подумал Валерий, удалившись и чуть успокоясь. — Будь старое время, посмел бы такой оборванец остановить меня среди дороги и учинить допрос?!»

Валерий закурил на радостях, что ушел от беды. Но оказалось, это было началом: не успел он выкурить свою трубку, как обнаружил за собой погоню — вдали, на той стороне широкой поляны, показались шестеро-семеро скачущих верхами людей. Не прислушиваясь к тому, что они кричали, размахивая на скаку руками, Валерий подстегнул нагайкой коня. «Красные!» — как-то отрешенно уже подумал Валерий, охаживая нагайкой бока своего коня. К счастью, дорога вскоре нырнула в лес. Чуть отдалившись, Валерий прислушался: нет, преследователи не бросили погоню, они все приближались. Наверное, тот стервец в заячьей шапке заподозрил что-то неладное и направил их по его следу. Конь Валерия, осыпаемый ударами кнута, скакал, выбиваясь из сил, но уже видно было, что далеко он не ускачет. Настигающий топот копыт становился все звонче, да тут еще лес кончился, и сани понеслись по чистому месту. Валерий был уже на

середине поляны, когда преследователи скопом высыпали из лесу.

— Стой! Стой! Стрелять будем!

Валерий с новой яростью принялся нахлестывать коня.

— Стой!

Над головой и по бокам засвистело, от придорожных деревьев полетела щепа. Пули! Валерий вобрал голову в плечи. Грохнули выстрелы позади. Сани опять нырнули в лес, но надежды на спасение почти не осталось, погоня шла уже по пятам, а конь у Валерия выдохся. «В следующий раз ударят по мне самому или настигнут. Живым не сдамся, все равно убьют. Если б одного-двух свалить, остальные, может, побоялись бы преследовать дальше... Э, все равно!»

Валерий схватил винтовку. Преследователи тесной кучкой вывернулись из-за поворота на прямую дорогу. Валерий выцелил что-то красное на груди первого всадника и нажал на собачку. Он еще не успел понять, был ли выстрел, как тот свалился с лошади. Преследователи остановились и скучились над упавшим, а Валерий стал бить по ним уже не целясь, наугад. Когда завернул за поворот дороги, услышал, как вокруг него опять посвистывают пули. Оказавшись под защитой деревьев, он вставил в винтовку новую обойму и, приподняв шапку, прислушался. Шума погони не было, преследователи, кажется, остановились там, где он подстрелил их товарища.

Валерий опять схватился за вожжи, но конь почему-то не прибавил ходу. Валерий в ярости выматерился и, вскочив в санях, взмахнул нагайкой, но ударить не успел: конь, как пьяный человек, завихлял из стороны в сторону и на полном скаку упал головой в снег. Валерий в запале несколько раз опустил нагайку на круп упавшего коня и только потом понял, что произошло. Он соскочил с саней.

Из груди коня толчками била кровь, паря́сь на морозе. Обагрился кровью снег и под правым пахом коня. Натужно раздувались и опадали, вздрагивая, его заиндевевшие потные бока. Словно собираясь поднять коня на ноги, Валерий повернул его голову к себе. В глазах животного отразилось хмурое небо и немая тоска. Валерий поднялся и кинулся бежать во весь дух. Конь, собрав последние силы, приподнял голову и с мольбой посмотрел

вслед удаляющемуся хозяину. Он попытался заржать в последний раз, но из горла не вырвалось ни звука.

Удалившись так, что не стало видно саней и упавшего коня, Валерий спохватился, что оставил в санях винтовку. С досады он даже взвыл, но вернуться к саням не решился. Отбрасывая пригоршнями заливающий глаза едкий пот, он все бежал и бежал. Вскоре в стороне от дороги показалась небольшая елань. На противоположной ее стороне из печной трубы небольшой, с колодку наковальни, юрты вился тонкий дымок, а на этой стороне, ближе к дороге, угадывалось озерко — там сгрудился скот. Не успел Валерий сообразить, что если он и дальше будет бежать по дороге, то его обязательно схватят, как ноги сами свернули на небольшую тропинку и понесли его к озеру.

Сгрудившиеся возле проруби коровы, испугались шального человека, шарахнулись во все стороны. Только здесь Валерий понял, почему ему так жарко: он все еще был в дохе. Сбрасывая ее с себя, он обернулся и обмер: по чистой пороше его следы были предательски ясны. Еще ничего не сообразив, как быть и что сделать, Валерий вдруг заметил спокойно стоящего возле проруби быка с продетым в нос тальниковым кольцом — чурумчуку. Мигом очутившись на нем, он быстро размотал волосяной повод, обмотанный крест-накрест на крутых бычьих рогах, и, направив быка на узенькую скотскую тропинку, ведущую на загон среди редких лиственниц за юртой, ударил пятками в бока животного. Послушный бык резво заработал ногами, подпрыгивая на ходу.

Подведя быка к кыбыы[1], Валерий опять замотал повод вокруг его рогов и прямо с крупа быка перепрыгнул сначала на изгородь, потом — на недавно сваленный воз сена. Затем он зарылся глубоко в сено и, проделав небольшую дырочку, чтобы наблюдать, затаился, сжимая в руках зубчатую рукоятку пистолета.

Прошло немного времени, когда по его следам появились три всадника. Недоуменно потеребили они скинутую им доху, закружились, отыскивая его след, один из них полез палкой в прорубь. Затем они посовещались и пошли к юрте, то и дело нагибаясь и что-то разглядывая на дороге. Кажется, они нашли следы хозяина юрты, ходившего к проруби. Пройдя немного, один из них, тот

[1] Кыбыы — изгородь возле загона для складывания сена.

самый, который заглядывал в прорубь, что-то сказал своим, он даже вернулся к тропе, по которой давеча Валерий сбежал сюда, к проруби, и, явно что-то доказывая, замахал руками в меховых рукавицах. Затем все они зашли в юрту и вышли оттуда вчетвером, видимо, с хозяином дома. Хозяин, низкорослый человек со сдвинутой на затылок шапкой, запахивая на себе короткие полы шубенки, что-то говорил, морозный пар вылетал у него изо рта. Красные заставили его пройтись по пороше и стали поочередно изучать его следы.

Тут к ним подъехали еще двое. Один из них правил конем, идя обок с санями, второй — верховой, вел за собой двух расседланных коней, привязанных за повод к седлу. Валерий узнал свои сани. Из-за амбара приволокли большие дровни, запрягли в них одного из свободных коней, затем на дощатый настил саней натаскали сена и из его, Валериных, саней, на руках перенесли туда двоих. «Это... я», — со злобной радостью подумал Валерий. Опять посовещались, потом двое верховых ускакали по тракту на запад, остальные с ранеными поехали назад.

У Валерия словно пружина какая расслабилась внутри, — уронив голову в колени, без мыслей, как в полудреме, он посидел некоторое время, и только после этого в голове стало проясняться. Он спрятал пистолет за пазуху. До усадьбы Ордах Онтоона отсюда должно быть верст двадцать. Появляться сейчас ему на дороге было равно самоубийству, оставаться же тут тоже нельзя: вот-вот придут за сеном, чтобы задать скоту. Оставалось одно — идти пешком по снежному целику. Ну что ж, была не была... Обойдя кыбыы, Валерий подался в лес.

Снег был глубокий, по пах, часто попадался валежник, обойти который не было никакой возможности. Валерий то забредал в чащобу, куда и собака носа не сунет, то вдруг разверзался перед ним глубокий овраг. Пройдя, быть может, верст пять, Валерий совсем выбился из сил. Стал одолевать голод. Вот бы сейчас ему пригодились припасы, оставшиеся в санях! Он присел на пенек и, изжаждавшийся, проглотил несколько горстей снега. Стало клонить ко сну. Мокрая от пота рубаха прилипла к спине и теперь обжигала льдом. Валерий встряхнулся, прогоняя сон, и, застегнувшись на все пуговицы, побрел дальше.

К желанной усадьбе Ордаха, главного богача этих мест, еле живой от усталости он добрался только к вечеру. Не решаясь войти в дом, он спрятался за хотоном, среди балбахов[1]. Время от времени по подворью сновали люди, но сам старик не появлялся. Вышла во двор хозяйка, Валерий ее окликнул, но глуховатая старушка, его не расслышала и скоро скрылась в доме. Наконец, уже в сумерках, когда Валерий отчаялся было дождаться старика, — может, его и вовсе дома нет, — из дома вывалился по нужде сам хозяин.

Валерий негромко окликнул приближающегося старика.

— Онтоон! Онтоон!

— Ох! Что за черт! — Поддернув уже полуспущенные штаны, старик в испуге попятился назад.

— Онтоон, не бойся! Это я...

— Кто... ты?..

— Это я, Валерий, сын Митеряя Аргылова. Не бойся, подойди ближе.

— Кто-кто... говоришь?..

— Аргылов я, Валерий.

Онтоон, не зная, что делать, потоптался на месте, наклоняя голову то вправо, то влево и пытаясь разглядеть — кто это там? Затем, застегивая мотню, старик опасливо приблизился.

— Здравствуй, Онтоон.

— И вправду ты, Бэлерий? — Ордах облегченно вздохнул. — Испугал ты меня!

— Дома нет посторонних?

— По слухам, ты махнул с Артемьевым. А как попал сюда, в эти балбахи? Или опять вас разгромили?

— Сами думаем разгромить!

— Так почему хоронишься в отхожем месте?

Поняв, что обижаться не время, Валерий пропустил мимо ушей издевательский вопрос старика.

— Б-р-р!.. Ычча!..[2] Долго заставил себя ждать.

— «Заставил ждать»! Будто бы условились.

— Очень уж холодно!

— На то и зима, чтобы холоду быть. Правда ли, что идет войной генерал?

— Правда. По заданию того генерала я еду в Якутск. В пути коня подстрелили красные. Эту почь я проведу у

[1] Балбахи — глыбы смерзшегося навоза.
[2] Ычча — междометие, выражающее ощущение холода.

тебя, а утром отправлюсь дальше. Никто из посторонних не должен меня видеть.

— А если красные нагрянут вслед за тобой?..

— Я шел сюда лесом, по целику. Красные потеряли мой след.

— Ты уж еще немного потерпи, пока не стемнеет. Настали времена, когда боишься собственных хамначчитов. Я скоро выйду.

Продрогшему как собака, грызшая замерзший тар[1], Валерию пришлось еще долго, выбивая зубами дробь, пролежать среди балбахов...

Утром отвезти Валерия в город взялся сам хозяин. Еще затемно он нагрузил на дровни воз сена. Валерий спрятался в этот воз, а старик уселся сверху. Так они и поехали. Всю дорогу старик расспрашивал Валерия только об одном — о генерале Пепеляеве: сколько у того войска, какие у него намерения, когда может появиться в этих краях...

Днем они выехали на Лену и разбежисто покатили по речному льду, когда Онтоон прервал разговор на полуслове:

— Закрой отдушину — едут патрули!

Навстречу послышался топот нескольких коней.

— Огонёр[2], куда барда баар?[3] — спросил явно русский с сильным акцентом.

— Корат... Репком... Брикээс.

— И этих наконец-то расшевелил приказ ревкома! — недоброжелательно заметил якут.

— По обличью ты явно из состоятельных, — послышался третий голос. — В сене ничего не спрятано?

— Что вы, помилуйте!

Перед самым носом у Валерия, чуть задев, скользнула холодная сталь клинка. Еще в нескольких местах прошуршало протыкаемое саблей сено.

— У него морда настоящей контры, — с неприкрытой злобой сказал тот же якут. — Черт толстопузый, где-нибудь у него наверняка нож припрятан.

---

[1] Тар — простокваша, приготовленная из снятого кипяченого молока.

[2] Огонёр — старик.

[3] Куда едешь?

— Зачем мне нож? Выдумаешь тоже, сынок... — пробормотал Онтоон.

— Ну, огонёр, бардаа!

Всадники проехали.

— Тебя не задели? — отъехав, обеспокоился Онтоон.

— Чуть было...

— Варнаки! Чересчур они уж разгулялись по нашим спинам. Когда же придет возмездие?! — В избытке гнева старик даже застонал. — Будь на то возможность, уж я бы отвел на них душу!

— Скоро и для нас солнце взойдет! Тогда все это им зачтется!

По накатанной дороге сани скользили легко.

— Онтоон! Ты слышишь меня?

— Молчи, уже Якутск!

Сани, поскрипывая, стали подниматься на городской взвоз.

Глава третья

Возле Табаги отвесной стеной подступает к самой Лене-реке гора Южная Ытык Хайа, в семидесяти верстах от нее вниз по течению высится гора Северная Ытык Хайа, а меж этих двух гор, почитаемых людьми священными, охватывая весь равнинный дол Лены, пролегла Великая Туймада. Здесь, в самой середине этой изобильной долины, между озерами Сайсары и Талой расположен Якутск, столица необъятного якутского края, раскинувшегося от Охотского моря до Ледовитого океана, от реки Хатанги на западе до самой Чукотки на востоке.

Широкие, под стать сибирскому простору, улицы, не петляя, прочерчивали город вдоль и поперек. Деревянные дома-крепости со сплошными заплотами из толстых проморенных плах, щегольские дома с крашеными ставнями и широкими остекленными окнами, удаляясь от центра, сменялись вросшими в землю избушками со льдинами вместо стекол в узеньких, как щели, окошках. В этом деревянном царстве время от времени кичливо высились двухэтажные каменные строения. Здание реального училища из-за опасности обрушения пустовало в тот год, немая громада его мрачно темнела возле Лога. На Большой улице красовался музей из красного кирпича, наискосок от него в белом здании бывшего областного суда

помещался ревком. На полверсты в окружности расползлись строения знаменитого Гостиного двора — в недавнем прошлом великого торжища — стольного града наживы и пьянства. Каменные палаты и магазины знаменитых перекупщиков пушнины Никифорова и Кушнарева, примостившиеся по соседству, принадлежали уже новой власти. А дальше, к северу, в стороне центральных складов и здания царской винной монополии, вразброс сияли на солнце купола церквей — Преображенской, Богородицкой, Никольской, Соборной.

Здесь, в этом городе, до недавнего времени находилось одно из гнезд эксекю [1], кривоклювой птицы о двух головах. Тень этой птицы, державшая в сумерках всю Россию, здесь, на диком Севере, сгущалась до тьмы. Это отсюда на протяжении трех веков на Вилюй, Олекму, Алдан и Амгу, на Колыму и Индигирку именем бога и самодержца рассылались страшные указы закабалять, грабить и унижать трудовой народ, душить свободу. Это сюда, в край вечной мерзлоты, снискавшей себе мрачную славу кладбища заживо погребенных, в эту гигантскую тюрьму, русские цари ссылали на медленное умирание своих врагов. Кто только не был сослан сюда, в этот проклятый, гибельный край! Здесь нашли себе могилу узники едва ли не из всех сословий российского люда от соперниц цариц, болтушек-аристократок, с отрезанными языками до черных разбойников с большой дороги, губителей душ православных. Это здесь мыкали горе доблестные рыцари всех поколений русских революционеров от декабристов до большевиков.

И здесь, в столице этого края-тюрьмы, вот уже пятый год развевалось красное знамя революции...

Якутск тех дней жил в стремительном водовороте событий, и прекраснейшим из них было объявление автономии самой отдаленной и отсталой окраины бывшей царской России. 16 февраля 1922 года Президиум Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета под председательством М. И. Калинина принял Постановление об образовании Якутской Автономной Советской Социалистической Республики.

Манифест правительства Советской России приветствовал якутский народ, который приобрел свою государственность:

---

[1] Эксекю — птица из якутского фольклора.

«Братья якуты!

...На всей земле только одна Советская власть открыто и честно отказалась от политики национального угнетения народов. На всей земле только одна Советская власть открыто и честно проводит в жизнь идею автономии различных народностей, добровольно вошедших в состав единой Всероссийской Федерации...

Да здравствует освобождение народов под знаменем Советской власти!

Да здравствует мир и братство между свободными народами!

Да здравствует Якутская Автономная Советская Республика!»

Во глубине истории не счесть партий, групп и властителей, суливших народу счастье и благоденствие. Ничем не измерить потоки их медоточивых речей, фанфарных провозглашений, торжественных деклараций, клятвенных заверений. Свобода извечно была лишь свободой порабощения, братство извечно было кровавым «братством» хищников и жертв, рабов и работорговцев, скорбной иронией над самим понятием братства. А равенство извечно было лишь фикцией.

В глубокий колодец забвения канула ложь, канет она и впредь, но во веки веков ослепительным светом правды и справедливости будет сиять та свобода, какую даровала народам России Октябрьская революция и партия Ленина. Доколь в мире будет цениться все высокое, светлое и благородное, не забудет якутский народ о бесценном подарке, который дал ему народ русский. История знает немало примеров щедрости друг к другу королей — царей — императоров: преподносились большие сокровища, целые земли с городами и селами. Но не было в истории подарка столь бесценного, как свобода.

«В думах тоскливый, невзрачный с виду, большеголовый люд якутский — уряхай ютится в избах, обмазанных навозом...» Так из века в век уничижительно называли сами себя якуты в своих заунывных песнях. А русские шовинисты звали их презрительно «инородцы». Но с тех же самых времен седой старины никогда не переставал этот народ лелеять мечту о счастье. Едучи ль

верхом на пегом бычке или заложив нога за ногу перед жарко пылающим камельком, якут пел, и счастье, о котором пел он, на миг приближалось к нему. Сейчас же не призрачно, а воочию оно явилось перед ним в виде редкостного и дивного слова «автономия». Что значит слово это и откуда оно взялось — никто не знал в народе, но подспудно, чутьем и нутром каждый понимал, что это, наверное, что-то такое несказанно прекрасное, что объяснению не поддается. Автономию воспевали, славили, как богиню, стар и млад на каждом аласе[1], в пиршественном кругу первый тост и лучшая песня предназначались ей.

«...Вступая равноправным членом в Российскую Федерацию Автономных Республик, от лица трудящихся классов Якутии, Революционный Комитет и Совет Народных Комиссаров Якутии приносят благодарность за дарование краю автономных прав. Мы глубоко верим в то недалекое будущее, когда очищенный в горниле гражданской войны якутский трудовой народ соединит вместе с другими братскими республиками свои силы для дружной работы за торжество социалистических идеалов всего мира».

Так отозвался якутский народ на бесценный подарок правительства Советской России.

Ценою неисчислимых жертв и четырехлетних бедствий досталась якутскому народу его победа в гражданской войне. Белобандитские отряды в кровопролитных боях в Кильдямцах, в Техтюре, в Никольском были разгромлены весной и летом 1922 года, от врагов революции были очищены также два округа, один другого обширнее — Вилюйский и Олекминский. Теперь бы только вздохнуть свободно — да за мирный труд. Но история уготовила якутскому народу еще одно суровое испытание. Был сброшен в море Врангель, изгнаны белополяки, последние развеянные банды басмачей уже безнадежно рыскали по Средней Азии, обреченные на гибель и бесславие, но последний акт великой народной драмы, именуемой гражданской войной, выпал на долю Якутии.

Вдохновителем третьего контрреволюционного мятежа в Якутии стал П. А. Куликовский, бывший ссыльный эсер и некогда кумир эсерствующей молодежи. В качестве уполномоченного правления Якутской потребительской

---

[1] Алас — поляна с озером, окруженные тайгой.

кооперации «Холбос» и начальника строительства тракта Нелькан — Эйкан, он приехал в Охотск. Этот уже высохший к тому времени старик, с длинной, пучком, бородой, с крупным носом на костлявом лице, с помутневшими голубыми глазами, неожиданно взбодрился. Прежняя страсть и энергия опять возродились в нем, речь, как некогда в его золотой эсеровский век, приобрела витийство. За всю свою долгую жизнь в этом краю ни разу не снизошедший до разговора с кем-либо из простолюдинов якутов, не знавший ни слова по-якутски, он счел себя в праве говорить от имени «всего якутского народа». Прибыв из Охотска во Владивосток, он явился к барону Дитерихсу, главе антисоветского правительства Приморья, и в кредит, под залог будущих сокровищ из богатейших природных кладовых Якутии, выпросил для себя титул управляющего Якутской областью.

Всеми, какими ни есть, печатями на типографских бланках было удостоверено его право владеть огромным краем, равным по территории всей Западной Европе и именуемым «Якутская область». Одного только недоставало П. А. Куликовскому — Якутской области. У него пропал сон: как дать предметность своему званию? Чьими штыками свалить власть большевиков?

Генерал Пепеляев явился на память как счастливое озарение: хоть и битый, но герой Перми, хоть и монархист, но известен и как народник. Куликовский с приспешниками прибыли в Харбин, где на окраине в районе Модягоу отыскали дородного человека в серой чуть набекрень шляпе, в триковых коричневых шароварах, в измятой толстовке и со взглядом вниз, как у всякого, кого во сне и наяву одолевают тяжкие думы. Это был бывший генерал-лейтенант колчаковской армии Анатолий Николаевич Пепеляев, который добывал себе хлеб в Харбине работой в извозе.

Пепеляев не заставил себя долго упрашивать. Будущее Якутии его, разумеется, не волновало, пусть эта страна дикарей хоть завтра провалится в тартарары, ему нужна была Сибирь и Россия. Он опять надел погоны генерал-лейтенанта, и под его бело-зеленое знамя стали собираться осколки белых армий. В короткий срок была отобрана Сибирская добровольческая дружина — семьсот наиболее отчаянных, здоровых и злых головоре-

зов, большей частью из кадрового офицерства. Из Владивостока в порт Аян на Охотском побережье этот отряд на трех военных судах прибыл в сентябре 1922 года. Генеральское войско щедро финансировали якутский купец-миллионщик Никифоров, русский торговец пушниной Кушнарев, усть-майский купец из татар Галибаров. В расчете поживиться пушниной и золотом неограниченный кредит Пепеляеву открыла американская фирма «Олаф Свенсон и К⁰», японская фирма «Арай-Гуми», английская фирма «Гудзон-Бей».

Тысячеверстный путь от Аяна через пустынный хребет Джугджур, через топи, мари и глухую тайгу пепеляевцы намеревались пройти скорым маршем, взять Якутск и, обрастая по пути новыми отрядами и полками, двинуться дальше.

В дни надвигающегося нашествия Ревком и Совнарком Якутской АССР обратились к народу.

«...Непримиримые враги якутского народа, остатки Российской контрреволюции при помощи иностранных империалистов делают попытку протянуть свою кровавую лапу к еще молодой, неокрепшей республике. Враг уже вступил на территорию ЯАССР... Цель, которую преследуют войска Пепеляева, ясна — это уничтожение Якутской Советской Республики, превращение якутского народа в рабов, разграбление всех богатств нашего родного края.

Борьба против банд Пепеляева — это борьба за жизнь или смерть якутской нации, борьба за будущую счастливую судьбу автономной Якутии...

Революционный комитет и Совет Народных Комиссаров Якутской АССР призывают все население республики, всю якутскую нацию сплотиться вокруг знамени Советской власти и встать перед наступающим врагом как один монолитный фронт!..»

На улице Красноармейской невдалеке от перекрестка стоял лицом к забору худощавый парень и внимательно читал обрывок старой афиши.

«Якутский народный театр. Пятница, 25 августа 1922 года. «Черное пятно». Пьеса в трех картинах. Автор Прейсберг, режиссер Рахманов...»

Был мороз невпродых, сизый туман затопил улицы, а он, обутый в тесные не по росту торбаса, одетый в

короткий зипун с облезшим воротником, в заячьей шапке, стуже наперекор вверх наушниками, продолжал читать:

«После спектакля до 4-х утра танцы. Играет духовой оркестр...»

Обветренное смуглое лицо парня раскраснелось на морозе, угольные глаза искрились радостью, которую вряд ли могло вызвать сообщение в старой афише.

В мороз, когда медлительный человек становится юрким, а ленивый — усердным, праздное стояние на одном месте было удивительным. Улица была почти пустынна: по мостовой, печатая шаг, как в строю, быстро прошли два красноармейца в шлемах-коммунарках и в коротких дубленках, проехал на обледенелых дровнях старик-водовоз, и больше ни души.

«Цена билетов: 1—4 ряды 15 фунтов ржаной муки, 5—8 ряды 10 фунтов, 9—12 ряды 8 фунтов, 13—15 ряды 5 фунтов, галерея —4 фунта».

«Танцы до утра», — с завистью подумал парень. Нет, 25 августа он не видел этого спектакля, так как был на трудовом фронте, в тайге на заготовке дров. Да будь он тогда и здесь, в Якутске, откуда бы ему взять муку? Это был Томмот Чычахов, студент второго курса педагогического техникума, а стоял он здесь, ожидая девушку.

Известно, что любовь — гостья бесцеремонная. В цветении лета или в лютую стужу, будь ты в сытой беспечности или в нищете, она является, застав тебя врасплох, и выдворить ее за порог души ты не в силах. Но хотя это известно каждому, однако до поры, пока крылом жар-птицы любовь не коснулась тебя самого, ты будешь, конечно, с недоумением и подозрительностью взирать на чудака, который в трескучий мороз стоит один на безлюдной улице и читает афишу.

Вот она наконец! Не касаясь земли унтами из белых оленьих лапок, невесомо легкая, румяная, как заря, с личиком, мило опушенным песцовой шапкой, девушка вышла из-за угла.

— Долго ждал меня? — спросила она, не останавливаясь. — Ну, пойдем. Там уже собрались.

Это была Кыча, сестра Валерия Аргылова.

В этот день на площади Марата хоронили двух красноармейцев, павших жертвой белобандитов. С приспущенными траурными флагами одна за другой подходили сюда колонны. У открытой братской могилы четкой ли-

нией встали граненые штыки отряда ЧОНа[1], застыли в молчании отряд ГПУ и артдивизион комендантской команды. На той стороне, что ближе к реке, стояли колонны партийных, советских и комсомольских работников, рабочие и студенты. Чуть поодаль собралась большая толпа горожан. В настороженной тишине пар от дыхания людей ощутимо шуршал на морозе.

С улицы, упирающейся в церковь, со стороны центра города донеслись скорбные звуки траурного марша, затем, эскортируемые отрядом красноармейцев, появились несколько подвод с высокими томскими конями в упряжках. Дуги были обвиты черно-красными лентами, на санях, обложенные еловыми лапами, стояли простые дощатые гробы. Следом шли руководители центральных организаций Якутии, командующий вооруженными силами республики, командиры воинских частей. Гробы сняли с подвод и бережно поставили у края могилы на возвышении.

Ближе к Томмоту и Кыче лежал совсем молоденький парень-якут. Полудетское лицо его каменно застыло, руки, не по годам крупные, были сложены на груди неловко, казалось, от холода парень старается запахнуть полы своего старенького пиджачка. Обут был парень в поношенные с подпалинами торбаса, видать, не первый год служил, у многих костров спасался от стужи.

Рядом с ним в последнем своем дощатом пристанище умиротворенный, будто только что отошедший ко сну, лежал русский, чуть постарше своего товарища. Шелковистые волосы его цвета спелой соломы слегка шевелил ветер. Казалось, в уголках его губ затаилась улыбка, того и гляди, встанет парень, привычным движением одернет на себе гимнастерку и удивится: «Да что это вы, друзья, затеяли, в самом деле...»

Невозможно было смириться, что вот этих, в расцвете молодости, совсем еще юных ребят сейчас навсегда поглотит могильная яма. Как бы надеясь, что ужасная картина может исчезнуть, Томмот закрыл глаза и вновь открыл. Увы, все было как есть, все наяву.

— Товарищи!..

Произнеся первое слово, оратор постоял некоторое время молча, горестно глядя сверху на убитых бойцов.

---

[1] ЧОН — части особого назначения (по борьбе с бандитизмом).

Это был Платон Алексеевич Ойунский, один из первых якутских писателей, в тот год председатель Революционного Комитета Якутии, человек слабого телосложения, бледен и худощав, с добрыми и грустными глазами за очками в простой железной оправе.

— Товарищи и друзья! Скорбен наш митинг. В невозвратный последний путь провожаем мы сегодня боевых друзей. Сын якута-хампаччита Хабырыс Хаптасов сердцем принял Советскую власть, для защиты ее он взял в руки оружие. Сын петроградского рабочего Миша Иванов прошел с боями от берегов Невы до Якутии. Оба они погибли за светозарное будущее нашего народа. Поклонимся их памяти.

Ойунский склонил голову, склонили головы все и долго стояли так.

— Рожденные разными матерями, они навек теперь кровные братья, и нет никакого другого родства теснее и кровнее. Нет на свете силы, способной поколебать братство народов, освященное кровью, пролитой за общее наше дело. История не движется назад, она движется только вперед, как ни останавливай ее враги! Прощайте, славные сыны наши, гордые орлы наши. Прощайте...

Слова Ойунского перекрыли звуки оркестра. Он скромно посторонился, а на его место встал богатырского сложения военный — командующий вооруженными силами Якутской Республики. «Байкалов! Это Байкалов!» — прошло по толпе. Ветеран революции 1905 года, латыш Карл Карлович Некундэ сменил свою фамилию на нынешнюю, сроднившись с Байкалом, со всей Сибирью и прославившись как герой в борьбе с Колчаком. Лобаст, бритоголов, крупнолиц, в белой военной дубленке, туго затянутой ремнями, командующий походил на грубоватое каменное изваяние.

— В эту скорбную минуту, — сказал он, — мы, бойцы Красной Армии, вместе со всем якутским народом клянемся неодолимой горой встать на пути пепеляевской банды. Ради спасения Республики мы не пощадим своих жизней по примеру вот этих героев.

— Клянемся! Клянемся! Клянемся! — над колоннами вооруженных бойцов вскинулись винтовки.

— Настал решительный момент в судьбе якутского народа — быть или не быть ему свободным! — подхватил мысль командующего секретарь обкома РКП(б)

Максим Кирович Аммосов. — Революционная власть автономной Якутии бросает клич: «Все — к оружию!»

Аммосов и Ойунский были гордостью и любовью якутской бедноты, перед ними все сердца были настежь — вот почему каждое слово их западало в сознание и будоражило сердце.

— Есть только одна партия в мире, которая борется за счастье трудящихся, партия Ленина. Лучшие сыны и дочери всех народов собираются под красное знамя этой партии. Коммунистом-ленинцем был наш покойный друг Миша Иванов, комсомольцем был его товарищ по оружию Хабырыс Хаптасов. Совсем еще юные, они теперь старше любого из нас, они оставили нам свой завет, и мы их наследники. Прощаясь, дадим напутствие им в бессмертие, скажем им: спите спокойно, боевые наши товарищи, судьба народа находится в надежных руках партии, за дело которой отдали вы себя без остатка. Вовек уже не отнять свободу у народа, который познал ее вкус! Вовек не сбыться коварным замыслам наших врагов! Все силы народа на разгром Пепеляева!

Строгие ритмы марша волна за волной широко расходились в пространстве, увлекая вдаль и ввысь души людей. Глаза Томмота заволокло туманной завесой — он плакал. Стыдясь, Томмот отворачивался, но куда отвернешься, если кругом столько людей? Он сделал вид, что поправляет шапку, но не странно ли то и дело ее поправлять? «Не время сейчас изучать какие-то падежи да зубрить теоремы!» — думал Томмот. Он еще раз пойдет в обкомол и попросится добровольцем. Это ничего, что ему там недавно отказали. Вчера одно, нынче другое, завтра будет третье — время такое... И еще он подумал о своей любви: «Позор и позор! Разводить шашни с девчонкой в то время, когда лучшие люди гибнут в борьбе — да за это из комсомола выгнать, и то мало!»

Томмот с укоризной глянул сбоку на Кычу, стоявшую рядом. В лице девушки была та же суровая жестокость, и, как знать, не о том ли самом думала в эту минуту и она? От такой мысли Томмот немного смягчился: в самом-то деле, в чем девчонка провинилась? В том, что девчонка не парень? Чувствуя на себе его взгляд, Кыча подняла глаза. «Ну что, мой друг, больно тебе? — только взглядом одним спросила она. — И мне...» Расслабляя его решимость и, как это казалось самому Томмоту, напере-

кор его революционному долгу, теплая волна нежности колыхнулась в нем, но он ничем не обнаружил этого. Мыслимо ли было это здесь, в такой момент!

Валерий Аргылов стоял, смешавшись с толпой. Был он в черном зипуне, в стоптанных длинных камусах, облезлая пыжиковая шапка на голове: бедняк, голь перекатная, ничем не хуже и не лучше других — как все... Когда поднесли крышку и стали уже накрывать ею гроб с телом якута, ветер неожиданно вздул на нем красный шарф, и Валерий едва было не вскрикнул: «Он! Это они — оба...» Живо представилось, как они выскочили из-за поворота на прямую дорогу, он выцелил этот красный шарф и выстрелил... Не смея больше поднять глаз, Валерий притаился. Винтовочный залп салюта ударил будто бы не в небо, а в него, в Валерия. С трудом владея собой, он вздрогнул трижды вместе с тремя залпами, затем, опасаясь привлечь к себе внимание, поспешно выбрался из толпы.

Вскоре, когда церемония похорон окончилась, мимо него прошли воинские части, колонны гражданских, в одной из которых он издали увидел Кычу рядом с парнем, который нес знамя. «Кажется, все у них ладится, — даже издали определил Валерий. — Обрадую тебя, старик Аргылов: у тебя будет зять-комсомолец...»

Быстро надвигались сумерки. Неправдоподобно увеличивались дома по обе стороны улицы, а улица все сужалась. Из печных труб вертикально к небу, как сосны на косогоре, тянулись дымы. Одно за другим зажигались окна.

— У них, наверное, были матери... — тихо сказала Кыча.

Томмот промолчал. Они остановились у ворот.

— Ночью мы выходим на патрулирование. Ты сейчас домой?

Теперь Кыча промолчала: она сама не знала, куда ей деваться одной.

— Кыча, а как насчет... того?

Девушка коротко глянула на него снизу вверх:

— Ладно, Томмот, я согласна. Пиши!

Глава четвертая

Валерий остановился в доме приятеля отца, бывшего купца Спиридона Матахова, когда-то имевшего в городе несколько домов и лавку в Гостином дворе. Вернувшись с похорон, Валерий прилег отдохнуть и уснул. Приснилось ему что-то до ужаса нелепое и мерзкое, он долго падал, в падении никак не мог достичь дна какой-то черной ямы, вскрикнул наконец и проснулся.

Густо завечерело. Валерий нащупал спички на столе и засветил керосиновую лампу. Было так тихо, словно обитатели покинули этот дом, хотя Валерий точно знал, что здесь, за стеной, они сейчас сидят, притаившись, как мыши. Довольно долго он прожил у них, а так и не понял — хотят ли они молчанием выразить неприязнь к постояльцу, или так заведено в их жизни, или, может быть, новой власти боятся. Последнее вероятней всего: лишенный своих домов и лавки, уже без прислуги и хамначчитов, перепуганный насмерть Спиридон Матахов жил теперь в Заложной стороне города в самом маленьком из своих домов. «Притих бёрё [1], — не без злорадства думал Валерий. — Таким ли ты был в славе?» Тише воды и ниже травы стал человек, никак не поверишь, что совсем в недавние времена был он громогласен, что он рычал на людей зверем, даже глазами вращал при этом — жуть! А теперь, без прежнего богатства и влияния, стал он кроток, как бродячий пес, поджавший хвост в ожидании пинка. Сейчас он лебезил перед каждым встречным, с лица его, как с застывшей маски, не сходила угодливая улыбка, но Валерий Аргылов отлично знал, что в глубинах души своей он вскармливает ненависть.

За дощатой перегородкой в соседней комнате заскрипела под кем-то кровать. Валерий постучал в стенку:

— Спиридон, это ты? Зайди-ка.

Что-то заворочалось, замычало, и чуть погодя вошел хозяин. Это был плотно сбитый, среднего роста пожилой человек с редкой растительностью на мясистом широкоскулом лице и коротко подстриженными волосами, тронутыми сединой. Он подхватил по пути табуретку, под-

---

[1] Бёрё — волк.

сел к теплому боку голландской печи и стал молча посасывать трубку, вырезанную из березового пароста — капа.

Валерий не сдержал усмешки: так разительно был непохож нынешний улыбчивый Матахов на этого вот настоящего Спиридонку, мрачного, люто злобного. Ничего не скажешь, умеет человек притворяться. Как видно, уходя из дому утром, он заодно с шубой натягивает на себя личину, а вечером на пороге дома вместе с тою же шубой сбрасывает ее с себя.

— С чего это ты скалишь зубы? — исподлобья глянул он на своего жильца.

— Да так... Рассказывай, чего узнал нового.

— Ничего нет такого, чтобы радоваться...

Валерий не стал его торопить: если и узнал что, не жди, что он так и выложит сразу. Сначала старик будет артачиться, отнекиваться, дескать, по приказу ревкома он работает школьным водовозом, а что может узнать водовоз?

Пятый год Спиридонка Матахов терпеливо ждал возвращения прежней жизни, да уже изверился. Для них, «бывших», солнце удачи, изредка показав лишь краешек, тут же скрывалось опять, зато все чаще и ярче светило оно хамначчитам и кумаланам [1], до вчерашнего дня ходившим без порток. Некоторым начальникам Спиридонка казался придурковатым простофилей, так пусть же! Пусть они не знают до поры, что он хитер, как лиса, десять раз свободно обведет он их вокруг пальца. Нет уж, не полезет он дурнем в ловушку, береженого бог бережет. Многие в эти годы попали в руки чекистов, тела их давно уже гниют в сосновых борах вокруг Якутска. Изворотливые да искушенные сумели сбежать на восток, но Спиридонка и за ними не потянулся, зачем ему быть замешанным в дела, исход которых неясен? Избегал он и всяких сомнительных заговоров. Но как ни хотел он остаться в стороне от событий, события вовлекали его в свою круговерть, все труднее было ему вести роль, которую он взял на себя поневоле.

Валерия, сына закадычного друга своего, знатного богача Аргылова, Спиридонка встретил без радости, однако же и не прогнал с порога: неизвестно еще, чем закончится великая заваруха. Переусердствуешь, не ровен

[1] Кумалан — нищий.

час, поплатишься головой, а показать спину — тоже как бы не просчитаться, вдруг этот Пепеляев одержит верх? Матахов скрепя сердце принял у себя Аргылова, хотя в душе согласен был с женой и дочерью, которые противились, и не зря: жилец оказался на редкость беспокойным, нет того, чтобы сидеть себе потихоньку, так все шастает и в день, и в ночь. Ну, как его схватят — что тогда? Да к тому же норовит вовлечь в свои дела, замучил поручениями: найди ему того, отыщи этого. Сказал ему как-то раз, чтобы съехал, должна, мол, приехать из улуса сестра с семьей, так тот, наглец, говорит, дом просторный, найдешь, где поселить, — и весь тебе разговор. Что скажешь ему наперекор? Хочешь не хочешь, а приходится терпеть да еще заботиться о его безопасности, все-таки одной веревочкой связаны.

— Что-нибудь проведал о людях, про которых я говорил? — напрямик спросил Валерий, ему наскучило ждать, когда старик разговорится сам.

— Военный уже вернулся. Видел, как он прошагал к себе в военкомат.

— А Титтяхов?

— Ходит себе...

— «Ходит себе...» — передразнил старика Валерий. — Знаю и без тебя, что ходит. Меня интересует, как они себя ведут? Что тебе стоит встретиться с ним, узнать его настроение?

Жилец вспылил, ох, как разошелся-разгневался! Хорошо бы только, разобидевшись, съехал, тогда пусть хоть сам лезет в лапы чекистам, Матахов только руками разведет: мыслимое ли дело — не пустить переночевать сына своего приятеля? Попросился на ночлег, я пустил, а чем он там занимается — этого я не ведаю.

Валерий взглянул на свои карманные часы. Было самое удобное время — конец работы, все расходятся по домам, а ночной патруль еще не вышел. Он стал одеваться.

— Подальше бы ты держался от этих Титтяховых, — пошел на примирение Матахов. — Сынок хороводится с коммунистами, кажется, немалая должность в наркомате просвещения. А отец...

— С отцом виделся? — без обиняков спросил Валерий.

— Да, виделся...

Старик выколотил потухшую трубку о ладонь, пососал

чубук и куском проволоки, привязанной к кисету, стал неторопливо ковыряться в трубке.

Валерий, уже одетый, некоторое время постоял-постоял, ожидая, что ответит Матахов, и взорвался опять:

— Ну, так что, говори же!

Спиридонка невозмутимо прочистил трубку, попробовал, как тянется через чубук воздух.

— Торопливая сука рожает слепых щенят...

Валерий опять уселся.

— О чем разговаривали? Что он сказал?

— Да ничего.

— Как так ничего?!

— А вот так. «Здравствуй, Еремей Федорович», — говорю, а он — молчок. Вывернул на меня свои буркалы и отвернулся. Ну, человек! На собаку и то говорят «чот!»[1], а этот и слова не молвил. Пусть и грамотный, но до недавних-то пор кто он был? Сукин сын...

Деловой разговор не сложился, а на «чувства» Спиридонкины Валерию было начхать. Он поднялся и вышел.

Людей, знающих Валерия, в городе было немало, поэтому ему всего удобнее было действовать в сумерки. Множество знакомых, это в любое другое время бесспорное благо, могло обернуться сейчас злом. Отправляясь из Нелькана на свое опасное дело, Валерий думал, что цели своей он достигнет без особых затруднений, что у якутов — интеллигентов и местных богатеев воспрянет дух, едва только они узнают о наступающих войсках Пепеляева; ему, тайному эмиссару, останется в этом случае только собрать их в кулак и направить их действия. Но ожидания не оправдались. Самых надежных людей не оказалось в городе: некоторые давно уже были схвачены и осуждены трибуналом, другие, дрожа от страха, забились в норы, подобно Спиридонке, который и сейчас бы продолжал лежать, затаясь, не вынуди Валерий помогать себе. А те, на которых Валерий особенно и не рассчитывал, но допускал возможность привлечь к делу, эти изменились неузнаваемо. К одному из них, своему давнему знакомому, Аргылов подослал Спиридонку. Обильно пересыпая речь шутками-прибаутками, Спиридонка сре-

[1] Чот — возглас, которым прогоняют собаку.

ди других вскользь упомянул и его, Аргылова, имя. Тот вскочил и схватил Спиридонку за грудки: где, мол, этот бандюга и подлец, для него давно уже отлита пуля, приготовлена веревка. Спиридонка тогда вернулся к Валерию вконец напуганный.

Удивительно, как быстро меняется у людей умонастроение: многие, прежде колебавшиеся, сейчас принимали Советскую власть бесповоротно, новая власть стала для них родной, и в защиту ее они готовы были пустить в ход и зубы, и когти. Хамначчиты и батраки, год-два назад не отличавшие в политике черного от белого, послушно, как стадо, шедшие туда, куда пошлет их хозяин, теперь словно переродились, теперь что ни оборванец, то оратор, да такой, что другому и рта раскрыть не даст. Можно подумать, с самого появления своего на свет они только и стремились к этой власти. Но досаднее всего то, что к красным примкнули якуты-интеллигенты. Непонятно: ведь если вернулась бы прежняя власть, то образованные люди зажили бы много вольготнее, чем при Советах. Стоило бы поглядеть на их масть и стать, когда в недалеком будущем их поравняют с этими кумаланами... И добро бы они молча служили, работали тихо-мирно в конторах, так нет же, носятся как бешеные из улуса в улус: поднимемся, дескать, встанем скалой, разобьем, разгромим... И еще одним доняли большевики — дали якутам автономию. Теперь у каждого на языке только автономия да автономия, придумали же, сатанинское отродье! Но одного не понимают эти болтающие интеллигенты из зажиточных родов: не их это автономия, а автономия рабов — кумаланов да хамначчитов! Придумана она для их возрождения и расцвета! Жалкая участь ожидает этих тупиц-интеллигентов, настанет срок, горько взрыдают они, да поздно будет.

Пройдя через Лог и выйдя на Советскую улицу, Валерий замедлил шаги: попроведать Титтяховых или не стоит? Прежде, когда учились в семинарии, Никус Титтяхов сторонился политики, зато пропадал на вечеринках с танцами-песнями. По окончании семинарии бывшие друзья виделись раза два, и Валерий тогда не заметил в нем больших перемен, по-прежнему был тот беззаботен и весел.

Посланный к нему Спиридонка, вернувшись, понес какую-то околесицу. Сомнительно было, что старик Еремей, отец Никуса, так быстро «покраснел» — вряд ли

советские что-либо отвалили ему. Может статься, что он Спиридонку встретил нелюбезно по причине личной неприязни к нему, ведь мало удовольствия смотреть на его кривлянья. Трудно поверить и в то, что Никус, этот гуляка и повеса, превратился якобы в сухаря-большевика, отвернулся от танцев и веселья, от красивой одежды и галстука. Если удастся уговорить Никуса, это посулит немало выгод — тут можно бы дотянуться и до его друзей.

Валерий нащупал в темноте ручку хорошо знакомой двери. Дернул — заперто. Тогда он постучал.

— Кто там? — отозвался изнутри девичий голос.

— Я это, я... — неопределенно ответил Валерий. — Никус дома?

— Нету.

Постояв немного, Валерий постучался еще раз.

— Кто нужен? — послышался в этот раз скрипучий голос самого Еремея Федоровича.

— Я к Никусу.

Брякнул откинутый железный крючок. Окутанный морозным туманом Валерий шагнул через порог.

— Здравствуйте.

— Здравствуй... — сдержанно ответил старик и подался в сторону гостя, пытаясь рассмотреть его и сам себе мешая рукой, которой загораживал от ветра колеблющееся пламя свечи.

— Не узнаете, Еремей Федорович? А должны бы узнать, немало чая выпил я у вас.

Валерий снял рукавицы, положил их на крышку ушата с водой, оттянул книзу шарф, которым до самых глаз было обмотано его лицо, и неловко потоптался в ожидании привычного приглашения раздеться и пройти.

— Кажется, ты Валерий... Аргылов?

Особой радости в тоне старика Валерий не уловил. Высокий, худой и нескладный старик, как бы сколоченный наспех из необструганных досок, стоял, перегнувшись во всех своих суставах.

— Да, это я... — поспешил подтвердить Валерий.

— Откуда?

— С того берега, — указал на восточную сторону дома Валерий.

— Откуда это, с того берега?

Неласковый вид старика, допрос, учиненный им прямо у порога — все это Валерию не понравилось. «Черт Спи-

ридонка на этот раз, кажется, прав», — подумалось ему. И все же, подобно тому, как утопающий за осоку цепляется, Валерий цеплялся за надежду, что старик Еремей лишь блюдет осторожность, и поэтому не убирал с лица предупредительную улыбку.

— Из родных мест... — с опозданием отозвался он.

— Был слух, ты прошлой весной подался к Артемьеву. Что, тот живоглот опять вернулся?

Валерий в ответ лишь крякнул: «Все знает! Откуда?»

— Все еще ходишь в бандитах? — спросил Еремей и опять весь переломился в суставах.

— Мне нужен Никус. Он дома? — вернулся к делу Валерий.

— Зачем он тебе?

— Поговорить...

— Просто так поговорить?

Таким насмешливым и суровым Валерий никогда не видел старика. Когда учились с Никусом в семинарии, он знал Еремея тихим и ласковым, на устах у него были слова только нежно-напевные: «голубчики» да «сынки». Валерия подмывало ответить старику как-нибудь дерзко да хлестко, но он удержался; при таких обстоятельствах это не только не выгодно, но и опасно.

— Все-таки мы однокашники... — неопределенно отозвался Валерий.

— Не мели пустое. Думаешь, я не догадываюсь, для чего ты прокрался сюда в темноте? Никуса нет. И запомни: для тебя его нет навсегда. Ты о нем забудь, у вас с ним разные дороги. А теперь вот твои рукавицы, вот дверь, и проваливай!

Немалого труда стоило Валерию стерпеть, не ответить этому злоязычному старику, не повалить его на пол и не избить ногами.

— Ага...[1] Еремей... Я не сделал вам ничего худого.

— Ладно уж... Пусть будет так, что вроде ты сюда не заходил, а я тебя не видел. Только не трогай Никуса, ни во что его не впутывай. Если узнаю, что ты его обхаживаешь — добра не жди.

Расстались без прощания. Тяжело хлопнула позади дверь.

---

[1] Ага — отец.

Забыв об осторожности, Валерий с яростью пнул ногой калитку и выскочил на улицу.

— Ну, сволочи! Погодите уж, придет времечко... — оглянулся он на слабо освещенное окно.

Будь возможность, с каким наслаждением он кинул бы туда увесистую, с кулак, японскую гранату. Он шел быстро, в ходьбе давая выход своей ярости, и только в конце улицы возле женского монастыря понял, что идет совсем не туда.

Сегодня он еще должен был зайти к одному сотруднику военкомата, который выезжал куда-то по делам службы. Спиридонка сказал, что тот вернулся, он видел его.

Неудача, постигшая Валерия у Титтяховых, не только не убавила в нем решимости, но еще больше озлобила его, прибавила упорства и отчаянности. Он обязательно должен был найти с тем военным общий язык! Если он добьется своего, начхать ему тогда на разных там Титтяховых! Попозже, когда будет побольше сил и времени, дойдет и до них черед, согнем и их, как полозья оленьих нарт.

Аргылов пошел по улице назад и, свернув возле каменного здания реального училища, остановился вблизи казначейства. В мглистом тумане, затопившем весь город, не видно даже собственной протянутой руки. Возле низенького, осевшего под тяжестью снега домика с закрытыми ставнями Валерий остановился. Военный снимал здесь комнату.

Калитка оказалась заложенной. Валерий постучался. Во дворе залился лаем пес, загремела цепь.

— Кого надо? — вскоре спросила по-русски женщина со двора, судя по голосу, старушка.

— Сотрудника военкомата Соболева.

Калитка отворилась.

— Проходите.

— У него есть кто-нибудь?

— Нет, кажется. Проходите.

В просторной кухне жарко топилась печь, из открытой дверцы ее падал от пламени широкий красноватый сноп света, а по углам затаилась мгла.

— Эраст Константинович, к вам гость, — сказала старуха и ушла в эту мглу.

Затем послышался скрип отворяемой двери, и высветившийся дверной проем тут же заслонило грузное тело.

— Здравствуйте, Эраст Константинович, я из штаба, — представился Валерий и, оттеснив хозяина, боком проскользнул в его комнату.

Не отпуская ручку двери, удивленный хозяин всем корпусом повернулся к гостю. Валерий узнал его: высокий, дородный и крупноносый, с глубоко посаженными глазами и с прилизанными редкими волосами. Описали точно. Поверх белой нательной рубахи посверкивали застежками его подтяжки.

— Товарищ, вы...

— Добрый вечер, господин штабс-капитан! — шепотом перебил его Валерий.

С проворством, неожиданным при такой грузности, хозяин захлопнул дверь комнаты и тихо спросил:

— Кто такой?

— Я ваш друг, господин штабс-капитан.

— Нет здесь никаких штабс-капитанов! Здесь имеется начальник отдела облвоенкомата. Вы ошиблись адресом, товарищ.

— Нет, не ошибся, господин штабс-капитан.

— Если не понимаете простого разговора, то могу вас доставить в Чека, вас там быстро вразумят.

— Перестаньте, штабс-капитан! Пусть я не буду вашим другом, зато я друг ваших друзей. Слыхали о генерале Пепеляеве?

— Шантажист! Провокатор! — Хозяин вырвал волосатые кулаки из карманов галифе, с внутренних сторон и на коленях обшитых кожей.

— Молчать! — Окрик на полушепоте прозвучал резко, как удар хлыста.

Хозяин осекся.

— Дайте нож, — мирно попросил Валерий.

Складной нож из ящика стола сейчас же был подан Валерию. Валерий неторопливо вскрыл подкладку шубы и с силой оторвал пришитый к основе белый лоскут материи.

— Прочтите.

Соболев склонился к керосиновой лампе. *«Эра!* — было написано на лоскуте чернилами. — *Жди. Мы прибудем. Как встречать нас, расскажет податель сей записки. Слово его — приказ. Август Р.»* Эра... Погодика... Август...

Это он, точно он! Это его стоячий четкий почерк — полковник Рейнгардт. В течение полуторагодичной сов-

местной службы Соболев побывал с ним во многих переделках. Они вместе служили в Красной Армии, а когда войска генерала Пепеляева овладели Пермью, вместе переметнулись к белым. Эра... Так звал Соболева только он, Рейнгардт. Помнится, не нравилось Соболеву это имя, которое впору было носить барышне какой-нибудь с кружавчиками, а не мужчине. Да свыкся потом. Расстались они в Красноярске при отходе колчаковцев на восток. Там Соболев заболел тифом и попал в госпиталь. Вылечившись, он, как осознавший свою вину и принявший Советскую власть, опять вступил в Красную Армию и попал наконец в этот ледяной край с его проклятыми морозами. Откуда полковник узнал, что он здесь? Впрочем, не удивительно, белых лазутчиков в Якутске хоть пруд пруди. Вот пришел с их стороны еще один, и не последний. Соболев знал, что, опытный солдат и хитрая бестия, Рейнгардт в мелкую авантюру не ввяжется. Неужели пепеляевская операция столь серьезна и значительна по замыслу? Неужели надежда на победу у них столь велика?

Тут же, не сходя с места, он должен был принять решение, выбрать одно из двух. Большевиков и их пресловутую диктатуру голодранцев штабс-капитан ненавидел, все, что имел, он был готов без сожаленья отдать за то, чтобы свалить Советскую власть. Все, кроме жизни... Пошел бы он и в бой, только надо было ему убедиться, что дело красных проиграно. В прошлом жизнь много раз преподносила ему уроки. Провоевав в течение семи с лишним лет, Соболев извлек для себя главное: любой ценой остаться в живых. И все же добровольно отходить в сторону от пути, ведущего к благам и славе, тоже было бы неразумно. Да и не получится, пожалуй, как хотелось бы, — остаться созерцателем на отшибе. Победители, кто бы они ни были, предъявят свои претензии: «Где ты был в дни схваток?» Да несколько грамм свинца в затылок, и вся недолга.

Что же делать? Сбитый с толку, Соболев немо высился в полутьме-полусвете и думал. Может, выгнать этого азната взашей? Тогда этот подлец сейчас же сообщит своим, получится, что ты запродался красным окончательно, а затем «мне отмщение и аз воздам». Нет, так нельзя. Рейнгардт наверняка уверен, потому и присоединился к Пепеляеву. Бог мой, как тут быть? И надо ж было тому жиду вспомнить о нем. А ведь можно было

отсидеться, переждать эти тревожные времена, а к Пепеляеву успелось бы, пусть только он завладеет городом. Ничего не остается, как, притворясь, согласиться, даже пойти на выполнение его поручений, если не слишком опасны. «Слово его — приказ». Это его-то, азиата, слово! «Я твой друг». Придется и на это пойти, встречать его как друга, иного выхода нет.

Внешне спокойный Валерий не спускал глаз с Соболева. По правде говоря, когда тот пригрозил ему Чека, Валерий не на шутку струхнул. Вручая ему ту записку, полковник Рейнгардт велел так: «Если начнет увиливать — пригрози. Он трус. На красных работает скорее всего по нужде». Но все же целиком брать это на веру не следовало, за эти годы многое перевернулось, даже убеждения. Почему бы Соболеву и не стать ревностным работником у красных? Но тут потерявшийся в сомнениях Валерий с облегчением увидел, как Соболев, судя по лицу его, меняет гнев на милость.

— Господин штабс-капитан, не разрешите ли раздеться?

— Пожалуйста, прошу... Вон вешалка. Только меня вы, бога ради, зовите Эрастом Константиновичем.

Соболев указал в сторону смежной комнаты, затем пододвинул гостю стул, а сам сел на кровать.

Валерий снял шубу, повесил ее и подошел к Соболеву.

— Давайте-ка, Эраст Константинович, поздороваемся по-настоящему.

Пожали друг другу руки.

— С кем имею честь? — не отнимая еще руки, спросил Соболев.

— Такыров... Петр Петрович.

— Здравствуйте, товарищ Такыров.

Пожатие Соболева было крепко, и это еще более успокоило Валерия, ему подумалось, что это рука единомышленника.

— Пусть будет так. До поры до времени побудем в «товарищах». Ждать осталось недолго.

— Август Яковлевич... там?

— Полковник Рейнгардт — командир головного батальона дружины генерала Пепеляева.

Соболев живо поднялся:

— Перекусим немного. Ради встречи...

— Нет, не время, — возразил Валерий. — Мне за-

держиваться долго нельзя. До выхода ночных патрулей я должен успеть добраться к себе. Письмо прочли?

Соболев утвердительно кивнул.

— Поверили?

— Да.

— Поняли?

— Понял.

— Киньте его в печку.

Соболев молча вышел на кухню, и Валерий через отверстие двери увидел, как ярко загорелся и тут же угас белый лоскут.

— Как сказано в письме, мое слово для вас — приказ, — сказал Аргылов, когда они опять уселись друг против друга. — Но помните, что это не мой приказ, и даже не полковника Рейнгардта. Это приказ командующего Сибирской добровольческой дружиной генерал-лейтенанта Пепеляева. Я только довел его до вас. Вы же, как человек военный, должны и сами знать: приказ не обсуждается, а выполняется.

«Азиат! Дикарь!.. Послушать только, как дерзко разговаривает этот плосконосый с дворянином, с царским офицером!..» Соболев так и вскипел, но быстро утешил себя: азиат и впрямь лишь связной. Что-то вроде конверта, в котором пересылают письмо. Каким бы ни было содержание письма, можно ли обижаться на его конверт?

— Генерал Анатолий Николаевич Пепеляев и полковник Август Яковлевич Рейнгардт считают вас преданным белой армии, непримиримым врагом Советской власти, во всем своим человеком, единомышленником. Это верно?

— Верно.

— Значит, я могу довериться вам?

— А это ваше дело!

Сунув руки в карманы галифе, уязвленный Соболев принялся расхаживать взад-вперед:

— Прошу не забывать, что вы разговариваете с дворянином и офицером!

— Садитесь, Эраст Константинович! Не время прыгать, вы не кузнечик.

Если бы Соболев заметил у гостя хоть признак смущения или раскаяния в своих словах, он еще больше разобиделся бы. Но равнодушие к его вспышке, укоризна усталого и озабоченного человека были Соболеву как

шлепок по губам, гнев его сразу угас, подобно вскипевшей пене, на которую плеснули холодной водой. Соболев сел опять на кровать и обмяк.

— Я должен знать точно — могу ли я довериться вам полностью. Этого требуют интересы нашего общего дела, поэтому, Эраст Константинович, прежде чем обижаться, надо бы это понять.

— Прошу меня извинить, — смирился Соболев.

— Могу ли я передать, что вы свою судьбу вверяете в распоряжение генерала Пепеляева?

— Да!

— Знаете ли вы, какую силу представляет собой добровольческая Сибирская дружина?

— Знаю. Агентура красных работает неплохо.

— А если так, то должны вы знать и цели генерала. Якутск — только первый шаг в крестовом походе Пепеляева против большевизма. Конечная цель — Москва.

— Дай-то бог!..

— А теперь приказ генерала. Вы должны достать копию плана операции красных против Пепеляева.

— Ка-ак?! Штаб командующего и военкомат работают раздельно...

— Как достать — это ваше дело. Копию плана передадите мне. Должны понимать, насколько важно, чтобы этот план как можно раньше попал в руки генерала.

— Понимать-то понимаю...

— Теперь второе. Через верных людей надо развернуть среди красных отрядов агитацию с тем, чтобы они перешли на сторону Пепеляева. Прокламации и воззвания я вам доставлю.

— Весьма сомнительно...

— Третье. Во время наступления на Якутск поднять в городе мятеж, захватить штаб, ревком, обком, телеграф.

— Легко только сказать, — окончательно сник Соболев и стал оглаживать подбородок.

— Никто и не говорит, что все это легко достижимо. Но если постараться...

— Кто все это организует?

— Вы!

Соболев аж подскочил:

— Да знают ли там, кто я таков, какие у меня

возможности? Я всего-навсего рядовой сотрудник облвоенкомата. К тому же без доверия, не особенно вхож в секреты. Я не волшебник. Нет, не могу обнадежить...

— Кто вы такой, Эраст Константинович, там отлично знают и надеются на вашу находчивость, на ваш ум, на вашу смелость. Вы не будете одни. Скоро я вас познакомлю с некоторыми нужными людьми. Но первейшая задача — достать оперативный план.

— Нет, нет! Откуда я его достану? Каким путем? Подумайте сами...

— Думать приказано вам, а не мне! — отрезал Валерий. Он быстро оделся. — Пес у вас сильно брехливый, проводите меня.

— Ах, да...

Вышли во двор.

— Еще раз, Эраст Константинович, — напомнил Валерий, уже взявшись за щеколду калитки. — Приказ не обсуждается. Приказ выполняется.

— Да... да...

— До свиданья.

Хлопнула закрываемая калитка. «Слюнтяй... Еще офицер называется! — с презрением думал Валерий, скорым шагом направляясь к себе. — Барахло! Такая туша, а ум как у суслика. Не добьюсь своего — не отступлюсь! Я тебе еще покажу, почем фунт лиха».

А Соболев между тем, приоткрыв калитку, глядел вслед гостю. Судя по скрипу снега, шаг его был уверен, и Соболев с завистью подумал: вот она, молодость, ей все нипочем. Вдруг холодная волна ужаса медленно стала вливаться в него: «А что, если его подослали из Чека? Если это была провокация, тогда...» Запахивая полу шинели, Соболев вспомнил про белый лоскут: «Письмо-то было от Рейнгардта. Взаправду от него. Это-то уж точно, сомневаться не приходится. О, да пусть будет так...»

Эраст Константинович зашел в дом. Как бы отыскивая тот заветный лоскуток материи, заглянул в топку. В прогоревшей печи на угасающих угольях, еще храня форму лоскута, лежал пепел — все что осталось от послания. Пинком ноги Соболев закрыл чугунную дверцу топки и прошел в комнату.

Глава пятая

Годам тысяча девятьсот двадцать второму и двадцать третьему в Якутии суждено было слиться в один.

В последнюю неделю 1922 года и девятнадцать дней начала 1923 года один вслед за другим открылись два высокопредставительных органа Советской власти Якутии — Первая областная конференция РКП(б) и Первый учредительный съезд Советов. Многие и не вспомнили, пожалуй, в новогоднюю ночь, что она новогодняя.

Двадцать четвертого декабря 1922 года делегаты Первой якутской областной конференции послали приветствие ЦК РКП(б):

«Красное знамя коммунизма будет твердо водружено по всей территории Автономной республики».

А вслед за этим 26 декабря Пепеляев издал приказ о наступлении в глубь Якутии.

Двадцать пятого октября части Народно-революционной Армии под командованием Уборевича заняли Владивосток «и на Тихом океане свой закончили поход». Двумя неделями после этого красные партизаны заняли Петропавловск-на-Камчатке, и Пепеляев об этом знал. Он знал, что в случае поражения ему и бежать уже некуда. Знал и шел...

Нет, генерал Анатолий Пепеляев был не из тех, кто, собравшись на рать, поворачивает назад с полдороги, завидев тучку на небе.

В его сознании эсеровские представления о патриархальной государственной Сибири вне зависимости от «большевистской метрополии» — эти милые его сердцу идеалы слишком не вязались с мировой революцией большевиков. Да неужто пойти к ним на поклон? Неужто обречь себя на участь жалкого последыша и жить-дрожать в какой-нибудь дыре?

В дни испытаний немало мужества придает людям сознание своей правоты, и тридцатидвухлетний генерал Пепеляев был в эти дни бодр, строг к себе, внимателен к соратникам, голодал и пел со своими дружинниками, он даже писал стихи.

Комсомольцев педагогического техникума обком РКСМ прикомандировал в помощники обширного аппа-

рата парткопференции и съезда Советов. Томмот Чычахов был среди них.

Никогда ни до этого, ни после того он не видел одновременно столько доблестных сынов партии и народа. Едва ли не все вооруженные, опаясанные пулеметными лентами, с портупеями поверх ватников и гимнастерок, они внесли сюда воздух Революции, до взрывного предела насыщенный грозовым разрядом: стоит лишь бросить клич, и все, как один, — в бой. Шальной от радости и возбуждения Томмот носился с бумагами из комиссии в комиссию, нередко путая и бумаги и сами комиссии.

Прошел первый день — день приветствий. И второй день прошел, и третий, уже давно все вошло в рабочую колею и стало уже не столь празднично, а ликующее, но пока необъяснимое чувство не покидало парня. Лишь к концу работы конференции и в первые дни после открытия съезда Томмот разгадал его — это было осознание предметности явившейся народу автономии, смысл и значение которой до того он, как и многие, лишь смутно угадывал: знаешь, что это нечто хорошее, а что оно такое, на деле никак не можешь уразуметь.

Это походило на то, как если бы отверженный и не смирившийся человек пришел бы гол как сокол в некую мертвую местность, оглядел ее пустынный, безрадостный вид и сказал бы: вот здесь мне назначено жить. Вот здесь, сказал бы он, я поставлю хотон, вот здесь поставлю юрту, вот здесь будет у меня сэргэ́[1], вон там по окрестности я пущу на выпас моих лошадей и оленей, которых еще нет, но будут. Такой человек ничего не делает наспех: ведь его дети и внуки будут называть это место родиной...

Некоторые доклады конференции Томмоту доверено было записывать в протокол. Он очень старался, писал до онемения руки, стараясь не пропустить ни слова, но даже и при таком напряжении не успевал дивиться сказанному и осмыслить его, надеясь, что потом он уж как следует удивится и осмыслит. Томмот, например, впервые открыл для себя, что за нация, к которой он принадлежит, какое место якутов среди других народов, каковы особенности их связей и расслоения и как

[1] Сэргэ́ — коновязь в виде столба, иногда с резными украшениями.

важно для революции все это знать и учитывать. Он узнал, что малочисленные якутские профсоюзы не так уж бездеятельны, как он думал, зато ячейки РКСМ почти всюду по Якутии или разгромлены или распались, и теперь будто бы лично от него, от Томмота Чычахова, зависит, будут ли они восстановлены в ближайшее время.

Конференция работала делово и планомерно. А война между тем уже шла. В соответствии с приказом генерала Пепеляева, его авангард во главе с полковником Рейнгардтом уже двигался в заданном направлении, имея перед собой цель — овладеть красным Якутском.

Продолжал свою работу и учредительный съезд Советов. Со всех сторон необъятного края — из северных, южных, западных и восточных улусов собрались здесь лучшие сыны и дочери народа. Вместе с известными коммунистами, ревкомовцами, советскими активистами и передовыми людьми из интеллигенции приехали на съезд и хамначчиты, только что вырвавшиеся из байской кабалы и еще нетвердой ногой ступившие в новую жизнь, еще робкие женщины-батрачки, только что вызволенные на свет из глубин вонючих байских хотонов. Якуты и русские, эвены и украинцы, эвенки и латыши... Это было нечто удивительное, совсем небывалое. Что ни день звучали речи любимцев якутской бедноты: секретаря обкома партии Максима Аммосова, председателя ревкома Платона Ойунского, командующего войсками Карла Байкалова и других делегатов, посланцев Олекмы, Вилюя, Лены и Амги. Впервые открыто и громко заявлял о себе еще вчера подневольный, а сегодня свободный трудящийся человек: «Я — человек!» С самого открытия до закрытия, день за днем съезд превращался в праздник народа. Такого ликования Якутск никогда не знал, хотя и не забывал о надвигающейся беде, о еще одной смертельной схватке с посягнувшим на это счастье и уверенным в себе врагом.

Томмот твердо решил записаться в красный отряд. Но везде, где он побывал — и в штабе командующего, и в военкомате, и в штабе ЧОНа, — требовали направление из горкома комсомола, а в горкоме разводили руками: распоряжения о мобилизации комсомольцев не было. Иди, мол, домой, нужен будешь — найдем тебя сами. Сгоряча повздорил Томмот с секретарем горкомола, выпалил ему, что тот плохо отстаивает интересы молодежи перед вышестоящими организациями.

И вот результат: дня через два во время одного из заседаний кто-то толкнул Томмота в плечо. Оказалось, тот самый обруганный им секретарь:

— Сходи-ка вот по этому адресу. — И протянул Томмоту заклеенный конверт.

— Что это?

— Мы решили удовлетворить твою просьбу.

Ай да парень! Томмоту даже неловко стало, что прошлый раз он на него так набросился. Ну, спасибо тебе, секретарь. И до полного разгрома Пепеляева прощай техникум. Красный боец Томмот Чычахов отправляется на войну и шлет тебе боевой комсомольский привет.

Распрощавшись с секретарем, он внимательно прочел наконец надпись на конверте:

«ГПУ, комната № 5, Ойурову».

Томмот был возмущен. Надо сейчас же вернуться в горкомол и ударить кулаком по столу. Почему он послал меня в ГПУ, когда я просился в отряд? Какое отношение я имею к ГПУ? «Мы решили удовлетворить твою просьбу». Будто в насмешку... Да, этот чертов сын не зря хитро блеснул глазами. Да и я хорош — не разобрался, уши разлопушил. Вот если бы не в ГПУ, а в дивизион ГПУ — было бы совсем другое дело, потому что все говорят, что этот отряд — гордость красных войск. Может, секретарь горкома имел в виду именно этот отряд? Это предположение обнадежило Томмота. В самом деле, для чего этому горкомовскому секретарю направлять его в ГПУ, когда красные отряды вот-вот выступят навстречу Пепеляеву? Наверняка так оно и есть! Ругмя ругал такого хорошего парня — хорош я гусь!

До двухэтажного каменного здания ГПУ Томмот добрался быстро. В пятой комнате он никого не обнаружил, но, уже притворяя дверь, он услышал позади себя чей-то хриплый простуженный голос:

— Не я ли вам нужен, товарищ?

Обернувшись, Томмот увидел пожилого человека, костлявого, смуглого, сутулого, вытертый бараний полушубок внакидку, в одной руке несколько листов бумаги, в другой трубка.

— Я к Ойурову.

— Это я. Проходите.

Темноватая узкая комната с одним окном, выходя-

щим во двор, наполовину была занята старым письменным столом с точеными ножками и с тумбой на одной стороне. Столешница там и сям изрезана, керосиновая лампа с закопченным стеклом, по обе стороны два стула. Один из них под Ойуровым, когда тот сел, заскрипел, застонал как бы: «Больн-на-а!!»

— Садись. Рассказывай. — Ойуров взял трубку в зубы и склонился над листами бумаги. Густо попыхивая крепким черкасским табаком и шевеля губами, он что-то долго читал. Видимо, прочитанное ему не понравилось: он протянул «не-е-э» и откинулся на спинку стула.

— Ну, что, догор[1], рассказывай!

Томмот протянул ему конверт. Вынув из него четвертушку листа и прочтя, Ойуров положил конверт и хлопнул по нему ладонью:

— Ба, да ты, оказывается, свой человек! Чычахов, да? Послали из комсомола? Молодцы, обещание сдержали. С обкомом у нас уговор был. Та-ак, значит, учишься?

— Учусь.

— Родом ты, кажись...

— Из западных кангаласцев, — подсказал Томмот.

Ойуров расспрашивал подробно, но из его расспросов Томмот понял, что тот знал о нем много раньше. И хорошо, что так: он не приблудившийся с улицы, а в войска ГПУ берут не каждого встречного-поперечного!

— Хорошо-о! Значит, ты пришел к нам на работу. Скажи-ка мне откровенно: добровольно пришел? Если и направили без твоего согласия, стыдиться нечего, все мы, солдаты партии и комсомола, идем, куда пошлют. Это и есть партийная дисциплина...

Томмот немного встревожился: «пришел к нам на работу». Он пришел поступать в боевой отряд, почему этот человек говорит о какой-то работе? «Все мы солдаты» — вот это другое дело. Томмот сидел и молчал, теряясь в догадках.

Видя, что собеседник молчит, Ойуров сказал, будто утешая Томмота:

— Не важно, как ты попал сюда, главное — чтобы ты работал преданно, от сердца. Значение своей работы

---

[1] Догор — друг.

ты поймешь потом. Чека-ГПУ — это щит и меч революции. Знаешь, кто это сказал? — Томмот кивнул: эти слова Дзержинского были ему знакомы. — Можно ли сражаться, будучи лишенным щита и меча? Никак нельзя. Нечем будет защищаться от врага, нечем будет самому поразить противника. Без органов, подобных Чека-ГПУ, ни одна победившая революция не устоит. Знай, голубчик, что быть сотрудником ГПУ, чекистом — это высокая честь и большое доверие!

— Я пришел в ГПУ не работать, — желая исправить досадное недоразумение, поспешил вставить Томмот.

— Что-о?! — удивился Ойуров и вынул трубку изо рта. — Тогда зачем ты здесь?

— Чтобы вступить в ваш дивизион. Я просил, чтобы меня направили в действующий отряд. Я слышал, что ваш дивизион первым выступает навстречу Пепеляеву.

— Не знаю. Дивизионом командую не я, — как бы издалека отозвался Ойуров и принялся нещадно дымить табаком.

Томмот сидел виноватый. Толком не разобравшись в горкоме, прибежал сюда, отнял столько времени у занятого человека. Вот уж истинно говорят, что глупая голова ногам покоя не дает.

— Я не хочу работать в конторе. Я хочу сражаться, — в свою очередь отчужденно сказал Томмот, не находя другого, необидного ответа.

— Так-так. Хотя и не ново слышать, продолжай.

— Я бы пошел красноармейцем в боевую часть.

— Ну и?

— И все...

— Понял тебя... Прозябать в конторе не хочешь? Протирать штаны...

— Угу...

— Желаешь с винтовкой в руках сквозь ливень пуль с открытой грудью кинуться на врага?

Томмот и на это чуть было не поддакнул, да вовремя остановился, уловив насмешку. Будь Ойуров другой человек, тот же хотя бы секретарь горкомола, Томмот сейчас бы вскочил, сказал несколько запальчивых слов и ушел, хлопнув дверью. Разве уместны здесь насмешки — ведь он не на вечеринку просится! В такие минуты Томмот умел находить едкие слова и смело бросал

их в лицо обидчику. Но перед этим пожилым человеком с красными от бессонницы глазами, с набухшими на руках венами, он сидел, испытывая неловкость и не смея поднять глаза. Вместо того чтоб смело ответить на каверзный вопрос, Томмот с виноватым видом пробормотал:

— Я просил направить меня в опасное место.

— По-твоему, здесь, в ГПУ, безопасно?

Томмот пожал плечами:

— Все же там война... — и умолк.

— На войне умирают. Не так ли?

Томмот подтвердил кивком головы.

— А здесь, в ГПУ?

Томмот промолчал.

— Гепеушники не умирают, они сами убивают. Так, да?

— Не знаю...

— Врешь, знаешь! Ты сейчас про себя думаешь только так.

Сказал же: «дивизионом командую не я» — все. Чего он ко мне в душу лезет? — захотелось возмутиться Томмоту. Обидевшись, он мог бы вскочить и выйти вон. Но он не возмутился и не вскочил, словно кто пригвоздил его к сиденью старого расшатанного стула.

— Значит, здесь, в этой конторе, как ты говоришь, я протираю штаны в безопасности? Из-за боязни смерти...

— Я этого не сказал.

— Не сказал, но так получается. — Заскрипев стулом, Ойуров вышел из-за стола на середину комнаты и некоторое время постоял молча, сверху вниз посматривая на Томмота. — Ох, парни, парни! Дураки вы, дураки... Когда только за ум возьметесь? В жизни вам нравится только красивое, только громкое, будто играете в спектакле. Конечно, это красиво: упасть в атаке, на бегу, с криком «ура!», на глазах у сотни людей. «Просился в опасное место». А откуда тебе известно, где опаснее? В строю, среди сотен друзей, смелым может стать любой человек. Упадешь лицом — друзья поддержат тебя под грудь, упадешь навзничь — они же подхватят тебя под спину. Допустишь ошибку — простят, истощаешь — поделятся хлебом, попадешь в беду — выручат. А как с чекистом? Бывает, ему подолгу при-

ходится работать в стане врагов и только одному. Поддержки ждать неоткуда, одна надежда — на себя. Ошибись ты хоть на волосок — некому там простить тебя, дружески пожурить или выговор дать. Расплата там за все одна — собственная голова. И главное — никто не узнает, сколько ты пользы принес революции, как геройски вел себя перед смертью. Ведь о таких людях ни в газетах не пишут, ни славят с трибун. Одна у них радость и высочайшая награда — это победа Советской власти. Вот такие люди — чекисты. И щит и меч из стали куются. Труса разве возьмешь себе в качестве щита и меча? Какая цена такой защите и такому оружию? Так вот, Чычахов, если ты трус, рохля или просто слабак, если ты гонишься только за громкой славой, то забери бумажку и уходи. Такие люди у нас долго не задерживаются, а поэтому будет лучше нам с тобой не сходиться.

Томмот покраснел, покосился на свою бумажку, но с места не сдвинулся. Было бы уж слишком взять со стола эту бумажку и уйти, согласившись с тем, что ты действительно трус, рохля и пустозвон.

Ойуров тем временем вернулся на свое место, сел и набил в трубку новую закладку табака.

— Ладно, Чычахов, такие дела не решаются с наскоку. Пусть твое направление пока останется у нас. А ты иди домой и хорошенько подумай. Примешь решение — приходи.

Томмот в нерешительности приостановился, соображая, куда ему нужно — в техникум или в общежитие. Туман поплотнел, и пока он сидел у Ойурова, стало совсем темно. Из тумана вынырнула легкая тень и слепо наткнулась на Томмота, выронив что-то на заснеженный деревянный тротуар. Оба быстро наклонились, чтобы поднять предмет, и столкнулись лбами.

— Кыча? — удивился Томмот.

— Оказывается, это ты? А я рассердилась: что за дылда заступил мне дорогу! Со страху сумку выронила, — Кыча весело рассмеялась.

— Куда это бежишь?

— В больницу.

— Зачем?

— Да я там уже больше недели работаю. Санитар-

кой. Иногда помогаю сестре. После занятий многие девушки ходят туда.

— А я и не знал, что ты доктор.

— А, какой я доктор! Мою полы, вытираю пыль, ухаживаю за больными. В моей палате лежачие. Несколько раненых красноармейцев.

Студенты и в сытые времена от подработок не отказываются — это уж как водится, Томмот и сам такой возможности не упускал. Но она, дочь состоятельных родителей, — в чем ее-то нужда?

Девушка доверчиво взяла Томмота под руку и, сознавая себя в безопасности, бойко засеменила рядом с ним.

— У нас в палате парень один лежит, — рассказывала она,— Чаганом зовут, он из Намцев[1]. Проводником у красных был, обморозил ноги. Хоть и старается убедить, что ему восемнадцать, но видно, что прибавляет, — настолько мал, ну прямо дитя. И радуется из-за малости, и печалится по пустякам. Школьного порога еще не переступал, я обучаю его грамоте. Буквы прошли, теперь начали чтение по слогам. Вчера, когда сам прочел целое слово, как он радовался! Меня называет эдьиэй[2]. Когда белых прогонят, обещает мне выпилить красивую гребенку из мамонтова бивня, дед у него косторез. Пока ноги у него заживут, пройдем весь букварь, и выйдет он из больницы грамотным.

«Легко с нею», — думал Томмот, рассеянно слушая ее рассказ. Вовремя она явилась Томмоту, и не только сейчас, а и в жизни его, — об этом он тоже думал не раз. А теперь вот еще пареньку какому-то из Намцев очень даже вовремя, как нельзя кстати явилась. «Эти маленькие, ой, как шустры бывают!» — Томмот улыбнулся.

— А мы еще всей палатой книги читаем, — Кыча пристукнула рукавичкой по сумке. — Сегодня вот несу им «Дубровского». Сначала я русским прочитываю по-русски, потом для якутов делаю перевод. Сначала я переводить не умела, а потом легче стало. Замечаю, русские уже немножко толкуют по-нашему, а якуты — по-русски. Я думала — хорошо бы стать переводчицей, русские книги на якутский переводить. А устанем от

---

[1] Намцы — название одного из якутских улусов.
[2] Эдьиэй — старшая сестра.

читки, песни поем. Есть очень голосистые русские красноармейцы. «Смело, товарищи, в ногу! Духом окрепнем в борьбе!» А Чаган поет Ойунского: «Словно бурливое море!» Так расшумимся, что от дежурного нам крепко влетает. Ну, чего ты так медленно идешь? Они меня уже заждались. Давай руку — и бежим!

Глава шестая

Председатель собрания комсомольской ячейки, сухощавый и бледнолицый Семен Долгунов поднялся и размашистым молодецким движением расправил под ремнем черную сатиновую рубаху.

— Поздравляем Ивана Чуллургасова с принятием в ряды Российского Коммунистического Союза Молодежи!

Керосиновая лампа, подвешенная на почерневшей бревенчатой стене класса, мигнула от яростных аплодисментов. Собравшиеся разом оглянулись на последнюю парту в углу, где парень, только что принятый в комсомол, сидел ни жив ни мертв от сознания значительности минуты. Растерявшись, он не догадался даже встать и ответить на приветствие хотя бы кивком головы. Бедняга от смущения съежился и стал втискиваться в угол, как бы желая вовсе исчезнуть, но вызывая этим только смех и еще более дружные хлопки.

— А теперь мы должны разобрать заявление студентки Аргыловой Кычи Дмитриевны о приеме ее кандидатом в члены комсомола. Слово предоставляется секретарю ячейки Арбагасову. Ну, давай, Тихон.

Смех и ликование как обрезало, будто в веселый жаркий костер плеснули ведро воды. Стало очень тихо.

— Аргылову вы все знаете, она студентка второго курса, — начал Тихон Арбагасов. — За нее поручились двое: студентка медицинского техникума Адамова и наш комсомолец Томмот Чычахов. А теперь давайте обсуждать: принять ее кандидатом в члены комсомола или нет? Кто хочет высказаться? У кого-нибудь есть вопросы?

Никто не проронил ни слова.

— Надо послушать ее саму, — подал кто-то голос с задних рядов.

— И вправду!

— Ладно. Расскажите-ка о себе, Аргылова.

Она робко поднялась с задней парты, надеясь остаться здесь, за спинами других, но председатель безжалостно потребовал: «Сюда! Иди сюда!» и, как бы сам устыдившись своей резкости, опустил глаза.

Кыча сделала неуверенный шаг и еще один, будто входя в воду и отыскивая брод, а затем, словно отыскав его, пошла уверенней. Ноги ее в белых камусных торбасах замелькали, едва касаясь пола, и скоро замерли, достигнув председательского стола. Девушка откинула с груди на спину косу, взглянула перед собой большими и круглыми, как кольца на уздечке, глазами, и ее кинуло в жар. Она хорошо знала всех, до недавних пор они были просто Мартыном, Марой, Долоном, Тихоном, Степой... Теперь перед ней сидели вроде и не они. Кыча обвела дружеским взглядом (так проще ей было) тех, с кем училась, ладила, дружила. Никто не откликнулся, только вот Томмот, пожалуй... «О-о! Что же это такое? Не надо так, ребята...» Голова у Кычи начала постепенно сникать.

Томмот страдал за Кычу едва ли не больше, чем она сама. Стремясь ободрить ее, он даже привстал на месте, но Кыча не обернулась на его молчаливый зов, она стояла и глядела в пол с пристальностью отчаявшегося человека, рассматривая проплешины стертой краски на полу. Еще недавно бойкая, острая на язычок, девушка стояла под настороженными взглядами зала, ни от кого уже не ожидая помощи. Томмот сделал усилие понять своих товарищей, глянуть на девушку их глазами. Среди этих простых ребят в залатанных триковых штанах, в сатиновых и ситцевых рубашках с криво вшитыми воротниками и продранными локтями, обутых в торбаса из кожи, она показалась ему птицей с иных краев, будто в стаю сереньких пташек вдруг залетел белокрылый снегирь. Томмот и до этого тайком сравнивал ее с другими, он любовался ее движениями, лицом, ее опрятностью. Но то, что в нем вызывало восхищение, другим казалось сейчас нарочитым и вызывающим, чужим — все, даже вот эта длинная коса. Томмот понимал: Кыча и сейчас, скромно одетая, казалась им чересчур нарядной. Иных людей обряди хоть в шелка да сукна, они останутся такими же невзрачными, как и были. А на Кыче даже самая простая одежда кажется красивой, как

и она сама. На субботники она и вовсе приходила в самой грубой одежде, но все равно бросалась всем в глаза. Разве это ее вина?

— Ну, рассказывай, — с нарочитым отчуждением велел председатель, все еще не глядя на девушку.

Кыча вздрогнула: тон председателя показался враждебным. Ее обдало морозом, будто приоткрыли дверь в декабрьскую стужу. А ведь это был голос Сени Долгунова, ее однокурсника, которому она не раз помогала. Особенно слабо чувствовал себя Сеня в русском языке, в добрую минуту он любил звать ее ласково Кычарис... Может, обидеться ей сейчас, оскорбиться?

— Мне восемнадцать лет, родилась в тысяча девятьсот четвертом году... — С удивлением, как к чужому, стала прислушиваться она к своему натужному, охрипшему голосу. — Окончила сельскую школу, поступила в техникум. Сейчас вот учусь...

— Расскажи о происхождении. Кто отец? Кто мать? — испытывая неловкость и прикрывая ее напускной резкостью, спросил секретарь ячейки Арбагасов. — Где живут, чем занимаются?

— Отец с матерью живут у себя на родине...

— Богатые?

— Богаты...

Этого будто и ждали. До сих пор настороженно молчавшее собрание разом оживилось.

— Хамначчитов имеют?

— Имели...

— Отец в прошлом улусный голова?

— Да, говорят...

— Где находится старший брат?

— Весной, по слухам, примкнул к Артемьеву...

— К белобандиту?

— К бандиту...

— А чего скрываешь все это?

— Я не скрываю.

— Слова не вытянешь, а говорит: «не скрываю!»

— Хочет пролезть в комсомол обманом!

Не дождавшись, когда председатель предоставит ему слово, Чычахов вскочил с места:

— Товарищи, Аргылова разве скрывает свое происхождение? Она этого не делает. Кто такие ее родители — все мы и без того хорошо знаем. Как же она после этого будет скрывать?

— А если бы мы не знали? Скрыла бы?
— Потому только и говорит, что не может скрыть.
— Приперли к стене — куда же деться!
— А это все равно что скрыть!
— Да как же это можно — обвинять человека в том, чего он не делает, а только предполагая, что мог бы сделать? Как это называется? Я даже сло́ва не подберу... — растерялся Томмот.
— Появился адвокат!
— Я не адвокат. Я за нее поручался!
— Ты скажи, не виляй: отец Аргыловой — бай и тойон? Или не так? Он контра, он враг Советской власти или нет?
— Аргылов — бай, тойон, князек, голова. Враг Советской власти. Разве я оспариваю это?
— Смотри-ка, смирный голубок, он не оспаривает! Ну, спасибо тебе и на том.
— Ты меня не «голубничай» и мною в своих зубах не ковыряйся! — вспылил Чычахов, однако вовремя спомнился и обвел взглядом класс. — Почему мы ведем спор вокруг бая Аргылова? В комсомол мы принимаем не бая Аргылова...
— Кажись, ты бы не отказался принять в комсомол и богача!
— Мы должны вести разговор об Аргыловой Кыче, — оставив реплику без внимания, продолжал стоять на своем Томмот. — Мы разбираем ее заявление!
— Заявление дочери бая! Не забывай этого!
— Я не забываю, но кто такая Кыча Аргылова? Студентка, которая учится вместе с нами в советском техникуме. У нее наше советское сознание. Она политически развита. Она учится лучше многих из нас. Она активно участвует в общественной работе. Этого никто не станет отрицать. Ну разве она виновата в том, что была рождена отцом и матерью — богачами?
— По-твоему, классовый подход уже не нужен?
— Это вроде того как: «Пожалуйста, дескать, отпрыски баев, для вас двери в комсомол распахнуты»!
— Я этого не говорю! Я говорю о том, чтобы не стричь всех под один гребешок.
— Хватит, Чычахов, садись! Свои мнения ты высказал, поняли тебя! — остановил Томмота председатель. — Кто еще хочет сказать?
— У меня имеется вопрос!

От дверного косяка отделился и шагнул в сторону президиума плотно сбитый парень, стриженный наголо. Поддернув штаны с бечевкой вместо пояса, он шмыгнул носом и заговорил очень значительно, с расстановкой, радуясь какой-то своей, пока еще тайной мысли, но не спеша раскрывать ее.

— Аргылова, твоих родителей и старшего брата тут назвали контрами. Не отрицаешь этого и ты сама. А как мы должны поступать с контрами? — Парень выдержал паузу и сам ответил на свой вопрос: — Мы их должны стереть с лица земли! Всех!

— Правильно! — поддержали его.

Оратор скромно выждал паузу: другой реакции он и не ждал. Но он сказал не все, главная его мысль была припасена на потом.

— Аргылова, а если бы тебе сказали: расстреляй своего отца, контру? Что бы ты сделала?

— Не знаю... — не поднимая глаз, мотнула головой Кыча.

— Та-ак! А мать?

— Нет! — как от боли вскрикнула Кыча. — Нет!

— Та-ак! — опять поддернул штаны оратор. — Мне ясно. Я кончил.

И опять стало тихо.

— Есть еще у кого вопросы? Тогда перейдем к выступлениям.

— Я еще раз прошу, — глухо, как из бочки, отозвался Чычахов. — Вы, пожалуйста, говорите об Аргыловой Кыче. А отец ее — он сам по себе...

— Ты, адвокат, не адвокать! — столь же вызывающе отозвался кто-то в заднем ряду. — А то и до тебя дойдет!

— Напугал комар быка: влетел в ноздрю ему, да не вылетел. Я спрашиваю: здесь справедливые люди или нет? Я спрашиваю: здесь каждый со своей головой на плечах или каждый: дунут — он туда, вдохнут — он сюда, с приходящим приходит, с уходящим уходит? Томтосов договорился до того, что надо своей рукой расстреливать отца и мать, этого от нас, дескать, революция требует. Еще раз прошу: давайте к каждому человеку как к человеку подходить. Все!

Наступил момент, когда сила на силу, и надо выждать, собраться с мыслями каждому и встать или у этой стены, или напротив.

И тут, забыв приподнять крышку парты, встал, приподняв с собою всю парту, Филипп Лопатин, парень-богатырь в застиранной до белесости гимнастерке, будто бы не надетой, а распяленной на его широких плечах.

— Революция не требует от нас расстреливать мать и отца, — сказал он. — Революция велит нам бороться с врагами революции. Но Томтосов хотя и загнул сдуру, а все же прав — как хотите считайте. Наша республика в опасности. Сегодня не досмотреть на вершок — версту потерять. Пепеляев прет на нас с востока, море ему по колено, небо ему по горло. Может быть, через день-другой все мы возьмем винтовки в руки и пойдем ему навстречу. И я, Чычахов, тоже спрашиваю: можно ли нам в такой момент сопли размазывать, а ведь слова твои, Чычахов, сопли. Нежности мы потом будем разводить, когда победим. А сейчас если нужно расстрелять врага, то нужно его расстрелять, пусть он даже отец твой. Вот так стоит вопрос, и в этом я с Томтосовым согласен. Не расстреляй врага сегодня, он завтра же расстреляет тебя — вот так, Чычахов. Они реки крови пролили и прольют еще реки, а нам что же—молиться на них? Кыча—хорошая девушка, она и мне помогала, слаб я в русском языке. Спасибо ей. Но пусть поймет и она, и ты, Чычахов, что нельзя ее принимать в комсомол сегодня. Что скажут нам другие люди — родную дочь бая-тойона, разжиревшего на кровавом поте хамначчитов и бедняков, сестру белобандита мы примем сегодня в комсомол? Да ты, Чычахов, с ума сошел, что ли? Никаких других мнений здесь быть не может, как только отклонить заявление Аргыловой. А с Чычахова за потерю классовой бдительности строго спросить!

Боднув головою воздух, Лопатин сел.

— Верно! — теперь уж не выкрикнул, как прежде, а раздумчиво произнес кто-то из тех же, сидящих позади.

— Не в бровь, а в глаз!

— Нечего рассусоливать!

— Проголосуем!

— Товарищи, погодите... — еще раз попытался сказать что-то Чычахов.

— Наслышались! Хватит!

— Голосовать!

— Прежде чем проголосовать, ребята... — все еще рвался отчаявшийся Томмот.

— Здесь ребят нет! Здесь комсомольцы!

— Адвокат байской дочери!

— Хватит! Сядь!

— Председатель, веди же собрание!

— Голосуем! Кто за то, чтобы принять Аргылову Кычу кандидатом в члены комсомола, поднимите руки!

Ни одна рука не поднялась. Даже Чычахов, как оглушенный, стоял истуканом.

— Никого, — сказал председатель.

— Есть, есть! — опомнился наконец Томмот и, вскинув вверх руку, рухнул, где сидел.

— Теперь поднимите руку те, кто против.

Краем глаза Чычахов увидел лес поднятых рук.

— Кто воздержался? Нет. Против голосовали все, за исключением одного. В заявлении Аргыловой отказано.

Кыча стояла там же, возле стола, и все еще глядела в пол, будто уснула стоя. Томмоту хотелось подойти к ней, сказать ей какие-то пока еще не найденные обнадеживающие слова, поддержать, успокоить, облегчить ее горе. Но он сидел за партой, спрятав голову, будто виновный. Оказывается, Кыча была права, когда говорила, что ей откажут. Зачем он настоял тогда, чтобы она подала заявление? Он думал так: в техникуме ни студенты, ни преподаватели не думали о ней плохо, всем она нравилась. Всем и всегда она была хорошим товарищем. Томмот рассчитывал, что ее могут принять в комсомол, несмотря на ее байское происхождение. Пусть бы потребовали отказаться от родителей, это было бы понятно. Но чтобы так грубо и резко отвергли — этого Томмот не ожидал.

Теперь — он чувствовал это — друзья от него отдалились. Они смотрели на него отчужденно, как бы разочаровавшись в нем, между Томмотом и ними разверзлась пропасть. Он пытался понять, что за грех такой великий он совершил, в чем уж так неискупимо провинился, и не мог этого понять. Неужели и вправду он потерял бдительность, попав в плен к байской дочери? Нет, нет и нет! Все существо его противилось этой несправедливости. Он понимал, как неизбывно жгуча была у всех этих ребят ненависть к богачам, чей гнет и жестокость они до недавней поры испытывали на собственной шкуре. Но сам-то он, Томмот Чычахов, не из их разве числа? Разве он пришлый человек, который знает обо всем этом лишь

понаслышке? Неужели один только он так справедлив, умен, благороден, что способен сделать поправку, отступить от принципа ради утверждения того же принципа? Нет, Томмот Чычахов, ничем не оделил тебя бог таким, что возвышало бы тебя над другими, ты не лучше других. Может, считаешь, личные отношения дают тебе право...

— Аргылова, выйдите. На комсомольском собрании должны присутствовать только члены и кандидаты в комсомол...

Кыча вздрогнула, будто ее полоснули лозой. Напрягшись, чтобы понять происшедшее, она медленно обвела класс круглыми недоуменными глазами и наконец оторвала от пола негнущиеся тяжелые ноги. Высоко вскинув подбородок с ямочкой и вытянувшись от напряжения, она пошла к двери, на ходу прихватив сумку со своей парты.

— Не ходит, а прямо плывет, недаром князька дочь! — кольнул ее напоследок кто-то.

Но она уже не слышала этого. Выйдя, она кинулась бегом в темноту. Долго бежала она, опасаясь, как бы следом за нею не кинулся Томмот и не стал бы ее жалеть. Только уже порядочно удалившись, у перекрестка какого-то она упала грудью на невысокий заборчик из тонких лиственшек и, закрыв лицо рукавичками, зарыдала. Слезы, как видно, помогали ей облегчить горе. Она стала припоминать каждое обидное слово, сказанное ей на собрании, чтобы вызвать побольше слез, и когда истощились они, Кыча немного успокоилась.

Было уже далеко за вечер, небо обсыпало звездами. Беличьей опушкой рукавичек Кыча вытерла заплаканное лицо, когда услышала скрип шагов по утоптанному снегу.

— ...А потом что? — нетерпеливо допытывалась у подружки какая-то девушка.

— А потом он меня поцеловал. Вот сюда... Я делаю вид, что его отталкиваю, а про себя думаю: поцеловал бы еще хоть раз!

Кыча отступила в тень. «Счастливые, — подумалось ей. — Их никто не отталкивает, сами отталкивают...»

И опять, едва она сделала движение выйти из-за угла, чьи-то шаги заставили ее отступить.

— Голодранцы вонючие! — зло сплюнул какой-то громоздкий здоровяк в шинели. — Голь вшивая! Ничего,

пусть походят пока в комсомолах своих, но придет и наш день! Собаки! Уж мы отомстим...

— Ти-ше! — оборвала его женщина.

Об руку друг с другом прохожие мелькнули так близко, что едва не задели Кычу, и она успела рассмотреть, что шинель на мужчине была красноармейская и не в шапке он был, а в красноармейском же шлеме. Это ее поразило. Вот он, враг, прошел мимо нее — живой, злобный, наверняка под маской партийца. «Что же делать?» — забеспокоилась она. Идти следом за ними, чтобы знать, в какой дом они войдут, то ли звать кого-либо, чтобы задержали этого человека в красноармейской шинели. Но в ее положении и в теперешнем ее состоянии она не могла ничего сделать.

Идя домой и размышляя, Кыча стала успокаиваться. В конце концов она предвидела, что так именно и получится. Почему, в самом деле, они должны были принять чуть ли не в объятия дочь бая Аргылова? Хорошо учится, не отказывается от нагрузок? Вон тот, который прошел мимо, уж наверняка не отказывается от нагрузок. Держа за пазухой нож, этот, наверное, и улыбается приветливей других, и ораторствует на собраниях громче всех... О, бедняга Томмот, прямая душа! Наставят же тебе шишек твои друзья за то, что дал байской дочери вскружить себе голову. Но ты, Томмот, не кайся, я никогда ни в чем тебя не подведу. Тебя никогда из-за меня укорять не станут. Я никогда не обману твоего доверия, не разочарую тебя. Спасибо, Томмот. Ты ведь знаешь про меня нисколько не больше, чем твои друзья. Почему же так сильно ты веришь в меня? Как я отплачу тебе за твое добро? Не будь твоего доверия, как же я стала бы жить дальше?

Вдруг Кыча наткнулась на властный окрик, острый, как грань штыка:

— Стой! Кто идет? Документы!

Глава седьмая

После визита Валерия Аргылова Эраст Константинович Соболев лишился покоя. Без сна, в раздумьях, он всю ночь проворочался новорожденным жеребенком на жесткой кровати и на службу пришел совсем разбитый.

В середине дня с папкой в руках к нему вошел секретарь.

— Товарищ Соболев, — раскрыл он его личное дело. — При заполнении анкеты вы не везде указали время вашей службы в белой армии. Назовите точные даты.

Эраст Константинович охотно назвал. Опасаться ему было нечего: в своей автобиографии он описал все без утайки. Разве один он, кто прежде был в белых, а теперь служит в Красной Армии? Есть много и таких, кто прославился, сражаясь в рядах Красной Армии, некоторые даже отмечены высшей наградой — орденом Красного Знамени. Бывшие царские офицеры служат даже в высшем военном органе — Реввоенсовете республики. Рабоче-крестьянская власть не укоряет тебя прошлым, если ты честно служишь Красной Армии, и про Соболева никто не скажет, что он плох, службу он несет честно.

Но как только за секретарем захлопнулась дверь кабинета, Эраста Константиновича разом, как жар, охватила тревога. Он долго сидел в оцепенении.

Почему именно сегодня подняли его личное дело? Не вчера, не позавчера, а сегодня? И тут в его памяти всплыла продолговатая физиономия Валерия Аргылова. Эраста Константиновича словно током пронзило от пят до макушки. Нет, это неспроста! Между вчерашним визитом и личным делом, поднятым сегодня, наверняка существует связь. Не значит ли это, что тот азнат был под наблюдением и его визит к Соболеву не прошел мимо внимания чекистов? Вот почему подняли и перебирают его личное дело. Ясно, как белый день, из Чека позвонили военкому, а военком сказал секретарю. Беда, беда... Поймав себя на том, что сидит в позе застигнутого и сраженного, Соболев мотнул головой, встряхнулся и глянул в сторону начальника хозяйственной части Курбатова, с которым сидел в одном кабинете. Тот уткнулся в бумаги и, кажется, ничего не заметил...

Эраст Константинович вышел в коридор. «Может, попросить у секретаря личное дело? Вроде бы что-нибудь дописать в анкету... И выведать у него? А коли даст — что же ему такое дописать? Э, да что-нибудь найдется, он впишет какую-либо мелочь. А не подумают ли: почему это у него явилось такое желание сейчас, а не раньше?» По коридору навстречу шел военком, высокий, с маленькими усиками человек. Эраст Константинович проворно отступил к стене, уступая ему дорогу:

— Здравия желаю, товарищ военком!

Тот, озабоченный чем-то своим, даже не взглянул в сторону Соболева. Отвечая на его приветствие, он лишь небрежно приподнял руку к ушанке и, что-то бормотнув себе под нос, прошел дальше.

«Вот-вот! Так оно и есть. Так я и знал!» У Соболева даже в глазах зарябило. Ведь обычно при встрече военком останавливался, здоровался с ним за руку, называл его по имени-отчеству, расспрашивал про новости, интересовался его здоровьем. А теперь вот даже не глянул. Не к добру, ох не к добру он так разительно изменился! Проходя по коридору, Соболев через раскрытые двери кинул взгляд на столик секретаря. Бумаг там было достаточно, но папку со своим личным делом Соболев не увидел. Может, передал военкому? Ну-ка, ну-ка... Военком ведь вышел с портфелем в руках. Значит, унес? А куда? Не в Чека ли?

Эраст Константинович так исстрадался в сомнениях и подозрениях, так изнемог, что едва притащился в свой кабинет и раскурил трубку. Усиленно дымя, он попытался отвлечься, переключиться на что-нибудь, да все напрасно: все мысли его, как по кругу, возвращались к той же проклятой папке. Эраст Константинович глухо простонал, достал из кармана носовой платок и закрыл им лицо.

— Что с вами, Эраст Константинович?

— Кажется, заболел я. Простыл, мутит... Пойду домой, прилягу. Передайте секретарю...

Перед наружной дверью Соболев приостановился: он боялся увидеть во дворе поджидающих его людей. Услышав, однако, шаги позади себя, он толкнул дверь и, как навстречу гибели, чуть боком, прикрываясь плечом, шагнул за порог. В сенях никого не оказалось. Пустовала и улица. Лишь на той стороне виднелась одинокая фигура прохожего, уткнувшегося в какую-то старую бумагу, приклеенную на заборе.

По пути домой он успокоился. Желая покоя еще большего, он оглянулся, чтобы удостовериться в своем одиночестве, и обомлел: за ним на почтительном отдалении неторопливым шагом шел тот самый человек, который читал бумагу на заборе. Рыжеватое короткое пальто, шапка с наушниками, в валенках, да, это был тот самый... Значит, приставили к нему. Зачем бы случайному человеку идти следом так упорно и планомерно, на одном расстоя-

нии, не приближаясь и не удаляясь? «Ох, беда, беда! Где искать спасения? Если так, пусть меня берут из дому». Подойдя к своей калитке, Соболев толкнул ее и, очутившись во дворе, быстро шмыгнул в дом. В комнате он прежде всего накинул крючок на дверь и, не раздеваясь, застыл возле окна. Вскоре в окне промелькнуло рыжеватое пальто. Не зашел... Почему? Может быть, караулит его за домом? Значит, брать его пока не будут. Ну, что же, спасибо за передышку.

Эраст Константинович выдвинул до отказа ящик стола и поворошил там: черствый кусок хлеба, грязные носовые платки, некогда белая, а сейчас непонятного цвета перчатка, скомканные обрывки бумаги — ничего уличающего. Тогда он вытащил из-под кровати большой кожаный чемодан с двумя опоясками и, покопавшись в груде грязного белья и старых гимнастерок, отыскал там затасканный конверт. Наскоро прочитав вынутое оттуда письмо, он сжег его на огне спички, пепел бросил в печку на кухне, запихнул чемодан обратно под кровать и стал в раздумье: что еще нужно уничтожить. Ничего больше не отыскалось. Да и то письмо, которое он сейчас сжег, ничего опасного в себе не таило — это было обычное письмо от товарища, с которым он вместе лежал в госпитале. И все же... Нет уж, пусть лучше оно сгорит, так все же лучше.

Спал Соболев плохо. Едва вздремнет, тотчас накидывалось на него что-то тяжелое, и каждый раз он просыпался со всполошенным криком, весь в поту. А утром, коекак позавтракав куском засохшего хлеба, подобно слабой тени себя самого поплелся на службу. Он все ждал, что военком вызовет его, но тот никак не звал. Ему показалось, что и все другие сегодня относятся к нему не как всегда, а вроде бы сторонятся. За весь день Соболев так и не вступал ни с кем в беседу, ни к кому не подошел, а только сидел за своим столом да делал вид, что занят бумагами. Почему-то страшась оказаться на улице, он и в обеденный перерыв никуда не пошел, погрыз лишь черствый пирожок, когда-то купленный им и забытый в ящике стола. А тут еще как на грех вошла сторожиха, по-видимому, она искала кого-то.

— Вы еще здесь? — спросила она и сейчас же вышла.

Этот обычный, невинный вопрос привел Соболева в полное смятение. «Она знает?!»

Домой он пошел, когда уже стемнело, и, может быть, поэтому не заметил ничего подозрительного вокруг. И только на полдороге, остановившись и прислушавшись, он уловил позади себя шаги.

«Ну, вот, это опять он, — с каким-то даже ему самому непонятным удовлетворением подумал Соболев. — Следует за мной».

...И в третью ночь Соболев не сомкнул глаз, мучительно вслушиваясь во все, что доносилось до него снаружи. Уже далеко за полночь порывом ветра с треском распахнуло ставни — что стало с Соболевым! Он едва не умер с испугу.

С первой мировой войны Соболев успел побывать во многих переделках, но не упомнит случая, когда бы жил в такой тревоге. До сих пор ему всегда удавалось выйти невредимым из очень сложных положений. Сейчас же он, кажется, в тупике. Обидней всего было то, что тупик этот судьбе угодно было уготовить ему как раз здесь, в Якутии, назначению в которую он в свое время обрадовался, как спасению: в этом глухом диком краю он рассчитывал отсидеться. Почему, спрашивается, должен он теперь умереть? За службу в белой армии и у Колчака с него строго спросили, потаскали его по следствиям, затем послали сюда, работает он на совесть — и дальше бы так работал! Но это письмо!.. Этот проклятый Рейнгардт!..

Хорошо бы Такыров — так, кажется, назвался этот азиат — больше не появлялся! Если поймут, что он, Соболев, не имеет связи с людьми Пепеляева и не стремится к этому, то чекисты могут оставить его в покое. На вопрос, зачем заходил Такыров, он мог бы ответить, что выгнал его, не дослушав. Досель в бога не особенно верующий Соболев помолился про себя: великий боже, если ты есть, заставь их меня забыть, сделай так, чтобы меня не трогали.

Вечером на пятый день его, только что вздремнувшего после службы, разбудили:

— Эраст Константинович, добрый вечер.

Он открыл глаза и прямо над собою увидел ненавистную удлиненную физиономию, украшенную на этот раз усиками.

Соболеву страсть как хотелось вскочить и пинком в зад выпроводить этого навязавшегося на его голову наглеца, но он почему-то продолжал лежать, бездумно уставившись в потолок.

Не раздеваясь, Аргылов присел на стул.
— Вставайте! — распорядился он.
Сам дивясь своей покорности, Соболев послушно сел на кровати.
— Почему в постели?
— Простыл...
— На работу, однако, ходите аккуратно!
«Дикарь! Как смеет он на меня, дворянина, повышать голос!..» Но этот протест, возникший краткой вспышкой, тут же угас, и Соболев слабо пробормотал:
— Ломит в груди...
— Ладно, хватит. Я за условленным. Достали?
— Н-нет...
— Почему?
— План еще не составлен...
Соболев говорил, что в голову придет, шло бы только время.
— Не составлен? План операции составлен и утвержден. Одна копия плана к вам, в военкомат, должна уже поступить. Даю вам еще два дня сроку, это уже окончательно. Дальше тянуть нельзя. Послезавтра я должен получить требуемое.
— Я...
— Повторяю: послезавтра вечером копию плана я должен держать в руках. С воинскими частями связь установлена?
— Нет, то есть да... Переговоры велись, результаты пока неизвестны.
— Торопитесь, время не ждет. И нечего притворяться больным, в любом случае задание с вас не снимается. И еще запомните: станете вертеть хвостом — пеняйте на себя!
После ухода Аргылова Соболев битый час сидел на кровати, не шевелясь. Голова его была тяжелой, мысли неуправляемо плыли, ни на чем не останавливаясь. Лампа задымила, кончился керосин, Соболев задул ее, затем во мраке, на ощупь, добрался до шкафа и вытащил из него бутылку. Неразведенный спирт обжег нутро, еще и еще раз обжег. Упершись лбом в стену, Соболев отдышался и опять, как был, не раздеваясь, повалился на кровать. В голове чуточку прояснело.
«Что же все это значит? — лихорадочно соображал он. — Послезавтра... Где он возьмет требуемое к после-

завтра? «Пеняй на себя...» Да, эти люди ни перед чем не остановятся... в каком-нибудь овраге слегка забросают снегом... Дикарь явно под слежкой, не берут его лишь затем, чтобы установить связи. Арестуют его чуть позже, тогда же возьмут и его, Соболева. Сказать, что Такыров не приходил, что никакого письма Рейнгардта он, Соболев, не читал, приказа Пепеляева не получал и не было никакого задания? Но кто тебе поверит? Еще рад будешь признаться во всем и стать под дула ружей. Впереди только смерть. Не завтра, так послезавтра, спасения нет, тупик. О, проклятье! Лучше самому... Нажмешь на собачку, и конец всему: подозрениям, ужасу мести, мукам ожидания... Хватит! Пусть сразу же все кончится! Собственной рукой, собственным судом!»

Из-под подушки Соболев вырвал браунинг, взвел курок и прижал холодную сталь к виску, где отчаянно бился пульс. «Прощай, Соболев! — мысленно обратился он к себе, как к постороннему. — Судьба твоя — умереть в этом ледяном краю вдали от родных волжских берегов. Прощай».

Соболев едва закрыл глаза, как вдруг ослепительно вспыхнул залитый солнцем белокаменный дом в их имении посреди небольших дубрав, окна все в цветах, мать несет в решете клубнику. «Доброе утро, Эрастик!» «Эраас-ти-ик!» Соболев испуганно вздрогнул, явственно услышав этот голос. «Их самих... Са-мих!..» Браунинг с грохотом упал за кровать.

Открыл глаза. Угольно-черная ночь, смутным пятном светит обледенелое окошко, в углу с бумажкой возится мышь, на печи шуршат тараканы. Соболев до боли прикусил губу. Что это, уж не сходит ли он с ума? Хватит... Пора поставить точку! Пошарил рукой за кроватью. «Их сами-их!» Кого это «их самих»? Ах да, их... Конечно же, их! Почему он должен ради них жертвовать собой? Они ему родня? Они дети его? Они его жалеют? «Пеняй на себя». Как бы не так! Теперь кто кого опередит! Тогда он сразу высвобождается от подозрений, они не тронут того, кто им помог, кто разоблачил врага. «Ну, погоди ты у меня, азиат, косоглазая образина! С Соболевым шутки плохи, Соболев себя еще покажет! Лишить себя жизни? Из-за кого?! О, мамочка родная! Есть бог все-таки. Есть!»

Глубоко, полной грудью вздохнув, Соболев осторожно спустил курок и бросил браунинг на стол.

Утром, явившись на службу, он тут же сказал, что уходит по делам, и, уже стоя в сенях, осмотрел улицу: вдруг этот Такыров следит за ним? Ничего подозрительного он не обнаружил, часто оглядываясь, подошел к зданию ГПУ, да вдруг оробел. Соболев прошелся несколько раз по противоположной стороне улицы и, только вспомнив ночной ужас, не оглядываясь, уже решительно перешел улицу и распахнул двери.

Дежурный без всякого интереса выслушал маловразумительные объяснения Соболева и направил его в одну из комнат. Молодой русский, сидевший там, довольно долго слушал Соболева и вдруг, будто его осенило, вскочил:

— Идемте!

В третьей комнате за дымной табачной завесой смутно, едва различимо чернела чья-то голова.

— Трофим Васильевич, товарищ к вам...

Хозяин комнаты помахал руками, чтобы, если не для гостя, то хоть для себя самого чуть развеять дым, движением плеч поправил накинутый на себя полушубок и подал руку.

— Ойуров. Садитесь, товарищ.

— Соболев. Эраст Константинович.

— Из военкомата?

— Да, оттуда...

«Уже знает! Что я и думал... Хорошо, что догадался сам прийти, пока еще не поздно».

— Рассказывайте, я слушаю.

— Да, товарищ Ойуров... Меня зовут Соболев, Эраст Константинович, я служу в военкомате начальником отдела. Был командирован из Новониколаевска. Так вот..

— Это я знаю, товарищ Соболев. Успокойтесь и расскажите все по порядку.

— Спасибо, спасибо... Я служил в царской армии, офицер... Был и в белой армии у Колчака. Все это записано у меня в личном деле. Чистосердечно признал свою вину перед Советской властью, мне было все прощено, направили сюда на работу. Так вот...

— Это понятно. У вас все?

— Нет, еще не все... — Соболев вздохнул и глянул на собеседника. — Значит, так. Прошлой ночью... Нет, вчера вечером... да, вечером, ко мне домой заходил некто Такыров, якут. Связной генерала Пепеляева. Прибыл суток десять назад с востока.

— Такыров, Такыров... — Кончиками пальцев Ойуров слегка побарабанил по столу. — Может, он назвался иначе?

— Нет, нет! Он назвался именно так.

— Рассказывайте дальше.

Несмотря на холод в комнате, обильно потея и утираясь платком, Соболев, стараясь не сбиваться, рассказал о визите Аргылова и о его требовании достать копию плана операции красных войск против Пепеляева. Стремясь изобразить искренность и объективность, он все-таки постарался выставить себя в более выгодном свете, не упомянув про первый визит Аргылова и про письмо Рейнгардта. Про первый-то визит, может, в Чека и не знают, а если рассказать, то могут придраться, почему, мол, не донес сразу. А если про то и знают, можно сказать, что никакого серьезного разговора не было, гость приходил лишь удостовериться в моем присутствии. Про письмо же они определенно не знают, а если расскажет тот тип — отопрусь. Письмо сожжено, и пепла не осталось, поди докажи! Соболев сказал, что связной обещался зайти к нему вторично, несмотря на его, Соболева, решительный отказ. По ходу несколько раз ввернул он словечко про свою преданность Советской власти, а в заключение настаивал на немедленном аресте шпиона.

— Значит, он к вам придет завтра вечером?

— Да, завтра вечером.

Желтым обкуренным пальцем Ойуров поскреб жесткий ус, затем протянул Соболеву несколько листов бумаги.

— Идите в соседнюю комнату и подробно опишите все, что вы сейчас рассказали. Я вернусь, подождите меня.

В пустой комнате, где нижняя половина окна была забита доской, Соболев сел за стол и стал писать — вразумительней, чем рассказал, и с тем же расчетом выгородить себя. Писал он долго, кончил наконец, перечитал и внес поправки. А Ойуров все не шел. Соболев вышел в коридор, подергал дверь комнаты Ойурова — дверь была заперта. Тогда он спросил у дежурного, но тот ответил весьма холодно:

— Он скоро будет. Идите в комнату. И не выходите.

Сидя в ожидании, Соболев забеспокоился: «Не выходите...» Он что, арестованный? Может, чего доброго, сочтут его за сообщника этого шпиона да посадят? Нет, не

должно бы — он ведь пришел сам. Как же так?» Он уж совсем потерялся было в сомнениях, когда Ойуров вернулся наконец. Внимательно перечитав исписанные листки, он сказал:

— Ладно, все. А теперь идите к себе и работайте по-прежнему. О том, что были у нас, — никому ни слова. Сейчас вас проводят в задние двери.

— А как... с Такыровым?

— Встречайте его, как обычно.

— Хорошо...

Прощаясь, Ойуров подал руку:

— Спасибо, Эраст Константинович. До свиданья.

«До свиданья, — повторил про себя Соболев, выйдя через заднюю дверь на другую улицу. — Хорошо бы никаких больше свиданий с вами...»

Назавтра весь день ни о чем другом, кроме вечерней встречи, он думать не мог. «Встречайте его, как обычно...» Что это значит? И откуда он знает, как я этого Такырова встречал?

Вернувшись со службы, Соболев то сидел за столом, уставившись в окно, то расхаживал — успокоение не приходило. Уж совсем завечерело, а гость все не появлялся. «Может, уже арестован, — обнадеживал себя Соболев. — Хорошо бы так! Но почему тогда гепеушник велел встретить его по-обычному?» Истомившись в ожидании, Соболев лег, накрылся шинелью и незаметно уснул. Он обнаружил это, лишь когда внезапно сдернули с него шинель и чья-то холодная с морозу рука крепко встряхнула его.

— Скорей! Я опаздываю. Где обещанное?

— Нету... — только и смог пролепетать Соболев, ошалело хлопая глазами и дивясь тому, что уснул.

— Как это нету? Вы что, шутки шутите?

— Не вышло нынче, — пришел в себя Соболев. — Но завтра будет обязательно.

«Проклятые гепеушники! — чертыхался он про себя. — Нарочно тянут, чтобы этот сукин сын прикончил меня».

— Подлый трус! — чуть было не взвыл от отчаяния Аргылов. — Почему завтра? Может, и завтра не будет?

— Нет, завтра будет, — уверенно возразил Соболев. — Все уже на мази.

Уверенный тон несколько обнадежил Аргылова. Он испытующе глянул сбоку на Соболева и тряхнул его еще раз за грудки.

— Ну, смотри у меня, пень трухлявый! Еще раз обманешь, считай, что жить тебе осталось до завтра.

И тут произошло то, чего не только Аргылов не ожидал, но даже Соболев, который с минуты на минуту караулил этот момент. Внезапно рывком распахнулась дверь, и несколько человек с револьверами загородили собою дверной проем.

— Руки вверх!

Аргылов выпустил Соболева и, схватившись за карман, стремительно обернулся. Черные дула револьверов смотрели ему прямо в сердце. Аргылов начал медленно поднимать руки, но вдруг, оттолкнув плечом ближнего чекиста, ринулся к выходу. Второй ловко подставил ногу, и Аргылов, запнувшись, с размаху грохнулся лицом вниз. Он не успел и чертыхнуться, как его со связанными назад руками вытолкали вон.

Ойуров, это он дал подножку, подошел к Соболеву, все еще сидящему с поднятыми руками:

— Опустите руки... — И добавил чуть тише: — Завтра в двенадцать дня придете к нам.

Вот и все. Всего лишь с десяток секунд потребовалось на то, чтобы дать поворот судьбе. Когда за ушедшими хлопнула калитка, Соболев перекрестился.

На следующий день в условленный час Соболева препроводили в комнату Ойурова. Скоро привели и Аргылова. Войдя, он ожег своего компаньона таким взглядом, что Соболев поник и его недавнее торжество тоже угасло.

— Гражданин Соболев, повторите свои показания.

Соболев, мямля и не договаривая, вкратце повторил то, что написал.

— Гражданин Аргылов, это правда?

— Нет!

— Гражданин Соболев, подтверждаете свои слова?

— Да, подтверждаю.

— Гражданин Аргылов?

— Нет!

— Вы к нему домой приходили?

— Нет!

— Вы давали ему задания?

— Нет!

— Но последний ваш визит к Соболеву мы видели сами!

— Нет!

— Заладил «нет» да «нет». Отпирательство не избавит вас от трибунала. Признаетесь?

— Нет!

Ойуров сделал знак конвойному.

— Увести! Пусть еще подумает.

В дверях Аргылов приостановился и еще раз ожег Соболева злобным взглядом:

— Иуда...

Но Соболев в этот раз устоял. В тот момент и позже, шагая уже по улице в морозном тумане, он знал уже точно, что выиграл поединок. Иуда? Говори что хочешь! Никто не узнает, что тебя выдал Соболев, тайна уйдет вместе с тобой в могилу. Уже ничего не стоят сейчас ни храбрость твоя, ни верность присяге, ни злость твоя, ни презрение: завтра тебя уведет из жизни маленькая свинцовая пуля, а послезавтра о том, что ты жил, забудут.

Глава восьмая

Кычу будто бы подменили. Прежде веселая и озорная, острая на язык и неистощимая на выдумки, она ходила теперь потерянная, будто тень самой же себя, не стало слышно ее прозрачного, переливчатого смеха. Кыча сжалась, как цветок перед холодом ночи, пряча в себе свою горечь.

Понимая, что происходит с нею, и жалея ее, ребята не тревожили ее понапрасну, не утешали и делали вид, что ничего не произошло. Лишь Томмот на второй день после собрания подошел к ней.

— Чего тебе? — встретила она его отчужденно.

— Ничего... — растерянно пробормотал Томмот, будто ему дали по губам.

— За рекомендацию спасибо, но прошу тебя: не ходи за мной. Мне одной лучше...

Сказала как отрезала... После этого Томмот не смел к ней и приблизиться, хотя во время уроков она то и дело чувствовала на себе его взгляд.

Хорошо ей было только в больнице, где никто не знал про ее беду и где по-прежнему все любили ее. А однажды случилась и нечаянная радость: вернувшись в дом, где квартировала, Кыча увидела Суонду, тот сидел у плиты на кухне и грел спину.

— Ой, Суонда! Здравствуй! Давно приехал? Прямо из дому, да?

Разом отвечая и на приветствия, и на вопросы, Суонда молча покивал, а на лице его запрыгали мускулы — Суонда был рад.

Покидав на кровать шапку, шубу, рукавицы, Кыча вернулась в кухню и повисла у Суонды на шее.

Когда она была маленькая, Суонда вот так же покорно, как смирный конь, подставлял себя, а она лазила по нему, как хотела, вешалась на шею, влезала на спину, просилась на руки. И сейчас, как в детстве, она закрыла глаза, обняла Суонду за шею, положила голову на его каменные плечи.

— Как там мать? Все с ней хорошо?..

Суонда утвердительно кивнул.

— А какой гостинец она мне послала?

На этот раз Суонда покачал головой отрицательно.

— Ка-ак?! Разве ты не из дому?

Суонда в ответ только крякнул, вспомнив, как хотелось матери обрадовать любимицу, но отец сказал — зачем ей гостинец, если она сама приедет сюда?

Тут ввязался в разговор хозяин дома, торговец Ыллам Ыстапан, коротконогий толстяк:

— Не до гостинцев было ему, — стал он оправдывать Суонду. — Груз он привез для ревкома. У него, как у важного человека, даже бумага есть с печатью, не шути!

Опечаленная, будто дитя, пролившее молоко, Кыча опустила голову, и Суонда, увидев это, замыкал и задвигался в беспокойстве, как умный пес, учуявший настроение хозяина. Заботясь о согласии, Ыстапан принялся теперь утешать Суонду:

— Твоя Кыча ныне доктор, — сообщил он ему новость. — Она ходит в больницу лечить красноармейцев...

И в сердце у девушки опять потеплело: что за беда — гостинца нет? Она уже не маленькая. Зато сейчас, поужинав, она опять пойдет в больницу, там ждет ее радость.

...Из больницы в тот день она вернулась поздно, утром проспала дольше обычного и заспешила — не опоздать бы в техникум. Хозяин, прихлебывая чай на кухне, сказал как про зряшный пустяк:

— Ты бы, голубушка, не спешила, а поела бы как следует да оделась потеплей. Путь тебе предстоит не близкий.

Кыча чуть не поперхнулась куском лепешки.

— Не близкий? Куда это еще?

— Суонде сказано увезти тебя домой. Вчера на санях он приделал верх, будешь ехать, как в доме. Отец велел тебе вернуться домой и жить там, пока не утихнет война.

— Никуда не поеду!

Ыстапан принялся увещевать девушку:

— Разве так понимают волю отца? Отец всегда оберегает свое дитя. Скоро сюда надвинется война...

— Никуда не поеду!

— Поедешь, милая моя! — будто бы стер умильное выражение с лица Ыллам Ыстапан. — Отец велел — и конец! Иди одевайся!

Кыча вбежала к себе, наскоро оделась, схватила сумку и кинулась к выходу.

— Девка, не дури!

— Не имеете права насильно увозить!

— Ей еще и права подавай! Не хочешь слушаться, поедешь связанной, это тоже отец велел.

Откинутая сильной рукой, повалив на пути табуретку, Кыча отлетела и упала.

— Старуха, поди сюда! Нет времени, давай ее оденем. Суонда, конь у тебя готов?

Как заарканенного жеребенка, хозяин с хозяйкой подняли Кычу и потащили.

— Суонда-а! Спаси-и!..

Зажав в руках трубку и наклоня голову, Суонда сидел неподвижно. Не прошло и часа, как со двора Ыллам Ыстапана выехал крытый возок. На передке саней, набычив голову, все в той же позе грузно сидел Суонда.

— В пути ее не развязывай, — шепнул ему Ыллам Ыстапан, идя сбоку саней. — А ну, как сбежит, что хозяин скажет? Не беда, если и продрогнет немного, молодая девка, да и как может она застыть в такой одежде?

И правда, укутали ее так, что любой мороз едва ли добрался бы до нее: положили на оленьи шкуры, укрыли заячьим одеялом, да к тому же в крытом возке. Только опутана она по рукам и ногам, а во рту тряпичный кляп. Обессиленная Кыча теперь смирно лежала и плакала. Суонда ни разу не обернулся.

По пути через Лену на подъезде к острову Хатыстах к ним подскакали на конях двое вооруженных.

— Стой! Куда едешь? — с седла хрипло спросил молодой якут, видать, сильно продрогший на морозе.

Суонда молча полез рукой за пазуху, извлек оттуда бумажку и протянул.

— Привозил грузы ревкома. — Якут передал бумагу русскому, заросшему рыжей бородой. — А в повозке что?

Суонда неопределенно махнул рукой назад.

— Ты что, немой? — озлился якут и стволом винтовки раздвинул полог возка. — Баба там... Больная, что ли?

— Ладно, пусть едет, — смилостивился русский. — Держи свою бумагу.

Кыча опомнилась, лишь когда полог снова упал над нею, и отчаянно замычала и забилась в возке, но было поздно: конные простучали копытами и затихли вдали. Момент был упущен, Кыча беззвучно заплакала. «Одна защита — слезы соленые, одна заступница — слезы горючие...»[1]

Резвый конь стремительно нес сани к противоположному берегу. По обеим сторонам дороги беспорядочно громоздились ледяные торосы — волны могучей реки, остановленные властной рукой стужи. В их очертаниях с наклоном к северу ощутимо было это оледеневшее, неподвижное движение. Насколько хватало глаз, дремали эти торосы, дожидаясь весны, когда, расколдованные и подхваченные ледоходом, они снова обретут жизнь и опять поплывут на север.

Рукояткой плетки Суонда откинул часть полога вверх — пусть голубушка поглядит на мир. Наверное, она сейчас клянет Суонду, не зная о его думах, которые тяжко, будто с увала на увал, движутся в его голове. Кроме матери да Суонды, не было в мире третьего человека, который с такой преданностью любил бы ее, жалел и страстно желал бы ей добра.

---

[1] Якутская пословица.

Кыча вошла в его сердце еще трехлетней девочкой. Удивительно, как глубоко может проникнуть человек в сердце другого и как этот другой, будь он совсем-совсем ребенком, понимает это и отвечает той же душевной щедростью. Бывало, с мороза только войдет в избу Суонда и сядет спиной к камельку погреться, она сразу же прибегала, радостно смеясь, вешалась на шею и тормошила его. Украдкой Суонда нюхал ее головку[1], и ради такой радости он был готов перетерпеть что угодно, переделать сколько угодно самой тяжелой работы в самый лютый мороз. Когда он вдыхал запах ее головки с рассыпающимися волосиками, запах ее ладошки, — он забывал все: и прошлое свое, и нынешний день...

Суонда мог бы поклясться: отец свою дочь вспоминал только тогда, когда видел, он же, Суонда, помнил о ней всегда. Даже ночами во сне он играл с нею или торопился куда-то, чтобы спасти ее от беды. Днем, попав в какую-нибудь неприятность или огорчась, он прибегал к испытанному средству: вызывал в памяти Кычу, свою любимицу, и тогда все проходило — в глазах яснело, теплело в груди. Возвратясь из далекой поездки, зайдя в дом, он прежде всего искал взглядом ее, а она, вскрикнув: «О, Суонда... Ехяй, ехяй!»[2]—бежала к нему, растопырив ручонки, и обнимала его колени. Однажды Суонда возил своего хозяина к богачу соседнего наслега. Там за едой он улучил момент и спрятал в карман кусочек сахару, а вернувшись домой, тайком вручил любимице свой гостинец, успевший уже немного замусолиться в кармане. Грызя его, девочка похвасталась: «А мне Суонда сахар дал». Отец отнял у девочки сладость и кинул в печку: «Пахай[3], не бери в рот такую грязь!» А она — реветь! Стали потом ей подсовывать другие сладости, так она на них и не взглянула, все рвалась к камельку: «Дайте мне этот сахар Суонды!»

А какая была добрая! Как-то Аргылов раскричался на Суонду, Суонда не помнит за что — мало ли было таких криков? «Куда смотрел, или глаза твои вытекли?!» Суонда по обыкновению своему — разве он станет оправдываться? — стоял, не поднимая глаз на хозяина. И тут, откуда только взялась, прибегает маленькая Кыча. Схва-

---

[1] По якутскому обычаю понюхать голову человека — то же, что поцеловать его.

[2] Е х я й — возглас радости.

[3] П а х а й — возглас брезгливости, пренебрежения.

тила Суонду за руку, затопала ножками и давай кричать на отца: «Ты Суонду не ругай, не кричи на него! Он мой, не твой. Я не дам его бить!» Посмотрели бы вы тогда на эту крохотулю: губки надула голубушка, кулачки сжала, а глаза прямо так и горят! Аргылов, гроза улуса, от неожиданности примолк и попятился. А Суонда выскочил из дому, спрятался за поленницу дров и, сам не зная отчего, заплакал.

Так вот как он платит ей за доброту и любовь — везет ее связанную да в слезах, против воли ее, в неволю везет. Но как иначе поступить? Не исполнить повеление хозяина — о таком святотатстве хамначчит Суонда не мог и помыслить.

Родители его умерли, когда Суонде было лет десять, с той поры и стал он жить у Аргыловых. С тех пор на свете для него единственный бог, судья и господин — его хозяин. Сколько помнит себя Суонда, он работал только на него, выполнял только его распоряжения. За всю жизнь свою не было еще случая, чтобы Суонда ослушался своего господина. Аргылов, расчетливый бай, ценил его верность и надеялся на него, как на себя самого. Видел же Суонда, как живут хамначчиты у других баев, но его желудок не пустовал и тело через дыры в одежде не просвечивало. При тяжелой работе хорошо кормят даже вола — вот почему Аргылов, который не прольет на песок и капли влаги, а ради барыша хоть кого, не моргнув, пустит по миру и заставит плакать кровавыми слезами, не жалел для него ни еды, ни одежды.

Поразмыслить, так жаловаться ему, кажись, и не следует. А то, что он, Суонда, за всю жизнь ни разу не развел огня в собственном очаге, не познал сладости тела собственной жены, не баюкал кровных детей и не обводил гордым взглядом собственный скот, — так это, знать, доля его такая, такое ему от судьбы предопределение.

Нелегко понять Суонде, что делается с ним самим, что делается рядом и дальше, в мире. Но зачем ему понимать? Будет ли лучше от этого? Говорят, не прозришь будущее, осветив его лучиной. Но ум человеческий намного ли ярче лучины? Споткнувшийся не поправится, что убежало, того не догнать. Кончившееся не че́рпается, а потонувшее не всплывает. От стрелы, говорят, увернешься, но от судьбы не уйдешь.

Вон оно в мире что сделалось — одни красными называют себя, другие белыми называют себя, и все с ружьями, все рога на рога, зубы на зубы, а кто из них бел, кто черен, кто красен, кто зелен — сам черт их не разберет. Сколько крови пролито, сколько жизней ушло! Нынче убить человека, что комара прихлопнуть. Как начнут речи свои говорить — у каждого изо рта сочные травы растут. Да оно и понятно: не родился еще такой глупец, который сам про себя скажет, что он глупец. Кто из них прав, кто неправ — этого Суонда не знал да и знать не хотел. Не с его коротким умом распутывать эти узлы. Он только одно признавал за истину: не бывает так, чтобы одни люди были сплошь добродетели, а у других—только зло на зле. Красные говорят — мы защищаем бедных, а бедняков и у белых хватает. Пойди-ка, разберись в этом! Суонда одно только знал, в какой бы цвет ни красились люди, богач всегда есть богач, а бедняк всегда только бедняк. Что-то не пришлось ему ни разу видеть бая, который стал бы солдатом... Нет, Суонда не стремился к богатству, ибо в звездный час судьбы от многого много падет, от немногого мало падет, и все будут уравнены. Не намерен он был и к тем примыкать, кто против богатства. Зачем ему брать в руки ружье? Отбирать богатство у других? Нет, перед лицом судьбы и это бессмысленно, это попросту непонятно было Суонде. Чужого ему не нужно, а своего у него нет ничего — что же он будет тогда защищать? За что ему людей убивать, если он, якут, до старости дожив, ни разу ни зверя, ни птицу не подстрелил, ни разу из ружья не выстрелил?

Ездить, однако, опасно стало, могут отобрать коня, а то и вовсе пристрелить, будь ты хоть белый, хоть красный. В такое время безопаснее не выходить за усадьбу, но Суонда охотно отправился в этот путь, узнав от хозяина, что ему надлежит не только отвезти груз для ревкома и тайком разузнать в городе про Валерия, но главное — привезти домой Кычу. Судьба Валерия мало интересовала его, пусть хоть сгинет он, Суонда слезы не уронит. Негодник с малых лет пошел весь в отца. Голова его еще над столом не выступала, а он Суонду уже за человека не считал. Бывало, то всадит ему в спину стрелу из лука, то спящему всыплет в нос нюхательного табаку. С детства он был по-отцовски груб, нагл и жесток. Вчера в доме Спиридонки Суонда узнал, что и Валерий, и сам хозяин дома арестованы. Натворили что-нибудь, вот и

попались. И поделом им обоим, туда им дорога. Ему, Суонде, от их беды ни жарко ни холодно, он везет свою Кычу, и большего ему ничего не надо. Старик Аргылов, как всегда, здраво рассудил. Если Валерий сотворил там что серьезное, то едва ли оставили бы в покое и его сестру. Да и в случае боев девушка в городе тоже может попасть в беду. И конечно, правильно рассудил отец, что в такое тревожное время дочери лучше находиться дома.

Кажется, голубушка, все еще плачет. Одно слово — ребенок. Оторвали ее от учебы, разлучили с друзьями — вот и горюет. Да и слишком уж грубо обошлись с нею Ыллам с женой, хотя, кажется, иначе нельзя было. Попробуй-ка сладь с нею, взрослой девушкой, когда она сопротивлялась так. Может, освободить ее от пут хоть сейчас-то? Нет, нельзя! Только развяжешь, кинется назад. Нет уж, пусть лучше полежит так, пока не отъедут подальше.

Все еще плачет... Не гадал — не думал Суонда, что когда-нибудь обидит Кычу хоть малой малостью, не говоря уже о том, чтобы везти ее связанной, умывающуюся слезами. Человек, который посмеет нанести обиду Кыче, станет его смертельным врагом, а он, Суонда, будет всегда защищать, оберегать и лелеять ее, ради счастья ее он готов умереть. Так он ду́мал всегда и сейчас, когда вез ее связанной. Как объяснить ей такую нелепость? Как он хотел бы сейчас развеять в прах ее вражду к себе, а заодно и печаль. Но не дано ему быть многоречивым. Счастлив тот, кого господь одарил красноречием, кто говорит, будто из рта струи воды выпускает. Он же подряд не может выговорить и пяток слов, он сделает, а не скажет. За это называют его межеумком, а то и дураком, но редко кто догадывается, что этот молчун про себя необычайно красноречив. Принимают его за толстокожего вола, за холоднокровную рыбу, не зная, что сердце в нем трепетно и ранимо. Горе жить непонятому, неоцененному. Это едва ли не то же, что целую жизнь в подвале просидеть без света. Но бог с ними, с людьми, — как вложишь в чужой ум свои мысли? Но она-то, Кыча, она — светлое окошечко в подвале жизни его, неужели и она не поймет своего Суонду?

Что-то не ко времени защекотало у него в носу. О жестокая жизнь, что же ты вытворяешь со мной, заставляешь идти против себя самого?

Спина его согнулась, а голова клонилась все ниже. Долго он ехал так и плакал. Слезы замерзали у него на щеках.

А Кыча плакала о своем. Она оплакивала город, техникум, раненых бойцов в больнице и всю эту, нет, не легкую, но теперь, стоило лишь переехать на другой берег Лены, как бы уже издалека, из прошлого обозреваемую прекрасную жизнь. Скоро ли вернется Кыча в такую жизнь? И вернется ли? Отец теперь не отпустит ее от себя. Нет, не на время, не ради ухорона от опасностей велел он привезти ее связанную. Отцу не должно понравиться, что женщина, будь она даже дочь его, станет ученая да еще благодаря коммунистам, этого бай Аргылов теперь не допустит. Так что прощай Якутск, прощайте книги, прощай завидное и такое в наших краях редкостное звание студентки, все прости-прощай!

Прощайте и вы, кого она до недавней поры, до злополучного собрания называла своими друзьями. Прощайте с миром, у вашей бывшей Кычарис нет вражды к вам, вы по-своему правы. Бедняк с богачем никогда не могут ужиться. Одна доска на лопату, — есть поговорка такая, — другая доска на икону. Вот так оно, хотя обе те доски-то, может, из одного дерева... Но не думайте, что полтора года, которые я прожила среди вас одной с вами жизнью, обучаясь тому же, чему и вы, с теми же, что и у вас, мечтами, я прожила зря. Или думают, что для меня, только вступившей на порог жизни, ничего не значит ветер революции? По-вашему, все это, как в худой турсук, вошло в меня и вышло? Томмот попался в мои силки, думаете вы. А не попалась ли я в его силки, об этом вы не подумали? Ведь мы дружили с ним. Я замечаю, что я начала думать, как он. Разве убежденность не передается от одного человека к другому, особенно если... О Томмот, Томмот! Твое доверие ко мне дорого тебе обойдется! Друг мой, прости меня, глупую девчонку. Никогда я не говорила с тобой ласковей, чем с другими, если и улыбалась, то ничуть не иначе, чем другим. Ничем я не выделяла тебя. Но поверь: для меня ты всегда отличался от других. С чего началось это? Мне кажется, я знала тебя задолго до встречи, может быть, даже до рождения? Говорят, будто и так бывает, хотя непонятно, совсем непонятно... А может быть, это подобно тому, как капля за

каплей накапливается паводок и вдруг прорывает плотину?

В первые дни учебы — помнишь ли? — на курсе образовалась обособленная группа, человек пятнадцать хорошо одетых и ухоженных ребят из состоятельных семей.

Кыча оказалась в их кругу — иначе и быть не могло.

Все было так, как и должно было быть. В крепкой спайке друг с другом щеголеватые парни и жеманные девушки со снисходительным недоумением избранных глядели, чуть отстранясь, на новую жизнь, на новые порядки и нравы. Студентов-бедняков, приехавших из таежных улусов, они в лучшем случае жалели, как жалеют уродов, а чаще смеялись над их ситцевыми рубахами, триковыми штанами, торбасами из грубой кожи, дивились их наивности и ужасались их простонародной манере сморкаться, зажав нос пальцами. Сами же, богато и ладно одетые, они хорошо танцевали и пели, по-русски шпарили, что твоя вода течет, а по-родному, по-якутски, говорить стыдились.

И был среди них Папа из Вилюя, парень довольно видный, который скоро разглядел Кычу и стал настойчиво за ней ухаживать.

Однажды на праздничном Октябрьском вечере, выпив по случаю торжества и добавив еще для храбрости, он увлек Кычу в пустой класс, но тут-то на счастье и оказался Томмот. Произошел обычный в таких случаях разговор — отпусти девушку, не отпущу, ты кто такой, а ты кто такой, — после чего затрещала разорванная рубаха Томмота, а следом за тем бравый парень Папа полетел вниз по лестнице, растопырившись и беспорядочно, как плетьми, размахивая руками. С тех пор он оставил Кычу в покое, хотя окрестил ее «комсомольской барышней».

Томмот спокойно ушел, тут же забыв про этот случай. Но Кыча не забыла. На второй же день она надерзила ему, будто не Папа, самоуверенный хлыщ, обидел ее, а он, Томмот.

— Ждешь моей благодарности? — подошла она к нему с заносчивостью. — Одинаково не терплю и нахалов, и непрошенных заступников.

Томмот только глянул ей вслед с недоумением.

Кыча сама тогда удивилась своей неискренности. «Одинаково не терплю», — сказала она. Нахала

Пану — ну, пусть. Томмот же — э, нет! Он ей понравился...

А потом было вот это... Злейшему врагу своему не пожелаешь испытать тот ужас, когда гибель — вот она, неотвратимо движется на тебя, и ты, оцепенев, стоишь, как в землю врос, и будто бы даже безразлично ждешь это последнее в своей жизни мгновение...

Студентов мобилизовали на заготовку дров, всем курсом они поехали по дороге на Кэнкемя[1]. Была весна. Снег почти сошел, остатки его белели в низинах, как клочья заячьей шерсти. Почки на деревьях уже лопнули, был головокружительно нов после зимы запах проснувшейся к жизни тайги. Сосновые рощи, окружавшие город, сменил лиственный лес, и здесь молодая свежесть весны была упоительно сладостна, она мягко и ласково убаюкивала мирным своим покоем.

«Избранные», и тут держась особняком, решили, как видно, показать, на что способны, остановились у гигантской, в два обхвата лиственницы. Один из них сделал подруб топором, двое принялись пилить, еще трое стали по сторонам с шестами, чтобы направить дерево в сторону падения. Дерево было перестоявшее, с гнилью внутри; еще не пропилили и до половины, как оно неожиданно вздрогнуло и стало медленно клониться, но не в сторону подруба, а вбок.

— Падает! — завопили «избранные» и бросились кто куда.

Вокруг Кычи в один момент стало пусто. Дерево падало прямо на нее. Она стояла как завороженная и спокойно, будто бы с интересом даже наблюдала падение дерева. Как бы защищаясь все же, она закрыла глаза, а когда опомнилась, оказалось, что она лежит, уткнувшись лицом в брусничник. Удивленная, она приподнялась и оглянулась. Упавшее дерево лежало рядом, из-под кроны его, с трудом волоча ногу, вылез Томмот. Его тут же посадили на телегу и увезли.

Только теперь поняла Кыча, что произошло, и запоздалый ужас охватил ее: смерть была только что вот здесь, в шаге от нее. Оказалось, в тот момент, когда «избранные» кинулись врассыпную, Томмот подскочил к ней и успел оттолкнуть в сторону.

К счастью, с ногой у него обошлось, и она на второй день после занятий дождалась его во дворе.

[1] Кэнкемя — местность вблизи Якутска.

— Томмот, я жду тебя.

— Почему? — насторожился Томмот, ожидая от нее какой-нибудь дерзости.

— Спасибо тебе. За вчерашнее...

—Сама небось думаешь: дождался-таки бедный моего спасиба. Ну, спасибо тебе за твое спасибо.

И тут она сделала неожиданное движение: подойдя вплотную к Томмоту, она прислонилась лбом к его плечу и постояла некоторое время. Так молодые кони в летний благостный день на тучном пастбище подолгу стоят, положив головы на шеи друг друга.

С тех пор они часто встречались, рассуждали и спорили, бескорыстно отдавая друг другу все, что было у них за душой. Кыча помнит, как горячо Томмот втолковывал ей, казалось бы, прописные истины. Только теперь она поняла, что для него они не были прописными, он их постиг сам, принял сердцем. Вот почему он так горячился. Кажется, был разговор о равноправии, о свободе... Тогда Кыча рассмеялась:

— Я это знаю. Я знаю, что гнет баев давит, что материальные блага создает труд, что этими благами должны пользоваться сами трудящиеся, что свобода, равенство и братство — завоевание революции. Об этом только и говорят. Ну, что я еще такое не знаю, что знаешь ты?

— Если ты так говоришь, ты не знаешь того, о чем говоришь.

Она не поняла его, а он объяснять не стал, собрал свои тетради и ушел. Она поняла лишь то, что обидела его. Сейчас Кыча знает, что те «прописные истины» были для Томмота воздухом, которого человек не замечает, но без которого и минуты не может прожить.

Когда наступил момент, начиная с которого Кыча стала дышать этим же воздухом? Она момент не уловила, ибо жизнь есть течение: Лена от истока к устью течет и течет, и нет у нее на всем пути в три тысячи верст ни единого места, где можно было бы указать — вот это прежняя Лена, а вот это новая. Томмот сказал ей — вступай в комсомол, она подала заявление, и ни он, ни она и не подумали даже, что Кычу могут не принять.

Теперь ему достанется, бедняге. Уже сегодня замечено, что ее нет на занятиях, а завтра и послезавтра пойдут разговоры. Вот видишь, станут все говорить ему, ты за нее поручился, а она сбежала под байское крылышко,

в родимый дом, волчата всегда при волках... Трудно будет ему: один против всех, попробуй-ка отбейся!

И тут вкрадчивой лисой вошла в сознание и замерла мысль: а почему непременно против всех? Почему Томмот обязательно будет отбиваться? Трудно будет поверить ему, что Кыча действительно сбежала, но как не поверишь? Разве он узнает о том, что ее увезли связанную? Ыллам не таков, чтобы выложить правду!

Эта мысль ошеломила Кычу. С чем угодно могла бы она смириться, только не с этим. Допустить, чтобы Томмот разочаровался в ней и сменил доверие на презрение, — нет, этого допустить никак нельзя, это было бы сверх всякой меры жестокости, насмешкой над святостью их отношений. И кто же вверг ее в такую беду — Суонда, ее любимый Суонда! Еще одна усмешка судьбы...

Изловчившись, Кыча связанными ногами сильно толкнула Суонду в его широкую сгорбленную спину. Тот повернул к ней заплаканное лицо. «Ах, ты плачешь! Ну, поплачь и ты, поплачь!» — Нисколько не разжалобили, а ожесточили Кычу его слезы. Она замычала завязанным ртом и отчаянно забилась, всем видом своим требуя ее развязать.

Чуя неладное что-то, Суонда сейчас же в несколько движений снял с нее путы и развязал рот. Оказалось, как ни тепло укрытая, Кыча в неподвижности сильно продрогла.

— Куда мы приехали? — зуб на зуб не попадая, спросила она, выглянув из возка. — Это Мельджэхси? Так далеко?

Суонда кивнул головой.

— Вернемся в город, Суонда! Пожалей меня! Спаси меня, Суонда!..

Тот отрицательно покачал головой. Это означало, что никакая сила не могла бы его склонить к тому, чтобы не выполнить волю хозяина. Но и Кыче невозможно было смириться. В крайнем отчаянии, не зная на что рассчитывая, она соскочила с саней и кинулась по санному следу назад. Онемевшие ноги, оказалось, совсем не несут, ее шатнуло, и тут же ее настиг Суонда.

— Ы-ы-ы! — решительно промычал он, легко поднял ее на руки и снес в возок.

— Суонда! Как же ты не понимаешь! Послушай меня...

По сгорбленной спине батрака прошла дрожь.

Кыча уткнулась лицом в эту спину. Так, оба плача, навстречу неизвестности ехали лесом двое любящих друг друга людей, один из которых сейчас был мучитель, а другой — его жертва.

Глава
девятая

В первый день на пустующее место Кычи посматривал лишь обеспокоенный Томмот, да староста курса в журнале против фамилии девушки сделал жирный прочерк. Зато на второй день техникум облетела поразительная весть: Кыча Аргылова убежала к белым. К белым! Такого Кыча не могла бы предположить даже в своих худших опасениях, когда связанную ее увозили в санях. Слух этот распространился со скоростью летящего стрижа.

Томмот был поражен как громом, в первую минуту он прямо остолбенел: Кыча убежала к белым? Да никогда! Он попытался точно установить, от кого пошел слух, но это ему, конечно, не удалось. Впору думай, что слух этот возник сам по себе. Кто-то рассказал, кто-то слышал, кто-то передал, а кто — поди разберись! Слуху поверили, и как бы даже с охотой поверили: что же удивительного в том, что дочь контры удрала к белым?

— Аргылову спрашивают, Аргылову!

— Кто спрашивает?

— Кажется, военный какой-то.

— Не из Чека ли?

— Очень может быть!

— Где Чычахов?

— Томмот, поди сюда!

Перед Томмотом стоял пожилой русский, одетый в короткий белый полушубок, левая рука его висела на перевязи. Военный козырнул, поднеся здоровую правую руку к поношенной заячьей шапке со звездочкой.

— Копылов, красноармеец из больницы. Хотел бы повидать Кычу Аргылову.

— Ее нет. Не приходила ни сегодня ни вчера...

— А где она?

— Не знаю.

— По какой причине?

— Не знаю.

— Не знаю да не знаю! Как же так, вы с нею вместе учитесь. Может, она заболела, а вы и знать не знаете! Как твоя фамилия? Чычахов? Слушай, Чычахов, ты сейчас же сходи туда, где живет она, и все разузнай в точности. В больнице ее ждут, а ее нету — как же так? Если она прихворнула или что, мы добьемся, чтобы туда сходил доктор.

В калитку, заложенную изнутри, Томмот стучался довольно долго, никто на стук не выходил, лишь пес надрывался, гремя цепью. Когда Томмот отчаялся и даже пес перестал рваться с цепи, утишив свой бешеный лай, лишь тогда вышла женщина.

— Кто?

— Аргылова дома ли?

— Нету ее.

— А где она?

Глянув в щель, Томмот увидел, как женщина пошла обратно к дому.

— Где она? — вслед ей закричал Томмот.

Ответа не последовало, и это задело Томмота. Сотрясая забор, он стал упорно бить ногой в калитку.

— Кого надо? — на этот раз вышел сам хозяин.

— Аргылову.

— Тебе уже сказано: нету ее. Или ты человеческого языка не понимаешь?

— Открывай!

Повелительный тон Томмота, кажется, возымел действие, и Ыллам, отодвинув засов, в приоткрытую калитку высунул красное лоснящееся лицо:

— Скажи-ка, товарищ... Вы откуда будете?

— Из техникума! Из педагогического техникума я...

— Из техникума и так сильно пинаешь?

— Прошу тебя, скажи правду: где Кыча?

— Бог знает, где она теперь, — Ыллам Ыстапан неопределенно вскинул голову вверх.

— Как это так — ты не знаешь?

— А ты кем ей будешь? Брат, сват?

— Я тебя спрашиваю: где Кыча?

Отстранив хозяина чуть в сторону, Томмот шагнул вовнутрь, но Ыллам Ыстапан изо всех сил толкнул парня в грудь, и тот опять оказался за калиткой. Громыхнул засов.

Томмот потерялся в догадках. Уехала на родину? Это, пожалуй, правда — больше ей ехать некуда. Но зачем она это сделала? Может, правы ребята, что дочь бая потянуло к баям? Чем станешь опровергать это предположение? Неужели все, что он думал о Кыче, — самообман и все, что говорила она ему нынче и в прошлом году, только ложь и притворство? Не в силах поверить в это, но не в силах и разувериться, Томмот дошел чуть ли не до отчаяния. В таком состоянии человеку нужнее всего друг, но где он? С кем-нибудь из ребят потолковать? Да что толку, все то же самое услышишь: потерял революционную бдительность, попал в силки байской дочке... И тут пришла ему в голову неожиданная мысль — сходить к Ойурову. Умный старик поймет его, а то еще и поможет: правда, пусть даже самая горькая, лучше безвестности, а в ГПУ выявить правду сумеют...

В каменном здании на улице Красной Молодежи не оказалось никого, кроме дежурного.

— И не будет никого, — сообщил дежурный. — Все на похоронах, Михася Урчусова нынче хоронят.

— Мне бы товарища Ойурова... — замялся Томмот, испытывая неловкость оттого, что не знает, кто таков Михась Урчусов, которого все отправились хоронить, бросив дела.

— Если важное что-нибудь, сходи к нему домой, — посоветовал дежурный. — Знаешь, где он живет? Я сейчас тебе растолкую...

Поблагодарив радушного дежурного, Томмот пересек несколько улиц, прошел через несколько проходных дворов и вышел к длинному старому зданию над логом. В длинном темном коридоре Томмот нащупал третью дверь слева, как объяснил ему дежурный, и постучал.

Услышав из-за двери «не заперто», Томмот вошел. Ойуров сидел у печки, глядя в огонь, на вошедшего он не поднял головы.

— Здравствуйте, товарищ Ойуров.

— А, это ты! — с трудом отвлекшись от какой-то невеселой думы своей, Ойуров глянул на гостя. — Возьми-ка вон чайник да принеси воды. В коридоре, в бочке...

Томмот долго шарил в темноте, ища бочку и с недоумением думая о странном поведении хозяина: не удивился его приходу, ни о чем не спросил, а послал с чайником, будто они вдвоем тут живут.

— Чайник на плиту поставь. Раздевайся, кажется, обогрелась немного берлога моя. Ты стихи любишь читать? Зажги-ка вон свечку да подай мне... Там на столе увидишь...

С каждой минутой все больше недоумевая, Томмот зажег свечной огарок лучиной из печки, и на столе, заставленном немытой посудой, увидел старый журнал в синей обложке.

— Читал ты когда-нибудь этот журнал?

Томмот прочел: «Саха сангата»[1], журнал якутской художественной литературы, год 1912». Нет, такого журнала Томмот не читал. Он даже не знал, что такой журнал, да еще до революции, здесь, в Якутске, издавался.

— То-то и оно! — По всей видимости, Ойуров продолжал какой-то не законченный с кем-то спор. — Не знаем ни истории, ни культуры своего народа, зато страсть как любим об этом рассуждать! Да еще чем больший невежда, тем больший знаток! Прочти-ка мне вот это... — перелистал страницу и ткнул в нее пальцем Ойуров.

— Анемподист Софронов, «Родина». — Томмот послушно взял в руки журнал и прокашлялся. — О, Родина! Родная ширь! Ты, как плененный богатырь, лежишь под тяжестью веков у ледовитых берегов. Но верю я, твой час придет, проснется бедный мой народ, и разлетятся силы мглы, оковы зла и кабалы. Кто раньше встал, тот громче пой! Счастливый поднимай прибой. Труби, весенняя вода! Пусть содрогается беда...

— Э, парень, не так эти стихи читал Михась Урчусов! Не так... Глаза его горели, голос звенел.

Бедный Томмот поник головой: что поделаешь, если он ничего не знал об этом журнале и если он не умеет читать стихи так хорошо, как Михась Урчусов! Но он, однако, не спешил обижаться. Он понимал, что старик Ойуров долго-долго носил в себе какую-то большую боль (не такую ли большую, с которой Томмот пришел к нему сам?), и спокойно ожидал, во что выльется их разговор.

— А знаешь ли ты Анемподиста Софронова, который десять лет назад это стихотворение написал? Не знаешь... А он сейчас участвует в организации отряда против Пе-

[1] «Голос якута».

пеляева. Михась робел перед ним, говорил — мне бы хоть частичку его таланта. А сам талант был! Такой граждан ский талант, ищи — не сыщешь...

Не смея поднять глаз на разгорячившегося удрученного старика, Томмот сказал:

— Я знаю, что похоронили сегодня Михася Урчусова. Скажите еще что-нибудь про него.

Тут и хозяин в свою очередь немного смягчился:

— Чайник вскипел!

На полке, в заиндевевшем углу он отыскал ломоть черного хлеба и несколько кусочков вареного мяса, сдвинув локтем миски-склянки на край стола, положил еду на чистое место и, подумав, вышел за дверь. Вскоре он вернулся с кусочком масла на блюдечке, поставил на стол позеленевшую жестяную кружку, граненый стакан и, натянув рукав на ладонь, переставил кипящий чайник с плиты на стол.

— Чай пить будем! — С кусочка кирпичного чая он состругал в кипяток заварку и шумно помешал ложкой. — Садись-ка, раз в гости пришел. Про Михася спрашиваешь? Так вот. С особым заданием он был послан на восточный берег и не вернулся. Вчера нам привезли его мерзлый труп, нашли его в сугробе по Амгинскому тракту. Лошади на тебеневке[1] вырыли его из-под снега. Когда и кто убил парня, неизвестно, но дай срок, узнаем, все узнаем! Вот так и погиб на «безопасной» работе в ГПУ чекист Михась Урчусов...

Томмот понял, что последние слова адресовались ему, старик все помнил, ничего не забыл.

— Люди все убывают, а работы все прибавляется. Поешь-ка вот, вижу, голодный, с утра, поди, не ел. А работы все прибавляется... Не пора ли тебе, мой друг, приступить к работе?

Вот так попросту и сказал Ойуров, как видно, он не сомневался в том, что парень обязательно придет в ГПУ. Томмот смутился, но постарался скрыть это. Сейчас, после смерти Михася Урчусова, не скажешь про ГПУ, как про место, где протирают штаны. Однако и о желании своем он тоже не мог заявить: вряд ли в сотрудники ГПУ примут человека, который потерял революционную бдительность...

---

[1] Тебеневка — зимняя пастьба скота на подножном корму.

— Дела сложились у меня нехорошо, — признался Томмот. — Теперь, пожалуй, вы и сами меня к себе не возьмете.

— А в чем дело? — без особого удивления поинтересовался Ойуров. — В беду какую попал?

Томмот отставил в сторону недопитый стакан и во всех подробностях рассказал злополучную историю с Кычей.

— Как фамилия твоей девушки?

— Аргылова.

— Дочь известного бая?

— Да.

— Та-ак... Действительно, уехала она к своим. Слыхать, уже доехала. Хамначчит отца ее привозил в город грузы по разверстке ревкома, а обратно увез, как видно, ее. Несколько дней назад наши патрули останавливали повозку, в которой, как говорят, была больная женщина. По-видимому, это и была твоя Кыча. Старший брат ее Валерий арестован — ты знаешь об этом?

— Нет...

— На похоронах двух убитых красноармейцев был?

— Да.

— Выяснилось, что убил их Аргылов.

— О-о!

— Вот тебе и «О-о!». Девушку винить не торопись, оснований пока нет. Но что пришел ко мне сам — за это спасибо. Хотя обо всем, что ты рассказал, я уже знаю, ничего нового для меня ты не сообщил. Между прочим, соседи Ыллама Ыстапана дали показания, что Кыча была увезена связанная.

— Как связанная?

— Удивляться тут нечему. В рот—кляп, связали, бросили в сани — всего и дел. Но соседи могли и ошибиться. Правда, непонятно, почему она не подала никакого знака нашим патрулям, когда они остановили сани на дороге. Сказать что-нибудь определенное пока затруднительно. А брат ее несомненно враг, и лютый враг. До сих пор на допросах ни слова.

«Арестован брат Кычи... — лихорадочно сопоставлял факты Томмот. — А может, она потому и ударилась в побег, что узнала об аресте брата? Или правда, что она о брате не знала? А вдруг она тайком встречалась с ним? Допуская, что Кычу увезли силой, старик все же сомневается, и резонно: как это взрослый человек может

позволить себя увезти силой? Друзья твои не знают еще об аресте Валерия Аргылова. Узнают — не жди пощады...»

— Дело серьезное, — сквозь табачный дым вглядывался в Томмота Ойуров. — Но казнить себя заранее тоже не торопись. Исказнишься попусту, да будешь потом мучиться еще и оттого, что зря мучился. Попади она к белым и по своей воле, твоя вина лишь в том, что ты ей доверял. Ну, а если ее увезли силой, я тебя не стал бы особенно винить, просто слегка поругал бы. Не за доверие, а за то, что товарища покинул в беде, не пришел на помощь. Звать человека к добру, тянуть его к свету — совсем не вина. Уводить от добра — вот вина...

— Виноват, что не помог ей... — с недоумением пожал плечами Томмот. — В чем? В побеге, что ли?

Допив свой чай, Ойуров стал покачивать на пальце пустую кружку. Жар в печке убавился, от заиндевелых углов и от двери заметно потянуло холодом.

— Не в побеге, а в том, чтобы и мыслей не было о побеге. Легко отвадить человека, отказаться от него, когда ошибется. А ты не упусти его! В молодости у меня случай был похожий! Хорошая есть у нас пословица: «Старца носи с собой в суме и спрашивай совета». Расскажу я тебе, пожалуй. В ту пору я был, как и ты, девятнадцатилетним, и была у меня любовь, девушка, с которой учился, священника нашего дочь. И вот настало время, пошел я к попу в дом — сватать его дочь. Поп и слушать меня не стал — выставил за дверь. А возлюбленная, давшая мне обещание настоять на своем, почему-то стояла молчком. Мне даже показалось, что она одобрительно кивала головой, когда отец орал на меня. С тех пор, считая себя уязвленным, я с нею не захотел видеться. А чтобы рассеяться, нанялся я к одному купцу писарем и подался на Север, в устье Лены. Возвращаюсь оттуда через год и узнаю, что любовь моя вышла замуж за сына бывшего князька нашего наслега. Ладно. Проходит эдак лет десять, я уже начинаю забывать, что было, как вдруг нынче летом ко мне на службу заходит женщина. Оказалась она. Конечно, подобрела, потолстела. Зашла и — в три ручья. Взяли отца, а он ни в чем не виноват, говорит. Спаси его, молит. Не виноватых мы не трогаем, говорю. Будет доказана его непричастность, освободят. А она никак не уймется, вспоминает прошлое, дружбу нашу, да еще начала меня корить: мол, оставил тогда меня одну,

а сам удрал. Говорит, выдали ее замуж почти насильно, сопротивлялась она отчаянно. Если б ты не покинул меня тогда, может быть, жизнь ко мне повернулась иной стороной — вот как говорит. Как мне рассказывали, она собиралась в побег на Север, вслед за мной. Я разжалобился, пообещал поинтересоваться делом ее отца. Это обещание она, кажется, поняла тогда по-своему, ушла сильно обрадованная. Я сдержал слово, расспросил людей, занимавшихся делом того попа. Старик оказался из самых ярых. Зять его, то есть муж моей первой любви, был в белобандитах, сам поп сотрудничал с белыми, по его доносу были расстреляны трое ревкомовцев. Поп по приговору ревтрибунала был расстрелян, о чем было напечатано в газете «Ленский коммунар». На другой день на улице навстречу мне та женщина, она меня подкарауливала. Как увидела, подскочила ко мне и плюнула в лицо. «Это за отца, это за твою помощь! — кричит. — Отца расстреляли, а теперь расстреливайте меня!» Чекисты тоже люди, имеют нервы. Не помня себя, схватился я за кобуру, да опомнился. Так и состоялась моя встреча с первой любовью. Теперь уже мало надежды, что взгляды ее изменятся. Ненависть — очень стойкий яд. Боюсь, откровенно говоря, третьей встречи с ней — чего доброго, или в тюрьме, или в комнате трибунала. Не дай бог мне такого! На первый взгляд, во всем вина ее. Но потом, рассудив, во многом я обвинил и себя. Если бы в свое время я сдуру не ударился в побег, а стал бы отстаивать свою любовь, ее судьба действительно могла бы стать иной. Может, другие меня и не обвинят. Но есть самый неумолимый судья — это твоя же совесть. От этого суда никуда не уйдешь и нигде не скроешься.

И Томмоту вспомнилось: «Не ходи за мной. Оставь меня одну!» И он, глупец, оставил ее одну!

— Ну, я пойду... — растерянно пробормотал Томмот, пораженный этой новой мыслью: был, оказывается, момент, когда он ее упустил!

— Ну, а служба-то? С какого же дня тебя зачислять?

— Я не знаю... Я завтра к вам приду, — неопределенно сказал Томмот.

— Ну, добро!

— До свидания... — он хотел, как обычно, сказать «товарищ Ойуров», но это почему-то уже не выговаривалось. — До завтра, Трофим Васильевич.

Глава
десятая

Через неделю в кабинете Ойурова они сидели втроем. За столом у окна сам Ойуров, за небольшим столиком сбоку Томмот Чычахов в качестве секретаря, а между ними — Валерий Аргылов. Посторонний человек, войдя, не сразу бы догадался, кто кого здесь допрашивает — Ойуров Аргылова или тот обоих сразу: ни в облике, ни в манере держаться не было у него ни малейшего признака растерянности или хотя бы смущения — сидел он развалясь, вытянув обутые в курумы[1] ноги, в пиджаке нараспашку, независимо подбоченясь левой рукой. Наступал вечер. К окнам снаружи уже вплотную подступила тьма, в коридоре давно затихли шаги последнего, ушедшего домой сотрудника, а они все сидели. Удивительно, который уж день они с утра до глубокой ночи ведут допрос этого Аргылова и ни на вершок не продвинулись — Томмот не мог этого уразуметь. Ни очные ставки со свидетелями, ни явные факты — ничто не могло его сломить, на все у него лишь один был ответ «нет», «не знаю» да еще брань, когда его припрут к стене. Кажется, он и сам понимал, что ведет себя безрассудно — ведь сколько свидетелей, столько и показаний прошло перед ним, но выйти из этой колеи, как видно, уже не мог.

Томмот дивился невозмутимости Ойурова: за все эти дни ни разу не повысил голоса, кажется, эта его манера и вынуждала Аргылова бесноваться. Как бы даже заинтересованно, подперев щеку ладонью, Ойуров вслушивался в поток брани, а когда арестованный иссякал, он как ни в чем не бывало продолжал с того же, на чем прервался.

— Вы кончили? Тогда, пожалуйста, ответьте на такой вопрос...

И опять все начиналось сначала: очные ставки, предъявление фактов, споры, запирательства и ругань арестованного.

Это было уже невыносимо не для одного только Аргылова. Но Ойуров, когда Томмот признался ему в этом, невесело усмехнулся:

— А ты врагов представлял себе иными? Должен вытерпеть! Здесь тоже своя борьба.

---

[1] Курумы — высокие меховые торбаса.

И опять, в который уже раз, снова и снова Томмот с утра до ночи заносил в протокол одни и те же отрицания.

— Гражданин Аргылов, утром я уже предупреждал вас: сегодня последний день следствия, завтра передаем дело в ревтрибунал.

— А куда хотите: в рай ли отправьте, в ад ли — для меня все равно. — Валерий забросил ногу на ногу. — Говоря по правде, мне на ваш трибунал плевать.

— Напоминаю, что чистосердечное признание облегчит вашу участь.

Аргылов молча уставился в потолок.

— Так. Отвечайте: какое задание вам поручил генерал Пепеляев?

Аргылов, не меняя позы, перевел глаза с потолка на стену.

— К кому вы еще заезжали по пути, кроме отца? С кем имели встречи?

Взгляд Аргылова, задерживаясь на каждом бревне, начал сползать по стене вниз.

— По Амгинскому тракту вы убили двух красноармейцев. Как сумели ускользнуть от погони? В Якутске вы заходили к Титтяховым?

Теперь Аргылов стал внимательно глядеть во мглу за окном.

— Откуда вы знаете Соболева? Кто вам дал его адрес? Какое задание вы ему доставили?

Рассматривать Аргылову в этой убогой комнате было уже нечего, тогда он смерил взглядом самого следователя.

— Послушай, Ойуров, неужели тебе не надоело долдонить одно и то же?

— Теперь, кажется, все, Аргылов. Я уже кончил. Товарищ Чычахов, уведите арестованного.

Держа руку на кобуре, Томмот подошел к Аргылову. Тот вскочил на ноги.

— Хамначчит! Нищий! «Все», говоришь, собака! Как бы ты сам, голодранец, вскоре не стал бы валяться у меня в ногах, вымаливать пощаду! Станешь мне еще пятки лизать, а я с тобой, сукиным сыном, разделаюсь, как захочу! У живого стану жилы вытягивать! Ну, погоди уже! Властвовать вам осталось несколько дней...

Томмот вытолкнул его в коридор. Едва захлопнулась дверь за ними, Ойуров, дав себе волю, изо всей силы ахнул кулаком по столу:

— Контра! Бандит! — и, обессиленный, сел, положил руки на стол, опустил голову.

Вернувшись, Томмот застал Ойурова уже спокойным, тот убирал бумаги в ящик стола.

— Боюсь, с арестом этого стервеца мы поторопились. Будь время чуть спокойнее, дать бы ему порезвиться. Где возьмешь людей, чтобы наблюдать за ним? Вот в чем загвоздка... Рискованно оставлять без присмотра очаг пожара. Чуть появятся искры, спешишь сразу пригасить. Из-за этого их агентура остается так и не раскрытой до конца. Жаль! Но на Аргылове крест ставить еще рано...

Из общежития педтехникума Томмот перебрался теперь в казарму Чека, где в комнате на восьмерых получил он топчан, постель и новое общество, которое за все эти дни ни разу еще не было в сборе — кто на собрании, кто на дежурстве, кто в патруле.

Ушли, как видно, недавно: чайник на столе не успел еще остыть. Томмот достал из своего ящичка остаток хлебного пайка, кусочек прогорклого масла, поел и стал укладываться, надеясь, что авось в этот раз удастся выспаться, авось не разбудят среди ночи: «Чычахов, вставай — вызов!» Может, повезет и не придется, едва глаза продрав, мчаться очертя голову куда-нибудь в другой конец города?

Томмота на этот раз никто никуда не вызвал, было спокойно, а сон все не шел к нему. Как он ни считал до сотни, до тысячи, как ни вызывал в воображении своем радостные случаи, какие только задержались в его памяти, из своей ли жизни, из чужой ли, как ни старался отвлечься он от реальности — все было напрасно.

Томмот хорошо знал, что у революции столько же врагов, сколько защитников и приверженцев. Он знал, что враги непримиримы, коварны, жестоки, и все, которых он знал и о которых слышал, сложились в его воображении в один хотя и зловещий, но бесплотный образ врага. Валерий Аргылов в отличие от других был из плоти и крови. Но такого нечеловечески ярого, такого до неестественности однозначного и законченного врага Томмот до этого не представлял себе. Поколебать его, взывая к совести и разуму, казалось делом столь же на-

прасным, как молитвой тушить пожар в сухом смоляном лесу. В этих случаях люди пускают встречный пал, потому что такой огонь можно погасить лишь огнем же.

День ото дня и с утра до ночи, наблюдая Валерия Аргылова, Томмот, сам того не желая, думал о его сестре Кыче, и дума эта, как ни петляла по сторонам, неизменно возвращалась в одно и то же русло: от волка родится только волк...

Кто же ты, Кыча? «Кто же я?» — выглядывая из-за спины брата, в свою очередь спрашивала Кыча. В ее вопросе было столько простодушного недоумения, в ее улыбке было столько чистоты, искренности и доверчивости, что Томмот, застонав, уткнулся лицом в стену, как бы отвернувшись от этого мучительного видения.

О Кыча! Как поверить, что тебя родила та же мать от того же отца? Как поверить, что ты кормилась той же грудью, росла под одной крышей с этим волком, из года в год сидела с ним за одним столом и ела из общей посуды? Белый зайчик по ошибке родился в волчьем логове — бывает ли такое? Как в такое чудо поверить? Скажешь, что глаза ее были чисты? Но что ее глаза, когда собственным глазам и то не всегда веришь. Положа руку на сердце: веришь ли ты Кыче до самого конца? Колеблешься... Да, ты колеблешься, иначе бы сразу вскричал: «Верю, и за свою веру готов сложить голову!» Нет, Чычахов, как бы ты ни желал, тебе не дано обойти стороной тот факт, что Кыча твоя баю Аргылову доводится дочерью, а бандиту Валерию Аргылову—родною сестрой. Ее исчезновение можно лишь так объяснить: сколько волка ни корми, он все в лес смотрит.

Вспомнился Ойуров: сказал, что Кычу вроде бы увезли силой. Сказал, да с сомнением. Может, для того только, чтобы успокоить Томмота? Слова эти в тот вечер и вправду обрадовали Чычахова. Он стал переосмысливать все, но эту надежду без следа развеял потом Валерий Аргылов. Чем дольше тянулся допрос, тем меньше доверия и приязни оставалось у Томмота к его сестре. Теперь, кажется, от былых его чувств ничего и нет...

И тут, словно бледный рассвет, мысль, зародившаяся у Томмота, стала все больше светлеть. Как малограмотный с усилием читает, дивясь, что из слогов чудом складывается слово, Томмот принялся складывать эту мысль по частям, прислушиваясь сам к себе. От волка рождается волк, от овцы рождается овца. От любви рождается

любовь, пусть даже трудная, какая угодно мучительная, но все же только любовь. А ненависть порождает лишь ненависть.

Силой ненависти Валерий Аргылов породил в нем ответную ненависть. И она, назови ее какой угодно священной, убила в нем любовь. Вот что, к удивлению своему, рассмотрел в душе у себя Томмот. Его не покидало чувство, что кто-то со стороны пришел и вынул из его души что-то многоцветно богатое.

«Любовь — та же моральная сивуха, что и религия». Так сказал на днях в техникуме лектор. Может, это правда? Как бы то ни было, но он прежде всего комсомолец. Он должен быть беспощадным к классовому врагу! Он должен отдать борьбе все свои силы и, если понадобится, — жизнь. Все!

Томмот повернулся лицом к стене и, словно скрепляя свое бесповоротное решение печатью, размашисто стукнул по стене кулаком, рывком натянул на голову полушубок.

Через несколько дней Валерий Аргылов предстал перед Революционным Трибуналом Республики.

— ...К расстрелу.

Приговор Валерий выслушал невозмутимо, будто он относился не к нему. Заключительные слова приговора почему-то вызвали у него улыбку.

— Уведите!

Точно он не помнил, как одевался и как был выведен на улицу; ему стало казаться, что сознание отделилось от него, все происходило будто во сне.

И только на полпути к тюрьме он очнулся.

Прежде всего он постарался загасить на лице своем глупую улыбку, но это, к удивлению его, оказалось не просто: рот свело, губы не слушались. Потом стал он жадно, со всхлипом, втягивать в себя морозный воздух; холодная волна, хлынувшая в грудь, разлилась по телу, ум прояснился, и до слуха его наконец донеслись звуки жизни. «Чего стоишь, распрягай давай лошадь!» — кто-то забасил рядом, за ближайшим забором. Чуть поодаль во дворе ритмично шоркала и позванивала пила, скрипели полозья саней. «Чертовка, где у тебя глаза были?» Обернувшись на этот крик, Валерий увидел посреди ули-

цы женщину с девочкой, обескураженно стоящих над опрокинутыми санками с бочкой. Двое молодых ребят, проходя мимо, помогли поставить саночки на полозья. Их раскатистый смех уязвил Аргылова жизнерадостностью. «А я что? Куда это они меня? Зачем? Ведь я...»

— Шагай давай! Пошевеливайся! Кому говорят, контра! — Конвойный ткнул Аргылова дулом винтовки в бок.

До сих пор с ухмылочкой на лице, с высоко поднятой головой, руки за спину, Аргылов, не будь конвойных, сошел бы за беспечно прогуливающегося господского сынка. Но тут неожиданно произошла с ним разительная перемена: голова его ушла в плечи, он ссутулился, шаг его стал сбивчив.

Остановились во дворе ГПУ, у ворот тюрьмы. Конвойный с караульным что-то долго выясняли между собой. Пока стояли, дожидаясь, глаза Аргылова остановились на шапке Чычахова. Белая, заячья, на затылке чернеет проплешина. Увидев эту проплешину, Валерий вздрогнул: после похорон двух убитых им красноармейцев Кыча ушла с парнем точно в такой шапке. Он, это он!

— Скажи-ка, парень...

— Давай заходи! Да быстрей!

Очутившись в камере, Валерий довольно долго стоял, бессмысленно уставясь на захлопнувшуюся за ним дверь. «Что же это такое?» Он откинул шапку на затылок и стал тереть лицо рукавицами. «К расстрелу! Меня к расстрелу? Просто-напросто застрелят из ружья? Как же так... До смерти, совсем? Это чушь какая-то! О, нет! Только не это! Что угодно, только не это!»

Аргылов вне себя подскочил к обитой железным листом двери и забарабанил в нее:

— Открывайте! Открывайте!

К окошку подошел караульный.

— Чего буянишь?

— Открывай! Скорей открывай!

Караульный ушел, вскоре к окошку подошел кто-то другой.

— Чего надо?

— Открывайте! — Аргылов все яростнее бил в дверь ногами и кулаками. — Выпустите меня отсюда!

— Ах, вон что! Выпустить... Многого захотел.

— Откройте! Сейчас же откройте!

— Опомнился, гад!

Окошко захлопнулось.

Устав колотить в дверь, Аргылов стал теперь царапаться, потом его перестали держать ноги, и он, как куль, упал на пол, спрятав голову меж колен. Его била дрожь, из груди вырывались нечленораздельные звуки. Выстрелят из ружья в упор, потом бросят в мерзлую яму... У-у-у! Ычча-ы-ы! «К расстрелу!» Слово это засело в мозгу гвоздем, и все на свете, кроме этого саднящего ржавого гвоздя, исчезло, растворилось, уплыло. О, горе! И зачем он, несчастный, появился на этом свете? Разве за тем, чтобы быть расстрелянным? Проклятье! Неужели свет солнца он видел нынче в последний раз? Что такое он успел узнать и повидать в жизни? Школу, реальное училище и... шальную жизнь у Артемьева. Двадцать с небольшим лет — вот и вся жизнь. Возник в памяти подстреленный, кувырком летящий вместе с конем молодой красноармеец с алеющим на груди красным шарфом. Затем появился весь избитый, окровавленный, с заплывшим глазом пожилой якут-ревкомовец с изможденным худым лицом. Он стоял возле самим же им вырытой могильной ямы и все старался унять кровь, бегущую струйкой изо рта. Затем... но тут Аргылов закрыл лицо руками: « К расстрелу!» Теперь его самого — к расстрелу...

Он рассчитывал на долгую, почти бесконечную жизнь. Чего ему не хватало? Было все: и деньги, и скот, и обширные земельные угодья, и образование. Но уготованную ему счастливую судьбу порушили большевики. Оружие в руки он взял для того, чтобы вернуть свою прежнюю счастливую жизнь — разве это не достойная цель? Генерал Пепеляев одержит победу, он с огнем и мечом пройдет через всю Сибирь, счастливые это увидят, но его, Валерия, уже не будет на этом свете. Живые будут жить, а он будет гнить, и даже могилы его не найдут; рассказывали, что чекисты ровняют с землей могилы тех, кого расстреливают. Отец с матерью тоже умрут, и не останется никого, кто бы помнил о нем. Все кончено — завтра он будет трупом...

Аргылов схватился за голову, — ему показалось, что на него уже посыпалась земля. Он попытался заплакать в голос, но из груди вырвался вой, а облегчающих, таких на этот раз желанных слез не было у него ни капли—даже в этой мелочи природа ему отказала. Негодуя на эту несправедливость, Аргылов уткнул голову в колени и утробно, по-звериному подвывая, долго сидел так.

День клонился к вечеру, и маленькое зарешеченное окошко камеры пропускало лишь слабый сумеречный свет. Выбившись из сил, осипший Аргылов сейчас редко и судорожно всхлипывал. Из путаницы мыслей, круживших в его голове, отчетливо всплыли вдруг слова отца: все они любят, чтобы деревья валил другой, а белки доставались бы им... «И правда — они там остались в безопасности, а меня отправили прямо в пасть смерти. Наверняка про себя решили: если попадется и сгинет, то потеря невелика. А я, дурак эдакий, был даже польщен, считая себя удостоенным высокого доверия! Теперь в тысяче верстах отсюда, огражденные штыками солдат, таких же дураков, как я, они проводят время в беспечной болтовне, в утехах, в пьянке, а я гибну. Подлецы!.. Почему должен погибнуть именно я? Почему я не стараюсь спасти себе жизнь? Кому нужно было мое упорное молчание во время всего следствия и на самом трибунале? Пуля одинаково уверенно ставит точку на жизни всякого, будь ты хоть начинен идеями, будь ты совсем без идей. Мне нужно быть в живых! В живых! В живых!

Но сказано было точно: к расстрелу!

Зачем я упорствовал? Чего ждал я? На что я надеялся? Сам искал смерти, дурак! А вдруг и теперь не поздно?! О, если бы так! Так скорей же! Скорей же!»

Аргылов проворно вскочил и изо всех сил стал колотить обеими руками в дверь.

— Откройте! Скорей!

В окошке мелькнуло лицо караульного.

Аргылов в неистовстве стал бить в дверь ногой.

— Немедленно открывайте! Следователя!..

Дверь распахнулась. Аргылов, не удержавшись, грохнулся на колени.

— Следователя! Я все расскажу! Все!

Глава одиннадцатая

Из-за далеких синеющих гор медным котлом тяжело поднялось солнце. Багровым светом своим оно странно преобразило мир: стылая долина реки Амги, глухая, седая и спящая, как бы проснулась вдруг, но не для тепла, а для холода еще большего, ибо в зимнем солнце (в солн-

це самом!) не было ни искорки горячей, а был только холодный свет. Тишина до крайности обнажала стужу, только гулкие выстрелы лопающегося льда на реке, четкий звук копыт по снежному насту, скрип сбруи да санных полозьев иногда нарушали эту бескрайнюю, вселенскую тишину.

Митеряй Аргылов на больших розвальнях возвращался домой из Амги, куда возил сено по разверстке ревкома. Старик тешил себя тем, что вместо назначенных ему десяти возов отвез только один для отвода глаз, и выдумывал способы растянуть как можно дольше эту волокиту, чтобы не везти больше ничего. В слободу он приехал вечером с тем, чтобы остаться на ночлег, и, если удастся, что-нибудь разузнать о сыне, да жаль, ничего не вышло.

На этот раз старик оделся нарочно похуже — с трудом натянул на себя не по росту короткое триковое пальто с подобием воротника из обрезков заячьей шкуры, надел старую облезлую оленью шапку, шею обмотал старым шарфом. Согбенный, мотающийся на ухабах старик, казалось, спал, но это было лишь с виду так: был он бодр и зорок. С тех пор как вернулся из города Суонда, он перестал спать даже ночью.

...Дуралей ввел Кычу за руку и стал столбом посреди дома, наблюдая, как на радостях бестолково тыкаются друг в друга мать с дочерью. Не утерпев, старик подошел к Суонде и рывком повернул лицом к себе:

— Какие новости в городе?

Не сводя глаз с Кычи, Суонда затряс головой — отрицательно.

— Нет, что ли?!

Суонда слегка наклонил голову — утвердительно.

— Как? Куда же он... делся?!

В ответ послышалось невнятное мычанье.

— Ты что, орясина, совсем онемел, что ли?! Видел ли Валерия, сатана?

Аргылов принялся с силой трясти его за грудки, но Суонда невозмутимо стал разматывать свой старый, весь в заплатах шарф. Пока он размотал шарф, да развернул его, да обтряс и повесил сушиться перед камельком на загрядке, Аргылову показалось, что за это время сварился бы котел мерзлого мяса.

— Хотуой, — обратился он к дочери. — Ты что-нибудь знаешь о брате?

— Нет! — отрезала та, даже не глянув в сторону отца.

А Суонда опять вернулся к двери, распутывая завязки шапки.

— Я тебя спрашиваю, видел ли ты Валерия?!

Одно мычание в ответ, и ничего больше.

— Уродина, что это означает: да или нет?

Аргылов оборвал завязки и сорвал с хамначчита шапку, затем посыпались пуговицы его шубы. Захватив одну полу и обежав вокруг Суонды, старик сорвал с него ветхую шубенку. Не обескураженный даже этим, Суонда молча направился к запечью и взял там веник — он собирался еще обивать снег с торбасов. В ярости Аргылов вырвал у Суонды веник и тычком в грудь заставил его сесть.

— Говори, черт: видел его или нет?!

Суонда отрицательно мотнул головой.

— Как это нет? Он что, уехал куда?

— А-а-рест...

— Что? Арестовали? О, абаккам![1]

Аргылов со всего маху огрел Суонду веником по голове.

— Что тут болтаете? — подошла мать. — Как это могут Валерия... арестовать? Кто?

— Чекисты, дура, чекисты!

Лишиться сына, единственной своей надежды — возможно ли такое пережить! Кто же теперь унаследует его имя, его богатство, кто продолжит его род? Девка, что ли? Якуты не зря говорят, что девушка предназначена иноплеменникам. Не потому ли Аргылов еще с рождения дочери был равнодушен к ней и не потому ли они с женой, не сговорясь, детей своих как бы поделили: отец все больше водился с сыном, а мать — с дочерью. Годы шли, и чем глубже сын воспринимал отцовское воспитание, тем больше год от года дочь отделялась и отчуждалась от отца.

Прошлым летом из города Кыча вернулась совсем неузнаваемой: с отцом за все лето ни полслова, только «да» или «нет». И дома — на сайылыке[2], и на лугу в сенокос

---

[1] Абаккам — слово, выражающее досаду, злость.

[2] Сайылык — летнее жилище.

она только и крутилась среди молодежи из прислуги и хамначчитов. Здесь она становилась веселой, говорливой, заливалась песней. А в родной дом будто в неволю идет. Странно даже, как это она согласилась приехать сюда, бросив свою желанную учебу. Не иначе, как Ыллам Ыстапан сумел уговорить ее, пустив в ход какую-нибудь уловку...

С приездом Кычи старик Аргылов перебрался из чулана на бо́льшую половину дома, а мать с дочерью поселились вместе. В первую ночь через дощатую перегородку едва ли не до утра слышен был их горячий шепот вперемежку с плачем. А за утренним чаем, не вдаваясь в объяснения причин, а попросту на правах отца и хозяина Аргылов строго запретил Кыче удаляться с усадьбы хотя бы на шаг.

Этот наказ отца Кыча выслушала молча: понимай как хочешь, то ли покорность, то ли протест. А поскольку скорее второе, чем первое, старик всей прислуге и хамначчитам строго-настрого приказал следить за дочерью во все глаза...

Так, в полубдении в полусне, покачиваясь вместе с санями с ухаба на ухаб, под мерный стук копыт и скрипение сбруи думал старик Аргылов то рассеянно обо всем сразу, то раздельно и нацеленно, но про что бы ни думал он, одна мысль не уходила из головы — Валерий... Загубили его, собаки! Как помочь ему, как помочь?! В Якутск поехать—сцапают самого. Послать кого-нибудь? Кого пошлешь, не болвана же этого немого Суонду? Нет, на такие дела он не годится.

Аргылов понимал, что от беды, в какую попал сейчас его сын, вряд ли теперь уйти. Ни тот, кто с бубном, не спасет, ни тот, кто с кадилом, не выручит. Тайного доверенного самого Пепеляева чекисты не пощадят, не помилуют! Да оно и без того давно и везде самой обычной мерой наказания стал расстрел: каждый старается опередить врага и каждый считает, что самый лучший враг — это мертвый враг. Попадись какой-либо чекист в руки Валерия, уж наверняка рука бы его не дрогнула. В чем сплоховал Валерий? Был неосторожен? Очень даже может быть. В последний раз он показался отцу чересчур возбужденным и самонадеянным. Или продал его кто-нибудь из дружков? И так могло случиться... Настало время, когда одним глазом за врагом следи, другим — за другом. Сейчас многих потянуло в сторону красных. По

настоянию какого-то Полянского[1] стали они действовать способом увещевания, разъяснения да советов. И вот последствия — многие бедняки стали разбегаться из белых отрядов. Самого-то Полянского этого укокошили, правда, возле Хонхоики, да что толку? И какую штуку выкинул, вражий сын, думай — не придумаешь. Подскакал, рассказывают, к белому солдату и «сдавайся» говорит ему, мы, дескать, не расстреляем тебя. А тот не то сдуру, не то с испугу из-за пня бабах прямо в упор в него из ружья, тот с коня и свалился. Голодранца-якута, конечно, схватили и хотели прикончить, но этот Полянский тут и выкинул свою штуку: велел того накормить, дать табаку, провизии и отпустить домой. Пускай, дескать, на себе самом узнает, за что мы боремся, и расскажет об этом людям. Уму непостижимо! Умирает, вражий сын, а политику свою гнет, широту души показывает! Да будь на его месте я... Полянский, как рассказывают, тут же испустил дух, а голодранец-якут, увидя это, заплакал навзрыд: «Расстреляйте меня!» Расстрелять-то его расстреляли, только свои же, белые. Пришел он в свой белый отряд и стал рассказывать все без утайки, как тот дурак, который, по поговорке, упав, забыл свое имя.

Иметь бы и белым хоть одного главаря вроде Полянского, да нет таких.

А теперь еще голь стала носиться с этой самой автономией, государства захотела, как та собака, которая просила себе штаны! Плюнуть хочется на все эти бредни дурацкие! Только плюй не плюй, а дела все хуже складываются. Еще есть слухи, будто якуты из образованных стали работать с красными, организовали даже свой отряд. В такой обстановке не мудрено, что Валерия продали. И все-таки есть надежда! Что ни говори, если красные и вправду не лукавят, надежда есть. Дай-то бог, чтобы все обошлось! Если сын выберется из этой кутерьмы, то я ему велю на носу зарубить, чтобы зря не лез в пекло, шальная башка. Он не глупый парень, сумеет извлечь для себя урок. Да где же он, Пепеляев-то сам? Куда пропал, почему не торопится?

---

[1] Имеется в виду доблестный красный комиссар Широких-Полянский Сергей Юльевич, помощник командующего вооруженными силами Якутской губернии и Северного края по политчасти. Погиб 5 мая 1922 года. *(Примеч. переводчика.)*

Погруженный в эти думы, Аргылов забыл про коня, и тот, не понукаемый, перешел с бега на шаг. Опомнившись, старик дал ему вожжей, конь ударился в рысь, и сани опять понеслись по дороге, вздрагивая и переваливаясь на ухабах.

Когда к полднику Аргылов вернулся домой, он увидел запряженного в сани коня, привязанного к столбу изгороди. «Кого еще нелегкая принесла?» — встревожился старик. Чтобы оттянуть время и осмотреться, он направил своего коня дальше, к сеновалу и поскотине. Суонды там не оказалось, тот, как видно, закончил свою работу: корм скотине задан сполна, сеновал и поскотина очищены под метелку. Аргылов не стал распрягать коня, а только ослабил ремень чересседельника да подбросил немного сена — решил после обеда послать Суонду в лес за дровами. Не упуская из виду дом, стал он скребком очищать коня от снега, когда вскоре вышел из дому знакомый паренек, ямщик, сын слободского жителя, русского пашенного[1]. Аргылов враз успокоился — опасаться было нечего. Усмехнувшись про себя — скоро, наверное, станет шарахаться от собственной тени, — он не спеша направился к дому. Но тут дверь хлопнула вторично и выпустила на этот раз Кычу в наспех наброшенном материном пальтишке с беличьим подбоем. Девушка быстро подбежала к парню, подала ему что-то белое и что-то сказала при этом: изо рта у нее на морозном воздухе вылетел парок. Паренек согласно закивал, а поданное спрятал за пазуху. Отвязав коня, ямщик уже разворачивал его, чтобы уехать, когда Аргылова осенило: «Да это же письмо!»

— Стой! Эй, парень, подожди!

— Езжай! — крикнула вслед пареньку и Кыча. — Скорей же!

— Кому послала письмо, стерва?

— Не твое дело. Послала, да и все!

— Стой, тебе говорят! — взревел Аргылов и отшвырнул дочь в сугроб. — Стой, нохо!

Пока, кряхтя и застревая меж жердей, Аргылов перелезал через изгородь, паренек уже успел отъехать порядочно. Развернув своего коня, Аргылов ожег его кнутом, и испуганный конь, с неразжеванным еще клочком сена в зубах с места взял галопом.

---

[1] Пашенный — русский крестьянин-земледелец.

Уже вблизи почтового тракта на резком повороте парень обнаружил погоню и часто замахал руками, погоняя лошадь прутом.

Мало-помалу расстояние между ними стало сокращаться — разве эти бедняцкие клячи под стать аргыловским коням? Аргылов уже уверился, что настигнет этого стервеца, когда заметил, что у коня его подскакивает седелка — второпях забыл подтянуть чересседельник. Не дай бог, дуга выскочит из гужей, тогда пиши пропало, уйдет добыча. И куда бы ей письма слать? Кому? В слободе грамотных знакомых вроде не было у нее. Может, теперь появились? Какая-нибудь подружка? А может, и не в слободу вовсе, а в Якутск? А главное, о чем она могла написать, сумасбродная девка? Да нечего тут и гадать: письмо это, конечно, не к добру. Не написала бы она, не приведи господь, слободским чекистам, куда спрятаны все его запасы. Об этой сокровенной тайне своей он, глупец, проговорился однажды в запальчивости. Или о Валерии, что поехал в Якутск. Мать, поди, уже все выболтала. Нет, нет, письмо это не простое, оно еще наделает бед!

— Нохо, стой! — свешиваясь с саней, чтоб из-за крупа лошади достать взглядом беглеца, закричал Аргылов. — Все равно догоню! Остановись, не то хуже будет!

Парень, не оглянувшись, стегнул коня.

— Ну, погоди, змееныш! Догоню, жилы перерву!

Вскоре конь у парня и вправду стал заметно выдыхаться, и расстояние между ними все заметнее сокращалось. «Лишь бы оглобли не выскочили из гужей, лишь бы не выскочили...» — шептал Аргылов.

— Стой, тебе говорят!

На повороте Аргылов пустил своего коня наперерез по целику и успел выехать на дорогу раньше парня. Качающийся от усталости конь его уткнул заиндевевшую голову в пах коня Аргылова и остановился, запаленно водя худыми боками.

Заранее вскинув нагайку, Аргылов подошел к сжавшемуся на своих санях пареньку.

— Давай сюда письмо!

— Какое письмо?

«Сатана! Он, может, успел где-нибудь выкинуть это письмо, — обеспокоился Аргылов. — Заметил, наверное, место, вернется потом и возьмет». Он схватил беглеца за

грудки и стащил на дорогу. Встав коленом на грудь онемевшему от испуга парню, Аргылов в нетерпении стал рвать на нем пуговицы, потом запустил руку за пазуху и с торжеством вытащил оттуда конверт.

— Еще отпирается, гаденыш!

Замахнувшись уже и целя угодить нагайкой прямо в лицо, Аргылов удержался в последний момент: поранит, чего доброго, потом от родителей шуму не оберешься, да нагрянут еще ревкомовцы. И все же не удержался: поднимаясь, он сильно дванул парня коленом в грудь да потом добавил еще пинком в бок. Затем, уже сидя в санях, Аргылов оглядел конверт. Знать бы ему — что в том конверте! Может быть, напрасно из сил выбивался, гонялся за пустенькой запиской какой-нибудь, написанной девчонкой девчонке? Никогда не знавший грамоты старик даже сплюнул в досаде. Когда-то отец не отдал его в школу, боясь, что грамотного якута царь возьмет в солдаты. А потом, уже взрослому, не до учения было: суток не хватало в хлопотах по дому, в вечной погоне за богатством, жажда которого поглотила его всего без остатка. Кому бы дать прочесть это проклятое письмо? Тут он вспомнил, что у Оппороя меньший сынишка, кажется, чуть знает грамоту.

Вернувшись зверь зверем, Аргылов пошел к Оппорою. Битый час, если не больше, размазывая сопли, читал по складам меньший сын Оппороя. Письмо было адресовано в Якутск какой-то Адамовой, студентке медицинского техникума. «Меня домой увезли силой, связанную. Слухам ты не верь. Я твоего доверия не обманула и не сделаю этого никогда. Меня не обвиняй, не виновата я ни в чем. Я обязательно вернусь к учебе, и ты об этом скажи моим сокурсникам. Пусть они меня и оттолкнули, но я сумею доказать свою правоту. Когда-нибудь и я буду в их рядах. Ты постарайся повидать того — сама знаешь, о ком я говорю, — и передай ему то же, что и другим: пусть не презирает меня, я этого не заслужила».

Не слишком доверяя чтецу, Аргылов заставил мальчонку перечесть письмо, пытаясь понять, про что в нем написано. «Твоего доверия не обманула...» Но что уж такое важное могла доверить Кыче та студентка? «Меня они оттолкнули» — это понятно: не их нищего племени, потому и оттолкнули. Но что такое «сумею доказать правоту»? Какую и в чем правоту? И еще вот это — «буду в их рядах...» В чьи ряды она метит? Неужто в комсомо-

лию? Да тут и дивиться, пожалуй, нечему, такая своенравная чертовка способна на что угодно. «Увезли меня связанную». Вроде как бы донесла на своих же... Ну, все теперь, девка! Теперь ты уже ни в чьи «ряды» не попадешь! Ставь крест на своей учебе!

Пустынная тишь царила в доме, будто вымерло все. Аргылов громко откашлялся, давая знать о своем возвращении, разделся, затем спросил в пустоту:

— Никого нет, что ли?

Никто не отозвался, и тогда Аргылов с силой распахнул дверь чулана. Дочь лежала на кровати, отвернувшись к стене. Отец поднял ее рывком за руку:

— Ты меня слышишь или нет?!

Кыча молча стояла перед ним, прикусив губу.

— Притворяешься глухой? Так я отворю тебе уши! Прикидываешься немой — так я развяжу твой язык! Будешь упрямиться — добра не жди!

Отец выволок дочь за руку из чуланчика и остановился перед камельком.

— Смотри сюда! — Вынув из кармана распечатанное письмо, он бросил его на тлеющие угли. — За́помни: никаких больше писем! Еще раз поймаю — пеняй на себя. И выбрось из головы учебу. Из дома уедешь, когда выйдешь замуж, а до этого — ни на шаг! И не смотри на меня так! Не смотри, говорю!

Нет, Кыча не отвела жесткого взгляда.

— Проколю твои бесстыжие глаза!

Аргылов уже протянул руки схватить ее, как откуда-то появилась Ааныс и молча встала между отцом и дочерью. Аргылов так и застыл с протянутыми руками: что это? Жена, с которой он прожил больше четверти века и ни разу не слышал слова поперек, — разве это она? Что сделалось с нею! Но ничего, он и ее поставит на место! Аргылов повел рукой, чтобы отстранить жену, но та стояла неколебимо, будто бы налитая неведомой силой. Нервно, как у возбужденной лошади, раздувались тонкие крылья носа, и пугающе незнакомо, точь-в-точь как у дочери, смотрели в упор ее потемневшие глаза.

— Ну, погодите! Вы у меня еще наплачетесь!

Схватив в охапку шапку и шубу, Аргылов с силой хлопнул дверью.

Через несколько дней Суонда поехал в Амгу с поручением зайти к некоему Баллапаю: нет ли у того изве-

стий о Валерии. Конечно, бессмысленно было ждать от Суонды чего-либо внятного, но все-таки мог пробормотать он хотя бы несколько слов — лишь суть. Больше Аргылову и не требовалось.

Когда к вечеру Суонда вернулся, Аргылов уловил подобие некоего выражения на его каменном лице.

— Ну что?

Суонда молча полез за пазуху и достал свернутую газету.

— Кто тебе дал? Не Баллапай ли? — Аргылов осторожно взял газету. Суонда кивнул. — На словах ничего не передавал?

Молча ткнув черным пальцем в обведенное карандашом место на последней странице, Суонда попятился к двери и вышел.

Аргылов повертел газету в руках.

— Хотуой, иди-ка прочти!

На этот раз Кыча не заставила себя упрашивать: как же, газета из Якутска! В номере «Автономной Якутии» на первой полосе большими буквами: «Все — на разгром авантюры генерала Пепеляева!», передовая статья «Якутский народ поднялся на защиту Советской власти», заметка: «Комсомольцы Якутска вступают в ряды красных войск», информации из улусов... Аргылов вырвал газету из рук дочери и пальцем ткнул в место, обведенное карандашом на последней странице: — Читай вот это!

«Сообщение Якутского областного отдела ГПУ». В предчувствии недоброго у Кычи тревожно ворохнулось сердце:

— *«Сообщение Якутского областного отдела ГПУ. На днях, за активное участие в белобандитском движении, за шпионаж в пользу врагов Советской власти Революционным Трибуналом Якутской области приговорены к расстрелу: 1) Аргылов Валерий Дмитриевич...»*

— Что ты там бормочешь? — закричал Аргылов. — Читай как следует!

— *«...приговорены к расстрелу: 1) Аргылов Валерий Дмитриевич...»* — повторила Кыча и умолкла опять.

Старик в ужасе попятился. Кыча молчала, не отводя взгляда от роковых строк.

— Убили! Загубили! Аа-ыы-ыы! — не своим голосом закричал Аргылов, вырвал у Кычи газету и стал рвать ее в клочья. — О, горе мне, горе! Абак-ка-бы-ыы!.. Проклятые! Голубчик мой, сынок...

Выбежала на крик Аапыс и кинулась к дочери:

— Скажи, доченька, ты что сейчас прочитала? С Валерием что-нибудь, да?..

— Приговорили к расстрелу, — едва выговорила Кыча и обняла мать.

— Ка-ак! Моего Валерия? Ох... — вскрикнула Аапыс и, прислонясь к стене, стала медленно оседать. — Ох, сыночек...

Неистово причитая и втаптывая в пол клочки газеты, Аргылов обрушился на дочь.

— Стоишь молчком? Горе у матери, горе у отца, а у нее ни слезинки.

На этот раз Кыча глянула на отца с виною: что поделать, если ни слезинки? Есть ведь и такое горе. Ее кроткий виноватый взгляд пуще взбесил Аргылова, и, давая выход ярости, он сорвал с матичного столба нагайку.

— На тебе! На, еще!

Кыча опустилась на пол рядом с матерью и закрыла голову руками.

Глава двенадцатая

В тот вечер уже приговоренный к расстрелу Аргылов-младший, буйствуя, добился все-таки, чтобы его привели к следователю. К Ойурову вошел на этот раз совсем другой человек: ни прежней заносчиво вскинутой головы, ни выпяченной груди, ни наглого в упор взгляда. Осторожно, с опаской, вошел человек с поникшей головой, с бегающими, но потухшими глазами, вошел вялой шаркающей походкой побитого пса. Увидев его, Томмот поразился, как может измениться человек за какой-нибудь час-другой.

Валерий рассказал, с каким поручением послал его генерал Пепеляев, как он доехал до Якутска, где и у кого по пути останавливался, с кем виделся в городе. Не пропустив ни одной подробности, дал он показания и о Соболеве: кто его знает в отряде Пепеляева, рассказал о письме полковника Рейнгардта, о согласии Соболева выполнить порученное задание. «Подлец! — злорадствовал он про себя. — Рад был, когда предавал меня. Думал, продажная душа, что откупился мной. Теперь-то и тебя поставят к стенке!»

Увлекшись, он, однако, вовремя опомнился, если вот этак выложить все разом, то можно продешевить. Иссякнешь, как проколотый пузырь, и нет тебе никакой цены. Нет, тут вначале надо было поторговаться с ними, поставить условие сохранить жизнь, а уж потом давать показания. Ведь в течение всего следствия Ойуров только и знал, что твердил: «Чистосердечные признания трибунал учтет». А если так, почему бы им не изменить приговор уже сейчас, ведь он дал показания? А не изменить, то пусть хоть по крайней мере подождут с приговором. С приведением его в исполнение...

— Гражданин следователь, я дал показания. Трибунал отменит свой приговор? Вы говорили мне...

— Я говорил вам это до приговора.

— Я бы еще многое показал...

— Ничего обещать не могу, это не я решаю. Одно могу посоветовать: не лови-ка ты зайца вершой, а карася петлей.

— Я готов дать показания еще. Только мне надо прийти в себя. Завтра... или послезавтра, например...

Так, торгуясь, Аргылов все же выиграл немного времени, только на что ему было употребить это время — вот чего он не мог для себя решить. Правду говорят, перед смертью не надышишься. Что за жизнь, если не волен ты распорядиться по-своему ни одной ее минутой, не можешь уверенно сказать, что будет с тобою через час. Все это — в божьих руках, а точнее сказать — в руках чекистов.

Каждый раз у следователя Валерий все выпытывал, что с ним сделают и удовлетворят ли его просьбу, но в ответ слышал то же холодное: «Решаю не я».

К вечеру, когда в тесной камере с зарешеченным окошком и лампочкой вполнакала под потолком опять стало сумрачно, он услышал, как в соседнюю камеру кого-то привели с допроса, и, чуть задремавший, опять пришел в смятение: почему его не вызывают? Правда, вчера и позавчера он, кажется, был чересчур скуп на показания. Но, с другой стороны, как же иначе-то? Признаваться тоже надо умеючи. Валерий ни за что не признался бы, например, в убийстве тех двух красноармейцев. Это было бы равносильно самоубийству. Как еще протянуть волынку? По срокам, указанным в приказе Пепеляева, его передовые части в эти дни уже должны были подойти к Якутску. Так где же они, эти части? Где

опи? Будь опи на подходе, чекисты наверняка отменили бы все смертные приговоры, зная, что за каждого своего убитого белые расстреляют десятерых. Что же все-таки делать? Почему сегодня его на допрос не вызвали? Не потому ли, что вчера... Да, вчера, когда Валерий, в который уже раз, спросил о приговоре, Ойуров как-то странно усмехнулся. Больше того, к самим его показаниям следователь отнесся с заметной прохладцей, будто бы даже незаинтересованно. Значит, решили — в расход!

Валерий вскочил и стал бегать от стены к стене: что же делать, что сейчас сделать ему, обреченному? Неужели всеми своими ухищрениями сумел он выиграть для себя лишь несколько дней? Неужели уже в эту ночь...

Он дико вскочил и забарабанил в дверь кулаками:

— Следователя!

Полусонный коридорный надзиратель отворил окошко, равнодушно глянул на беснующегося арестанта и поплелся кому-то звонить. Прижав ухо к двери, Валерий пытался подслушать, но ничего не разобрал. Услышал он только невнятное бормотание дежурного да его на этот раз приближающиеся шаркающие шаги.

— Следователь не считает нужным говорить с тобой! — Он на миг приоткрыл окошко и тут же захлопнул.

Опешивший Валерий не успел ничего возразить. Не считает нужным? Значит, все кончено? Через несколько часов наступит полночь, и тогда прости-прощай твоя удалая жизнь, Валерий Аргылов.

Он опять вскочил и заколотил в дверь.

— К следователю! Сейчас же! К следователю!

— Я же сказал тебе: не считает нужным!

— Я скажу очень важное! Очень, очень важное!

Дежурный опять зашаркал по коридору, и Валерий опять превратился в слух. Если сейчас поведут его к следователю, что он скажет? До сих пор он сберег последнюю свою тайну: имена людей, которые распространяют листовки Пепеляева. Исключая эту, самую заветную, больше у него ничего не осталось. Теперь пришла пора поставить на кон свое последнее достояние.

— Выходи!

В комнате следователя Ойурова не оказалось. Вместо него обычное «садитесь» предложил Чычахов.

Чуть поколебавшись, Аргылов присел на стул.

— Что хотели сказать? Говорите, я слушаю.

— Но я хотел бы Ойурову...

— Я передам ему.

— Нет, я только Ойурову... — Валерий был убежден, что если тайну свою раскроет одному этому парню, она потеряет ценность.

— Тогда придется вернуться в свою камеру.

Вернуться в камеру, ничего не добившись, было, пожалуй, еще хуже, потому что Ойуров сегодня может и вовсе не появиться, а его, Валерия, этой ночью как раз и выведут...

— Гражданин Чычахов, Ойуров обязательно должен меня выслушать. Я скажу очень важное.

— Повторяю: я все ему передам.

Аргылов стал быстро-быстро соображать. С одной стороны, цена его признанию безусловно понизится. Неизвестно, как передаст твое признание этот парень, как он им распорядится. Чтобы получше выслужиться, скажет, добился показаний, мол, своим умением и настойчивостью, — поди потом опровергни, кто поверит тебе? А с другой стороны, гляди, как бы и крохи не утерять.

— О чем таком важном хотите вы сообщить?

Надо чуть приоткрыть завесу, авось клюнет, решил Валерий.

— Я знаю, кто распространяет в городе листовки Пепеляева.

— Думаете, Ойуров этих людей не знает? — спокойно, будто речь шла о сущем пустяке, сказал Чычахов.

Для Аргылова это было равно удару под дых: некоторое время он сидел, обхватив руками голову, как это делают, когда режет слух какой-либо острый звук: визг или скрежет. Если и этот последний его козырь уже не козырь, значит, всех уже сцапали. И тут он опоздал по своей дурости, не надо было так глупо упорствовать. А теперь что же? Теперь поздно, теперь уже все! Последний козырь бит, не осталось даже слабой надежды.

Все же, не впадая пока в отчаяние, Валерий взглянул на Чычахова, надеясь уловить на его лице какое-либо особенное выражение. Ему подумалось, что если его решили расстрелять сегодня ночью, то парень наверняка об этом знает, и это непременно должно как-нибудь отразиться, если не на поведении его, то

хотя бы на лице. Но Чычахов вел себя по-обычному. Может, в Чека их обучают искусству скрывать свои чувства?

— Гражданин Чычахов, разрешите задать вопрос? — заискивающе обратился Валерий.

— Спрашивайте, — поколебавшись, сказал Чычахов.

— Вам что-нибудь известно о решении трибунала по моему делу?

— Нет, ничего не знаю.

«Неужели и вправду не знает?» — подумал Аргылов с надеждой. Парень начинал ему нравиться: разговаривает довольно мягко. Знает ли он, что арестант приходится Кыче старшим братом? И насколько близок к Кыче сам этот парень, просто знакомы или друзья? А главное, почему-то он не гонит арестанта обратно в камеру, а сидит, вроде чего-то ожидая. Может, он ждет своего Ойурова? «Спросить, что ли, о Кыче? Если он любит девку, то по логике человеческой и на меня не должен коситься, мог бы даже помочь».

— Прошу вас передать сестре моей Кыче привет... Хотя какой уж там привет — последнее «прости». Скажите, что брат желает ей счастья в жизни. И счастливой любви...

От вкрадчивости этих полушепотом произнесенных слов Томмот невольно вздрогнул. Откуда Валерию известно, что Томмот знает Кычу? Выходит, рассказала сама Кыча? Выходит, что до ареста Аргылов встречался с сестрой? Выходит, она заодно с братом? Все складывается только так — хочешь верь, хочешь нет. Да, от волка рождается только волк!

«Они между собой близки, иначе бы он так не вскипел. Клюнуло!» — возликовал про себя Валерий.

— Арестованный, встать!

«Кричит, ярится! Растерялся, бедняга, боится, что нагрянет Ойуров. Но ничего, наживка найдена! Эх, надо было раньше об этом подумать...»

В конце коридора, уже подходя к двери камеры, Аргылов обернулся:

— Вы уж Кычу мою не обижайте, — проникновенно шепнул он. — Очень прошу...

— Иди, пошевеливайся!

«Кричи, кричи, дурень! Но моих слов тебе уже не забыть...»

Ойуров вернулся лишь поздно вечером. Раздевшись, он устало опустился на стул и, невидяще глядя во тьму за окном, долго барабанил пальцами по столу, что означало у него крайнюю озабоченность. И без того серое обветренное лицо его осунулось еще больше.

Обстановка вопреки недавним прогнозам складывалась день ото дня все грознее. Отряд генерала Ракитина в сто сорок человек занял Крест-Хальджай, Татту и Уолбу. Борогонцы тоже в руках белых. Кроме того, часть своего отряда Ракитин послал на Чурапчу, сам же направился к Маиицам. На заседании секретариата обкома партии принято решение объявить мобилизацию.

Ойуров вынул трубку, продул ее, но так и не закурил, будто забыл, зачем ее вынул.

А чем мы, ГПУ, помогаем в этой схватке? Похвалиться совсем нечем. Ругают за плохую работу, и поделом. Агенты работают вяло. О планах противника, о передвижениях его частей — обо всем этом ГПУ обязано знать хотя бы за несколько дней наперед, но о такой четкой работе остается только мечтать. Стыд, да и только: некоторые факты становятся известны в ГПУ позже, чем военному командованию, а то и вовсе остаются неизвестными. Сотрудников не хватает, самому идти участвовать в операциях не разрешают...

Видя его мрачнее мрачного, Томмот сидел и сбоку лишь робко поглядывал, не решаясь ни спросить о чем-нибудь, ни с чем-нибудь обратиться. Наконец Ойуров закурил-таки свою трубку и сам глянул в его сторону.

— Ну, какие новости у тебя?

Радуясь этой перемене, Томмот поспешно, но во всех подробностях рассказал о новой выходке Аргылова.

— Так-так... Значит, все еще изощряется. Распространители листовок нам известны, но какие-либо новые показания будут не лишни. Значит, передавал привет сестре... Или он не знает, что сестра уехала к родным, или испытывает тебя. Поглядим! Упомянет сестру еще раз — молчи. Совсем ничего не говори. Может, в чем-нибудь проговорится...

Глава тринадцатая

Старик Митеряй, спавший на своей кровати под божницей, закричал дурным голосом и привскочил. Спросонок, еще не веря, что он дома, вслепую пошарил вокруг

себя руками и очнулся, нащупав холодную стену. Ему приснился кошмарный сон: чудище, страшное чудище притиснуло его к земле и стало душить, но не так, чтобы в момент один задушить, а медленно, постепенно... С тех пор как он услышал страшную весть о сыне, ему казалось, что на свете уже ничего не осталось такого, что могло бы его ужаснуть, со смертью сына вся его жизнь потеряла смысл. Для кого свой короткий, палкой добросить, век бился он как рыба об лед, накапливая богатство? Единственно ради сына. Проклятые чекисты обесценили его жизнь, пустили по ветру его мечту. Казалось, теперь ему, лишенному сына, уже нечего было бояться, не за кого опасаться, все — трын-трава. Живым он продолжал оставаться лишь по некоему чужому, не им самим заведенному порядку, а рук на себя не накладывал лишь потому, что слишком было бы это грешно. Делать ничего не хотелось, все у него валилось из рук. Но вдруг оказалось, что он еще боится смерти. Иначе, с чего во сне обуял его такой ужас?

Набросив на плечи шубу, влезши босыми ногами в торбаса и шоркая их распущенными завязками, старик, как был в исподнем, вышел во двор. Темень стояла кромешная. По ночам обычно морозный туман редел, а нынче непроглядно сгустился. Ну и мороз! Справив малую нужду, старик стал припоминать, какой же день нынче. Кажись, январь-то кончился? Да, то ли вчера, то ли нынче февраль уж пошел.

В одну минуту продрогший, старик поспешно вернулся в дом, нырнул под заячье одеяло, еще хранившее тепло, и уснул. Удивительно, в последние дни он стал засыпать очень быстро. После беды с сыном он на много дней совсем лишился сна, а теперь вот стал почему-то сонлив, как сурок.

Уже за полночь, опять кружась в сумятице какого-то дурного сна, Аргылов проснулся от крика жены:

— Старик! Старик! Да проснись же! Навек бы тебе так заснуть...

Аргылов приподнялся: кто-то колотил в дверь.

— Кого это черти носят в ночь-полночь?! — закряхтел Аргылов, вставая. А про себя подумал: красные рыщут, опять с поборами. Ненасытные прорвы... Ишь, как невтерпеж им, прямо как бабе вот-вот родить...

Хоть и спросонья, но Аргылов успел все же различить на дворе глухой слитный шум, который все бли-

зился и усиливался. Скрипели будто бы полозья большого обоза и слышался какой-то легкий, но сплошной треск, будто множество детей кидали хабылык[1]. Возле дверей топталось много людей.

Аргылов снял с двери засов и сразу же за облаком морозного тумана, хлынувшего снаружи, различил силуэты людей.

— Засветите огонь! — приказал кто-то оттуда еще, из тумана.

Аргылов поспешно засветил жирник и вскоре увидел полный дом рослых, под самый потолок, незнакомых людей, одетых кто в оленью доху, кто в волчью, все в длинных, по пах, курумах. Говорили по-русски. Единственным говорившим по-якутски оказался среди них небольшого роста человек в пыжиковой дохе. Он нырком выскользнул из-за громоздких фигур пришельцев и подал Аргылову руку:

— Старик Митеряй, здравствуй!

— До-рообо...

— Не узнаешь? Сарбалахов я, сын Сарбалаха, друга твоего.

— Как не знать! Значит, ты, Тарас? Откуда едете?

— С Востока, с Охотского моря. Слыхал про генерала Пепеляева?

— Как же, наслышан.

— Мы авангард того генерала, передовой отряд. Сам генерал с войском идет следом за нами. Смекаешь, к чему дело клонится? Смекай...

Верткий и суетный Сарбалахов, который и голос-то должен был бы иметь писклявый, говорил густым сиплым басом, и это несоответствие придавало его поведению характер неуместной шутки.

— Эти люди — не чета мелким сошкам вроде прошлогоднего Коробейникова. Так что считай, старик Митеряй, взошло наше солнце. Советская власть больше не вернется.

— Так что вы стоите! — спохватился Аргылов.—Раздевайтесь, будьте гостями! Суонда! Жена! Подымайтесь, да живо! Гостей угощать надо!

Видя, как хозяин бросился со всех ног к камельку затапливать, высоченный, как одинокое дерево в лун-

---

[1] Хабылык — якутская игра, состоящая в подбрасывании и подхватывании лучинок.

ную ночь, человек в волчьей дохе что-то сказал Сарбалахову.

— Митеряй, мы спешим, — сейчас же перевел тот. — Некогда нам засиживаться. Вот это наш командир Рейнгардт Август Яковлевич. Имеет чин полковника... — Тут Сарбалахов значительно подмигнул. — Это чуть-чуть пониже генерала — понимаешь? Он хочет поговорить с тобой.

Услышав свое имя, Рейнгардт снял пыжиковую шапку и, представляясь, чуть наклонил голову. Это был человек не старше лет тридцати пяти, лобаст, гладковолос, светлоглаз, крупный хрящеватый нос на его худом продолговатом лице придавал ему выражение аскетической непреклонности. Даже под бесформенной волчьей дохой угадывалось мускулистое тело и выправка кадрового службиста. Беседуя через переводчика, полковник ни разу не взглянул на хозяина дома, он смотрел куда-то в потолок.

— Полковник спрашивает, как твоя фамилия.

— Ну, Аргылов я! Ты про это и сам мог бы ему сказать! — задетый пренебрежительностью гостя к своей особе, слегка огрызнулся старик.

— Огонёр, он спрашивает не меня, а тебя. Спрашивает, не ты ли отец Валерию Аргылову.

— Да-да... Я его отец.

Чуть помягчев, полковник наконец удостоил Аргылова взглядом, однако, брезгливо дернув уголками рта, принялся разглядывать темные углы дома, развешанные для просушки торбаса, а разглядев все это, опять уставился в потолок. Тут только до Аргылова дошло: перед столь важным господином, перед таким высоким чином он стоит в подштанниках. «Ах, старый корявый пень, невежа!» Обругав себя, он запоздало схватился за мотню, но это не исправило положения: строгий полковник и вовсе повернулся к нему спиной.

— Полковник говорит, что знает твоего сына. Он хвалит его. Он передает тебе спасибо за воспитание хорошего сына.

Преодолев брезгливое чувство, Рейнгардт протянул руку. Аргылов так и кинулся, чтобы крепко пожать эту руку, но полковник быстро одернул ее, едва только пальцы его коснулись пальцев старика.

— Спрашивает: есть ли известия от сына?

— Арестовали его и судили в Чека...

— Вот как?! — изумился Сарбалахов. — И что?
— Приговорили к расстрелу...
— Расстреляли?
— Того не знаю...
Черную для Аргылова весть полковник выслушал с невозмутимым видом, столь же невозмутимо что-то проговорил в ответ, и Аргылов, хотя и стоя в подобострастной позе, опять проникся к нему острой неприязнью человека, чья боль и забота не находит ни сочувствия, ни отклика в другом.
— Полковник сказал, чтобы ты не терял надежды. Через несколько дней они займут Якутск и спасут твоего сына. Пусть, говорит, старик готовится встретить сына-героя...
«Легко ему говорить «жди да надейся». Чекисты только того и ждут, когда вы подоспеете на выручку...»
Аргылов уж и сам не знал, то ли обижаться ему, то ли благодарить.
— Полковник интересуется, много ли красных в слободе.
— Говорят, человек около двухсот.
— Известно ли тебе, где их дозоры, заставы?
— Кажется, в трех местах: на развилке почтового тракта, на взлобке возле больницы и на западной окраине.
— Велят тебе быстренько одеться, мы как раз едем туда.
— А зачем меня туда?
— Будешь показывать дорогу. Ты должен показать место, где можно подойти скрытно.
— Я?
Полковник отошел в сторону: он сказал все.
— Давай, старик, поторапливайся, — распорядился за него сам Сарбалахов.
Аргылов в смятении присел на стул: будто бы свои же люди, могли бы хоть для приличия спросить у него согласия, а тут: «Давай быстрей одевайся!» Однако обиду он сейчас же притушил в себе, как только замерцал в нем слабый огонек надежды на спасение сына. «Оказывается, хорошо знают они Валерия моего», — польстил он сам себе. Пусть они сколько влезет будут горды да заносчивы, лишь бы вернулась прежняя власть.

— Старик, ну, давай-давай! Нас на морозе ждет весь отряд.

— Я сейчас! — спохватился Аргылов. — Я мигом!

— Второго проводника не найдется?

Чуть было не брякнул «найдется», да вовремя прикусил язык Аргылов и мельком взглянул на Суонду. Тот, притворяясь спящим, лежал труп трупом на своей лежанке у дверей посреди содома, который и мертвого воскресил бы. Аргылов решил: так лучше. Если Суонду возьмут проводником, то могут потом оставить у себя солдатом, а без Суонды он как без рук. Хватит и того, что едет он сам...

— Нет, не найдется... Есть, правда, у меня один работник, но дурак дураком.

Все вышли из дома.

— Суонда! Суонда! — Кыча подбежала к нему, как только дом опустел.

— Э-э... — откликнулся тот.

— Суонда, кони наши на поскотине?

— Угу...

— Вставай быстрей! Ну же...

Суонда замычал вопросительно.

— Едем в Амгу, Суонда! В слободу! Мы их опередим. Ты ведь знаешь дорогу напрямик! Суонда, голубчик, почему не отвечаешь? Умоляю тебя, вставай!

Ответа не последовало.

— Ну, если ты трусишь, то запряги мне лошадь. Хоть скажи, как проехать. Молчишь? Тогда я сама запрягу. Я сумею!

Метнувшись обратно в чулан, Кыча сорвала с гвоздя пальто, но тут подскочила и вцепилась в ее руку Ааныс.

— Голубушка, в своем ли ты уме? Идти против стольких вооруженных людей? Да кем тебе приходятся эти красные? Доченька, война не женское занятие!

— Мама, отпусти! Прошу тебя, мамочка!

— Если и поедешь, все равно их теперь не опередишь, поздно уже. Пожалей, доченька, хоть меня. Если тебя пристрелят, как же я тогда останусь жить?

— Мама, умоляю тебя...

— Суонда! Запри дверь!

Кыча бросилась в переднюю, но там в нижнем белье

уже стоял Суонда, загородив собою дверной проем. Кыча толкнула его, но тот стоял, как глыба.

— Доченька! — опять подоспела мать. Она сползла на пол и прижалась к ногам дочери.

Отряд полковника Рейнгардта двигался на оленях: пока вели Аргылова в голову колонны, он видел сплошной лес колышущихся рогов.

— Не доезжая двух верст до слободы, остановишься, — распорядился Сарбалахов, когда Аргылов уселся на передние нарты. — Я поеду следом. Сигнал дам криком. А теперь во весь мах!

Сидевший впереди Аргылова человек взмахнул кюряем[1], и продрогшие на остановке олени понеслись. Ночь стояла беззвездная: сплошь один мрак. Мир сузился до ужасающей тесноты, дальше края дороги ничего не разглядеть, лишь время от времени придорожные тальники возникали на миг и, хлестнув по нартам, бесследно скрывались во тьме.

Каюр не поинтересовался, кто подсел к нему в нарты, ни разу не обернулся на седока и не проронил ни слова. Уже порядочно отъехали, когда навстречу вдруг послышался частый перестук конских копыт. От неожиданности Аргылов чуть не упал с нарт. Приняв невидимого всадника за разведчика красных, он хотел было криком предупредить своих, да не успел — всадник вихрем проскакал мимо. Где-то уже во тьме, неподалеку он развернул коня, рыся рядом с нартами, заговорил с кем-то по-русски, затем опять проскакал вперед и исчез. «Воюют как надо... — с удовлетворением и одновременно с какой-то ему самому не ясной отчужденностью отметил Аргылов. — Чины!»

Тем не менее, преодолев эту неприязнь, Аргылов разумно остановился на главном: люди, пусть они и чужаки, несут ему спасение. Эти мысли привели его в хорошее расположение духа.

— Догор[2], как тебя зовут?

«Догор» долго молчал, и Аргылов, приняв каюра за глуховатого, хотел было спросить его второй раз, как тот вдруг откликнулся.

---

[1] Кюряй — деревянный шест, которым погоняют оленей.

[2] Догор — друг.

— Апанас я!

Уловив заметный эвенский акцент, Аргылов спросил:

— Из каких мест едешь?

— От Нелькана.

— Догор, как много войск у них? Хорошо ли вооружены?

— Не считал я.

— Сказанул! Обязательно надо считать по пальцам, что ли?

Каюр не отозвался.

— Атаас[1], напрасно ты меня опасаешься. Я свой человек. Аргылов я, может, слыхал? Я в ваши края приезжал торговать.

Молчание. Немного погодя, Аргылов спросил:

— Ты видел прошлогодних белых?

— Довелось.

— Думаешь, пепеляевцы стоящие, не похожи на тех?

— Кто их знает? Все они одинаковы...

— Как так? Ты же у них?

— Я не солдат. Безоружный.

— А зачем здесь?

— Послал мой тойон, чтобы вернуть назад оленей. Довезу их до слободы и назад.

«Э, сатана, из хамначчитов, оказывается. Потому-то и нем вроде Суонды, язык проглотил... Ну, черт с ним!» Аргылов отвернулся от каюра и, уйдя с головой в оленью доху, предался своим надеждам.

К слободе подъехали в глухую темень.

Сойдя с нарт, Аргылов услышал приближающиеся шаги нескольких людей, шаги замерли вблизи, и уже совсем рядом стала слышна вполголоса русская речь. Но старик, сколь ни силился, людей разглядеть не мог. Вместо них смутно маячили какие-то бесплотные призраки. Испуганно пятясь, старик стал отмахиваться от них.

— Абаасы!..[2]

Но тут его схватили за руки.

— Ты что, старик, спятил?

Рукавицами из собачьей шерсти Аргылов смахнул иней с ресниц и с трудом различил перед собой лицо Сар-

---

[1] Атаас — приятель.

[2] Абаасы — злой дух.

балахова. Не веря глазам своим, старик снял рукавицы и пощупал того за плечо.

— Не узнал? — Сарбалахов сдержанно хохотнул.

Пристыженный Аргылов отвернулся. Откуда ему было догадаться, что эти хитрые дьяволы сшили и надели на себя какие-то еще дохи из белой материи? Диво, да и только: человек стоит перед тобой, а ты его не видишь.

— Велено тебе показать, где стоят заставы у красных.

— По этой дороге, над озером. Во-он там, с запада. И еще на восточной окраине.

— Есть ли дороги туда?

— Наезженных дорог нет, но есть тропы.

Позади на дороге, а теперь будто бы уже и впереди, и со всех сторон все явственней нарастал шум тайного продвижения: приглушенный говор, хрип запаленных оленей, скрип шагов и полозьев, лязг оружия.

Рейнгардт долго смотрел в сторону невидимой слободы, затем жестом подозвал к себе стоявших вблизи офицеров и отдал несколько приказаний. «Есть!» «Есть!» — поочередно вскинули руки подчиненные полковника и разошлись.

— Ты пойдешь с одной ротой в обход деревни с запада. Когда минуете заставу, поведешь людей в саму слободу, — сказал Аргылову Сарбалахов. — Я поведу восточную группу. Часть людей пойдет напрямик. Как мы узнаем, что достигли восточной окраины?

— Со стороны деревни к реке будет широкая проезжая дорога.

— Ладно, примета хорошая. А равен ли путь для обеих рот? Надо подойти с обеих сторон одновременно.

— Примерно равен, хотя вам придется пройти чуть побольше.

— Значит, мы двинемся чуть раньше.

— Апанас, подай мне лыжи. Постой, а у тебя-то самого есть лыжи?

Аргылов отрицательно мотнул головой: он и не думал брать с собой лыжи. Зачем они ему? Разве его взяли с собой не только проводником, но и солдатом? Озабоченный Сарбалахов подошел к полковнику, что-то сказал ему, кивнув в сторону Аргылова, и быстро вернулся.

— Полковник опасается, что пешим ты можешь задержать продвижение, и разрешает тебе взять одну упряж-

ку оленей. Но ты поезжай потихоньку, не обгоняй отряда! Ну, пошли! — обратился он к стоявшему рядом с ним офицеру.

Тот в свою очередь живо повернулся лицом к строю:

— Рота-а!..

— С богом!.. — взял под козырек Рейнгардт.

Вслед за Сарбалаховым, покатившим первым, длинной цепочкой на широких, подбитых мехом лыжах-туут, в белых балахонах двинулись цепью и остальные. Когда они скрылись во тьме, стоявший рядом с полковником тучный офицер ткнул Аргылова в плечо:

— Ну, пошли и мы!

Аргылов вздрогнул:

— Ким?.. Мин?![1]

— Ну!..

Старик поспешно вырвал из рук Ананаса ременную ньёгу[2], сел в нарты и только сейчас вспомнил, что сзади цугом привязаны другие оленьи упряжки. Он принялся отвязывать их, стянувшиеся узлы не поддавались, тогда Аргылов пустил в ход зубы.

— А, черт! — толстяк офицер ткнул Аргылова кулаком в лоб и, выхватив нож, полоснул по ремням. — Ну, быстрей! Рота-а-а-а!

Аргылов направил оленей по большой дороге, затем свернул на боковую тропинку, по обе стороны которой люди в белых одеждах споро скользили на лыжах, молчаливые, как привидения. Перешли почтовый тракт на Якутск, миновали заставу и вышли к слободе с северозападной стороны. Невдалеке замаячили смутные очертания окраинных домов. Тишь, глушь, темень, даже собаки, которые обычно всю ночь ведут ленивый перебрех, в этот раз молчали — мороз утихомирил даже их.

— Бу...[3] — показал Аргылов в сторону темнеющих домов подошедшему к нему толстяку офицеру.

— Хорошо. Рота-а, в цепь! — полушепотом скомандовал тот.

Белые призраки растянулись в широкую дугу, затем взяли винтовки наперевес, молча двинулись к деревне и через несколько минут исчезли во тьме. Тишина остава-

---

[1] Кто? Я?
[2] Ньёгу — вожжи оленьей упряжки.
[3] Бу — вот.

лась прежняя, лишь самое чуткое ухо могло бы уловить удаляющийся шорох скользящих лыж, редкий заглушаемый кашель какого-нибудь простудившегося да бряцание оружия. Толстый военный последовал за своими людьми, даже не оглянувшись на Аргылова.

Едва он скрылся, Аргылов решительно повернул упряжку назад, бросился в нарты и взмахнул кюряем. Олени рванули с места, легкие нарты полетели, едва касаясь земли. То по тропинке, то по снежному целику довольно долго мчался он так, не давая передышки оленям, то и дело погоняя их то кюряем, то пьёгу: скорее, как можно скорее и дальше отъехать от этого страшного места. Он сделал все, что требовалось от него, в этом убедился сам господин полковник. Другим же людям, особенно слободским, этого знать нельзя! Переменится власть или не переменится — в любом случае лучше, если никто не будет знать, что именно он был проводником белого отряда, напавшего на Амгу. Такие дела надо обделывать скрытно: завел пружину, подстроил дело и улепетывай.

Аргылов остановил оленей и, приподняв наушники шапки, прислушался. Царила прежняя глухая тишина. Что-то долго они идут... Хитрые черти, все дивился и никак не мог надивиться Аргылов. Надо же догадаться натянуть на себя белые матерчатые дохи! Опытные вояки! Храбрые к тому же: человек даже к уткам подбирается крадучись, а эти верзилы, каждый под печатную сажень, идут в полный рост. Красные небось дрыхнут, знать ничего не зная. Спите, голубчики, спите! Сейчас вас, сукиных сынов, будут брать тепленькими, в чем мать родила, да откручивать головы, как утятам.

И тут действительно, положив конец нетерпеливому ожиданию Аргылова, со стороны слободы донесся сначала яростный брех собак, потом несколько одиночных выстрелов, а следом за ними — сплошной слитный треск ружейного боя. Когда на этом чуть приглушенном из-за расстояния фоне отчетливо зататакал пулемет, Аргылов, очнувшись, вновь ударил по оленям и помчался пуще напрямик, не выбирая уже, где дорога, где целик. Чуя опасность, взбудораженные олени и без понуканий рвались вперед. Распаленный не менее животных этой бешеной скачкой Аргылов все же успел заметить, что олени вынесли нарты на почтовый тракт. На полном скаку он успел также разглядеть сотни оленей, на которых белые приеха-

ли сюда давеча. Полковника и его людей не было — значит, тоже уже там, в слободе.

— Атаас, отдай оленей! — откуда-то сбоку донесся крик каюра.

Аргылов промчался мимо: кукиш с золой под нос тебе, а не оленей. Всякий голодранец-хамначчит будет мне говорит «атаас». Посмей только преследовать — получишь кюряем в лоб!

Прошло уже время достаточное, чтобы выкурить две трубки табаку. Легкие нарты летели безостановочно, но звуки боя позади еще не утихли. «Так скрытно подошли, но что-то долго не могут справиться», — с тревогой подумал Аргылов.

На поляне за островком леса, считая себя уже вне опасности, расслабившийся Аргылов неожиданно вылетел из нарт, подброшенных на ухабистом раскате. Спасло его то, что он предусмотрительно намотал ременный повод на руку: основательно протащив старика волоком, олени вынуждены были свернуть на глубокий придорожный снег и остановиться.

Аргылов с трудом поднялся, отряхнулся, передохнул и, обдумав происшедшее, решил, что все обошлось хорошо, улепетнул он удачно. А бой в стороне Амги продолжался. Тихо стало, лишь когда Аргылов подъехал к самому дому: то ли вправду бой утих, то ли стал не слышен из-за дальности.

Не останавливаясь возле двора, Аргылов сразу же повел оленей за хотон, на скотный двор. Что с ними делать? Оставишь при себе, хлопот не оберешься: чего доброго, заявится к нему этот «атаас», станет требовать своих оленей да разболтает потом. Лучше он их сейчас же... Знать не знаю никаких твоих оленей, ни тебя самого, ничего не видел, ничего не слышал.

В доме он с трудом, пинками растолкал Суонду, велел одеться, и они вместе вышли за хотон. Здесь Аргылов подвел одного из оленей и протянул Суонде захваченный в доме топор.

— Бей!

Тот недоуменно повертел топор в руках и поднял на хозяина умоляющий взгляд:

— Ы-ы-ы?!

— Бей в лоб, тебе говорят!

Суонда выронил топор и попятился.

Тогда Аргылов обмотал вокруг столба изгороди ре-

менный повод оленя, схватил топор и изо всей силы ахнул им животное в лоб. Взметнув ветвистые рога, красавец олень постоял некоторое время как бы удивленный, затем упал на передние ноги и ткнулся мордой в снег.

Глава четырнадцатая

Задолго до рассвета Соболев проснулся от сильного стука в дверь и машинальным движением выхватил из-под подушки браунинг.

— Кто там?

— Красноармеец Сычев, вестовой военкома.

— Чего надо?

— Товарищ командир, вас немедленно вызывают.

— Меня одного?

— Всех сотрудников.

— Хорошо. Сейчас приду.

Стараясь унять сердцебиение, Соболев некоторое время еще лежал, закрыв глаза. Что бы такое могло стрястись? Соболев остановился на том, что это обычная ночная тревога, забава отделкома, не спеша оделся, попил остывшего чаю и пошел к себе в военкомат.

Его сослуживец и сосед по комнате Курбатов был уже на месте. Мрачно ссутулясь, он сосредоточенно рылся в своей полевой сумке.

— Что случилось, товарищ Курбатов?

— Вы еще не слыхали? Прошлой ночью пепеляевцы овладели Амгинской слободой. Точнее — передовой батальон полковника Рейнгардта.

— Взяли Амгу?

Соболев был ошеломлен. Пала Амга... Как это случилось быстро! Рейнгардт... Полковник Рейнгардт...

— А что с отрядом Суторихина?

— Не знаю, — засовывая обратно в полевую сумку свои бумаги, буркнул Курбатов. — Сейчас у военкома совещание.

Совещание было кратким. Военком Рубин, разглаживая бритую голову, рассказал о вчерашнем ночном событии. Амга имела все возможности держать длительную оборону: бойцов хватало, вооружение было хорошим, боеприпасов достаточно. Но командир гарнизона Суторихин

потерял бдительность, не сумел обеспечить хорошую разведку, не выставил дозоры и заставы на нужных направлениях. Застигнутый врасплох, красный гарнизон не смог дать отпора и оказался вынужденным попросту бежать. Сколько наших прорвалось — еще неизвестно, есть сведения, что много красноармейцев попало в плен.

На сотрудников военкомата возложена обязанность по скорейшему обучению новых воинских частей, обеспечению их вооружением и боеприпасами. Якутск объявлен на осадном положении, город разделен на пять оборонительных районов. На строительство укреплений объявлена мобилизация всего трудоспособного населения и всех транспортных средств. Соболев получил назначение на южный участок обороны: от прежней радиостанции до церкви Богородицы. Затем приказано было всем сейчас же разойтись по своим участкам и уже к вечеру представить в штаб проекты укреплений.

После ареста Аргылова Соболев обрел некоторое спокойствие: войско генерала Пепеляева находилось, по слухам, где-то очень далеко, в окраинных районах, до Якутска пепеляевцы могли и не дойти. Так хотелось думать Соболеву, и он так думал, подверстывая факты к этой своей надежде. И в самом деле, на востоке вплоть до Охотского моря и в окрестных улусах развелось нынче бог знает сколько белых отрядов, да только все они были или разгромлены, или распались сами. Почему дружину Пепеляева должна была миновать эта же участь? Ведь изо дня в день все повторяли одно и то же: поход генерала Пепеляева есть авантюра и, как всякая авантюра, заранее обречен на провал. Как было не поверить в это? А на деле выходит иначе. Пала Амга... Может, и правда у генерала большие силы? Не шуточное это дело — в пору самых лютых морозов, по бездорожью, пустынными пространствами в тысячи верст, по снежной целине да через несколько горных перевалов пройти с обозами до Амги и с ходу, с маху захватить ее! Смело! Очень смело! Полковник Рейнгардт — хитрая лиса, без трезвого расчета он не примкнул бы к ним.

Если от побережья Охотского моря через дикий хребет Джугджур они дошли до Амги, то около двухсот верст от Амги до Якутска для них вроде прогулки. И ни од-

ного крупного красного отряда на пути — это Соболев знал. Теперь, когда все обернулось вопреки ожиданиям, Соболев стал размышлять, укладывая факты, ему известные, в некую систему.

Запомнился Соболеву радостный день 29 июля 1922 года, когда половина населения Якутска явилась на берег Лены проводить в дальний путь два красных экспедиционных отряда, отправившихся на трех стареньких чадящих пароходишках, один из которых назывался «Соболь» (это Соболев не мог не запомнить), а два других — «Диктатор» и «Революционный». Шлепая плицами, пароходики отчалили и медленно поплыли вниз по Лене. Грянула песня с реки, а здесь, на берегу, полоскались на ветру красные флаги, летели вверх фуражки и гремело «ура». Все это вместе произвело на Соболева впечатление не только общего, но, как ни странно было ему, собственного обновления. Помнится, он тогда похвалил сам себя за благоразумие: повинился перед Советской властью, прощен, теперь работай честно, служи... Чувство это было устойчиво в нем, хотя пароходишки с молодыми красноармейцами ушли далеко и скрылись.

Куда же ушли они? Два отряда были отправлены на побережье Охотского моря в порт Аян и в Охотск, куда к этому времени стягивались остатки разгромленных белых отрядов есаула Бочкарева и «командарма» Васьки Коробейникова. Преследование противника с целью окончательного его разгрома — разве это могло бы вызвать какое-либо сомнение в целесообразности операции? Близился час окончательной и безраздельной победы — разве не радость жить в ожидании этого часа?

Как узнал потом Соболев, вскоре после отправки пароходов пришло, а затем было подтверждено сообщение о походе Пепеляева.

Один из этих двух отрядов, так никого и не настигнув, больше двух месяцев просидел в глухом местечке Алах-Юнь, не в силах двигаться из-за осеннего бездорожья, из-за отсутствия теплой одежды и продовольствия, из-за транспорта, наконец, так как лошади и олени были все съедены. Пепеляев в это время высадился с войсками в Аяне, соединился с остатками разбитых белых отрядов, дошел до Нелькана. Боеспособный же недавно отряд сидел как в западне, дожидаясь установления зимней доро-

ги и транспорта из Якутска. Теперь вот пала Амга. Не что-нибудь, Амга, ключевой пункт на пути к Якутску! Не благодушием ли было предполагать, что Пепеляев не двинется дальше Нелькана и что его поход не представляет собою серьезной военной угрозы? Пепеляев не стал отсиживаться в Нелькане. И вот теперь Амга... Этот Суторихин, говорят, убежал чуть ли не в подштанниках, бросив свой гарнизон. Вот и служи таким!

Ядреный мороз бодрил Соболева, шел он споро, и стало ему жалко, что вот-вот он придет на место к церкви Богородицы, начнутся его дела, и останется недостроенной его «система». Ну, какие еще факты остались неучтенными? Ведь это же очень важно для него, это ведь так серьезно — принять решение! «Амга пала... Амга пала...» — повторял он про себя уже машинально. Это был сигнал для него. Только к чему сигнал?

Соболеву однажды пришлось побывать в Амге. Это небольшое селение он хорошо рассмотрел глазом военного: расположено чуть на взгорье, очень удобно для обороны. Одно плохо: растянуто с запада на восток. Круговая оборона такого пункта требует много сил на постройку укреплений, большое количество людей и вооружения. Соболеву еще тогда подумалось, что в случае обороны целесообразнее заранее оставить неукрепленной западную часть села и сосредоточить все силы на восточной половине, где есть больница с большим запасом льда[1], два продовольственных склада, церковь могла бы послужить хорошим наблюдательным пунктом, а могильные плиты прилегающего к церкви погоста — хорошим материалом для укреплений.

Как оно там было? Догадались ли именно так построить оборону или растянули ее вкруговую? Впрочем, какое это имеет значение сейчас, когда все равно Амга пала?

И еще одно припомнилось Соболеву: его недавно уязвило известие о том, что мелкие гарнизоны из Амги, куда они были на время стянуты, приказано было вернуть в прежние пункты. Это уязвило его потому, что на всех оперативных совещаниях, где приходилось быть, он только и знал, что твердил: не распылять силы, а концентрировать, не разбрасывать, а сжимать в кулак. С ним не

[1] Лед в якутских селах запасают на зиму для питьевой воды.

спорили, но все оставалось по-прежнему: в Абаге, Арылахе, в усадьбе Борисова стояли игрушечные гарнизоны по нескольку десятков человек каждый. «Наконец-то образумились, догадались их стянуть в Амгу», — подумалось ему, как вдруг приходит известие об этом приказе — вернуть гарнизоны в прежние места. Когда же это было? Боже праведный, да неужто позавчера? Неужто первого февраля?

«Так вот оно, милостивые государи, господа стратеги, — думал Соболев, — за три-четыре дня до нападения на ключевой стратегический пункт вы выводите из гарнизона около сотни бойцов, а ровно за день до нападения вопреки неоднократным (моим — с удовлетворением отметил про себя Соболев) предупреждениям вы выводите еще не менее сотни. Не слишком ли странное стечение обстоятельств?»

Итак, система завершилась. Она представилась Соболеву безукоризненно законченной, будто шедевр искусства или научная концепция. А сводилась она вобщем-то к простому суждению: он, Соболев, служит людям, которые, сколько бы ни распевали «мы наш, мы новый мир построим», ничего не построят, а только разрушат все, что было до них. А жить на развалинах Соболев был не намерен.

Жаль только, что, при всей завершенности, системе недоставало какого-то последнего штриха, подобно тому, как его недостает портрету, дабы лицо на нем ожило, или симфонии, которой недостает последнего завершающего аккорда.

В этой творческой нужде, сами того не зная, помогли Соболеву двое якутов-добровольцев, двое парней лет восемнадцати или чуть поболе. Соболев поднимался на крутой взлобок, а те, нищенски одетые, с винтовками на ремнях вниз дулами, заливаясь радостным смехом, катились вниз: один на подошвах своих облезлых торбасов, а другой — попросту на заднице, чертя снег дулом винтовки. Оба были так беззаботны и веселы, будто собрались не на войну, а на хороводный осуохай, на кумысное пиршество. Уже поднявшись наверх, Соболев еще раз оглянулся на них. Весь облепленный снегом, один из них барахтался в сугробе, а второй молодым козленком прыгал возле товарища и хохотал во все горло...

«Оборванцы! Дикари! — брезгливо отвернулся Соболев. — Вот они, красные бойцы, — ни рыла у них, ни

ума! Идут, как на уток, — винтовки дулами вниз. Дурачье!»

В поражении вот такого воинства Соболев теперь уже не сомневался. Но вместе с этой уверенностью явилась и тревога: заняв город, пепеляевцы предъявят счет и ему: он выдал чекистам их эмиссара и не выполнил ни одного их задания. Тот же Рейнгардт, с которым он был в полуприятельских отношениях, предаст его суду. А он, Соболев, хорошо знает, что за суд у белых: они-то не станут, как чекисты, допрашивать, вести следствие, искать свидетелей, обращаться в трибунал. Изобьют до полусмерти, выволокут во двор и шлепнут.

«...Ждите. Мы прибудем. Как нас встречать — о том поведает податель сего письма», — писал ему Рейнгардт. «Как нас встречать...» Соболеву стало неуютно и зябко до дрожи. «Ждите. Мы прибудем». Слава богу, Аргылов тут уже не помеха, его теперь наверняка расстреляли. Но останутся документы! Пепеляевцы по обычаю белых постараются прежде всего завладеть документами Чека. А там его донос и все показания. И еще: наверняка белые заслали сюда не одного Аргылова. Кто-нибудь еще из их лазутчиков небось издавна наблюдает — кто как себя ведет и кто что из себя представляет. Как их «встречать» — не знал этого Соболев! Зато он подлинно знал, как «встретят» его они: к стенке! Только-то и дел...

Тут решительность совсем покинула Эраста Константиновича. Он осознал себя в положении человека, загнанного в глубокую нору: ни у красных теперь служить ему нельзя, ни у белых. Ему бы сейчас поразмыслить не торопясь, и тогда, может, пришла бы в голову светлая мысль вроде той, как в прошлый раз, когда он был готов уже нажать на спуск своего браунинга. Но именно в этот момент внезапного отчаяния он подошел наконец к старому зданию бывшей радиостанции. С этого места до белеющей на изрядном удалении церкви Пресвятой Богородицы простирался будущий участок обороны, забота о надежности которого была возложена на него, человека, озабоченного лишь тем, как спастись самому.

Такой протяженный участок чем укрепишь? Где взять столько балбахов, если кроме них, этого презренного мерзлого навоза, нет никаких подручных средств? Где взять столько огневых средств? А главное, кто будет обо-

ронять этот участок — сотня вот тех, сопливых туземцев в торбасах, которые и винтовку-то по-военному не умеют носить? А белые между тем как попрут — их не остановишь. Вон оттуда они двинутся...

Соболев долго стоял в раздумье и глядел в сторону гор за рекой.

К условленному времени Соболев сдал составленный им проект и вскоре был вызван к военкому.

— Товарищ военком, по вашему приказанию...

— Присаживайтесь, Эраст Константинович! — военком Рубин привстал и жестом показал на придвинутый к столу стул. — Проект я видел. Отлично составлен.

— Рад стараться...

— Ладно, ладно! — вновь усадил вскочившего было Соболева военком и сел рядом. — Эраст Константинович, обстановку вы хорошо знаете. Нам требуется немедленно, в эти же дни провести тщательную инспекцию всех гарнизонов, расквартированных в селах на том берегу, — в Павловске и Маинцах. Если мы не примем безотлагательных мер, нас и тут может постичь печальная участь амгинцев. В те места мы решили послать наиболее авторитетного нашего представителя, и я остановился на вашей кандидатуре, Эраст Константинович. Ладно-ладно, сидите. Как военному специалисту, вам надлежит провести тщательную проверку боевого состояния гарнизонов и их подготовленности к отражению нападения белых. Через трое суток, в двенадцать часов дня об итогах командировки подадите мне рапорт.

— Слушаюсь!

— Еще одно обстоятельство, Эраст Константинович. Командование вооруженными силами республики разработало и утвердило план военных операций против войск Пепеляева. Дальнейшая наша деятельность должна идти согласно этому плану. Во время своей инспекционной поездки вы также должны руководствоваться требованиями того же плана. — Рубин поднялся и из старого, с облезшей краской сейфа достал тоненькую папку. — Не считаю нужным подчеркивать особую секретность этого документа. Идите сейчас к себе, запритесь и внимательно ознакомьтесь. Когда кончите, вернете мне.

— Слушаюсь, товарищ военком!

Зайдя к себе и дважды повернув ключ, Соболев так и бросился к столу. Сначала он жадно пробежал глазами все разом, затем внимательно стал читать четыре отпечатанных на машинке листа. Ага, так и есть, фантазии у вас на большее не хватило!

До сих пор Соболев был уверен, что красные отряды перехватят войска Пепеляева еще на далеких подступах к Якутску и завяжут бои на удобных для себя позициях. Эту меру диктовала сама создавшаяся обстановка. Красные в этом случае хотя и не одержали бы решительной победы, зато нанесли бы значительный урон и истощили в многочисленных схватках генеральскую дружину, сильно изнуренную дальним походом. А эти вояки избрали иной путь, самый бесперспективный: они обрекли себя на пассивную оборону. План предписывал все силы собрать в один мощный кулак и сосредоточиться в Якутске. Всем гарнизонам приказано было в сжатые сроки стянуться в Якутск, чтобы не давать противнику возможности разбивать отряды поодиночке. После возвращения из Петропавловского отряда Строда гарнизоны Павловска и Маинцев также должны были вернуться в Якутск. Столица республики должна была превратиться в неприступную крепость и стоять насмерть до подхода новых частей из Иркутска.

Дур-раки! Бездари! Когда нужно сосредоточить силы, они их распыляют. А когда нужна совсем другая тактика, они трусливо прячутся за свои вонючие балбахи! Сидите же и дожидайтесь своего Строда! После падения Амги отряд Строда фактически отрезан от своих. Сейчас этот отряд уже наверняка уничтожен. Как видно, разгром амгинского гарнизона подействовал на них парализующе, совсем перестали соображать — отказались от активных боевых действий против Пепеляева, решили не выступать навстречу ему. Это, прямо говоря, равно самоубийству. Пепеляев расправится с ними задолго до подхода частей из Иркутска. К тому же части, поспешающие на выручку Якутску, наверняка постигнет судьба отряда Каландаришвили[1].

---

[1] Каландаришвили Нестор Александрович — выдающийся руководитель сибирских красных партизан. Погиб 6 марта 1922 г. по дороге из Иркутска в Якутск со своим штабом, попав в засаду белых. (*Примеч. переводчика.*)

«Чувствуете близкий конец, засуетились», — злорадно подумал Соболев и о Рубине самом, который прежде на него косился, даже повышал голос. Сухой, как черствый сухарь, он ни с того ни с сего стал необычайно ласков. Вот как быстро перелицевался!

Ну, да черт с ним! Остается проанализировать создавшуюся ситуацию. Первое: есть и у военкома помимо явного лицемерия хоть доля истинного доверия ко мне, к Соболеву? Почему именно меня он посылает в эту инспекторскую командировку? Тут все просто: некого послать, все сотрудники уже разосланы. Второе: почему военком доверил мне секретный документ? Такой шаг он не имеет права делать без согласования с Чека. Значит, когда Аргылов признался, что передал мне письмо Рейнгардта, а я наотрез отрекся, поверили все же мне, а не ему. Почему? Наверное, во-первых, зверски яростное и наглое поведение Аргылова само собой наводило на мысль о мести за выдачу, о клевете, провокации с его стороны. Аргылов явно расстрелян уже, в этом нет сомнения. Во-вторых, человек, выдавший Чека тайного агента Пепеляева и одновременно сам с Пепеляевым каким-то образом связанный, — это слишком уж не логично. Значит, пока будем считать, что все в порядке.

Да, документ важный. Узнал бы о нем Пепеляев! Не опасаясь, что красные выйдут с боем навстречу, он дал бы отдохнуть войскам и, основательно подготовившись, набрав дополнительно солдат, с полной уверенностью в успехе штурмовал бы Якутск. Более того, зная этот план, он мог бы подстеречь в засадах все подступающие к Якутску отряды. А если так...

Тут сердце у Соболева сильно забилось, а в голове у него мелькнула дерзкая мысль: он сам доложит генералу Пепеляеву об этом плане! Этим шагом окупалось бы все — и выдача Аргылова, и другие его прегрешения. Почему бы не сказать, например, что Аргылов стал представлять собой опасность для выполнения заданий и его пришлось убрать? В такой ситуации за своевременную ликвидацию Аргылова он может даже получить поощрение...

Хотя бы вкратце переписать! — спохватился Соболев и рукой, дрожащей от возбуждения и спешки, стал быстро переписывать, пока не переписал все четыре страницы слово в слово. Затем драгоценные листки он спрятал в

книгу, запер в ящике стола, чуть успокоился и пошел к военкому. У того оказался посетитель, Соболеву пришлось немного подождать, и, ожидая, пока посетитель выйдет, он еще более успокоился.

— Подождал, чтобы вам не мешать. — Он вошел и протянул военкому папку.

— Хорошо, —сказал Рубин, отпирая и опять запирая сейф. — Утром выезжайте. К восьми дежурный пришлет за вами ямщика. Вот ваше удостоверение. Отряд Строда, как только вернется, быстро должен идти сюда, в город. Будьте требовательны, послаблений не допускайте. Пусть все учтут суровый амгинский урок. Через три дня в полдень жду вас. Начальники гарнизонов о вашем выезде предупреждены. Желаю успешной поездки!

Рубин протянул для пожатия свою волосатую ручищу.

— Спасибо! — вполне искренне поблагодарил Соболев.

Наутро Соболев выехал в командировку за Лену, в восточные гарнизоны.

Глава пятнадцатая

По сторонам узенькой дороги до полнеба поднимались лиственницы, все живое попряталось, на свежевыпавшем снегу нигде ни следа, даже обычных во всякое время заячьих набродов. Нехотя тащил сани мухортенький конь, впереди тяжелой глыбой застыл Суонда, за ним — Кыча. Подобревший в последнее время отец отпустил ее с Суондой, за ним — как за каменной стеной. Ехали они на дальний алас за сеном.

Были счастливые времена, когда лес встречал ее птичьим гомоном весной, изобилием ягод летом и осенью, нетронутой свежестью зелени или пышной, как песцовый мех, гладью белейших снегов. Теперь не то. Даже снег не казался Кыче столь белым, как прежде, а тот же лес стоял тяжел и мрачен, как безысходная дума.

Мысли Кычи были одна другой горше. Теперь, когда сожжено ее письмо, и особенно после того, как отец тайно провел к Амге головной отряд пепеляевцев, как она

может доказать свою непричастность к этому? Что сделала она, студентка, пусть и бывшая, в свое время так рвавшаяся в комсомол, — что сделала она, чтобы воспрепятствовать злодейству? Письмо? Какое письмо? Где оно? Так мы и поверили тебе, байской дочке!

Картаво каркнув, пролетел ворон, часто махая крылами. Уже теряясь в дали белесого зимнего неба, он еще раз каркнул, или прощаясь со случайными попутчиками, или приветствуя там, вдали, каких-либо новых. Кыча отвернулась: все в жизни только нелепость, как этот ворон в стужу, только жестокость, обман и кровь... Вчера утром мать почему-то стала чистить шубу отца. Кыча подошла поближе и увидела запекшуюся кровь: «Что это?!» Мать испуганно зашептала: «Грех об отце такое подумать! Это оленья кровь... Он зарезал оленя, которого ему подарили. Ну, те...» Она поверила: отец не так-то прост, чтобы полезть в пекло. А все же как увидит теперь отца или даже подумает о нем — в глазах та же залитая кровью шуба. Пусть и оленья кровь, а все же кровь...

Если бы позавчера ей удалось окольной дорогой прискакать в слободу и предупредить красных! О, если бы ей удалось! Тогда с какой бы радостью встретил Томмот весть о ее подвиге! Тогда бы однокурсники — опять запоздало принялась она тешить себя, — тогда бы как охотно признались они в ошибке! Не было бы на свете человека счастливей, чем она. Кто помешал ей? Да вот он, Суонда, сидит перед нею. Изо всей силы Кыча замолотила кулаками в каменную спину Суонды. Тот медленно повернулся и, зачарованно глядя на Кычу, широко осклабился. Она сдержала рвущийся изнутри негодующий крик и упала лицом в колени.

Позавчера ночью, после попыток вырваться из дому, Кыча сказала себе, что больше и не взглянет в его сторону, но уже наутро нарушила слово: услышав ласковый шепот «Кыча», она против воли откликнулась на этот зов. А днем, когда она лежала, отвернувшись к стене и плача, к ней тихонько подошла мать: «Чем лежать да горевать, съездила бы с Суондой за сеном».

Вдруг с неожиданной легкостью Суонда соскочил с саней и пошел впереди коня, к чему-то приглядываясь на дороге. Затем он вернулся назад, постоял и, быстро возвратясь, принялся разворачивать лошадь.

— Почему назад, Суонда?

Тот молча показал на человеческий след.

— Что это? Человек прошел?

Суонда утвердительно кивнул головой.

— Останови. Останови же! Почему ты испугался?

— Он с ружьем... — с трудом выдавил из себя Суонда, показав опять на дорогу.

— Ну и что? Почему бы ему стрелять в нас? Мы ни с кем не воюем. Едем, Суонда! Почему назад, когда уже приехали? Давай за сеном.

Собираясь что-то возразить, Суонда усиленно задышал-замычал, но Кыча не стала дожидаться, пока он разродится словом, а решительно отобрала у Суонды вожжи, завела лошадь на дорогу и ударила кнутом. С полуподнятыми руками и с открытым ртом Суонда остался сидеть на санях, не сопротивляясь.

Как ни близко осталось до запасенного сена, ехать пришлось довольно долго. Плохо наезженная дорога ужом вилась и никак не могла приблизиться к елани, уже просматривающейся невдалеке. Суонда, то и дело наклоняясь с саней и разглядывая дорогу, непроизвольно тянулся взять вожжи, но Кыча всякий раз осекала его взглядом. «Чей же этот след, размышляла она.—Человек не здешний — незачем местным в такое время пешком шляться по лесу. Обут в валенки... У местного были бы торбаса. Человек вооружен — ясно отпечатывался на снегу приклад ружья. Белый или красный? Из белых, так зачем бы ему скрываться, бродить, выбирая пустынные места, — пошел бы прямо к своим. Сказывают, после нападения пепеляевцев много красноармейцев убежало из слободы в окрестные леса. Пожалуй, это один из тех...»

Кыча оглянулась на Суонду. Тот был сильно возбужден, но вырывать вожжи из рук Кычи и повернуть назад не собирался. На развилке Кыча, и сама, как видно, в чем-то не уверенная, остановила коня. Сойдя с саней, Суонда обследовал обе дороги. На правой, которая версты через три привела бы к жилью старика Охоноса-собосута[1], свежая пороша лежала нетронутой. Следы человека в валенках пошли по левой дороге — туда, куда ехали за сеном. Кыча решительно направила коня влево.

— Ыы-ы-ы! — воспротивился Суонда и, едва успев

---

[1] Собосут — прозвище. Дословно: промышляющий карасями.

вскочить на сани, протянул руки к вожжам, но Кыча откинула его руки. Вскоре через деревья опять стала просвечивать елань.

— Кы-ча-а... — с мольбой выдавил из себя Суонда.

Кыча решительно перекинула вожжи из одной руки в другую:

— Не бойся, Суонда!

Следы обрывались у огороженного стога, а за изгородью снежный целик лежал нетронутый. К стогу подъехали осторожно, сойдя с саней, осмотрелись, кругом было тихо. Следы человека шли в обход стога. Не заходя за изгородь, Суонда пошел было по следам, но, сделав несколько шагов, кинулся обратно и за руку оттащил Кычу, которая уже собралась влезать за ограду.

Что там?

Суонда кивнул на стог и силой повел Кычу к саням, но Кыча рывком высвободилась от медвежьей хватки Суонды и прошмыгнула между жердями за изгородь. Суонда кинулся вслед, поймал руками лишь пустоту, полез через изгородь напролом, да застрял, зацепившись поясным ремнем.

Кыча обежала стог и здесь, уже на противоположной стороне его, она увидела дуло винтовки, высунувшееся из стога.

Испуганно вскрикнув, Кыча зажала рот рукой. Сидящий в сене, кажется, ничего не услыхал, потому что дуло ружья не шевельнулось. Кыча сделала один, второй, третий шаг вперед. Все оставалось по-прежнему. Тогда она вплотную подобралась к скрывающемуся. Суонда, подойдя, откинул ее прочь. Падая, Кыча успела заметить, как, закрывая ее от опасности, кинулся, растопырив руки, Суонда. Вид его был безумен.

Следя за дулом винтовки, оба некоторое время постояли молча. Дуло оставалось неподвижным.

— Подойдем ближе, — шепнула Кыча.

Суонда отрицательно затряс головой.

Кыча хотела было прошмыгнуть под раскинутыми руками Суонды, но тот ловко поймал ее за шапку. Тут только донесся из глубины стога невнятный звук.

— Стонет...

Оставив шапку в руках Суонды, Кыча раздвинула сено и увидела красноармейца в ушанке с большой разлапистой матерчатой звездой. Человек, обросший светлой бородой, сидел, откинувшись и засунув приклад винтовки

под мышку. Глаза его были закрыты, на задубевших губах запеклась кровь.

Кыча слегка тронула сидящего за рукав полушубка:

— Товарищ...

Потревоженный красноармеец застонал.

— Что будем делать, Суонда?

Выражая свою беспомощность, тот лишь покачал головой.

— Так и бросим? Помрет же!

Хоть Кыча и напирала на Суонду, но хорошо понимала, что Суонде, если тот и заговорил бы сейчас, предложить было нечего. Как они могут спасти этого человека?

Где спрячут? Не везти же в дом к отцу...

— Суонда! — решительно потребовала она.

Тот сдвинул шапку на лоб, стал чесать затылок.

— Охонос дома?

Суонда наклонил голову, подтверждая, что Охонос дома.

— Повезем его туда! Заворачивай коня!

Суонда не шевельнулся: ему не понравилось, что затеяла Кыча. Поняв это, Кыча упала на колени, обняла толстые, как бревна, ноги Суонды.

— Умоляю тебя, Суонда! Мы не можем его оставить на смерть, это грех великий!

Суонда с усилием сглотнул застрявший в горле комок: Кыча, которую он любил и любит всю жизнь по-отцовски, вот уже третий раз молит его... Третий раз... Ничего не говоря, он проворно наклонился и стал поднимать Кычу.

— Что, Суонда? — снизу вверх взглянула на него Кыча.

Молча кивнув головой в сторону раненого, Суонда с ходу развалил изгородь одним толчком и пошел к коню.

Не зная, за что взяться, Кыча топталась возле раненого. Тот никак не приходил в себя, лицо его обострилось больше прежнего и стало приобретать мертвенно-землистый оттенок.

Кыча взяла винтовку, Суонда, как маленького, поднял раненого на руки, отнес в сани, и теперь уже не вдвоем, а втроем они молча поехали.

На развилке дорог Суонда решительно завернул коня в сторону жилья Охоноса-собосута. Три-четыре версты

они проехали быстро, и резвый бег взятого в кнуты коня прервали возле самой юрты.

Не обратив внимания на Суонду, повернувшегося к ней с удивленным лицом, Кыча соскочила с саней и побежала к избе. Дверь снаружи была подперта поленом, но это ее не остановило, Кыча с размаху распахнула дверь. Скрип промерзший в пазах двери оказался ржав и безнадежен, вроде крика ворона, который встретился им по дороге. Кыча обернулась к Суонде и схватила его за рукав:

— Что это?

Суонда стоял молча, спокойно глядя, как часто-часто отскакивает от тяжелой колоды порога незахлопнувшаяся дверь.

— Их же нет... Съехали куда? — прошептала Кыча.

Изба, построенная впритык с хотоном, еще не успела выстыть. По всем признакам родной очаг хозяева покинули не ранее, чем нынешним утром. Не иначе как испугались позавчерашнего боя и ушли на всякий случай от греха подальше, а к людным местам поближе. В смутное время жить в одиночку среди тайги было страшно.

Куда же теперь деться им с раненым на руках? Ничего путного на ум не приходило. Про такое безвыходное положение якуты говорят: приходить, так ямка тебе для столба — влезь-ка в нее; уходить, так горло ступы — вылезь-ка! Глаза девушки остановились на деревянном ожиге, прислоненном к челу камелька. Схватив его, она торопливо разгребала золу. К ее радости, оттуда блеснули еще не погасшие угольки. Кыча протянула ожиг Суонде:

— Разжигай огонь!

Кыча принесла охапку сена, разостлала на топчан, а когда в камельке заплясало пламя, придвинула топчан к камельку.

— Суонда, тащи его сюда!

Видя, что Суонда собирается что-то сказать, Кыча повернула его к двери лицом и подтолкнула:

— Пошевеливайся! Опоздаем с сеном!

Огонь в камельке горел жарко, и скоро в избе стало заметно теплее. Раненого положили на топчан. В сознание он так и не пришел: то стон, то бред. Там, возле стога, он показался человеком уже в годах, а оказался совсем молоденьким парнем.

Кыча расстегнула пуговицы его полушубка, хотела было снять его, но оказалось, что левая, окровавленная до заскорузлости пола присохла к телу.

После долгой возни ей удалось стянуть с русского валенки. Пальцы его ног были сильно обморожены. Сперва Кыча принялась их растирать, затем Суонда растирал их снегом, но ничего не помогло.

Тем временем закипела вода, отыскали на полочке старую берестяную чашку-кытыя, остудили в ней кипяток и дали раненому попить, но он не мог расцепить сжатые зубы, и пришлось вливать воду в рот по капле. Затем, обмакивая в воду свой головной платок и прикладывая его к присохшим местам, Кыча осторожно отделила от тела раненого сначала полу полушубка, затем гимнастерку. Оказалось, нижнюю рубашку он разорвал и перевязал себе рану. Задубевшие от крови полоски ткани крепко присохли к ране, Кыча не решилась их трогать. Пуля застряла где-то в теле, выходного отверстия на спине не было.

Раненый внезапно открыл глаза.

— Товарищ! — обрадовалась Кыча. — А товарищ!..

Тот беспокойно заметался, из горла его стали вылетать хриплые звуки, будто он давился словами, которые хотел произнести, и вдруг закричал:

— Ма-а-ма!

Кыча положила ему на лоб свой платок:

— Товарищ! А товарищ!

Раненый медленно, будто устало, вытянулся и закрыл глаза. На застывшем лице его продолжали жить только губы. Опаленные внутренним жаром, потрескавшиеся, они еле заметно вздрагивали и шевелились, но никаких слов разобрать было нельзя. Долго еще не отходила Кыча от раненого, но так ничего и не добилась: он не очнулся.

— Едем домой! Надо взять для перевязки что-нибудь, нужен йод... Вечером ты со мной приедешь сюда? — заторопилась Кыча. — Ах, с отцом-то как же? Он не должен ничего знать. Вечером со мной тебе нельзя... И коня брать нельзя — отец хватится. Сколько здесь будет — не больше кёса? Пойду пешком... У матери как-нибудь отпрошусь... И ты мне тоже не запретишь! Так ведь, Суонда?

Суонда, как всегда, неопределенно пожал плечами и что-то промычал.

Раненого завернули в его полушубок, застегнули все пуговицы, обули в валенки, надели шапку и рукавицы, в камелек подложили побольше поленьев, и, чтобы от случайного уголька не занялось сено под раненым, топчан оттащили от камелька.

— Товарищ, вы слышите меня?.. Я скоро приду. Ждите меня...

Они заехали к стогу, Кыча, торопя Суонду, не дала ему как следует наложить воз.

Обеспокоенный их долгим отсутствием, Аргылов встретил их прямо у сеновала.

— Почему припозднились? Почему так мало сена взяли? Что-нибудь случилось?

Суонда вместо ответа глянул на Кычу.

— Ничего не случилось, — спокойно ответила отцу Кыча, однако не прибавила больше ничего и с независимым видом пошла к дому. Взойдя уже на крыльцо, она оглянулась на Суонду: «Скажет, нет?»

Этот вечер показался Кыче бесконечно долгим. По приезде домой она прошла к матери в хотон и рассказала ей, как нашли они раненого, и чуть ли не в слезах стала умолять помочь. Она прибегла даже к обману, сказав, что с раненым парнем они вместе учились. Мать вначале стала ее отговаривать: если узнают, беды не оберешься. Но видя, что Кыча не отступится и пойдет на безрассудство, не отпусти ее, Ааныс скрепя сердце согласилась. Кыча дала слово, что до рассвета вернется. Заранее припася йод, чистую материю для перевязки, кое-что из съестного, она все это припрятала в укромном месте.

Вечерний огонь в камельке стал затухать, тлеющие угли закидали золой, вытяжную трубу заткнули обгорелой кочкой. Люди разошлись спать по своим оронам... Накрывшись с головой одеялом и притворясь спящей, Кыча стала дожидаться, когда заснет отец.

Как на зло, старик долго ворочался с боку на бок. В конце концов, когда у Кычи терпение стало уже истощаться, захрапел. Тогда Кыча тихонько встала, под одеяло положила кое-какую свернутую одежду, стараясь, чтоб было похоже издали на спящего человека, поцеловала мать и осторожно на носочках пробралась на черную половину дома. Челядь непробудно спала. Схватив

заранее припасенный мешочек, Кыча скользнула за дверь.

Была глубокая ночь, бесчисленно высыпали на небе звезды. Выйдя на опушку леса у дороги, девушка припустилась бегом.

Чем дальше в лес уходила дорога, тем становилось угрюмей. Мрачная, без просвета мгла охватывала со всех сторон, деревья казались чудовищами! Скрип собственных шагов слышался топотом преследователя.

Чуть больше чем через час Кыча добралась до жилья Охоноса-собосута. Но тут, когда она уже достигла изгороди, силы покинули ее; ноги совсем отнялись, руки безвольно повисли, перехватило дыхание. Чтобы не упасть, она схватилась за жерди. Повисев на них, она понемногу стала приходить в себя и подняла уже голову, как вдруг изба, маленькая, не больше колодки ручной наковальни, на глазах стала расти в высоту и в ширь, заслоняя собой горизонт. Показалось даже, что она качается, то удаляясь, то приближаясь вплотную.

— А-а-ай!

Закрыв лицо руками, Кыча опять приникла к изгороди, стараясь не видеть того, что на нее надвигалось. Но ничего не произошло. Она подождала еще, и опять ничего... Все оставалось по-прежнему. Кыча решительно оттолкнулась от изгороди, подошла к избе и распахнула дверь.

— Товарищ!..

Звук собственного голоса в темной избе отдался в в дальнем углу смежного пустого хотона.

Кыча разгребла тлеющие ули, подбросила поленьев, и сухое смолье быстро занялось, ярко осветив убогое покинутое жилище.

Раненый по-прежнему был в забытьи. В такт короткому затрудненному дыханию шевелилась его светлая борода. По-видимому, он так и не приходил в сознание. Кыча подтащила топчан поближе к камельку.

— Товарищ!

Он не слышал. На искусанных в беспамятстве и опухших губах осел белый налет, запавшие глаза ушли далеко в глубь глазниц. Упав возле топчана на колени, Кыча с отчаянной верой в невозможное стала звать его:

— Товарищ! Милый!.. Ну, открой же глаза! Скажи хоть слово!

Раненый не откликался.

Старик Аргылов тем временем внезапно, как от толчка, проснулся, открыл глаза. Сквозь сон ему послышались на дворе чьи-то шаги. Впрочем, ничего подозрительного не оказалось, было тихо. Во все носовые завертки храпел Суонда, да изредка постреливала ледяная обмазка дома. Послышалось... Старик перевернулся на другой бок и укрылся одеялом с головой. Вызывая сон, он стал нарочно зевать — не помогло, попробовал по сонному захрапеть — тоже без пользы. Сон покинул его окончательно, что за напасть! Однако что это все-таки ему послышалось?

У Аргылова была лишь одна мысль: Валерий. Зная о приговоре, старик все равно не переставал ждать его. Днем ли, заслышав дальний скрип саней, он невольно настораживался: а вдруг... Ночью ли, как сейчас, проснувшись от малейшего шума, он опять молил судьбу: а может...

Белые похвастались ему, что через несколько дней займут Якутск и вырвут из лап чекистов его Валерия, да только не видно, чтобы они спешили. Вроде бы дожидаются, когда с главными силами подойдет сам генерал, только вот когда соблаговолит он прибыть — вилами по воде писано. Лишусь сына — вроде бы и не жил. Дочь? Э, что дочь! Все у нее наперекор, все назло. Хоть вот сегодня: «Ничего с нами не случилось...» И ни слова больше. Что-то, однако, лица у них были какие-то особенные...

Аргылов продолжал вертеться; ему одинаково неудобно было и на правом боку и на левом. Попробовал лежать на спине — еще хуже. Что же все-таки его взбудоражило? Померещилось? Нет, шаги слышались явно... Старик решительно встал, на ощупь добрался к печке, нашел свои торбаса, двинулся к чуланчику и, приоткрыв дверь, вгляделся: спят... Аргылов выбрался во двор облегчиться. Было где-то за полночь. Пар дыхания шипел, замерзая на лету. В черноте неба завис небольшим рожком ущербный, на исходе, месяц.

Что же все-таки его разбудило? — продолжал он думать под одеялом. Иметь острый слух иногда бывает обременительно: забеспокоишься, заслышав что-нибудь, а в большинстве случаев оказывается пустяк, да и только. Нет, все-таки давеча он ошибся, надо было расспросить их построже, что-то не так, неспроста они опоздали. Может, узнали новости о Валерии? Будь вести из добрых.

не преминули бы рассказать. А если недобрые? Кыча хотя и не особенно благоволит к брату, однако же родная кровь... Давеча как ни скрывалась, а все равно видно было, что встревожена. Пожалуй, так оно и есть: слышали что-то и скрывают. Утром надо будет как следует расспросить... Что такое услышали они? Гадай не гадай — все равно недоброе что-то. Нет, он не выдержит до утра. Эдак в догадках ума лишишься — до утра-то...

Аргылов резко отбросил одеяло и опять направился к чулану.

— Кыча...

Он слегка потеребил край одеяла, но дочь не пошевелилась. Тогда Аргылов осторожно откинул одеяло... Не веря глазам, старик поспешно разрыл постель и ахнул: вместо дочери куча тряпья!

— Сатана, дрыхнешь? Где дочь? Где, я тебя спрашиваю?

Аапыс подобрала сброшенное мужем одеяло и опять накрылась им.

— Ка-кая дочь?

— Сколько у тебя дочерей, стерва?

— Не-не знаю...

— Как так не знаешь? Говори, куда она ушла!

Схватив жену за локти, Аргылов заставил ее сесть на постели.

— Не-не знаю...

— Сатанинское отродье!..

Старик с силой отбросил жену к стенке и кинулся в переднюю, свалив на пути скамейку.

— Подымайся, мешок с мясом! — Он сорвал с Суонды одеяло.

Заполошный крик хозяина до Суонды не дошел — он захрапел пуще прежнего.

— Чурбан, проснись же! — Хозяин схватил хамначчита за волосы и стал мотать его голову из стороны в сторону. — Тьфу, собака!

С трудом заставив сесть его на постели, старик крикнул ему прямо в ухо:

— Дуралей, где Кыча? Куда она подевалась?

Но тут на Суонду напала судорожная зевота — зевал он очень долго, понемногу стал приходить в себя и, увидев хозяина перед собой в одном исподнем, удивленно хмыкнул.

Аргылов неожиданно вкрадчивым и задушевным голосом шепнул в ухо Суонде:

— Кыча наша попала в беду...

Как от укола шипом, Суонда резко повернулся к Аргылову:

— Ы-ы-ы!

— Ну, долго еще будешь чухаться? Одевайся!

Они вышли во двор, и скоро по дороге к жилью Охоноса-собосута резво застучали копыта.

Кыча покормила раненого, понемногу, по ложечке вливая ему в рот разогретое молоко и жидкий суп. К ее радости, тот исправно глотал, хотя все время оставался с закрытыми глазами и ни на что не откликался. А Кыча говорила без умолку, чтобы дозваться его, но скорее — для себя. Собственный голос придавал уверенности. Ей казалось, что едва она замолчит, тут же надвинется какая-нибудь беда.

— Вот мы и поели, попили... А теперь осмотрим рану — как она там? Я с собой захватила йоду. Потом перевяжем. Ладно? А вы потерпите. Скоро придут красные, вас положат в больницу и вы поправитесь. Вы обо мне будете помнить? Встретите меня в Якутске, на улице... Нет, лучше придете к нам в педтехникум... У нас там хорошие ребята... Ой, старая перевязка присохла к ране! Придется отмачивать... Ну ничего, теплой воды у нас много.

С головой уйдя в хлопоты, Кыча не расслышала, как подъехали на санях и во дворе заскрипели по снегу чьи-то шаги. Рывком отворилась дверь, и вошел разъяренный отец. Выронив из рук кыйтыя с теплой водой, еще не зная, что делать, она бессознательно кинулась к нарам, где у стены стояла винтовка раненого, уже протянула руку, чтобы схватить винтовку, как на нее обрушился удар, и Кыча упала, больно ударившись головой о топчан.

— Чего там застыл истуканом? Вынеси этого человека и брось в сани!

Суонда, не рассуждая, так же легко, как в прошлый раз, взял раненого, завернул в полушубок и понес к выходу.

— Не трогайте его! Не трогайте! — Кыча вскочила и стремглав кинулась к двери.

Аргылов перехватил дочь. Не помня себя от горя и гнева, Кыча забилась в цепких руках отца.

— Опять застыл, дурень! Пригвоздили тебя, что ли?

— Суон-да-а!.. — отчаянно вопила девушка.

Громко стукнула захлопнувшаяся дверь.

— Айа-ка-у! — взревел Аргылов, рывком свалил на пол дочь и воткнул в рот укушенный палец. — Ну погоди уж, звереныш! С такой дикой и поговорю по-дикому!

Он схватил дочь, насильно надел на нее шубу, нахлобучил шапку, выволок ее, упирающуюся, во двор и бросил в сани, рядом с раненым.

— Поезжай!

Сани тронулись, но отец не отпускал ее, цепко держал.

— Звери вы! Вам не жаль умирающего человека! Куда вы его везете? Везите и меня туда же — это я его нашла и укрыла!

Никто ей не ответил. Выбившись из сил, в конце концов умолкла и Кыча. Дальше до самого дома никто из них не проронил ни слова.

Остановились возле ворот.

— Езжай в слободу, — распорядился Аргылов, обращаясь к Суонде. — Сдашь его там...

— Меня тоже! И меня везите туда! — крикнула Кыча, крепко ухватясь обеими руками за передок саней.

— Чего стоишь, дубина?! Поезжай!

Аргылов сдернул дочь с саней и толчками погнал ее к дому. До смерти перепуганная Ааныс встретила их на пороге. Аргылов в последний раз толкнул дочь, и она с размаху влетела в раскинутые руки матери.

— Дуры! С вашими ли куриными мозгами соваться в такие дела? С чего это вдруг вы души не зачаяли в этом русском? Кто он вам — сын ли, брат? За Бэлерия у вас душа не болит. Я вижу! Заелись на готовом, начали с жиру беситься. С собаками у меня и разговор собачий. Я найду на вас укорот, заставлю ходить по одной половице и дышать в пузырь!

Старик втолкнул жену и дочь в их чулан. А утром следующего дня на черной половине дома, где жили хамначчиты, Аргылов велел отгородить небольшой закуток и заточил в него дочь. На дверь этой темницы он повесил тяжелый замок, а ключ опустил себе в карман.

Глава шестнадцатая

За рекой в Павловске Соболев был уже второй день. Он побывал в окопах, укрепленных балбахами, осмотрел пулеметные гнезда, проверил, где поставлены дозоры и как эти дозоры организованы. Половину второго дня он проверял боевую и политическую подготовку бойцов. Начальнику гарнизона было сделано строгое замечание о нерегулярности политзанятий, после чего, пообедав, он в сопровождении бойца выехал за поселок, чтобы, как он объявил начальнику гарнизона, лично провести рекогносцировку. Соболев едва дождался этого момента. Вначале на радостях оттого, что удачно выбрался из Якутска, он подумывал, не махнуть ли сразу же на восток, но, успокоившись и поразмыслив, решил быть осмотрительным, не вызывать подозрений. В позапрошлом году бывшие царские офицеры из того же, где и Соболев служил, облвоенкомата сбежали в Усть-Маю да сколотили там белые повстанческие отряды. С тех пор к военспецам красные относятся сдержанно. Во имя той же предусмотрительности он, в соответствии с данным ему предписанием, должен был посетить еще и Маинский гарнизон, но это было уже сверх всякого терпения да и рискованно. Хорошо, что начальник гарнизона в Павловске оказался дельный человек, остался руководить работами. А ну, как тот, в Маинцах, бросит все да увяжется за тобой — поди отвяжись! Нет, задуманное надо осуществить сегодня же. Сегодня...

В легкой кошевке Соболев и его провожатый выехали на северо-восток, и на окраине деревни, где по глубокому снегу разошлись несколько дорог, чуть приубавили бег.

— Эй, куда барда баар? — спросил сопровождающий Соболева красноармеец-якут, обращая к нему свое улыбающееся лицо.

— А куда ведут эти дороги?

— Бу — Якутск, там — на Тыыллыма, вот — на Хобгума, а этот — прямо Амга...

— Езжай прямо!

Рысью пересекли широкую елань и въехали в лес.

— Есть тут наши посты?

— Да. Верст один-два отсюда...

— Поезжай! Посмотрим, как там несут службу...

Дорога оказалась на редкость извилистой, меняла направление едва ли не за каждым деревом и за каждой валежиной. Тут и встречного-то увидишь, только столкнувшись с ним нос к носу. Что и говорить, у дикого народа и дороги дикие.

— Стой!

Ушедший глубоко в себя Соболев очнулся, но схватился не за кобуру пистолета, а за левую полу, куда была зашита та драгоценная бумажка! Эраст Константинович чуть не плюнул с досады на самого себя: так в решающий момент можно попасть впросак...

— Это я, Харитон Халыев! — не останавливаясь, крикнул в ответ возница.

— Стой! Стрелять буду!

— Э, не стреляй, догор! Видишь, это я...

С двух сторон на дорогу выскочили два вооруженных красноармейца — русский и якут.

— Документы!

— Начальник. Приехал из города, — шепнул Халыев дозорному.

— Документы!

— Молодцы! Образец бдительности... — натянуто улыбаясь, похвалил Соболев и протянул свое командировочное удостоверение.

Поочередно изучив удостоверение, дозорные вернули его владельцу.

— Харитон, надо слушаться приказов. Сказано тебе «стой!», значит, надо остановиться. Смотри, нарвешься на выстрел.

— Айыккабын[1], догор! Уж больно ты сердитый!

— «Айыкка» будешь кричать потом, когда пуля ужалит. Дальше поедете, будьте осторожны: там у нас только один пост.

— От имени командования объявляю вам благодарность!

Соболев пожал руки обоим дозорным. Те, отступив на полшага, вытянулись и взяли под козырек.

— Загордился, на пост его, видишь, поставили, — погоняя лошадь, бормотал по-якутски Харитон. Затем обратился к Соболеву: — Куда барда баар, табаарыс хамандир?

Соболев махнул рукой вперед.

---

[1] Айыккабын — больно.

— Ладно! — Харитон подстегнул коня вожжами. — Полный вперед!

«Хорошо бы вот так приехать в самую Амгу! — подумалось Соболеву. — Уговорить бы этого парня! Посулить ему денег, одежды, еды...» Соболев стал наблюдать за кучером. Парень, кажется, с виду лишь прост. Не удивительно, если он окажется агентом Чека. Наверняка еще и комсомолец. Вот из такой-то зеленой зелени как раз и получаются красные фанатики. Нет, пожалуй, этому довериться нельзя. Лучше подумать, как от него избавиться, и скорее, не доезжая поста. Тогда спросят, почему еду один. Скажу, что провожатые чуть приотстали. Должны поверить: документы-то подлинные. А дальше — надежда на коня.

Когда отъехали настолько, что звук пистолетного выстрела не услышать дозорным ни сзади, ни впереди, Соболев медленно потянулся рукой к кобуре.

— Кх-гм... Кх-гм...

Нарочитый кашель заставил Соболева вскинуть глаза. Он взглянул на кучера и обомлел: по-прежнему, с неизменной улыбкой, выставив напоказ свои кривые зубы, Харитон сидел к нему вполоборота и почему-то держал винтовку на коленях. Дуло винтовки было направлено Соболеву прямо в живот, а палец правой руки Харитона, вынутой из рукавицы, лежал на спусковом крючке. «Вот дикарь!» — мысленно обругал его Соболев и сделал вид, что поправляет на себе портупею. Почему он обернулся к нему? Почему винтовку направил на него, а главное — палец на спусковом крючке?

— Товарищ боец, положите винтовку!

— Нэлэза, табаарыс хамандир! Белэй многа, — возразил Харитон и опять дурацки осклабился. — Еще барда, табаарис хамандир?

— Да-да, еще!

— Ладна. Сат! — не спуская взгляда с Соболева, Харитон понукнул коня.

Впереди замаячил большой алас.

— Сколько еще осталось до поста?

— Три верста. Кончится там ойур[1] будет еще алас. Там еще ойур, как кончится — пост сразы.

— Можно ли обойти этот пост? — спросил нетерпеливо Соболев и, поняв, что допустил оплошность, тотчас

---

[1] Ойур — лес.

поправился: — Могут ли бандиты незаметно проскочить мимо поста?

— Есть, бар. Один верста суда — есть маленький дорога, — махнул рукой влево Харитон.

— Дорога выходит на тракт?

— Да-да, тракта совсем билиска. Один кес, десят верста...

Давая понять, что разговор окончен, Соболев громко крякнул и отвернулся. Кучер, однако, не переменил позы и не погасил свою бессмысленную улыбку. В конце концов, чему этот дикарь улыбается? Он что, издевается? Ну да черт с ним совсем! А что, если дозорные последнего поста не позволят ему поехать дальше? Настаивать опасно, могут и задержать. Ну и попал в оборот! Трезво рассуждая, на последнем посту ему появляться нельзя, надо этот пост объехать. И дикаря все же надо убрать, иначе он не даст поехать объездной дорогой.

Въехали на алас. Дорога петляла меж редких деревьев по северной стороне его, а на южной, совсем недалеко за лесистым мыском, стлался по ветру дым — там стояло чье-то жилье. Соболев беспокойно заворочался в санях.

— Ноги отсидел... Тесно тут! И давай поедем как-нибудь побыстрей...

— Сани малынкай, ты большой...

— Слушай, парень, — осенило Соболева. — Ты не мог бы попросить у них, — махнул он в сторону жилья, — второго коня?

— Это мосна! — не переставая улыбаться, отозвался кучер. — Ладына, я — чичас! Я быыстара-быыстара!

— А я тебя подожду вон там за мысом. Там ветра поменьше...

— Ладна, хоросо! Я барда...

Харитон соскочил с саней и, оборачиваясь время от времени, припустился бегом к виднеющемуся невдалеке дому.

Дождавшись, когда кучер добежал до середины аласа, Соболев взял вожжи и стегнул коня. Конь, не успевший еще устать, пошел резвой рысью. Соболев ни разу не оглянулся. Он был устремлен только вперед, ибо на всем, что оставалось у него за плечами, пусть хоть минуту назад, он уже поставил крест. Проскакав лесом версты две, он придержал разгоряченного коня: стоп, развилка... Со-

болев решительно завернул коня налево, и через несколько минут наезженный тракт скрылся за деревьями. Соболев вздохнул: все, вырвался! Прежнего Соболева, сотрудника Якутского облвоенкомата и красного командира — этого Соболева больше нет! Начинается с этой поры штабс-капитан Соболев!

Короткий зимний день пролетел — то ли был, то ли не было его. Надвигались сумерки. Соболев ехал уже часа полтора, но почтового тракта все еще не было, хотя давно пора бы ему появиться, если обходная дорога, как говорил тот лучезарный дурак, должна вывести на главную. Что бы это могло означать? Дорога часто ветвилась, и каждый раз Соболев выбирал наезженную и широкую колею. Может, где-то он дал маху? Может, от почтового тракта он где-то свернул раньше? Хоть и грызли сомнения, Соболев все же не осмелился повернуть назад. Его безостановочно гнала вперед надежда, что тракт обнаружится вот-вот. Но большой дороги все не было. Соболев испуганно поднял глаза на потемневшее небо с редкими звездами и понял, что заблудился. Он едет не на северо-восток, как полагалось, а прямо на север. Как же быть? Ехать ли дальше вперед или повернуть назад? Все-таки лучше проехать вперед. Еще немного вперед...

Сумерки густели от минуты к минуте. Еще полчаса, и ночь!

Конь опять вынес его на алас. По аласу бугрились огромные в сумерках стога сена. Значит, где-то близко живут люди. Соболев утишил бег коня, а вскоре и сам конь остановился, уткнувшись в городьбу вокруг стога сена: дорога тут кончалась...

Взъярившись, но сейчас же взяв себя в шоры, Соболев повернул обратно. Черт побери! Сколько времени потеряно зря! Да и конь заметно устал... Надо спешить!

Тот кривозубый наверняка уже поднял тревогу, но дозорный пост их остался далеко, вряд ли догадаются они пуститься в такую даль. Как же все-таки выбраться на большую дорогу? Надо, видимо, держаться тех дорог, которые идут на юг. Спустился вечер, стало почти совсем темно, а Соболев все не давал передышки коню. Дорога продолжала дробиться на тропки, и раза два ему пришлось возвращаться вспять, потому что облюбованная

им колея, казалось, заворачивала совсем не туда, куда он стремился. Время шло, тьма сгущалась, а дорога наконец совсем исчезла из глаз. Подобралась ночь, небо стало падать на землю, а затем как-то разом наступила такая кромешная тьма, что не стало ни неба, ни земли, все слилось: на земле ни искорки, на небе ни звездочки. В сплошной темноте Соболев стал уже терять всякое представление и о времени и о пространстве. Он ехал то вперед, то, усомнившись, возвращался и, проехав так немного, сворачивал еще куда-нибудь вбок. В этом кружении он давно уже потерял, где восток, где запад, но с отчаянным упрямством все куда-то пробивался, надеясь, что когда-нибудь выйдет на большой тракт. Так он бесконечно ехал, ехал и ехал...

Было глубоко за полночь. Выбившись из сил, лошадь перестала слушаться вожжей, и не помогал даже кнут. Соболев уже совсем потерял всякую надежду, когда едва трусящая лошадь и вовсе остановилась.

Привстав, чтобы хлестнуть коня, Соболев с удивлением увидел перед собой неясное очертание подворья с хозяйственными постройками, а рядом маленькую избенку. Его окатила волна радости. Пусть неясно еще, что за люди живут здесь, а все же люди. Держа наготове пистолет, Соболев осторожно обошел подворье. На выгоне для скота стояла одна лошадь, признаков военных не видать.

Соболев постучался в дверь. Ответа не последовало, тогда он дернул дверь на себя — она оказалась незапертой, — и на него изнутри пахнуло застоявшимся теплом.

— Есть кто-нибудь? — непослушными от мороза губами едва проговорил он. — Кто баар?[1]

— Баар... Баар... — из темноты отозвался старческий голос.

— Кто там? Ким бар?

— Мин... мин...[2]

Подойдя к камельку, невидимый пока хозяин выворошил деревянным ожигом россыпь еще тлеющих угольков и, наклонившись над шестком, принялся раздувать их. Как бы нехотя вспыхнул огонь и выхватил из темноты длинные свалявшиеся волосы, жидкую бороденку и

[1] Баар — есть.
[2] Мин — я.

костлявое изможденное лицо старика в исподнем белье. Сухие поленья быстро разгорелись, стало заметно светлее.

— Кто такой будешь? — спросил по-якутски старик, пододвинув в огонь закоптелый чайник, и, стоя в тени, из-под руки, как при солнце, глянул на ночного гостя. Кожа да кости, одежонка на старике висела как на шесте.

— Я... мин... — смешался Соболев и неожиданно для себя самого выпалил: — Мин фамилия — Соболев. Соболев я.

«Почему это я не скрыл свою фамилию? — изумился он. — Впрочем, какая теперь разница!»

— Кыраснай? Белэй?

— Что? — переспросил Соболев и огляделся.

Избенка была тесной, не жилье, а конура. Стены из грубо отесанных и вертикально поставленных тонких лесин были черны, углы закуржавели, в узеньких, как бойницы, оконцах вместо стекол — пластины озерного льда. Пол земляной, кособокий треногий стол, чурки вместо стульев. В стене за камельком чернел вход в хотон. Оттуда густой волной несло духом навозной жижи. Берлога... Как можно жить в таком ужасе?

— Я красный командир... — запоздало ответил Соболев.

— Кыраснай... Хамандыр? — старик подошел вплотную к гостю, продолжая вглядываться в него, и тут увидел звезду у него на шапке. — Э-э! Чахчы[1] кыраснай! Тут — сулус![2] Сулус кыраснай, да! — старик осторожно дотронулся до звезды на шапке и весь расплылся в улыбке. — Пасиба! Улахан[3] пасиба!

—Да-да, я красный... — растерянно повторил Соболев, не понимая, за что благодарит его старик.

— Табаарыс... чай, чай! — стал показывать старик в сторону зашипевшего чайника. — Садыс...

— Нет, нет. Мин барда...

— Холадына... Чай, чай... Лепёски баар.

— Нет, нет. Мин — быстро... Мне надо, как это... ат! А ты проводишь до дороги... Мне ат, ат надо! — Соболев пальцами изобразил бегущего коня и ткнул

---

[1] Чахчы — действительно.

[2] Сулус — звезда.

[3] Улахан — большой.

пальцем старика в грудь. — А ты делай вот так! Эн... — он показал, как правят конем.

— Ладно, сёп![1] — старик поскреб в затылке. — Ему нужен конь, как я понял, — сказал он, обернувшись. — Просит меня в проводники. Заблудился... Старуха я провожу этого человека и сразу вернусь.

— Поезжай... — из-за ситцевой занавески отозвалась старуха. — На большую дорогу не выезжай. Не хочет ли гость поесть?

Теперь из-за занавески появилась и сама хозяйка в надвинутом на глаза платке. Она разлила по чашкам чай, поставила жестяную тарелочку с кусками лепешки.

— Садыыс, табаарыс. Чай нада, — пригласила она к столу.

— Спасибо!

Застывшими пальцами Соболев осторожно взял чашку, но не донес до рта, не в силах справиться с отвращением к этой посудине со щербатыми краями, во многих местах по трещинам перехваченной тесемочками из замши. В нос ударил кислый запах, напоминающий запах тальникового отвара или жидкой смолы, но только не аромат чая. Отвращение пересилило жажду, и Соболев для виду поднес стакан к губам, изобразив, будто отпил глоток. В последние шесть-семь лет Соболев через все прошел. Теперь он умеет, где и когда бы ни пришлось, упасть прямо на землю и уснуть, завернувшись в шинель. Может легко прожить несколько суток без маковой росинки во рту, переносить страшные якутские морозы. Но к грязи он так и не привык, хотя и понимал, что в таких условиях быть брезгливым по крайней мере непрактично. Недаром в свое время товарищи подтрунивали над ним: не офицер, а барышня... Э, да ну его, чай этот!

Искоса наблюдая за стариком, спешно собирающимся в дорогу, Соболев успокоился и, чтобы утвердить его в доверии к себе, спросил:

— Эн... фамилия как?

— Мамылия? Мин... — не понял вопроса старик.

— Ты... Как имя? Как это сказать?.. А, вспомнил: аат, аат[2] как?

— А, мин... Тытыгынай! Огонёр Тытыгынай.

---

[1] Сёп — хорошо, будет сделано.
[2] Аат — имя.

— Значит, дедушка Тытыгынай. Хорошо. Только быстро! Быстро!

Забывшись, Соболев сделал несколько глотков из чашки и со стуком поставил ее на стол. Увидев это, Тытыгынай заторопился еще больше.

— Я чичас, чичас...

Одевшись, сбегав наружу и опять вернувшись, старик с готовностью доложил, мешая русские слова с якутскими:

— Товарищ, я запряг лошадь. Твой конь останется здесь. Он совсем выбился из сил...

— Да-да... Хорошо, молодец!.. — задремав в тепле и не расслышав толком, что сказал ему старик, воскликнул наугад Соболев.

Они вышли. Темень стояла по-прежнему беспросветная.

Выехали на противоположную сторону елани, впереди смутно вырисовывалась развилка дорог, и Тытыгынай стал заворачивать коня вправо, на дорогу, ведущую на запад.

Соболев схватил старика за руки и показал знаками, что надо свернуть налево.

— Того?[1] — удивился Тытыгынай и повернулся к Соболеву. — Красный суда — прямо...

— Туда надо... — Соболев продолжал настойчиво показывать на восток. — Я... мин, тракт надо... Большой тракт, улахан...

— Там белэй многа... — Изображая, как там много белых, старик растопырил пальцы обеих рук и потряс ими перед собой.

— Говорю, на тракт надо!.. — Соболев вытащил из кармана пистолет и показал его старику, давая понять, что он вооружен и белых не боится.

Старик молча отвернулся и послал коня через целик влево.

— Хорошо, дедушка! А теперь быстрей, быстрей! Ючугэй!

«У-фф! Кажется, уговорил. Не столько словами, сколько пистолетом, впрочем...» — Соболев усмехнулся.

Ехали долго. Убаюканный покачиванием саней и монотонным пением полозьев, Соболев задремал на мягкой подстилке из сена. Подернулись дымкой, затем, отделив-

---

[1] Почему?

шись от земли, стали куда-то в сторону уплывать придорожные деревья, потом его укрыло что-то бесформенное, мягкое и увлекло в пустоту...

На крутом повороте сани ударились о дерево, и этот резкий толчок разбудил Соболева. Он продрог, отлежал шею. Кажется, он проспал долго, хотя сколько, определить не смог — как на грех забыл завести часы. Соболев осмотрелся: ехали по прежней узенькой дороге, по лесу. Может, старик побоялся выехать на тракт и везет его окольно?

— Эй! Куда барда?

— Онно[1], — возница махнул рукой вперед.

— Где тракт? — с подозрением спросил Соболев.

— Онно, — опять махнул старик.

— Тьфу! — Соболев, озлобясь, выругался: — Идиот!

Он сжал в кармане рубчатую рукоятку пистолета, но тут же отпустил ее и, не вынимая руки из кармана, подтянул полу шубы. Проделав в подкладке дырочку и покопавшись в ней, Соболев извлек две монеты, две из десяти — последнего своего капитала. «Вот так, только так... Сейчас очумеет от радости. А порешить еще успею...»

— Дедушка! А дедушка Тытыгынай! Эп... Золото знаешь? Золото биллэ[2] бар?

Старик отрицательно затряс головой.

— Ах, ты! Как ему объяснить? Золото, золото... Ну, это... монета?

— Э, манньета... — и добавил по-якутски: — Откуда у меня свои монеты могут быть? Видел у других людей.

— Руку дай, руку!

Схватив старика за руку, Соболев стянул с нее рукавицу, на сморщенную ладонь Тытыгыная положил две золотых монеты и с силой зажал его пальцы в кулак.

— Эта — твоя! Твоя монета...

Тытыгынай приблизил к глазам кулак и, разжав пальцы, вгляделся.

— Ноо, старинные, золотые. Царские... — заговорил он по-якутски и попробовал монеты на зуб. — Красный командир носит с собой царские монеты?

Он протянул монеты Соболеву.

— Возьми, возьми! Эта — твоя! — отвел тот руку Ты-

---

[1] Онно — туда.
[2] Бил — знай.

тыгыная. — Монета твоя... ылла[3] эн надо! Понял? — он ткнул пальцем в грудь старика.

— Э-э, кажется, он мне их дает. Зачем бы? — Чтобы лучше быть понятым, якутские слова старик стал выговаривать на русский манер: — То-го? Того ми манньеты ылла бар?

— Хорошо, хорошо. Я понял. — Соболев похлопал старика по плечу. — Вези меня в Амгу. Прямо в Амгу. Ладно? Только быстро! Сёп?

— Амга бардаа?

— Приедем в Амгу, я еще монету дам, — Соболев поводил перед глазами Тытыгыная оставшейся монетой. — Еще одну монету дам. Сёп?

Старик вздохнул:

— Сёп, сёп...

— Ну и хорошо! Только быстро!

Подстегнутая лошадь резко зарысила, и замелькали перелески, мысы, поляны и озера...

Время от времени Соболев продолжал торопить возницу:

— На тракт надо. Быстрей на тракт!

— Сёп, — коротко отвечал ему старик всякий раз.

Так молча проехали они довольно долго. Соболев откинулся на спинку кошевки — конь рысил бодро, Амга была где-то уже близко. Старик этот, к счастью, сговорчивым оказался.

«В самом деле, — думал Соболев, — что выгадает старик, если выдаст меня? Ничего. Попросту уйдут у него из рук золотые монеты. Дикари — они ведь не идеалисты...»

— На тракт, дедушка Тытыгынай! На тракт!

— Ладына, сёп...

Верста, вот еще одна верста — все ближе и ближе к цели. Терпение, Эраст Константинович, терпение... Отвлекись, подумай о чем-нибудь постороннем. Гляди-ка, кто это там из дальней жизни твоей выплыл, как из тумана, сверкая двумя рядами пуговиц на куртке? Да ведь это ты сам, Эраст Константинович, гимназист Эрик Соболев. Вон он рвет с клумбы розы и старается добросить их до открытого окна на втором этаже. Ага, добросил-таки наконец! В открытом окне явилось белое платье, в венчике золотистых волос наклонилась к нему сверху хо-

---

[1] Ыл — возьми.

рошенькая головка. Узнав его, девушка удивленно округлила лучистые глаза цвета волны... Замутилось видение, будто бы рябью подернулось и пропало. Вот так же, как видение, как сон, прошла и безвозвратно канула в вечность золотая пора его юности.

Соболев задремал, приснилось ему что-то мерзкое, и он проснулся, спросонок потеряв представление, где он и почему. Некоторое время он исходил в судорожной зевоте, затем, придя в себя, огляделся. Ехали по какому-то аласу. Кажется, уже светало, темень чуть раздвинулась. И тут, еще не понимая почему, его охватил безотчетный ужас. Соболев обернулся назад и чуть не вскрикнул: над кромкой далекого леса чуть обозначилась тонкая полоска рассвета. Вся кровь бросилась ему в голову и как бы оглушила его: рассветало не спереди, а сзади! Сзади! Значит, они ехали не на восток, а на запад!

Соболев вырвал из кармана пистолет и ударил им старика в спину:

— Стой! Назад!

Ни на окрик, ни на удар старик даже не обернулся. Более того, он привстал в санях и дал коню кнута.

— Назад!

Вдруг ясно вспомнилось, как давеча просветлело морщинистое встревоженное вначале лицо Тытыгыная, когда он бережно дотронулся рукой до звезды на шапке Соболева.

— Стой!

Соболев, коротко размахнувшись, ударил старика рукояткой пистолета в шею. Тытыгынай вобрал голову в плечи и пригнулся к передку саней.

Соболев бросился отбирать у него вожжи, старик не отдал. Испуганный конь понес, забивая лица обоих ошметками снега и мешая Соболеву выцелить голову старика.

И тут откуда-то совсем близко донеслось:

— Стой!.. Стрелять буду! Стой!

Соболев испуганно поднял залепленную снегом голову и боковым зрением успел схватить: на опушке противоположного леса серыми громадами обозначились дома, поближе выступали контуры оборонительных сооружений и окопов, ему уже знакомых.

— Табаарыс! Бандит! Амга! — отчаянно закричал старик. — Таба-а-рыс!..

Соболев, сжав зубы, направил пистолет в его плоский затылок.

Тытыгынай выпал из саней. Конь, испугавшись выстрела, рванулся вперед, затем, протащив труп хозяина по глубокому снегу, остановился перед изгородью — сыромятные крепкие вожжи, намотанные на руку Тытыгыная, и завернули коня с дороги на снег.

— Стой! — раздалось совсем рядом.

Соболев соскочил с саней и крупными прыжками бросился к дороге.

— Стрелять буду!

Выбравшись на дорогу, Соболев бросился бежать. Сзади громыхнул выстрел, застучали, приближаясь, копыта коня.

«Схватят! Все... Конец!..» — в последний раз мелькнуло в сознании Соболева. На бегу он приставил пистолет к виску и нажал на спуск.

Глава семнадцатая

Смутно, как давний сон, помнил Томмот: однажды деревянная кровать на левой половине дома оказалась пустой. Рассказывали, что его отец был удачливый промысловик и уже выбивался в люди: обзавелся семьей, построил дом, купил коровенку. Все шло к достатку, но тут его подстерегло несчастье — в самые лютые январские морозы, когда обычно охотятся в одиночку, сгорела у него палатка со всеми пожитками. Выбираясь из тайги, отец за несколько суток без еды и без крова тяжело простудился. После этого прожил он всего одно лето...

Сыну он дал имя «Томмот», что означает «Немерзнущий». Он мечтал, что сын удостоится лучшей доли.

После смерти отца мать перешла жить в избу к одной бедняцкой семье. Хотя камелек и топили без перерыва, в избе постоянно был холод. Подробности той жизни Томмот нынче успел уже позабыть, только до сих пор ощутимы тот холод да теплые руки матери, которая его обнимала. «О, бедная моя!» — вспоминал Томмот.

Чтобы не попасть в хамначчиты к баям, она работала изо всех сил. Она боялась, что если станет батрач-

кой, этой же доли не избежать потом и сыну. Как умудрялась она поспеть всюду — ума не приложить! Всех ближних соседей обшивала она. Это она на ручных жерновах молола им зерно, мяла кожи, обмазывала жидким навозом хотоны, косила сено, рубила и вывозила из леса дрова, пахала землю, готовила кумыс. Только и слышалось: «Хобороос сумеет», «Хобороос сделает», «Хобороос доставит», «Хобороос принесет». И не было случая, чтобы хоть раз она отказалась: хватит, устала.

Мать воспитала сына в раннем трудолюбии: к этому подталкивала нужда. Кроме сына, у матери не было никого, кто помог бы ей в работе. Первым из окрестных ребят Томмот взял в руки косу, стал возить и сено, и дрова — таков сиротский удел. У Томмота не было желания большего, чем облегчить ношу матери, и не было для него похвалы выше, чем материнское: «О, мой мужчина!»

У матери была заветная мечта увидеть сына человеком «белого труда», улусным писарем или учителем. Не задумываясь, она истратила последние гроши, залезла в долги, но сына все-таки отдала в школу.

Окончив первый класс, Томмот на летние каникулы вернулся к матери, а та прежде всего заставила его читать по букварю. Не смея верить тому, что видела и слышала, она молча переводила взгляд то с сына на букварь, то с букваря на сына. Затем взяла она из рук Томмота букварь и заставила прочесть отдельные места на страницах, открытых ею наугад. Сын читал. Тогда мать всплеснула руками: «Мой сынок разумеет грамоте! Он читает книгу!» Не удержавшись, она побежала поделиться радостью к соседям, а потом всем гостям своим только и знала, что рассказывала об успехах сына: «Уже читает! Из букв умеет составлять слова!» И все упрашивала Томмота угостить гостя книжной мудростью. О, мать, мамочка, дорогая...

Прошлой осенью, провожая его в Якутск на учебу, она вышла с ним за ворота: «Береги себя, сынок!» Да не убереглась сама — зимой скончалась, бедная. Томмот даже на похороны не успел. К ее могиле под старой лиственницей он пришел только летом: прощай, мама, спасибо тебе за все...

Скрипнула дверь, и пригревшийся у печки Томмот очнулся от воспоминаний. Ойуров вошел мрачный, как

ночь, не взглянув, сел за свой стол и сейчас же скрылся за облаками табачного дыма.

— Трофим Васильевич! — помолчав, напомнил о себе Томмот. — По вашему заданию я еще раз допросил Аргылова.

И умолк, видя, что Ойуров не слушает его. Тот был раздосадован чем-то. Вдруг, не сдержавшись, он с маху ударил ладонью по столу.

— Эх, надо было сделать не так! Совсем не так!

Томмот только взглянул на него. Он знал, что Ойурова спрашивать ни о чем не нужно: если потребуется, скажет сам. Проведя обычным жестом — растопыренными пальцами — по волосам, Ойуров поднялся и набросил на плечи полушубок.

— Неудача у нас вышла, — сказал он Томмоту. — Ты помнишь Соболева, сотрудника военкомата? Тайком добирался к белым в Амгу, а один старик из бедняков обманом привез его обратно к нам. Убил старика, застрелился сам и оставил нас в дураках. Ах, черт...

— Почему же? — не понял Томмот. — Разве Соболев... к белым?..

— Вот именно, должен был обязательно перебежать! Казалось, все предусмотрели, а сорвалось! — Ойуров бросил свою трубку в коробку из-под монпансье. — А мне выговор. Допустил побег — прошляпил, не допустил — еще больше прошляпил... Такая наша работа...

Он стал как будто бы успокаиваться. Опять взял трубку и опять сунул в рот, даже запел что-то тягучее, похожее на олонхо и долго глядел в темноту за окном.

— Да-а, продумали все до мелочей, только ошибка-то не в расчетах, — сказал он наконец. — Упустили из виду такую, с позволения сказать, мелочь, как поворот народа в сторону Советов. Этот старик Тытыгынай многому нас научил! Кто освободил бедноту от кабалы богачей? Кто вчерашнего нищего назвал высоким именем человека? Кто наделил его землей? Кто вчерашних инородцев поставил вровень с народами? Кто вместо шамана с попом сказал им — развивайте свою культуру? Тут только один ответ — Советская власть. Знать-то мы это знаем... А вот на деле... Да, старик Тытыгынай многому нас научил. Ценою жизни своей научил! Спасибо, старик. Вечная память тебе, а нам наука. — И без всякого перехода повернулся к Чычахову: — Что у тебя?

— По вашему поручению допрашивал опять Аргылова, — повторил Томмот.

— И как?

— Нового ничего не говорит.

— И не скажет, — отмахнулся Ойуров, вынул из ящика стола кипу бумаг и углубился в них. — Ему говорить больше нечего...

— Все же вел себя необычно: все примеривался ко мне... — Томмот нехотя усмехнулся. — Старался выведать у меня о сестре: как я к ней отношусь, она ко мне...

— Да, говорить ему уже нечего... — все больше углубляясь в свои бумаги и уже плохо слушая собеседника, повторил Ойуров. — Трибунал в помиловании ему отказал. Так что ты сказал?

— Я говорю, примеривается ко мне, прощупывает. И все почему-то сворачивает на сестру. По его словам, она на него чуть ли не молится. Похвастался, что и отец послушен ему во всем. Удивился, когда я ему сказанул, что сестра твоя, дескать, тоже контра, перебежала к белым, в Амгу. Мне кажется, что он примазывается ко мне, что-то ему от меня надо...

— Куда-куда ты сказал?

— В Амгу... — сочтя себя виноватым, повторил упавшим голосом Томмот.

— Кто... перебежал в Амгу?

— Да Кыча, Аргылова сестра! Она, может, и не в Амгу, да какая разница! Я уже со зла...

— Обожди-ка, Томмот. Аргылов, Кыча, Амга...

Чычахов выжидающе замолчал. А Ойуров, будто увидев Томмота впервые, долго не сводил с него глаз.

Валерий Аргылов и впрямь чувствовал себя так, как, вероятно, чувствовала бы себя пустая сума: сколько ни тряси ее, ни крохи оттуда не выпадет. Кому нужна пустая сума? За ненадобностью ее выбросят, сверху завалят какой-либо дрянью — и все. Как только подумает Валерий об этом, начинает холодеть от ужаса, метаться, не находя себе места. Каждый день он лез из кожи вон, силясь навести следователей на мысль, будто бы знает еще кое-что, но, по всему видно, следователи давно уже слушают его вполуха. Значит, дела плохи. Останься он в живых, взялся бы за ум... Тогда черта с два толкнули бы

его на опасность, хоть сули они трижды славу и богатства! Теперь бы уж он не стал рисковать, теперь-то уже постарался бы взять от жизни все, что она дает. Жить аскетом, уповая на будущее, — глупее этого что может быть? Ведь жизнь у человека одна. Да, живем лишь раз... Вот и бейся головой в стену: попал в беду, и все от тебя отвернулись, кончилась в тебе надобность, и тебя выбрасывают. Все таковы! Кто из его бывших друзей протянул ему руку помощи? Кто-нибудь передал ему хотя бы слово поддержки и понимания? Пепеляев и иже с ним обещали помочь, если что... Где обещанное? Собаки...

В двери камеры открылось окошко.

— Бери еду!

Аргылов не отозвался. «Бери еду». Разве это можно назвать едой? И к чему теперь есть?

— Бери еду! — Караульный поставил миску и отошел.

Ах, загублена жизнь! Загублена... Что вспомнишь сейчас, когда тебе уже конец? Нечего вспомнить! Маленького мать любила его баюкать, целовала в глаза и ласково гладила по голове... Нет, это слишком давно было! И это не то! Лучше вот это: лесная поляна, залитая солнцем, сплошь покрытая полевыми лилиями — ярко-красными цветами сарданы! Помнится, тогда это поразило его как чудо: красная земля! Но к черту и это — красная земля. Она и впрямь теперь вся красная. Что еще? Неужто только и радостного в жизни было, что материнская ласка да эта поляна? Или и не бывает в жизни ничего, кроме маленьких радостей и больших печалей? Нет, бывает! Большие радости есть и у него, только не позади, а впереди. Просто он еще слишком молод, до самого прекрасного в жизни он еще не дожил.

— Заключенный Аргылов!

Обернувшись на оклик, Валерий увидел вошедшего в камеру Чычахова: зачем он здесь?

— На вас жалуются, что не хотите есть.

— Э-э... — отмахнулся Аргылов.

— Заключенный, почему не едите?! Сейчас же есть!

Аргылов криво усмехнулся: с чего это он раскричался, власть свою пробует?

— Зачем? Уже все равно...

— Делайте, что велят! — И вдруг интимно накло-

нился к нему: — Надо есть, Аргылов. Еда продляет жизнь...

— Хгм... Не еда продляет, дурак! Трибунал продляет!

— Силы нужны человеку всегда.

Сбитый с толку Валерий почему-то не нашел, что ответить. А Чычахов опять напустил на себя строгий вид:

— Стол грязный! После еды почистите! — И уже на выходе вполголоса: — Ешь, Аргылов. Обязательно ешь...

Загремел навешиваемый снаружи замок, а Валерий не знал, что подумать. Показалось ли ему, или он действительно уловил нечто многозначительное? Ладно, будь что будет. Надо и вправду последовать его совету и поесть.

Неизвестно с чего, Валерий почувствовал себя будто проснувшимся после крепкого сна и прямо-таки набросился на остывшую кашу в алюминиевой миске. Уминая за обе щеки, он скосил глаз на лоскуток газеты на столе: «Сводка штаба...» — безразлично прочел Валерий и вдруг отодвинул миску.

«Сводка штаба вооруженных сил Якутской АССР. В ночь с 1-го на 2-е февраля авангардный отряд белых в 300 человек, под командованием полковника Рейнгардта, напал на слободу Амгу. После боя, продолжавшегося 3—4 часа, наш немногочисленный гарнизон вынужден был отступить. С нашей стороны убито и ранено не более 35—40 человек...»

Аргылов вскочил, набросил на себя пиджак, схватил с топчана пальто и вдруг опомнился: куда это он собрался? Он забыл, что сидит в тюрьме... Тщательно разгладил он смятый клочок газеты и, вникая на этот раз в каждое слово, прочел сводку вторично. Идут! Они идут! План генерала осуществляется! К Якутску они подойдут со дня на день.

Кто принес ему этот обрывок газеты — надзиратель вместе с миской каши или Чычахов? И что значило загадочное поведение парня? Парень-то, кажись, не промах — даром, что молодой: красные еще не разбиты, а он уже ищет, как спасти себе жизнь. Эх, хорошо бы помог! Чычахов определенно выведал что-нибудь обнадеживающее и делает намеки. Не может быть, чтобы такого не было!

Аргылов заметался по камере.

Вечером следующего дня, когда Аргылов сидел, весь превратившись в слух и напрасно ловил звуки перестрелки, которую, по его расчетам, на улицах Якутска уже должна была затеять боевая дружина Пепеляева, к нему в камеру вошел начальник тюрьмы. Он объявил, что прошение Аргылова о помиловании ревтрибунал отклонил.

Аргылова словно хватили дубиной по голове. Оглушенный, он сидел, бессмысленно уставя взгляд в пространство. Придя в себя от стука захлопнувшейся двери, он подскочил к ней и забарабанил изо всех сил.

— Ка-ак! Как же это? Я же все рассказал! Ничего не утаил! Нет, только не это... Не надо меня убивать! Я еще расскажу!

Дверь не открылась.

Как же это? О чем же тогда болтал этот негодник Чычахов? Можно было подумать, что он обнадеживал... Конечно же, у него, мелкой сошки, какой может быть вес? Кто станет придавать значение его мнению, прислушиваться к его словам? Может быть, Чычахов ждал, что подоспеют пепеляевцы? А им-то не к спеху, как видно. Их, собак, не особенно трогает его участь. О, если бы он знал раньше, хоть бы догадывался, что все получится так!.. Сто раз прав был отец, когда советовал: «Пусть дерево валит другой, а ты поспевай к сбору белок». Жаль, что этот мудрый совет ему уже не пригодится. Проклятая судьба! Проклятые красные! Все, все кончено.

Шатаясь, он пошел к топчану и повалился на него лицом вниз.

Вывели его из тюрьмы ночью и в окружении пяти вооруженных конных повели по темной улице. Затем спустились вниз по какому-то откосу... Смирившийся со своей участью, полумертвый, шел Аргылов, ничего не видя и не слыша вокруг и едва волоча ноги. Прошли через Зеленый луг, началась река. Пройдя ближнюю протоку, вступили на лед главного русла. Впереди и чуть левее зачернел остров.

— Стойте! — скомандовал Ойуров.

Все остановились.

Выше по реке, в морозном воздухе далеко окрест разносился слитный топот коней.

— Кто такие там скачут — догнать и проверить! — распорядился Ойуров. — А вы, Чычахов и Вишняков, приведите приговор в исполнение. На том вон острове. Как кончите — забросайте снегом. Понятно?

— Так точно!

До сознания Аргылова дошло только слово «понятно». «Что ему понятно?» — вяло подумал он. Ко всему, что происходило вокруг, Аргылов был безучастен, люди казались ему бесплотными, а их голоса отдавались в ушах далеким эхом.

— Выполняйте!

— Есть!

Ойуров и еще двое конных быстро ускакали.

«Выполняйте! Кто и что будет здесь выполнять?» — автоматически подумал Валерий.

С вывернутыми назад и туго связанными руками его привели на остров. Конвоиры сошли с коней и набросили поводья на сухие ветки какого-то дерева.

— Кто-то скачет. Давай я встану тут — на всякий случай. А ты там, за ивой, управься, — сказал Чычахову его напарник, русский.

Чычахов ткнул Валерия стволом винтовки в бок, но Аргылов остался неподвижен. Он не ощутил толчка. Чычахов толкнул его еще раз:

— Иди! Вон к той иве!

Аргылов вздрогнул на этот раз, и в голове его что-то сработало: «Выполняйте!», «Вон к той иве...» Вдруг до него дошло, что эти слова имеют к нему самое прямое отношение и что настали последние минуты его жизни. Протестуя против такой ужасной судьбы, взыграла каждая клеточка его тела, вскипела каждая малая капля крови, и эта жажда жизни, этот протест против смерти исторгли из его горла хриплый вопль: и мольбу, и плач обреченного, и мстительную злобу, и проклятье:

— Не надо!.. Постойте! О-о-о! Остановитесь! За что? Я все рассказал... Не убивайте!.. Не убивайте меня!

— Шагай, шагай!

Аргылов упал на колени. В этот миг ему страстно захотелось сделать какой-то ему самому неведомый, самый что ни есть отчаянный шаг, чтобы только вызволить себя из этой ужасной доли. Невдалеке от себя он увидел чернеющие на снегу торбаса Чычахова и подполз к ним на коленях:

— Спаси меня! Ради Кычи... Упроси своих! Умоляю... Стань мне солнцем и луной!

— Чего там долго возишься! Поторопись! Какие-то едут сюда! — крикнул Чычахову второй конвоир издали.

От хрясткого удара в челюсть Аргылов опрокинулся навзничь в снег.

— Встань, контра!

Этот бесстрастно-жестокий окрик заставил Аргылова вскочить на ноги: он понял, что никакой пощады ему уже не будет, что жалки его мольбы и слезы, а единственно уместна и в святости своей прекрасна лишь ненависть!

— На, собака! Стреляй, варнак! — Он пошел грудью на Чычахова. — Нищий! Кумалан! Голяк! Жри меня, ешь!

Чычахов сильными толчками погнал его за иву, а тот, упираясь, все шел на него грудью:

— Собаки! И вы помрете собачьей смертью! О, проклятые!.. Попались бы вы в мои руки! Стреляй, пес!

Едва зайдя за иву, где второй конвоир не мог их видеть, Чычахов вдруг придвинулся к Аргылову вплотную:

— Тише, дурак! Как выстрелю, сразу замолчи...

И тут же над ухом Валерия ахнул выстрел.

Еще секунду назад столь красноречивый Аргылов внезапно онемел. Он молчал, но не по приказу молчал, а от растерянности и от самого крайнего, на грани с помешательством, изумления.

— Все, что ли? — крикнул Чычахову второй конвоир.

— Все! Иди сюда, оттащим его в сторону! — отозвался Чычахов и шагнул навстречу тому из-за ивы.

Опять громыхнул выстрел: неподалеку от Валерия в темноте кратко взблеснул длинный язык пламени.

Чычахов подскочил к Аргылову и одним махом перерезал ножом веревки у него на руках:

— А ну, быстрей!

Не понимая, куда торопит его Чычахов, Валерий не двинулся с места. Как и прежде, толчками, Чычахов подвел его к коням.

— На этого садись! Да пошевеливайся ты!

Аргылов послушно сел на коня. Поднимаясь в седло, он мельком увидел под ивой лежащее вниз лицом тело второго конвоира.

— За мной!

Чычахов выскочил на пустующую дорогу и, направив

коня на восток, за реку, взмахнул плетью. Конь под Аргыловым без понукания с места взял крупным наметом вслед за первым всадником.

Оба были уже далеко от противоположного берега, когда сбоку где-то захлопали выстрелы. Чычахов сорвал с плеча винтовку и, обернувшись, крикнул:

— Скачи по этой дороге!

На дороге раза два-три громыхнули выстрелы. Это отстреливался Чычахов.

Вымахнув на вершину береговой сопки, они остановили в лесной чащобе запаленно дышащих, взмокших от пота коней. Чычахов соскочил на землю и, зачерпывая горстью, стал жадно глотать снег.

— Слазь и ты! Пусть конь отдышится.

Аргылов не слез, а сполз с седла, а затем, не удержавшись, сполз и на снег. Он вдруг заплакал:

— Спас... Никогда я этого не забуду, никогда! Клянусь... Оо... Оо... Клянусь...

— Перестань, дурак! Будь мужчиной! Мы еще в опасности, можем наскочить на дозор! Перестань, возьми себя в руки. Посмотри-ка лучше, что у меня с рукой.

Аргылов пощупал левый рукав Томмота.

— Кровь...

— Значит, все-таки задели меня. Ладно, потом... Надо спешить, пока не рассвело.

Рассыпая частую дробь копыт, кони опять понесли на восток. Через несколько мгновений их поглотил мрак.

Глава восемнадцатая

В стоустой молве и в песнях-преданиях реку Амгу якуты любовно зовут девушкой-Амгой. Уже в начале пути, едва не повстречавшись с Алданом, она чисто струится меж высоких, подпирающих небо скалистых гор, через дебри гулко-звончатой тайги, по туманным просторам долин, мимо веселых, пронизанных светом березовых рощ.

Берега Амги исстари славятся тучностью. Широко разливаются здесь поля отборной крупнозернистой пшеницы, успевающей созреть до ранних заморозков. Это

здесь, сколько хватает глаз, вольготно раскинулись луга, полные сочного разнотравья. Это здесь плодятся несметные молочные стада и бродят несчетные табуны полудиких лошадей. Потому-то издавна и расселился по ее берегам род якутов.

На западном берегу красавицы Амги, среди безлесой равнины, напоминая плавник, нанесенный весенним половодьем, чернеют вразброд избы деревни Амги, через которую идет столбовая дорога из Якутска к восточным окраинам Якутии, к Охотскому морю. С чьей-то легкой руки про эту деревню пошла гулять песенка:

Это он, одноулочный наш,
С домами, гуськом бредущими,
С домами, без крыш, плоскими
Деревня-город-слобода.

Слово «город» здесь — наполовину шутка, хотя слобода Амга всегда была самой крупной из улусных центров на восточном берегу Лены. Олекминск, Верхоянск, Вилюйск и другие большие селения, официально утвержденные городами, лишь немногим превосходили Амгу размерами. Некоторые из них были даже мельче.

Как и пелось в песенке, слобода имела единственную улицу, состоящую из беспорядочно разбросанных низеньких домов, большей частью без обычных островерхих крыш, не было здесь и заборов. Добротно крытые дома можно было перечесть по пальцам: кичливо возвышались несколько купеческих хоромин, да школа, да больница и особняком—церковь. Хотя и протянулись дома на две-три версты, все же неловко казалось деревеньку об одну улицу величать городом. «Слобода» же нечто такое, что хоть и поменьше города, зато покрупнее деревни.

В прошлые времена за пределы близлежащих улусов даже слух не выходил об этой слободе. Правда, одно время Амга приобрела мрачную славу как место ссылки Владимира Галактионовича Короленко, который написал несколько рассказов про жителей Амги, однако об этом знал лишь просвещенный люд.

Но с тех пор как началась в Якутии борьба за власть между богатеями и беднотой, слобода Амга, незаметно прикорнувшая на берегу тихой речки, оказалась средоточием событий. Тут, на главной дороге края, задолго до Пепеляева рыскали отряды белых, и тут же у них на пути плотиной встала слобода Амга. На всю страну прогремела слава о красных защитниках Амги: лишенные связи

со всем остальным миром и не надеясь на скорую помощь, они героически выдержали почти полугодовую осаду. Совсем не осталось боеприпасов. Защитники Амги были вынуждены вручную лить пули, даже смастерили деревянную пушку, и все же вышли победителями. Весной 1922 года в Якутске, на митинге в честь героев командующий вооруженными силами республики Карл Карлович Байкалов сказал:

— Красную Амгу знает Красная Москва!

И вот к началу 1923 года Амга опять превратилась в камень преткновения: Сибирская добровольческая дружина генерала Пепеляева могла двинуться на город Якутск только в случае овладения Амгой. Внезапный налет офицерского батальона полковника Рейнгардта открыл дорогу на Якутск. Вознося хвалу всевышнему, во всю мочь зазвонили колокола на церквах Охотска и Аяна, Нелькана и Усть-Мили. Вслед за авангардом с основными силами своей дружины генерал Пепеляев стремительным маршем шел к Амге с тем, чтобы, не задерживаясь там и не давая красным собраться с силами для отпора, одним ударом овладеть Якутском. Красных отрядов на пути не было. В Чурапчу, где по данным разведки была дислоцирована значительная часть красных во главе с командиром Курашевым, Пепеляев снарядил отряд генерала Ракитина с приказом не дать красным ни шагу ступить. На перехват отряда Строда, по сведениям двинувшегося из села Петропавловского к Якутску с задачей полного его уничтожения, излюбленным способом засад был послан опытный белобандит Артемьев. Войскам, захватившим Амгу, генерал приказал заблаговременно приготовить боеприпасы, продовольствие и транспорт.

Наступил решительный момент. Около полугода назад, еще в сентябре, было известно, что рано или поздно этот момент настанет. Сила на силу, примеривались с обеих сторон, как борцы перед схваткой, и они наши враги, и мы — их враги. Первый удар выпало нанести им, и тут-то все поднялось!

Старик Аргылов рассчитывал отсидеться. Когда белые победят и настанет пора «собирать белок», он тут как тут вынырнет, как сухая щепка из водоворота. Но складывалось по-другому — на четвертый день после взятия Амги ранним утром к Аргылову внезапно ворвался кривоногий

вооруженный человек, одетый в волчью доху. Отбросив на затылок наползающую рысью шапку, он вместо приветствия застучал об пол прикладом и, срываясь на крик, спросил:

— Где тут хозяин дома?

Ааныс, взбивая мутовкой кэбёр[1] в горшке, бросила тревожный взгляд в глубину дома, а незваный гость уверенно направился в ту сторону, куда невольно показала ему взглядом Ааныс, и дернул лежащего к нему спиной Аргылова за плечо:

— Вставай!

Чтобы выиграть время и догадаться, кого принесла нелегкая в такой час, Аргылов молча перевернулся на спину и сделал вид, будто протирает спросонья глаза. Голос был знакомый, но лица, которое смутно угадывалось между шапкой и шарфом, — такого лица Аргылов никогда не видел. Бросился в глаза глубокий шрам на левой щеке до виска и поблескивающий маленький злой глаз. У Аргылова неприятно ворохнулось в душе.

— Какие новости? — спросил старик.

— Я к тебе не за тем, чтобы рассказывать новости! А ну, пошевеливайся!

Аргылов порядочно струхнул, приняв чужака за красного: «А вдруг узнали, что был проводником у пепеляевцев?» Приглядевшись внимательней, он, однако, успокоился: на красного не смахивает. Те хоть и покрикивают для острастки, но все же ведут себя иначе. Этот негодник определенно беляк, свой, значит... Одно из двух: или наглец совсем не имеет понятия, с кем разговаривает, или попросту дурак. Ну, погоди у меня!

— Вставай, поедем!

— Куда?

— В слободу.

— А туда... зачем?

— Господа велели доставить тебя.

— Зачем?

— Разве я знаю — зачем? Велят доставить — я доставляю. Скажут увезти — увезу, зарезать — зарежу, не поморщусь. Вот так возьму...

Незнакомец нагнулся было к Аргылову, но старик вдруг пружинисто вскинулся, как прут-насторожка у сработавших силков.

---

[1] Кэбёр — сливочное масло, взбитое с молоком.

— Стой! Убери лапы!..

Незнакомец отпрянул.

«Зачем я им понадобился? — думал Аргылов. — Это же догадались вооружить круглого дурака! Нет уж, милые, с Аргыловым вам придется теперь разговаривать вежливенько, с оглядкой. Дур-рачье!»

Аргылов проворно встал — не хотят ли они сообщить что-нибудь о сыне? Может, есть что-нибудь такое, чего нельзя передать через гонца?

— Подожди меня там. Сейчас оденусь.

Гость закосолапил в сторону камелька, неслышно ступая ногами в длинных курумах, сшитых мехом наружу. Подкравшись к Ааныс, он бесцеремонно опустил свой толстый грязный палец в горшок.

— Ой! — воскликнула женщина.

Незнакомец с ружьем облизал палец и удовлетворенно мыкнул. Затем небрежным жестом он отстранил хозяйку в сторону, цепко ухватил горшок и легко, будто в другой горшок, опрокинул его в себя. Опорожнив посуду, человек утерся рукавом волчьей дохи и прошел за печку. Чуть погодя, он вернулся оттуда с большим куском жирной конской ребрины и вытащил из-за голенища длинный нож. Вцепившись зубами в мясо и ловко отрезая от куска у самых губ, он принялся жевать. Ааныс с испугом наблюдала за ним.

Аргылов между тем оделся и взял с загрядки рукавицы.

— Поехали!

Сначала он вознамерился было поехать на своем коне, но раздумал: попадется какой ни то паршивец да отнимет лошадь. На нужды войны...

Попутчик все еще трудился над прихваченным с собою куском мяса. Аргылов взял у него вожжи.

Проехав некоторое время молча, Аргылов спросил попутчика:

— Как тебя зовут?

— Хар-лам-пий... — с набитым ртом пробормотал тот.

— Родом откуда?

— Усть-майский.

Аргылов быстро обернулся: не вор ли Харлампий? Он! Краем глаза взглянул на громадный нож в руках Харлампия: и впрямь не поморщится! Лет шесть-семь назад Аргылов видел его в улусной управе, Харлампий был пой-

ман на краже скота. Это он! Вот почему давеча голос его показался знакомым. В те времена у него шрама не было, наверно, позже его схлопотал. Одежда явно с чужого плеча: рысья шапка мала, даже лопнула по боковому шву, рукава дохи чуть ниже локтя. Ясное дело — убивал и раздевал.

Сопя и утробно вздыхая, Харлампий высосал мозг из костей и неожиданно манерным жестом бросил их вбок дороги. Вслед за этим Аргылов почувствовал, как сосед вытирает лезвие ножа о его спину. По телу старика прошел озноб.

— Старик, мы не едем, а ползем. Вдарь! С потягом, чтобы спица прогибалась! Чего жалеть, не век на них ездить!

Схватив лозу, Харлампий яростно хлестнул, и лошадь понесла.

Добравшись до слободы, они заехали во двор большого дома купца Корякина, где помещался штаб пепеляевцев. Не так хотелось бы Аргылову явиться в штаб. Ему хотелось бы на глазах у всех пройти под конвоем этого вооруженного разбойника: дескать, глядите, люди добрые, Аргылова повели в штаб насильно! Как знать, впоследствии, если обстановка изменится, это сослужило бы службу. Но случилось иначе. Завезя старика прямо во двор, Харлампий не дал ему времени ни оглядеться, ни отряхнуться, а сразу повел в дом.

— Брат[1] командир, доставил! — отрапортовал он. Подражая военным, Харлампий попытался приставить винтовку к своим кривым ногам.

— Разве мы сказали «доставь»? Тебе говорили «пригласи»! — Поднимаясь из-за стола, Сарбалахов обратил к Аргылову приветливое лицо. — О, старик Митеряй, здравствуй! Познакомься: ротмистр Угрюмов Николай Георгиевич.

Услышав свое имя, русский военный приподнялся и легким кивком склонил голову, а Сарбалахов указал Харлампию на дверь:

— Ты иди. Понадобишься — позовем.

---

[1] Обращение «брат» вместо «господин» было искусственно введено Пепеляевым в его дружине, несмотря на активное сопротивление офицерства. (*Примеч. автора.*)

Пробуравив присутствующих остатком левого глаза, Харлампий нехотя повернулся и вышел, со стуком волоча винтовку по полу. Русский, презрительно скривив губы, молча проводил его взглядом.

— Какие новости? — вглядываясь в лица хозяев, осторожно осведомился Аргылов.

— Ждем их от вас, почтенный Митеряй. — Сарбалахов любезно усадил старика на стул.

— Откуда новостям взяться у меня? — проговорил Аргылов, не спуская испытующего взгляда с лица Сарбалахова и пытаясь угадать: приятную или плохую весть предстоит ему услышать.

Помолчали.

«Мнутся чего-то. Может, беда какая...» — встревоженно подумал Аргылов.

— Позвали зачем, сообщить что? — еле выдавил он.

— Старик Митеряй, вы сами знаете, в чем нуждаются военные люди, — сказал Сарбалахов. — Мы пригласили вас, как старшего и по возрасту, и по уму... Так что уж постарайтесь, выручите нас...

Старика Аргылова, уверовавшего почему-то, что ему сообщат о сыне, льстивые слова Сарбалахова застали врасплох. Обрадовавшись вначале, он затем разозлился: «Только о себе заботятся, на мою беду им начхать».

— О моем Бэлерии что-нибудь вам известно? — напрямик спросил Аргылов.

— Ы-нет...

— Мой сын поехал с важным заданием. Вы о нем позаботились?

— Заботимся, заботимся, да красные не тот народ, чтобы одолжить ключ от тюрьмы.

— Не скалься! Давно ли вы обещали вызволить Бэлерия из беды? Что сделали? «Суох» да «суох»[1]. Или вы уже вычеркнули его из живых?

Заметив, что старик рассердился, ротмистр что-то сказал Сарбалахову. Тот пересказал разговор с Аргыловым, затем, выслушав русского, вновь повернулся к Аргылову — уже без улыбки.

— Старик Митеряй, хотя вы и вправе сердиться, но все же ошибаетесь: никто не намерен шутить. Все мы ходим по острию ножа. Мне могут сказать хоть сегодня: «Иди!» — и я пойду. Напрасно обвиняете нас, что не за-

---

[1] Суох — нет.

ботимся о судьбе вашего сына. Вчера направлен в Якутск человек с заданием вызволить Валерия из беды. Об этом знает также ротмистр Угрюмов.

Ротмистр, услышав свое имя, снова закивал головой.

«Врут! По глазам видно, что врут!» — отметил Аргылов.

— Говорили же, что к Якутску пойдете насквозную. Если бы поспешили, то могли бы застать в живых...

— Потому мы и пригласили вас. Уж вы, почтенный...

— Ладно-ладно! Как будто подговариваешь дурака...

— Что вы, что вы? — Сарбалахов сокрушенно вздохнул, взглянул на собеседника и, уже приостывши, стал продолжать: — Так вот. Скорость передвижения зависит от наличия подвод...

— Почему ты это рассказываешь мне? Учишь уму-разуму тупицу или выпрашиваешь у меня подвод?

— Полноте, Митеряй, что за разговор!

— Спрашиваете у меня подвод, так их нет у меня, подчистую забрали «товарищи». Правда, остался один конь, только на нем я сам езжу.

— Этого не говори! Будь излишки, вы бы сами нам предложили...

— Зачем же меня обхаживать, как девку? Я поболее твоего хотел бы спасти своего Бэлерия...

— Желать на словах — этого мало!

— Хватит мутить мне голову. Говори, что нужно!

— Требуются подводы. Много подвод. Генерал Пепеляев отдал приказ, чтобы к его прибытию подводы были приготовлены. Мы должны этот приказ исполнить...

— Затруднительно будет собрать много коней, — выразил сомнение Аргылов. — Лошадей нынче то белые, то красные требуют, да все с угрозами. Остатки тягла у зажиточных под метелку вычистили красные. Только бедняков обошли.

— Бедняки ли они, голяки — нас не интересует. Нам нужны их лошади.

— Голь на выдумки хитра — теперь они лошадей своих прячут в тайге, подальше от жилых мест.

— Местный человек сумеет отыскать и спрятанное... Мы просим вас об одолжении, помогите собрать лошадей. Вчера наши люди вернулись с пустыми руками — все загоны оказались пустые.

— Прихварываю я... — попробовал увильнуть Аргылов.

— Уговоры и все прочее мы берем на себя. Вы просто сидели бы в санях. Что-нибудь подскажете, посоветуете, где искать. К тому же поездка ближняя.

Аргылов сидел поникнув: как тут увильнешь? Этот отпрыск купца Сарбалаха весь в отца, подлец: ласковый, тихий, чистая сука! Обвел вокруг пальца и завел в тупик. Нет, нельзя Аргылову показаться людям в роли указчика!

— Тарас, вы бы подыскали себе другого!

— Мы доверяем только вам и надеемся только на вас. Останемся без подвод, будет плохо, уже тогда-то широко распахнутся ворота для наших бед! Каждый раз Пепеляевы объявляться не станут. Короче, придется вам поехать.

Считая, что разговор окончен, Сарбалахов повернулся к ротмистру и заговорил с ним по-русски. Выражая крайнее нетерпение, Угрюмов бросил несколько коротких фраз.

Прислушиваясь к чужой речи, Аргылов задумался: обвинял их в медлительности, а они между тем торопятся — вон как приспичило, давай им подводы, как из души две души... И показалось Аргылову, что все же нельзя не помочь. Дело даже не в совестливости, приходилось ему не морщась обделывать и не такие дела. Но сейчас Бэлерия, Бэлерия надо спасать! Поспеши Пепеляев, может, и вытащат его из беды. Если генерал проиграет войну, право слово, и жить-то не стоит. Во времена засилья ревкомовцев голодранцы чересчур уж ликовали. Отобрать бы сейчас у них коней, то-то бы закрутились!

Аргылов подвинул свой стул поближе к Тарасу Сарбалахову:

— Ты знаешь, в какую сторону изменился ум людей? Большевики многих перетянули на свою сторону, и не только бедняков, о них я уже не говорю. Сейчас самый захудалый хамначчит, едва-едва различающий, где восток, где запад, краснее любого красного. Начнет рассуждать — что твой коммунист! Говорю прямо: на тех, кто станет помогать вам в открытую, люди будут коситься. Если сейчас я стану держать вашу сторону не таясь, то дальше вам от меня никакого проку: уменьшится мое влияние на людей, убавится вес. А я бы мог помогать вам и впредь и во многом...

Сарбалахов рассердился, опять старик Аргылов придумал отговорку! Не ответив на молчаливый вопрос рот-

мистра, он резко подтянул под себя ноги в черных камусных курумах, откинулся назад и спросил:

— Значит, пока ты смилостивишься помочь нам, мы должны сидеть без коней, сложа руки и разинув рты?

Уловив изменение в тоне, ротмистр посуровел и почему-то поправил на ремне кобуру.

О, бедняги, как они стараются выдать себя за важных птиц! Не удивительно, если окажется, что в карманах у них свищет ветер. Что с них возьмешь? Хорохорятся, пока носятся с ружьем... Погоди, закончится война, будут валяться у меня в ногах. Ну да черт с ними...

— Если я не помогу, вы будете сидеть разинув рты? Ну, вояки!

— Ладно, старик! Долго разглагольствовать нам некогда. Так что, надумал?

— Ничего не поделаешь, вы без меня, кажется, пропадете. Придется поехать с вами. Покажу, как надо искать. Сиди, сиди-ка! — осадил он вскочившего Сарбалахова. — Условимся: заходить с вами в дома я не стану. Говорите с людьми сами. Будет хорошо, если сами же найдете и лошадей. Тогда я без лишней кутерьмы поеду дальше. Попадоблюсь вам только, чтобы отыскать тайные загоны. Говорю не из трусости. Хороший игрок своих карт раньше времени не открывает.

— Ладно-ладно! Я верю вам! — опять перейдя на почтительный тон, живо согласился Сарбалахов. Затем он что-то сказал ротмистру. Тот с торжественным видом подошел к Аргылову и положил ему руки на плечи.

— Молодец!

Хе, «молодцом» назвал. Похвалил, как маленького. Или столь уж ни во что не ставит? Да сам-то ты, плешивый, сто́ишь ли хотя бы пары рваных торбасов? Движением плеч Аргылов сбросил с себя чужие руки и наклонился взять шапку и рукавицы.

Из слободы в окольный наслег выехали на трех санях. На первые сани сел Харлампий с каким-то «братом», на других расположились Сарбалахов и Угрюмов. Старику Аргылову отвели третьи сани: чтобы не быть замеченным в такой компании, Аргылов выехал чуть позже и в одиночку. Всю дорогу он силился припомнить, кто имеет какого коня и где может его схоронить. Прежде всего перебирал он в памяти тех, кто при власти красных осо-

бенно ему досаждал. И хотя знал, что некоторые из его врагов вовсе коней не имели, он решил науськать своих спутников и на них: пусть поддадут им, подлецам, жару. Не мешало бы кое-кого и вовсе убрать...

Скоро они выехали на открытое место: поле не поле, алас не алас. Даже под снегом видно, покосов нет, заболоченный луг сплошь зарос кочками.

— Остановитесь!

Передние подводы остановились, Аргылов слез с саней и пошел к ним.

— Видите? — показал он на узкий дымок. Там живет старик Чаачар. Конь у него имеется... Для красных Чаачар — свой человек. Красные не то что коня у него отнять, спасибо, что даром второго не дали. Доброй волей коня не уступит, вы его постращайте... Коня далеко увести не может — тягло нужно ему каждый день. Обыщите все придворье, я вас подожду тут...

— Погоди, а как звать твоего Чаачара по-русски? — спросил Сарбалахов.

— Дарамаев, кажись, его фамилия. А звать — Роман. Но подлеца зовите Чаачар, с него и этого хватит. — Аргылов в сердцах сплюнул. — Каждая собака, как человек, будет иметь еще и русское имя...

Оставшись один, старик возмутился: он будет сидеть, хоронясь от Чаачара?.. Аргылов с молодых лет привык помыкать Чаачаром. Ровесники они, кажется, и сыновья их, должно быть, одногодки... За быстрые ноги сухощавого парня прозвали Чаачар, что значит «лук». Всю жизнь он провел в тайге, стал добычливым промысловиком. Вся пушнина его плыла в руки Аргылова. Сам же охотник попал в кабалу, которая из года в год становилась тяжелее. Так карась, попавший в сети, бьется, чтобы освободиться, но запутывается все больше. Всякий раз выходило так, что плату за пушнину Чаачар брал в долг за год вперед. Кормился и одевался Чаачар только тогда, когда прижимистый его хозяин в добрую минуту выделял кое-что от щедрот своих, но это случалось не часто, а голодал он и его семья постоянно. Поэтому Чаачар, появляясь изредка пред грозные очи хозяина, гнул спину в земном поклоне, не смел глаз поднять. Только и слышал от него Аргылов: «Господин мой, стань солнцем, будь луной! Пощади, пожалей». Был он тих и скромен, из тех, про кого говорят: «лежащую корову не потревожит». Должно быть, за весь свой век он ни разу ни с кем не пос-

сорился. Зато сын его — и в кого он такой удался? — рос задиристым, острым на язык парнем. Да, слава господи, рот его набился черной землей, сгинул он. Парень этот возил на Бодайбинский прииск грузы Аргылова. Говорили, что он там склонял других: мол, выставим хозяину свои требования. Доведись этому паршивцу дожить до победы красных, он бы хозяина своего в землю втоптал, плясал бы у него на спине. Четыре года назад зимой он не вернулся — привезли его мерзлый труп. Говорили, где-то схватил простуду и проболел лишь несколько суток.

С тех пор старик Чаачар перестал выезжать в дальние урочища, промышлял в ближайших угодьях. В последние годы он сменил не только места охоты, но переменился и сам: спина его разогнулась, плечи развернулись, взгляд стал прямой. Смирный, тихоня стал подобен мерзлой ели, которую волокут с комля. Стал ли он языкастым — слышать не довелось, но по всему видать, что старик влез в новую шкуру. То ли так повлияла на него смерть сына, то ли, обласканный Советской властью, почувствовал себя человеком. Хе-е, человек! Ну ничего, подоспеет пора, когда он по-прежнему станет валяться в ногах.

Аргылов зашел подальше в алас и принялся наблюдать за избенкой. Что-то долго не выходят... Сарбалахов с Угрюмовым условились давеча действовать без насилия. Но уговорами черта с два вы достанете тут коней! Не найдете ни одного такого, который сам вручит вам оброть своего коня. Надо было с самого начала вдарить, чтобы у паршивого старика смешались мозги, а в глазах перевернулся мир. Может, тогда... Наконец-то! Дошло-таки, что уговорами не обойтись. В просвете между ив Аргылов увидел, как двое вооруженных взашей вытолкали старика Чаачара из избы. Особенно старался Харлампий. Во-во, свалил ударом, пинок в грудь. Все-таки так нельзя, спрашивать надо: тут если и захочешь отдать коня, так слова не дадут вымолвить. А где остальные? Вон они, вышли. Сарбалахов остановил остервеневшего Харлампия, помогает старику подняться с земли, что-то ему говорит. Чаачар почему-то все время смотрит в небо, не отвечает. Харлампий опять рванулся к старику, но Сарбалахов опять его остановил. Ого, даже толкает Харлампия, дает тычка. Хочет, как видно, показаться Чаачару великодушным, все мы так и рвемся показаться

белыми воронами! Вроде ничего не добились. Пошли к загону. Едва Сарбалахов скрылся за избой, Харлампий вдруг побежал назад. Зачем? А-а, догнал ковыляющего к избе Чаачара. Старик полетел, растопырив руки-ноги. Молодец, Харлампий!

Прошло времени на одну раскурку трубки, пока вернулся Сарбалахов со своими людьми. Чаачар, как оказалось, совсем отрицает, что имеет коня, есть только бычок, на котором он возит сено и дрова. Сарбалахов истощил свое красноречие, с жаром рассказывая старику о том изобилье, которое настанет в Якутии после победы генерала над красными, рассказал, что Пепеляев воюет за интересы якутского народа, что и прибыл-то он сюда именно по приглашению якутов, но все напрасно: нет у старика коня! Что же до Пепеляева, то он, старик Чаачар, дескать, его в Якутию не приглашал, а коли пришел, пусть ему помогают те, кто приглашал...

— Старик Митеряй, кажется, ты ошибся, — сказал Сарбалахов. — На скотном базу нет даже конского навоза.

— Не ошибаюсь я! Конь у него есть!

«Где он мог его спрятать? — размышлял Аргылов. — Отсюда на север есть одна покосная мшарина. Не там ли, вблизи сена? Мерзавец этакий, он еще и «не звал»! От него, голяка, оказывается, еще и приглашение требуется. Звал не звал, а с конем распрощаешься. Обязательно найду! Все переверну вверх дном, погоди уж!»

Проехав с версту по дороге, Аргылов свернул на узкую тропинку. Сани то и дело застревали меж деревьев, по глубокому снегу они тащились едва-едва. Наконец выехали на мшарину с ельником по краям. Аргылов осмотрелся. Чистогал на середине мшарины нетронуто белел. Нигде не видать было и стога, лишь на противоположном краю из-под снега торчали колья — жерди развалившейся загородки. Неужели Чаачар забросил эти места? Нет, должен он тут косить: при его крайней скудости привередничать в выборе покосов особенно не приходится. Или успел еще с осени вывезти? Но и тогда для зоркого глаза кое-какие знаки остались бы.

Переговорив с Угрюмовым по-русски, Сарбалахов сзади крикнул:

— Поедемте обратно! Чего попусту вязнуть в снегах...

Ничего не ответив, Аргылов направил коня в обход, по окраине мшарины. Конь сильно припотел, на ходу он

часто и жадно стал хватать губами снег. Ни живой души кругом! Но видели же Чаачара на днях с конем! Не отправил ли он его в другой наслег, прослышав о белых?

Уже смирившись мысленно с неудачей, Аргылов далеко в стороне увидел что-то необычное. Не тень ли лиственницы упала там, образовав на снегу нечто похожее на вал? Нет, уж слишком длинно тянется... Аргылов подстегнул коня, заехал в перелесок, приблизился. Так и есть: дорога! Сено возят. По сторонам дороги лишь кое-где оброненные травинки — вон как бережно возит, стервец! Поставь их возить чужое добро, не так бы чисто работали, мерзавцы! Аргылов еще раз подстегнул коня лиственничным прутом. Конь пошел мелким наметом и вскоре остановился враз, осев на все четыре ноги.

Аргылов живо соскочил с саней. Ай да я! Вот вам и стог сена, вот вам и белый конь Чаачара!

— Идите сюда!

С дробным стуком задние подъехали и остановились возле загородки. Обрадованный Сарбалахов закрутился на месте.

— Ну, старик Митеряй! Ума у тебя на семерых!

— Да, хорошо! Хорошо! — ротмистр Угрюмов похлопал старика по плечу. Аргылов в этот раз не отстранился.

— Ну и ну! — удивился даже Харлампий. — Сущий шаман! — и поманил к себе солдата, худого парня лет двадцати: — Иди запряги.

Тот стоял, уткнувшись в носки старых своих торбасов.

— Нохо, Лэкес! Слышишь, нет?!

Отвернувшись от Харлампия, парень не на него, а на Сарбалахова поднял умоляющие глаза:

— Господин... Э, брат командир... У старика ведь это единственный конь. Если возьмем по-воровски...

Харлампий схватил Лэкеса за грудки и начал было трясти, но Сарбалахов ткнул его в плечо черенком нагайки:

— Иди, запряги сам! Никто, Лэкес, тут не крадет, таков военный порядок. Ты не думал ли, что на войне люди друг друга упрашивают? Велика ли жертва — лишиться коня? А вот мы можем лишиться жизни. Посуди сам, что дороже? Кроме того, парень, приказ выполняют

беспрекословно. Я тебя прощаю. Иди, помоги запрячь лошадь.

Вдруг откуда-то сзади послышался задыхающийся хриплый голос:

— Люди! О, люди! Пощадите...

В облезлой заячьей шапке, в ветхой оленьей шубенке, второпях застегнутой не на те пуговицы, подбежал, еле дыша, старик Чаачар, повалился в ноги Сарбалахову и молитвенно поднял на него глаза:

— Господин... Молодой господин мой! Выслушай мольбу старого бедняка, не отнимай коня... Если лишусь его, мне конец!

Опешившие от неожиданности похитители разом опомнились и вразнобой загомонили.

— Не бабы мы, чтобы разнюниваться! — гаркнул Харлампий.

— Подымайся, старик, — спокойно сказал Сарбалахов, отодвигая ноги от ищущих рук Чаачара. — Ты нам соврал, что коня не имеешь. За это мы могли бы тебя покарать. Но учтя твои седины, мы тебя прощаем. Так что молись своему богу-покровителю. Другие на нашем месте могли бы поставить тебя и под дуло ружья.

Что-то кинув резкое, ротмистр Угрюмов отошел и уселся на сани. Сарбалахов поспешил за ним, а старик Чаачар подбежал к Харлампию, уже выводящему на дорогу его белую с черной отметиной лошадь.

— Не отдам! — Он вцепился в повод.

Харлампий двинул старика наотмашь. Оглушенный ударом, тот упал затылком на ближайшие сани, но когда сани тронулись, он пришел в себя и схватился за заднюю перекладину. Протащившись так несколько шагов, старик Чаачар вдруг вскочил на ноги и опять принялся отнимать вожжи.

— Остановитесь! Выслушайте меня!

Пряча лицо в соболий ошейник, возница потянул вожжи к себе, а никем не управляемый конь пошел обок дороги по целику, обошел переднюю подводу, вывел сани опять на дорогу и, ударившись оглоблями в дерево, вдруг встал, вывернув сани поперек. Задний конь не успел ни остановиться, ни отвернуться и грудью толкнул человека.

Только сейчас, упав поперек саней, старик Чаачар вдруг признал возницу. Удивленный, он некоторое время лежал без движения, стараясь откинуть наползшую на

глаза шапку, затем, опираясь о передние вязки, медленно поднялся.

— А-а! Это ты, старик Митеряй! Ездишь с ними... Думал я, никто о двух погах не сумеет отыскать, но ты не из таких, от тебя не спрячешь!

— Хватит болтать! Вот они велят-требуют, — Аргылов кивнул на своих спутников. — Я и сам вроде задержанного...

— Тебя задержали? Или ты стал красным? Почему-то я не знаю случая, чтобы волк превратился бы в лисицу-крестовку...

— Поди прочь! Я ничего не знаю и не решаю!

— Он ничего не знает! Наводит, чтобы ограбили, и «ничего не знает». Довольно ты меня, глупого, обманывал, теперь-то уже не обманешь!.. Народ весь от тебя отвернулся, остались у тебя одни бандиты!

— Проваливай!

— Не рычи-ка, лопнешь!

— Ну, с-собака! — Длинным толстым прутом Аргылов изо всей силы ударил старика по лицу. Еще и еще раз...

— Аа-ы-ы!..

Сзади подскочил Сарбалахов:

— Митеряй, успокойся! Так нельзя...

— Я этого черного пса... я заставлю его замолчать!

Старик Чаачар вытирал окровавленное лицо шапкой.

— Всю жизнь, паук, тянул из меня соки! Мало тебе показалось, так теперь последнего коня отбираешь?

Аргылов отбросил прут и схватился за кобуру Сарбалахова.

— Дай! Пристрелю собаку, как собаку!

— Стреляй! — Чаачар подошел вплотную и подставил грудь. — Стреляй, злодей! Не думаешь ли ты, что, убив меня, заживешь, пуская в небо толстый синий дым? Врешь, настанет и для тебя час расплаты! Да пусть твой дом родовой запустеет, да погаснет твой очаг!.. Пусть от жилища твоего не останется и пня, пусть имя твое исчезнет без следа... и да будет так! Пусть я проклял тебя кровавым проклятьем!

Сарбалахов спихнул Чаачара с саней, направив коня Аргылова на дорогу, вытянул его кнутом вдоль спины и тут же сноровисто вскинул свое тело на сани.

Сзади, нагоняя их, несся отчаянный вопль старика:

— Проклинаю!.. Проклинаю!..

На большой дороге встретились с Харлампием, поджидавшим их.

— А этот конек, если совладать с ним, резв на ногу! — с видом знатока оценил Харлампий коня Чаачара. Вдруг, словно полоща рот водой, он забулькал-засмеялся, показывая пальцем на молоденького солдата, с понурой головой сидевшего на санях. — Кого это вы взяли с собой: солдата или детенка из зыбки? Спустить бы с него штаны да голым задом на снег. Ха-ха-ха!..

Никто в его сторону даже не глянул. Сарбалахов подошел к Аргылову:

— Ну, Митеряй, куда теперь двинемся?

Вобрав голову в плечи, Аргылов мрачно молчал. Сарбалахов деликатно кашлянул, и тогда Аргылов нехотя поднял на него глаза:

— Почему ты не дал мне пристрелить этого мерзавца?

— Приказ генерала! До поры до времени население не притеснять, не озлоблять, действовать уговорами.

— Значит, он волен изрыгать на меня все, что заблагорассудится?

— Если бы мы пристрелили этого старика, то ославились бы. Узнай это генерал...

— А мое доброе имя? Этот черт сегодня же зальет весь свет своими проклятиями! Это как? Вы это берете в толк или нет?

Сарбалахов промолчал. Аргылов снизу вверх метнул на Сарбалахова злобный взгляд и махнул рукой вперед. Через полкёса они выехали на чистую луговину, где на опушке леса притулилась избушка. Аргылов знаком показал: едем мимо! Скоро дорога свернула с луговины и привела их к большой елани.

— Что, заедем сюда? — с передних саней крикнул Харлампий.

— Заедем, заедем! — махнул Аргылов.

Сарбалахов пустил своего коня рядом.

— Митеряй, а здесь кто?

— Увидим, когда приедем... Давай быстрей! И без того запоздпились.

— Разве ты не останешься поджидать нас?

— Чего ради, когда с твоей помощью раскрыт? Теперь уже нет смысла скрываться, теперь уже все равно...

Здесь живет старик, сын его подался к красным. Посмотрим, что этот запоет...

Глава девятнадцатая

Окна в закуте не было. Кычу бросили на дощатые нары, настеленные впритык к стене. В голове у нее было темней, чем в этой глухой норе: мысли ее бились, как застигнутый в дупле горностай, ни просвета хоть с игольное ушко, ни искорки надежды. Раньше она думала, что ничего не может быть ужаснее смерти. Но оказалось, что нет беды бóльшей, чем гибель мечты, и человек, хотя и бьется сердце у него, хотя и не гаснет мысль, превращается в труп.

Здесь, в черной половине избы, царила гнетущая тишина. Люди притаились. Замолчал даже говорун Халытар, в обычное время тараторивший без умолку. Или его куда услали? Изредка шепотом переговаривались женщины, да время от времени из белой половины приходила вконец потерянная мать. Барабаня костяшками пальцев в дверь, она шептала:

— Птенчик мой, голубушка! Есть не хочешь ли? Говори же что-нибудь, миленькая...

Кыча не отвечала: что она могла сказать? Сказать, что не может есть? Мать расстроится пуще прежнего...

— Должно быть, спит, — шептала Аанык батрачкам. — Проснется, так дайте мне знать.

Судя по звяку посуды, настало время второго полдника. Обитатели черной половины чуть забылись и стали разговаривать полушепотом. И опять легкий дробный стук в дверь:

— Голубушка, маленькая моя. Проснулась? Почему не отвечаешь? — Не дождавшись ответа, она вдруг закричала: — Что с тобой, доченька? Да там ли ты? Кыча!

Хлопнула дверь в белой половине, донеслись голоса вошедших, и вскоре на двери чулана загремел замок, а на стену легла слабая полоса света.

— На вот, полюбуйся на свое «золотко»! — раздался голос отца. — Назло мне лежит, уткнувшись в стену.

Аанык припала к дочери мокрым лицом и, беспорядочно, куда попало целуя и нюхая, зашептала, обдавая дочь жарким дыханием.

— Птенчик мой, доченька, не ругай меня, старую. Сама видишь — ничего я сделать не в воле. Не отвернись от матери!

Превозмогая жалость к матери, Кыча молчала.

— Хватит лить слезы! — Аргылов рывком поднял жену на ноги. — Ты хотела ее накормить, так подавай же сюда! Нет у меня времени дожидаться!

Ааныс молча вышла и вскоре вернулась с едой.

— Свечу бы...

— Еще чего?

— Забыла взять свечу... Темно же здесь, как она будет есть?

— Эй, кто там! — крикнул Аргылов. — Несите сюда жирник!

В темном чулане заплясал слабый красноватый свет, остро запахло прогорклым жиром.

— Доченька, поела бы ты, со вчерашнего дня ни маковой росинки... Вот сливки с земляникой. Летом ты сама собирала. Глотни чайку, пока не остыл... Любонька моя!

— Выходи, ну! Пусть не ест! Пусть умрет с голоду! Вставай!

— Уйди, зверь!

— Ах, и ты туда же!

— До-чка... Оо-о! Горе мне...

Аргылов вытолкал жену из чулана, и опять загремел замок.

— Я вам еще покажу! — долго грозился Аргылов, топая по избе.

Укрывшись одеялом с головой, Кыча захлебнулась слезами. О, мама, бедная моя! Могу ли я тебя обвинять? Всю жизнь до старости провела ты в хлопотах ради счастья нас двоих, твоих детей. Все хотелось тебе, чтобы выросли мы добрыми, чуткими, такими, какая ты у нас. Не оправдали мы твоих надежд. Но это не вина твоя, это беда твоя. Даже сейчас я доставляю тебе одно только горе. Отец хочет, чтобы я не смела поднять на него глаза. Но если упрям он, то упряма и я! И пусть будет так: рога на рога, копыта на копыта! Пока буду жива, не встану перед ним на колени, лучше умру, чем покорюсь!

Выгорев весь, с шипением погас жирник. Участился скрип наружных дверей в черной половине избы, загудело пламя в камельке, застучали крыши закипающих

чайников, с шумом перетащили стол. «Жирник-то у меня, должно, стол перетаскивают поближе к камельку, — подумала Кыча. — Значит, уже вечер».

— Кыча... Голубушка!

Кыча не ответила. А вскоре опять загремел замок на дверях, и опять заплясали на стене зыбкие тени от пламени жирника.

— Доченька, ты же ничего не поела... Что с тобой? Голубушка, еда — тебе не враг.

— Иди-ка прочь! — опять войдя, оттолкнул жену Аргылов. Рывком за косы он приподнял голову дочери и ткнул ей в губы чашку с молоком. — На, пей! Пей, говорю!

Кыча изо всех сил сжала зубы, молоко пролилось на нары. Тогда Аргылов отбросил чашку, схватил Кычу за щеки и сжал их, силясь разжать ей зубы. Не добившись ничего и на этот раз, разъяренный старик куском жесткой лепешки принялся с силой шарпать ее по губам и по деснам.

— Раскрой рот! Рот раскрой!

Увидев кровь на губах дочери, Аанык повисла на руках мужа:

— Убил! Отпусти, зверь!

Аргылов словно куль отбросил дочь обратно на нары, а жену волоком вытащил из чулана, несмотря на ее отчаянный крик.

Помнится, в детстве, если приснится дурной сон, Кыча забиралась к матери под одеяло. Там она чувствовала себя покойно, огражденной от всех бед, и крепко засыпала. Но теперь, как видно, на нее такое надвинулось, от чего не избавит и материнская близость. Без сна этой ночью мучается наверняка и мать. Бедная моя мамочка!.. Она проплакала всю эту долгую, долгую ночь и под утро совсем обессилела. Казалось ей, что люди уходят из жизни вот так...

А наутро опять все то же:

— О, голубушка! О, пташечка моя! Почему к еде не притронулась? — Несчастная мать опять упала на колени. — Почему ты даже горла не промочишь? Солнышко мое, ну вымолви хоть словечко! О, все, кто там есть: добрые ли духи, злые ли. Почему не различаете, кто бел, а кто черен? Почему? Беда — вот она нагрянула! Горе горькое — вот оно надвинулось! — И вдруг вскочила на ноги: — Чего ты встал там как пригвожденный? —

крикнула она мужу. — Что натворил? И кто тебе, извергу, только отомстит!

— Замолчи!

— Молчала я, и вот себе намолчала! Любуйся, чего добился: родное дитя при смерти... Ох, горько мне! Ну, смотри же, изверг, я теперь ни перед чем не остановлюсь. Ни перед богом, ни перед людьми никогда не грешила, а вот согрешу... Я бы убила тебя, если б могла! А нет — так себя убью. Ходи тогда по миру, скрючившись, один да вой на луну, как пес. Пусть тоска и злость сожрут твою печенку!

Кыча ушам своим не поверила: это ли говорит отцу ее робкая забитая мать, вдвойне и втройне батрачка его и раба? У нее и слов-то таких не было.

Аргылов сделал два-три шага назад, пятясь, как от наваждения, затем повернулся и хлопнул дверью.

В тот день дверь чулана он оставил незапертой.

Ааныс приготовила гору всякой еды и долго еще молила Кычу что-нибудь съесть, но та лишь молча отворачивалась. Ни крошки еды и ни капли воды. Пока ее не выпустят из этого заточения — она не отступится... Сколько она еще выдержит, лежа вот так? Надо выдержать...

Назавтра Кыча перестала чувствовать голод, силы ее вовсе покинули, безразличие ко всему овладело ею. Ей самой трудно стало определить: спит ли она или бодрствует, она перестала понимать, где она и что с нею. Внешний мир стал расплывчат, голоса людей и другие звуки доходили до нее словно из-под воды. «Что это со мной? Неужели я умираю?» Но эта мысль была неопределенной и не вызвала ни сожаления, ни испуга, ни других чувств, будто не с нею все это происходило. Что-то творилось там, в чужом ей мире, какие-то кипели страсти, а что они такое — ей было уже все равно.

— Быстрей, быстрей! Шамана или знахаря! Скорей!.. Не видишь разве — совсем угасает дочь! Чего стоишь?.. Я спрашиваю: чего ты стоишь, как истукан?

Аргылов не привез ни шамана, ни знахаря, зато вечером в клетушке появился Суонда. Он бережно взял Кычу на руки вместе со всей постелью и вынес ее на господскую половину. «Выдержала!» — слабо подумалось ей. Не испытав торжества, она опять впала в забытье.

Долго, не долго ли была она в таком состоянии, когда, очнувшись, увидела растерянного Суонду. Тот горой

высился посреди комнаты. Потом она почувствовала, как кто-то раскрыл ее занемелые губы и влил ей в рот что-то густое, и она сделала глоток.

— Доченька, ну еще! Глотни-ка... Пожалей хоть меня, горемычную... Комочек сердца моего, отрада моя. А теперь вот этого! Еще глоточек. Еще...

Легли они вместе. Как в детстве, Кыча уткнулась головой в теплый материнский бок и, вдыхая родной полузабытый запах, уснула живительным сном.

Во сне она увидела красноармейца, которого они отвезли тогда с Суондой в домик Собосута.

«Как рана?..» — спросила Кыча.

«Ты ведь ее вылечила!» — улыбнулся ей парень.

«Разве тебя не схватили белые?»

«Ты же видишь!»

Испуг, который охватил Кычу, быстро прошел: конечно же, что они могут с ним сделать? Не под силу им.

И вдруг рядом с красноармейцем возник Томмот.

«Вы что, знакомы?» — удивилась она.

«Конечно, мы друзья!» — ответили они вместе.

И русский парень протянул ей целую охапку цветов.

«Это тебе от нас обоих».

«Почему один букет от обоих?» — рассмеялась Кыча.

«А мы тебя любим оба, поэтому и дарим один букет. И ты нас люби обоих».

«Ладно, я люблю вас обоих...»

И тут Томмот поднес ей другой букет. И закрытые цветы, когда Кыча протянула руку, чтобы взять их, распустились, и букет стал вдвое больше.

«Это тебе от наших ребят».

«Я им все рассказал, ты просила меня. Помнишь, Кыча?» — сказал русский парень.

«Ну идем», — сказал Томмот, протягивая руку.

«Пошли», — красноармеец тоже подал ей свою ладонь.

«Куда?» — спросила Кыча.

«Туда, далеко-далеко», — показал вперед рукой красноармеец.

«Идемте!» — Кыча ликующе рассмеялась и вложила свои ладони в крепкие ладони парней.

Втроем, со сплетенными руками, они поплыли по цветущему лугу навстречу ослепительно разгорающемуся золотому солнцу.

И Кыча различала все краски сияющего мира.

На исходе ночи, когда в окна еще не успел пробиться серый свет, Кыча проснулась с улыбкой и так, продолжая улыбаться, долго лежала, сладко растревоженная своим сном. Близко, за стеной, заскрежетал зубами отец, и Кыча сжала руками вдруг заломившую голову. Сон ее отлетел, как пугливый тугут[1].

За стеной, кряхтя, уже поднялся отец, и наяву осталась лишь голая правда — холод, тьма и жестокость. Вот она вырвалась из заточения... Из темноты закута в светлую комнату с мягкой постелью. Из одной клетки в другую...

Долго отец кряхтел, надевая торбаса, долго хлюпал затем, отдуваясь, — чай, значит, пьет. Шубой зашуршал... С рассвета уже собрался куда-то... Нет, эта жизнь не переменится никогда! А если в другую жизнь не вырваться, то стоит ли жить?

Аргылов и вправду снарядился уже в слободу за новостями, как вдруг снаружи ввалился ошалевший Суонда. Задыхаясь и выпучив глаза, он затоптался на месте, что-то по-своему невнятно мыча.

— Чего ты? Лешак тебя напугал? — насторожился хозяин.

— Ко-о-бы... — выдавил из себя Суонда и махнул рукой за дом в сторону скотного база.

— Кобыла? И что с кобылой? Да разродись ты хоть словом каким, образина!

Выйдя во двор, Аргылов кинулся за сеновал, к небольшому выгону, где содержалась яловая кобыла, которую он откармливал около трех лет. Во времена ревкома эту кобылу он прятал у надежного человека в соседнем улусе, к себе же привел ее несколько суток назад. Попозже, когда страсти поулягутся и наедет высшее белое начальство, он рассчитывал забить кобылу на мясо. За сеновалом старик остановился, будто его толкнули в грудь: серая кобыла лежала посреди выгона, вскинув копыта вверх.

— Что это... подо?

— И... из...дох...

— Сдох бы ты сам!

Аргылов перелез через изгородь. Ногами и — вот странно! — даже головой кобыла запуталась в длинной веревке из сыромятной кожи. Старик попытался было

---

[1] Тугут — олененок до года.

распутать веревку, но ни конца ни начала в этой путанице нельзя было отыскать, и тогда, вырвав нож из-за голенища, Аргылов в несколько взмахов разрезал веревку. Глухо, как полено, стукнув о смежный наст стылыми ногами, труп кобылы свалился на бок.

— Нохо, это ты оставил здесь веревку?

Суонда отрицательно затряс головой.

— Как же тогда веревка оказалась здесь и опутала ноги кобыле?

Но Суонда, удивленный не меньше хозяина, лишь бессмысленно таращил глаза.

— Куда вчера положил веревку?

Суонда показал рукой на сеновал.

Аргылов осмотрелся. Под утро выпала пороша, и по ней четко обозначились только отпечатки их с Суондой ног. Других следов не было видно.

— Ну, хватит мычать! Пошевеливайся, не пропадать же добру...

Прислужники, и стар и млад, высыпали все и, как показалось Аргылову, с радостным рвением кинулись хлопотать над павшей кобылой. Да превратись все его богатство в дым, они не огорчатся!

Аргылов прошелся по ближайшим дорогам, но вернулся ни с чем: ничего подозрительного он не обнаружил.

Старик Митеряй присел на сани, уже запряженные и снаряженные в слободу, и задумался. Если бы веревка и лежала на выгоне, то сама так запутаться кобыла не могла. К тому же Суонда, даром лишь с виду болван, а в деле отменно аккуратен, ни за что он не бросил бы куда попало веревку. Тогда получается, что это козни... Чьи?

Подумав о злых духах преисподней — абаасах, старик Аргылов сейчас же эту мысль отмел, как сор. В молодости он, правда, верил в чертей и духов, но сейчас — ни-ни! Если бы они были, то уже давно бы не сносить ему головы. Немало бедняков превратил он в нищих и раньше времени свел в могилу, но если станешь жалеть каждого да сочувствовать всем беднякам и неудачникам, разве разбогатеешь? Скорей всего сам пойдешь по миру. Нет, человек, идущий к богатству, должен иметь трезвый разум и холодную кровь.

К павшей кобыле, конечно же, абаасы никакого причастия не имели: это злодейство земного зверя о двух ногах. Но кто бы мог это быть? Старик перебрал в уме

всех ближних соседей, и выходило, что любой из них на это был способен. Ах, как же проклинали его, когда ездил он с Сарбалаховым собирать лошадей.

Ехать в слободу он раздумал: если про Бэлерия появятся благоприятные вести, то «братья» сами прибегут, а за плохими вестями спешить нечего. Старик надумал поездить в черте наслега: навестить знакомых, погостить кое у кого и постараться что-нибудь выведать. Решив так, Аргылов тронул коня и направил его в сторону южной елани.

Морозы чуть убавили в силе, длиннее стал световой день, и стало заметнее, что зима свернула уже на весну. Котел мерзлого мяса уварился бы — столько времени прошло, когда в редколесье перед Аргыловым открылась усадьба, по всему видать, состоятельного хозяина; выгоны были просторны, к добротному дому плотно приткнулся вместительный хотон. Здесь жил с семьей Байбал Банча, в прошлом подручный у Аргылова, когда тот вел торговлю среди восточных тунгусов. Но в последние несколько лет Банча завел собственное дело, закупал товары уже на свои деньги, прибыль стал класть в свой карман, и с этого времени пошел в гору. Войны для него будто и не было: и скота прибавилось, и мошна растет, даже строиться начал. Из всех передряг он выходил целехоньким: красные его не трогали, потому что он бедняцкого происхождения, а белые тоже считали за своего — как-никак человек зажиточный.

Если бы Банче в свое время не перепадало кое-что от торговых дел Аргылова, он не пошел бы так далеко, не слишком бы теперь отличался от нынешних бесчпортошных батраков. Все это он понимал и всегда встречал Аргылова с неизменным радушием и по-прежнему склонялся перед ним. Не далее как неделю с лишним назад заезжал он к Аргылову в гости, в виде гостинца привез медвежий бок, сало — в ладонь толщиной.

Еще издали Аргылов увидел Банчу возле дома, тот железным скребком чистил коня. Аргылов подъехал, привязал повод к коновязи, но хозяин его почему-то не замечал. Старательно приподнимаясь на носки, тот продолжал чистить спину коня.

— Байбал, здорово!

— Здорово...

Теперь, преувеличенно кряхтя от натуги, Банча стал отдирать ледяные сосульки, намерзшие на ногах коня.

— Догор, я ведь поздоровался...

Банча медленно поднялся на ноги и только потом взглянул на гостя:

— А что?

— Я поздоровался, кажись.

— Я тоже вроде ответил, — только и обронил Банча.

Аргылова ошарашил такой прием: и лица не хочет показать, все поворачивается спиной. У Аргылова от возмущения аж в животе закипело, но он сдержался. А Банча между тем принялся чистить еще и ноздри коня.

— Расскажи-ка, Байбал, какие новости.

— Рассказать не о чем.

Ответ — пощечина. Банча не удостоил гостя даже обычного в таких случаях ответа: «Расскажите вы».

— Благополучно ли пребываете?

— Слава богу...

Не зная, как продолжать разговор, Аргылов потоптался на месте. Этого Банчу при сборе лошадей Аргылов объехал, а тот на его услугу вон как отвечает!

— А как, Байбал, обстоят у тебя дела со скотом-живностью?

— С божьей помощью.

— Хе, бога приплел! Или зло сотворил? Кто кается, тот и грешник...

— Нет у меня такого! Не помню, чтобы обидел кого-нибудь. Были ошибки в торговых делах, только этим не заслужил кары.

«А я какой? — чуть было не вырвалось у Аргылова. Каждое слово Банки—жало.—Ишь ты, святой, а во мне так собралось все зло, что только есть на белом свете. Подумать только — какие обвинения смеет тыкать мне в лицо этот вчерашний голодранец! Ха, ошибки, говорит. Только в торговых делах... Порыться-поискать хорошенько, так и у тебя найдутся грешки!» Взвинченный Аргылов не мог устоять на месте и все крутился. Наконец, не попрощавшись, Аргылов уже шагнул было прочь, да вдруг остановился. Постояв, он подошел к Банче вплотную, лицо к лицу:

— Банча, — он назвал его так, как в былые годы, когда тот был у него работником. —Говори прямо: что случилось? Почему избегаешь меня? Не ври! — заранее пресек его Аргылов. — Я вижу все!

Боясь посторонних ушей, Банча огляделся.

— Митеряй, — с трудом произнес он имя бывшего хо-

зяина. — Кажется, ничто на свете не проходит без возмездия. За все платим.

— Платим? А кто с меня спросит расплаты? Ревкомовцы?

— Народ...

— Кто такие «народ»? Не эти ли нищие кумаланы да бродяги, которым нечего пожрать перед сном?

— Ненависть народа...

— Вот этот твой народ не позже следующего лета будет ползать у моих ног — сам увидишь! Они будут выпрашивать у меня фунт муки, аршин ситца, щепотку табаку. На этом свете прав тот, кто имеет деньги и силу! Будет мой верх, и этот «народ» твой, как бы ни сильно желал сожрать меня, и не пикнет. Как вол в ярме, пойдет туда, куда я его погоню. Пойми ты, утиное сердце!

— Почтенный Митеряй, я желаю тебе добра, только потому и говорю...

— Да не режь ты меня тупым ножом! Говори!

— Митеряй, а что, если до поры до времени ты переедешь с семьей в слободу? Там стоят войска, есть защита.

— Для чего это я перееду, если проживаю в собственном доме, сижу на собственной земле?

— Беда может случиться...

— Какая? Кто меня ввергнет в беду?

— Не знаю...

— Врешь — знаешь! — Аргылов схватил Банчу за грудки. — Может, по себе судишь, что я такой же трус, как ты? Не испугают они меня! Говори: кто?

— Не знаю! Вот ей-богу...

— Банча, никто не узнает. Говори!

— Не знаю! Не хочу ни на кого показывать, хочу дожить до завтра.

— Будешь хорониться по углам — и до завтра не доживешь. А ты ведь хочешь пережить меня, целым выйти? Ну, упаду я вниз лицом, но и ты не взлетишь белой птицей!

— Может, это и так, но я...

Аргылов только сейчас опомнился и расцепил на груди Банчи сведенные судорогой руки: если он оттолкнет от себя даже таких, как Банча, с кем же тогда он останется?

— Не обижайся, что вспылил, хожу сам не свой... Говорят, у потерявшего — сто грехов...

— Что за потеря? — с искренним участием спросил Банча, довольный тем, что старик умерил ярость и переменил разговор.

— Ты видел мою нагульную кобылу? Так она ночью пала. Думаю, что это подстроено. Может, ты что слыхал или подозревать можешь?

— Тыый! — изумился Банча. — Я ничего не знаю...

Аргылов пристально вгляделся в лицо Банчи: сколько не вытряхивай из него — ничего не скажет!

— Байбал, я тебя считал близким человеком, почти сыном. Ошибся... Но ты меня за дурака не принимай — все вижу насквозь! Ты что-то знаешь. Ну что ж, и без твоей помощи обойдусь.

— Митеряй! Зла на меня не держи. Тебе же самому желаю добра: не ожесточал бы ты против себя улусников.

— Не мели пустое!

— Дело твое. Я свое сказал. Что делать, не могу оказать тебе помощь. Впредь ты бы обходил меня...

— Уж не прогоняешь ли?

— Не враг я себе... Народ говорит...

— Я плюю на твой народ! — Аргылов пошел к саням, но на полпути опять обернулся. — Нохо, Банча, не думай, что солнце Аргылова закатилось. Солнце мое взойдет! Да еще как взойдет — незакатно! И тогда я тебе припомню сегодняшние твои речи. Я тебя предупредил!

Пущенный с места в намет конь Аргылова пошел вымахивать по дороге, иногда сбиваясь на целик, и вскоре сани нырнули за мысок. Когда гость скрылся, Банча облегченно перекрестился.

«Дрянь эдакая, — негодовал про себя Аргылов, нахлестывая лошадь. — Видно, нора его сплошь залита. Ишь, как настороженно оглядывается, разговаривая со мной. Э, чертяка, он всегда был трусоват! Чуть поднимешь голос, он уже дрожмя дрожит. Дурак, это он-то не хочет знаться со мной. Погоди уж, дрянь! Укажу я «братьям» дорогу к твоему дому!»

Через темный лес, у опушки небольшой поляны, приткнувшейся к речке, дорога резко взяла на юг. Полянка эта была давнишним обиталищем многодетного бедняка Окёйо, с молодых лет изнуренного чахоткой. Окёйо еще сызмальства батрачил у слободских пашенных. В последние годы, как говорили, болезнь у него обострилась: едва ноги таскал, да и то лишь в пределах своего

двора. Ревкомовцы, властвуя, распорядились выдать Окёйо дойную корову с теленком — из хозяйства купца, на которого тот когда-то батрачил. Интересно, чем же он кормит такую прорву детей? Или корову ту забили?

Чуть было не проскочив поляну, Аргылов приостановил коня: не мешает все-таки заехать к Окёйо, он из тех, о ком говорят «окно земли». Хоть почти и не высовывает носа за порог, а наверняка наслышан, что происходит в околье.

Аргылов развернул коня и направил на боковую тропку — к жилью Окёйо. Подъезжая, он обнаружил крохотный, но ухоженный хотон с маленьким сеновалом, значит, корову не забили. Чем же они питаются?

Хозяин избенки с ледяным окном и полом из тонких лиственшек сидел перед догорающим камельком и чинил куюр[1].

Аргылов здесь не бывал: избенка ох и тесна, нора, да и только! Дышать нечем, хоть кроме стола о трех ножках, скособочившегося возле нар, ничего не видать. На нарах в куче тряпья маячили три-четыре детские головенки. На левой половине надрывалась в кашле старуха. Кто же это? Ведь жена Окёйо умерла от чахотки еще прошлой весной. Должно быть, мать хозяина...

— Кирилэ, дорообо.

Окёйо удивленно заглянул в лицо гостя и недоверчиво ответил:

— До... рообо... — Хозяин вытащил изо рта пучок ссученных конских волос. — И правда: когда-то я был наречен русским именем Кирилэ — вроде человека... Сызмалу привык к прозвищу да позабыл свое имя. Окёйо да Окёйо... Спасибо, ревкомовцы помогли вспомнить... Подумал, заехал кто-то из них, ан, оказывается, это ты, Митеряй. Помнится, прежде ты считал за грех переступить мой порог. Должно, наступают времена исполнения последней тысячи[3], даже меня называют хорошим именем — Кирилэ.

Аргылов сделал вид, будто бы не понял иронии старика. «Пусть себе поболтает напоследок. Видать, все равно ему не дожить до весны. Что толку спорить с таким?»

---

[1] Куюр — волосяной рыболовный сак.
[2] Образное выражение — конец света.

Шаркая друг о дружку старыми изношенными торбасами, подошла и протянула сморщенную ладошку старуха в низко повязанном выцветшем платке из сарпинки:

— Добрый человек, не найдется ли щепотка табаку?

— Нет, бабушка, я не курю.

— Одурела, что ли, старуха? — Окёйо покосился на мать. — Знаешь ли, у кого просишь? У этого «доброго» среди зимы не выпросишь и горсточку снега...

Старуха близоруко из-под ладони глянула на гостя и прошаркала назад.

«Ничего путного не расскажет, напрасно заехал», — с сожалением подумал Аргылов. Однако неловко показалось ему просто встать и уехать — можно подумать, что он заробел перед Окёйо.

— Кирилэ, хоть ты и сказал про меня недобрые слова, только, помнится мне, не было случая, когда бы мы переходили друг перед дружкой дорогу.

Окёйо не так, как следует, завязал петлю, осердясь, бросил куюр на пол и вдруг зашелся в долгом приступе кашля. Переведя дух наконец, он рукавом отер пот с лица и сурово взглянул на гостя.

— Слыхал я, что третьего лета на дележе покосов ты сказал про нас: «Нет погибели на этого Окёйо — все живет еще, плодится и гадит землю. Еще и надел ему подавай! Им за глаза и двух аршин хватит!» Заехал глянуть, исполнилось ли твое слово?

— Что ты, Кирилэ, грех так говорить...

— Про грех заговорил! На днях ищейкой у «братьев» обобрал всех людей — это ли не грех!

— Кирилэ, погоди! Язык у людей без костей...

Но тот кинулся к запечью, приволок и бросил перед Аргыловым старый берестяной тымтай[2]. На пол хлынул поток озерного гольяна вперемешку с тиной, лягушками и водяными жуками.

— Моя вчерашняя добыча. Может, заберешь и угостишь своих «братьев»?

Раскосмаченный, распахнув на груди ветхую жилетку с подбоем из облезшего меха, так, что открылись выпирающие острые ключицы, с глубоко запавшими глазами, Окёйо был жалок и грозен.

---

[1] Тымтай — овальный сосуд из бересты.

— Бери, господин мой, не жалко. Доброе озеро наше не даст пропасть с голоду. Озеро наше хоть и бедное, но щедрее тебя.

— Кирилэ! Смотри, ты не очень... — Аргылов поддал тымтай ногой. — Не рассчитываешь ли, что опять вернутся твои ревкомовцы?

— Мне уже все равно, я на свете не жилец. Да и твой век не долог, народ с тебя взыщет! И при белых взыщет!

— Я тебя, языкастого, прикончу!

Аргылов толкнул старика в грудь. Пошатнувшись и падая, тот успел опереться рукой о шесток печи:

— Только меня-то, пожалуй, и подомнешь под себя! На мне и кончилась твоя власть.

— Истопчу, подлеца!

Взбешенный Аргылов уже шагнул с этой угрозой, но старик вдруг схватил попавший под руку топор:

— А ну, подойди!

Глава двадцатая

Набросив поводья на крюк седельной луки, Чычахов дал волю коню. Близился рассвет. Пластал густой, мягкий, как пух, снег.

Этот медленный, торжественный снегопад напомнил Томмоту детство: радуясь снегу, носились взапуски вокруг двора, падали — «куча мала!» — вповалку друг на друга, зарывались в сугробы...

Впереди него, весь с конем вместе запорошенный снегом, ехал Валерий Аргылов. Он тоже, как видно, испытывал чувство раскованности и светлого умиротворения. Валерий то и дело взмахивал кнутом, но конь, понимая настроение хозяина, лишь на короткое время переходил на хлынь и тут же опять сбивался на шаг.

«Осокай! Эсекэй!»[1] — запел Валерий.

А снег все валил. Ах, отрада души — снегопад! А для беглецов он еще и укрытие: не остается следов позади, звуки все тонут, как в вате, за десять сажен тебя не разглядеть. Чуя благодушие седока, конь под Валерием шел-шел неторопким шагом — да вовсе стал. Подъехал Томмот.

---

[1] Осокай, эсекэй — слова из якутской хороводной песни.

— Ты чего? — спросил он.

Вместо ответа Валерий широко раскинул руки и показал вокруг. А вокруг умиротворенно дремали лиственницы, отороченные белым пухом. Стояла такая тишь, что, казалось, слышно было шуршание падающего снега. Томмот, как в детстве, бывало, подставил ладонь: не тайте, звездочки-снежинки, блесните мне на счастье... Хоть и наивное это поверье, но оттого-то, может быть, и мило сердцу: если счастье в будущем тебя обойдет, то снежинки гаснут на ладони, а коли счастлив будешь — они сверкают. Так сверкните же, сверкните, на счастье!

А Валерий опять запел:

Моя девчоночка,
Моя красавица,
Кругло личико твое
Снежно-белое...

Ликующая радость переполняла его существо: он, уже распрощавшийся с жизнью, опять жив и невредим! Много ли найдется людей, которые испытали счастье родиться на свет вторично и во всей первозданной прелести увидеть красоту мира и вдыхать, и впитывать в себя эту дивную красоту!

Томмот хорошо понимал его. Ведь не далее как вчера с Валерием случилось такое, что можно было бы назвать сломом, он боялся даже, что Валерий уже не оправится...

Вчера вечером после короткой передышки на взлобье горы они долго скакали, пока кони не выбились из сил. Они остановились в глухой чащобе, уже порядочно удалившись от места остановки.

— Вырвались! Им теперь вот это... Нате-ка вот! — сложив три пальца в кукиш и плюнув, Валерий принялся тыкать кулаком куда-то назад, на запад. — Собаки, плюю я на ваш трибунал! Вы хотели убить Аргылова, так вот кукиш с золой! Ну, как, вкусно? А-а, псы! Что, руки не достают? Так, да? Ха-ха-ха!

Валерия начали мучить приступы истерического смеха. Его будто бы ломало и выкручивало. Томмот, насторожась, присел на пенек. Он слыхал, что люди избежавшие смерти, ведут себя по-разному, но поведение Аргылова его и удивило и обеспокоило. Валерий весь вспотел, отбросил шапку, веки его враз набрякли, лицо свело в

судорожной гримасе, но приступы смеха следовали один за другим. «Что с ним? Неужели спятил?»

Томмот надел на него шапку, подвел коня, подсадил Валерия в седло и, привязав его обротъ к своему седлу, съехал с большой дороги: по большой дороге с таким попутчиком далеко не уедешь, нарвешься.

На рассвете им встретилась избушка охотника. Хозяин избушки, еще крепкий старик, промышляющий в одиночку, встретил их настороженно.

— Не бойся нас, дедушка, мы красные, едем в разведку, — представился Томмот. — Появляются ли тут белые? Наши когда-нибудь заворачивали?

— Никого тут не бывает. Что делать людям в эдакой глухомани? А вы... — не договорив, старик умолк, в поведении гостей что-то ему не понравилось.

— Как зовут тебя, дедушка?

—Люди кличут Хатырыком...

— Вон товарищ мой заболел, — кивнул Томмот на Валерия. — Ему бы полежать...

— Пусть лежит, места не жалко, — все еще с отчуждением откликнулся старик.

Томмот вывернул содержимое кисета Валерия на ладонь, отсыпал половину назад, а остальное протянул старику:

— Не обессудь, дедушка, больше нам поделиться нечем.

— Тыый, что ты?.. Разве мне от вас что-нибудь нужно? — Старик тем не менее заметно оживился.

— Сена не найдется ли?

— Откуда сену взяться? Разве вот только совсем немного, оставил гостивший у меня сын. Дам, пожалуй.

— Спасибо.

Хозяин указал Томмоту, где у него копна, Томмот пошел задать сена уставшим коням, а старик вернулся и принялся кипятить в старой миске какие-то корни. Когда Томмот вошел, он разбавил настой холодным чаем и протянул глиняную чашку:

— Дай-ка попить своему товарищу. Будет легче...

Приподняв голову Валерия, Томмот дал ему попить. Сделав несколько глотков, Валерий опять уронил голову. Но вскоре ему и вправду стало, как видно, легче, он уснул.

— Сам-то ты разве не отдохнешь? — спросил старик.

— Нет. Подай-ка мне теплой воды немного.

Томмот разделся до пояса. Левый окровавленный рукав исподней рубашки возле плеча крепко присох к телу.

— Да ты ранен, никак? — забеспокоился старик.

— Пустяки, только царапнуло.

Томмот осторожно промыл себе рану и перевязал оторванным от рубашки чистым лоскутом. Старик покрутил головой:

— Где это?

Томмот неопределенно махнул рукой куда-то на юг.

— Ох, беда! И как это люди могут ловить себе подобных на мушку ружья?.. Не желаешь ли и ты попить горячего?

— Не мешало бы...

Хатырык поставил на стол чайник, принес вареной зайчатины. Томмот поел и согрелся чаем. Когда старик ушел осматривать свои самострелы, черканы и петли, Томмот напоил коней, почистил оружие, привел в порядок свое и Валерия дорожное снаряжение. Валерий спал. Затем уже к вечеру по возвращении Хатырыка Томмот помог старику освежевать разморозившуюся в тепле заячью тушку. Затем у них поспело варево, зайчатину вынули из горшка и оставили остывать. Валерий все еще спал. «Пусть хорошенько выспится, авось все у него пройдет», — решил про себя Томмот.

Проснувшись уже на закате солнца, Валерий некоторое время лежал, приходя в себя и оглядывая избенку. Задержав взгляд на окошке, заставленном куском льдины, он, видимо, только сейчас вспомнил, где он и что с ним. Живо вскочив на ноги, Валерий оправил на себе одежду, пригладил волосы и подошел к Хатырыку — тот возле печки снимал шкурку с горностая.

— Добыл? — удивился Валерий.

— Добыл...

— Пока я спал? Сколько же я спал?

— Я обошел свои снасти, взял двух горностаев, ласку одну. Есть и зайцы.

— Ты разрешил ему выйти? — округлил глаза Валерий, приблизившись к Томмоту, но, заметив предостерегающий знак Чычахова, он смолк на полуслове. Однако старик понял, в чем упрекнул товарища этот проснувшийся: боится, что старик донесет на них?

— Разве это можно? — с обидой отозвался Хатырык. — Пусть я совсем неграмотен, а все же понимаю, кто за что воюет. Грешно и подумать, чтобы своих...

— Ну ладно! — Валерий как бы примирительно обернулся к старику, взял у него шкурку, которую тот начал уже натягивать на правило, и бросил ее на шесток. — Теперь горностай от тебя не убежит, успеешь потом натянуть. А сейчас свари нам зайца да чего там еще найдется поесть! Нам некогда ждать, так что пошевеливайся!

Набросив на плечи шубу, Валерий вышел. Старик молча проводил его взглядом.

— Грубоват твой друг! Хотя и «товарищ», — сказал он Томмоту.

Томмот и сам был удивлен. «Испуг прошел, потрясение улеглось, и опять он в своей шкуре. Не успел встать, как уже командует. Что-то будет еще впереди?» Однако стыдясь за Валерия и желая успокоить старика, он сказал:

— Это болезнь его расстроила... Вообще-то он парень хороший!

— Может, и так... — нехотя согласился Хатырык.

Уже собравшись в путь, Валерий оглядел избушку и вдруг потребовал:

— Старик, давай сюда ружье. По возвращении верну.

— Ружья не имею.

— Как так? Чем же тогда промышляешь зверя?

— Черканами, самострелами, петлей...

— Не ври! Где-нибудь прячешь, должно. Охотник — и без ружья?

— Не знаю кто как, но я-то и вправду без ружья. Чтобы купить ружье...

Не дослушав, Валерий пошел на него грудью:

— Перестань болтать! Не отдашь добром....

Но тут уже Томмот встал между ними и подтолкнул Валерия к выходу:

— Перестань! А то ведь я тоже не девица...

— Ты любишь Кычу? — неожиданно спросил Валерий.

— Не знаю... — отозвался Томмот, помолчав.

— Не знал бы, так не ехали бы мы с тобой вот так. — Приняв молчание за согласие, он добавил: — А Кыча как, она тоже тебя любит?

— Не знаю...

— Не знаю да не знаю! Ну, а как вот это... в постели...

Томмот поразился: не о посторонней ведь спрашивает, о своей сестре! Ему стало стыдно. Не найдясь, он отрезал:

— Нет!

— Слишком уж вы святые! Если, конечно, не врешь... Как думаешь, обрадуется она тебе, если вы встретитесь?

— Сомневаюсь... И встарь, и ныне изменников не любят.

— Ты считаешь себя изменником?

— Как-никак красных я все-таки обманул.

Валерий придержал коня, чтобы глянуть Томмоту в лицо.

— Может, в чем провинился?

— Наоборот, накануне получил поощрение.

— В чем же тогда причина?

— Вот так получилось....

— Вот так получилось! Объяснение... Ничего не случается вдруг, за всем что-нибудь да кроется. — Валерий рассмеялся. — Наивен же ты, брат! Ни вот столечко логики! Но как раз из твоего смешного ответа и видно, что ты не врешь. Я верю тебе потому, что ты не стараешься сочинять, как повыигрышней.

Довольно долго они ехали молча.

— А все же не думай, что я на это решился ни с того, ни с сего. Все-таки и у меня был свой расчет, — запоздало и, может, потому обиженно сказал Томмот.

— Например?

— Ну, я хочу жить по-человечески. Чтобы не мучила забота о вечернем куске, чтобы достаток во всем... Не помню случая, чтобы хоть разок за всю жизнь наелся вдоволь и всласть, всегда в обрез... Хочу не быть обделенным тем, что люди зовут счастьем.

— Наесться до отвала, по-твоему, и есть счастье? Довольно куцое твое представление о счастье!

— Ты не толкуй мои слова однобоко. Не принимай за дураков всех, кроме себя! Без любви, я считаю, тоже не может быть счастья...

Аргылов придержал коня, чтобы поравняться с Томмотом:

— Не стоит обижаться, Томмот, — постарался он скрыть иронию. — За кого угодно мог бы тебя принять, только не за дурака. Ты умный парень, можешь понять многое, заглянуть наперед. А насчет женщин не беспокойся! Заведутся в кармане звонкие денежки, длинноко-

сое племя так и накинется на тебя, как мухи на сахар. Выбирай любую!

— Мне такие не нужны!

— Ах да, у тебя ведь имеется Кыча!

Опять высокомерная насмешка! Но Томмот ничего не ответил.

Снегопад пошел на убыль, облака порассеялись, и в просветах между ними стали проглядывать голубые клочки неба.

— Давай выедем на тракт, — предложил Валерий. — Через три-четыре версты, если свернуть на южную речку, должно быть жилье. Дадим передышку коням, сами малость прикорнем. На этот раз спать будешь ты, а я покараулю.

— На тракт засветло? — усомнился Томмот.

— Ты уже до того осторожный, что тоска с тобой!

Валерий решительно повернул на тракт, и вскоре по хорошо накатанной дороге кони затрусили равномерным, неспешным шагом. Тишина, усталость и эта убаюкивающая равномерность притупляли чувство опасности, всадники задремали в седлах, лишь изредка вскидывая и тут же бессильно роняя отяжелевшие головы. Пройдя через лес, дорога вышла на обширную сенокосную елань с несколькими озерами, когда Валерий вдруг крикнул:

— Чычахов, люди!

Томмот вскинулся в седле и протер глаза: по восточному краю елани прямо на них неслись двое конных. Всадники несомненно были красные — белые еще не могли проникнуть в эти глухие места.

При свете дня едут, не скрываясь, да еще спят в седлах! Ох, Чычахов, позор тебе! Надо было давеча заставить съехать с тракта этого заносчивого гордеца. Между тем всадники, скачущие навстречу, заметно прибавили резвости: хотят, как видно, на большую дорогу выехать раньше, размахивают ружьями. Может, принимают за своих? Задний конь заметно хромает, первый всадник то и дело придерживает своего коня и поджидает, пока приблизится товарищ. И все же к перекрестку дорог они явно ближе.

Валерий подвел коня сбоку вплотную и протянул руку к винтовке.

— Дай мне...

Томмот отстранил его руку:

— Я сам! Скачи вперед, коня не жалей, на меня не оглядывайся! Дуй! Я, может, стану отстреливаться.

Но Валерий не мог отвести глаз от винтовки: без оружия он чувствовал себя голым утенком.

— Дай! Я не промажу!

Но Томмот внезапно ударил кнутом коня под Валерием, и тот понес. За ним, не отставая, ринулся и Томмот. Развилка дороги была уже близко.

Второй преследователь безнадежно отстал, первый же, не оборачиваясь уже на него, по-прежнему спешил наперерез, добрый конь под ним так и стелился. Когда он подскакал совсем близко, Валерию показалось: во весь лоб его шишастой буденовки — пятиконечная разлапистая звезда.

— Стой-те!

Вот и развилка. Томмот с Валерием проскакали мимо. Всадник в буденовке, приблизившись еще, вскинул винтовку к плечу:

— Стойте! Стрелять буду!

Надежда была только на лес, темнеющий впереди, шагах в пятидесяти.

Сзади прогремел выстрел, и одновременно над ними тонко пропела пуля.

— Аргылов, беги! Скорей! Я его задержу!..

«В следующий раз он выстрелит, уже целясь в нас, — пронеслось в голове Томмота. — Что же делать?» Видя, как преследователь опять вскинул к плечу винтовку, Томмот, опережая его, поймал на мушку широкую грудь летящего в прыжке коня и нажал на спуск.

Уже вплотную приблизившись к спасительной стене леса, Аргылов обернулся и успел заметить, как на полном скаку конь красноармейца вдруг упал и покатился, а всадник, перевернувшись через голову, далеко вылетел из седла.

И еще два-три раза хлестко ударила винтовка Томмота. Где-то далеко позади раздался выстрел второго, отставшего всадника.

Томмот уже ступил в лес, когда почувствовал, как обожгло правую щеку. «Это мой «крестник», — подумал он, прижимая к щеке чуть не оторванный пулей наушник шапки. — Метко стреляет, чуть мозги не выпустил».

— Ты чего стоишь! — возмутился Томмот, увидев Валерия, поджидающего его за поворотом дороги. — Или хочешь, чтоб они нас нагнали?

— Попали? — не обиделся на окрик Валерий, увидев, что Томмот закрывает лицо рукой.

— Не знаю... Потом!

Успокоились они, только ускакав от места перестрелки почти на кёс. Остановили коней возле остатков стога и подбросили им сена.

— А ну покажи! Везет тебе, Чычахов! На обух ножа правее — и лежать бы тебе там. Ты, Чычахов, определенно доживешь до ста лет.

— Пусть устами твоими вещает бог... А ты? Ты-то и вовсе цел?

Валерий молча достал кисет и стал набивать трубку.

Молчал и Томмот. «Такого доброго коня угробил! — с сожалением думал он. — А что оставалось делать? Ладно, что парень, кажется, не пострадал. Успел-таки взять на мушку, чуть башку не раздробил, черт этакий».

Докурив трубку, Валерий выбил пепел в ладонь, положил трубку в карман и повернулся к Томмоту: лицо его стало сурово, глаза потемнели.

— Выслушай меня. Ты меня дважды спас от смерти. Я тебе верю, как самому себе, иногда даже больше. В какие бы передряги ты ни попал, всегда помни: Валерий Аргылов в беде тебя не оставит. Смерть гналась за нами, но мы остались живы...

— Да, это так.

— Дай руку! И чтобы еще вот так: друзья навсегда!

— Идет!

— Ты храбрый парень, Томмот, и верный...

— Ладно-ладно! Не расхваливай, а то возгоржусь!

Лесная дорога была извилистая, как утиные кишки. Обходя болота, взбегая на взлобья, минуя провалы, она вилась бесконечно и, казалось, то и дело пересекала сама себя. Парни пустили коней спорой рысью, рассчитывая остановиться на передышку верст через пять. А Валерий и молча продолжал свой необычный разговор с Томмотом, продолжал размышлять о случившемся. По его мнению, храбрецами могли быть только люди благородного сословия — так убедили его издавна, в том же убедил и он себя, хотя уже и до того теорию «благородной крови» сильно поколебала сама жизнь. В реальном училище дети бедняков хорошо успевали. Из бедняцких сыновей, смотри-ка, выросли даже главари коммунистов — Максим Аммосов, Платон Слепцов, Исидор Барахов... А где сейчас отпрыски богачей, обещавшие на-

править жизнь на истинный путь? Устрашенные жизненной непогодой, одни укрылись в своих родовых гнездах, другие, как сказал старик Титтяхов, «толкутся в бандитах», а иные даже сотрудничают с красными. Да, что-то уходило из-под ног — день ото дня, день ото дня... Трудно, ох, трудно было признать Аргылову, что кровь богачей Аргыловых, в течение поколений безраздельно правивших улусом, может оказаться той же, что в жилах нищих кумаланов Чычаховых, выросших в глубине вонючего хотона среди навоза и, как сам он признался, ни разу за всю жизнь досыта не наевшихся. А между тем спроси у него, кого бы он взял с собой на опасное дело, он выбрал бы Чычахова, потому что, сколь ни умствуй, боец он настоящий. Давеча, увлекшись, Валерий едва удержался, чтобы не сказать, что Кыча, дескать, любит тебя, она будет твоею, стоит молвить ей веское слово. Хорошо, что вовремя прикусил язык...

— Ты Соболева не забыл?

Валерий обернулся на Томмота, смысл вопроса не сразу дошел до него.

— Ах, этот! — вспомнил он. — Агент Чека? Посчитался бы я с собакой!

— Опоздал!

— Э-э?! — Валерий крутнулся в седле.

— Умер он.

— Когда?

— На днях. Командировали его в Павловск, а он задумал сбежать оттуда в Амгу. Ну, попался...

— Пристрелили? Собаке — собачья смерть...

— Да погоди ты! Гнались за ним, чтобы схватить, а он возьми да застрелись!

— Вот гад какой — выдал лазутчика Пепеляева и бежит к Пепеляеву же! Наверняка считал меня уже расстрелянным...

— Какой-то план, говорят, нашли при нем или что-то в этом роде.

— Ах, собака! Как-ков пес!

С досады Валерий стукнул кулаком по луке седла. Тот самый план, который он же, Валерий, велел достать Соболеву. «Достал все-таки, сволочь! Продал меня чекистам, а сам с планом махнул к Пепеляеву. Неплохо придумал!» И тут кровь бросилась ему в лицо: Соболев-то бежал к генералу не с пустыми руками, а он? Явится, как вывернутая сума, одна радость, что остался жив?

Если ты пуст, кому нужна твоя жизнь? Ошалев от счастья, что вырвался из лап чекистов, он совсем забыл о задании, с которым был послан генералом в Якутск. Погоди-ка, ведь и этот парень может кое-что знать. Надо из него повытрясти. Эх, давно бы повернуть разговор в нужную сторону, а не болтать о пустяках!

— Чычахов, — Валерий пристроился к Томмоту. — У Соболева была копия оперативного плана красных, этим он хотел откупиться от генерала. А ты что имеешь?

— Ничего у меня нет.

— Придешь с пустыми руками — думаешь, тебе поверят? Ну, хорошо, ты меня вырвал из рук чекистов и сам пришел со мной. Еще что?

— Этого недостаточно?

— Не поймешь простых вещей! Надо иметь про запас такой козырь, чтобы выкинуть его в нужный момент. Потому что ни тебе, ни мне с первого знакомства не поверят! Особенно тебе...

— Тогда что? — вспылил Томмот. — Или мне пристукнуть тебя и скакать обратно, или застрелиться, как Соболеву, — так, что ли?

— Да подожди ты, надо подумать серьезно. Ты же был чекистом, надежным работником, красные тебе доверяли, ты ведь многое знаешь!

— А-а, много ли знает рядовой!

— Дурень ты! Да иногда единственное слово, услышанное невзначай, может такое раскрыть — ахнешь! Чекисты такого ранга, как Ойуров, должны знать о плане действий против Пепеляева. Хотя бы вскользь он тебе говорил об этом?

— Никогда.

— А не случалось ли тебе быть на совещаниях или собраниях, где бы шел об этом разговор?

— Не помню и такого... Разве только дня три назад у председателя Чека было какое-то совещание. Меня вызвали, чтобы послать на разведку в Борогонцы. Ойуров воспротивился: дескать, я не знаком ни с местностью, ни с людьми, опыта не имею... Насколько я тогда понял из общего разговора, все красные части должны быть стянуты в Якутск. Боятся, что мелкие отряды пепеляевцы могут перебить из засад. Говорили, что послана телеграмма в центр с просьбой о высылке войск. А до прибытия помощи будто бы будут держать в Якутске оборону.

— Ну и?

— Ну и... все.
— Больше ни о чем не говорили?
— Может, и был разговор, да только когда выяснилось, что не отправляют меня в Борогонцы, меня отпустили.
— Да понимаешь ли ты, Чычахов, что в разговоре, который ты слышал, и есть вся суть оперативного плана? Вся кампания, понимаешь? А плачешь, что ничего не знаешь! Ты давай-ка еще что-нибудь вспомни — чего слыхал или видал интересного.
— Не припомню пока.
— Ну, думай. Не торопись.
— Черт побери, мне почему-то становится страшно. Ведь и вправду не поверят!
— Брось об этом! Ты лучше вспомни еще что-нибудь.
— Комсомолец да еще чекист! Выволокут во двор... Валерий, заедем сначала к твоим, а? Мне бы хоть раз увидеть... А потом — пусть!
Валерий промолчал: нет, он не хотел, чтобы Томмот встретился с Кычей. Что угодно, только не это!
— Не поверят мне... — видя его неприступность, опять пробормотал Томмот. — Кто там меня знает?
Уловив, что Томмот уже не настаивает на свидании с Кычей, Валерий поспешил увести разговор в сторону от этой темы.
— Я знаю! — горячо отозвался он. — Я скажу, и все! Меня знает сам Пепеляев. Только надо вести себя умно, ни под каким видом не говори о моих последних днях в Чека... Ты держись меня. Будет мне хорошо — будет хорошо и тебе. Мне станет плохо — тебе будет совсем худо.
Томмот молча кивнул, соглашаясь. «Будет мне плохо — не поздоровится и тебе», — подумал он.

Глава двадцать первая

Перед тем как сойти с большой дороги на тропу, старик Аргылов огляделся. Затем с неожиданным проворством он нырнул в глубину леса, пробежал по тропе, обсыпанной мелкой древесной трухой и корьем, прислушался, приподняв наушники шапки, и, успокоенный, вступил на еле заметную тропку, шагая стопа в стопу по запоро-

шенным, ранее им же самим проложенным следам. «Времена проклятущие! Прежде такая жуть не могла и присниться, — думал старик. — Где это видано, чтобы к собственному добру человек пробирался тайком, как вор?»

В версте по этой тропинке, в лесной чащобе, рядом с глубоким, не промерзающим до дна озерцом, Аргылов укрывал своего любимого иноходца Кэрэмэса. При красной власти старик прятал коня у знакомых в соседнем улусе вместе с той злополучной, оставленной на откорм кобылой, а сейчас перевел сюда, где надежнее. Сюда он привел коня в глухую ночь, минуя собственный дом, таясь, чтобы имеющие глаза не видели, имеющие уши не слышали. Еще прошлой осенью, к первопутью, он сам построил тут изгородь и выгон, завез впрок сена. Ухаживал он за любимцем сам, не доверяя этой работы даже Суонде, опасаясь, как бы бесхитростный малый ненароком не позволил догадаться посторонним о тайне.

Оскользнувшись, Аргылов схватился за тонкую лиственку сбоку тропинки, мерзлая лиственка с треском сломалась, и в тот же миг с быстротой пули перед глазами падающего старика просвистел какой-то черный предмет и, чмокнув, воткнулся в ствол лиственницы на противоположной стороне тропинки. Аргылов упал. Еще не понимая, что произошло, он лежа повернул лицо: что это? Затем, поднявшись и поправляя сбившуюся шапку, он увидел за корягой что-то изогнутое, отбросил сломанную лиственку и удивился: самострел... Откуда? И тут явилась на ум страшная догадка: «Мой иноходец!»

К знакомой чаще он прибежал быстро. Сквозь стену вековых лиственниц светлела впереди прогалина. Тяжело дыша от бега, старик остановился: воротца изгороди были распахнуты настежь! Хоть и видя воочию, что выгон пуст, Аргылов зачем-то побежал вдоль изгороди, весь дымясь на морозе испариной:

— Кэрэмэс! Кэрэмэс!

Он попробовал ногой катыши конского навоза: все мерзлые, теплых не оказалось. Навильники сена, разбросанные им по выгону вчера вечером, тронуты чуть заметно.

— Кэрэмэс! Кэрэмэс!

На голос хозяина иноходец всегда отвечал ржанием, но сейчас, как ни прислушивался, задрав голову к небу, Аргылов, никто ему не отвечал, кроме робкого зимнего эха: «...Мэс... мэс...» Старик подошел к воротцам выгона:

вот прошел его конь... Пошел по следам. Отпечатки копыт привели к проруби на озерке и исчезли. Вернулся. Других уходящих следов не обнаружил — кругом лежал нетронутый снег. Потом уже, вглядываясь в тропу, по которой пришел сюда, старик увидел: вот они, совсем свежие отпечатки копыт! Кэрэмэса увели, а он, безглазый, и не заметил давеча, когда рвался сюда. Кто и как узнал, что своего Кэрэмэса он укрывал здесь? Аргылов пошел назад. Вот сломанная им листвяшка, вот и самострел. Он стал рассматривать лук и ахнул: самострел оказался его собственный. Вот три чуть заметных насечки — его знак на всех охотничьих снастях. Стрела вонзилась в толстую лиственницу. Он с силой дернул ее, но лишь сломал, железный наконечник глубоко ушел в дерево. Еще раз дернул — и обомлел: стрела вонзилась на высоте его груди!..

Темнеющий лес перевернулся в его глазах вниз кронами, старик бессильно опустился в снег и долго сидел так. Лес все теснее смыкался вокруг него. Дремуче глуп человек, пока не станет наступать на собственную бороду! Этот самострел был насторожен на него. Эта стрела должна была насквозь пронзить его грудь, а он в мыслях только и держал «Кэрэмэс! Кэрэмэс!». Не поскользнись он да не сломай листвяшку, которая раньше времени сорвала волосяной силок самострела, — лежать бы ему вот здесь мерзлым трупом. Должно быть, ангел-хранитель подставил тут ему ножку. Слава тебе, господи!

Чем больше думал старик Митеряй, тем страшнее ему становилось. Сильно до того вспотевший, он стал теперь ознобно дрожать всем телом, как лошадь, напившаяся из проруби. А коня-то увели еще вчера вечером, сразу же следом за ним. Сейчас уже наверняка укрыли где-нибудь в глухом месте, если не увели еще дальше, в другой улус. Да черт с ним, с конем! Ведь покушались на его жизнь! Настороживши на него самострел, как на зверя какого! Самострел из тех, что лежит в закутке возле амбара, взят человеком, знающим, где что лежит. Значит, из ближних. Хоохой? Этот не способен даже замыслить такое страшное дело, до сих пор он не смеет поднять глаз на хозяина. Аясыт? Одряхлел он вконец, не смог бы натянуть тетиву. Халытар на злобу и месть не способен, хотя бы по скудости ума. О Суонде и говорить нечего. Может, тогда Окёйо? Но этот не пошел бы из-за одного только кашля, который разносится на три версты. Долго

перебирал Аргылов всех окольных людей, но так и не остановился ни на ком в своем подозрении: на злодеяние были способны все, но в отдельности не способен никто.

Не спалось Аргылову ночами — все боялся чего-то. Думал, не пропустит ни птаху над головой, ни мышь под ногами, да оказалось, что были у него забиты и глаза и уши. Иначе как же он не услышал вора в своем дворе? Но еще более мучительный вопрос не давал покоя: почему охотятся за ним, как за зверем? Что он такого натворил? Должно, грехов набралось у него столько, что навьючить — конь не сдюжит, наложить на воз — вол не стронет. Можно показаться в глазах людей белым снегирем, но разве скроешь себя от себя? Напрасно он тогда согласился на уговоры этого сатанинского отродья Сарбалаха! Аргылов был убежден, что на него нет ни греха, ни расплаты: люди молились богу, а казнил и миловал их не бог, а он, Аргылов. Попы лебезили перед ним. Шаманы и удаганки[1] — посланцы духов, ловили каждое его слово и кормились его подачками. Сам же он ни разу не почувствовал на себе укоряющего взгляда господа.

Теперь все изменилось... Какой-то злодей поднял на него руку.

В припадке бессилия и ярости Аргылов замолотил кулаками по голове:

— Абак-ка-бы-ын!.. Абак-ка-бы-ын!..

Отраженный эхом вопль вернулся к Аргылову, и ему почудилось, что рядом с ним за деревьями кто-то мстительно захохотал. Не помня себя от ужаса, он кинулся бежать. Выбежав на елань, Аргылов наткнулся на воротца изгороди и, чтобы не упасть, ухватился за жерди. Осторожно, из-под плеча, оглянулся — сзади никого не было...

К подворью своему он пришел мрачный. Молча обошел амбары, дом, пристройки — все приглядывался. Но сколь ни старался он, ничего подозрительного не обнаружил. На черной половине избы собирались полдничать, рассаживались вокруг старого, расшатанного стола. Стол этот, еще прадедовский, Аргылов разрешил занести сюда из амбара в позапрошлом году, когда красные пристали к нему с требованием улучшить содержание хамначчитов. Ленивые твари, нет того, чтобы стол хоть как-нибудь починить, так еще больше его изломали.

[1] Удаганки — шаманки.

— Аясыт, поди проверь в боковушке самострелы — все ли на месте? — Не раздеваясь, Аргылов присел перед догорающим камельком на плетенный из талины стульчик. — А ты, Халытар, позови Хоохоя.

Хоть и вошло в обычай называть якутов именами, данными им при крещении, у Аргылова язык не поворачивался назвать Аясыта Петром, а Халытара — Иваном. Аясыт — согбенный старик с потухшими глазами и неслышной крадущейся походкой, поди, и сам уже позабыл, что когда-то наречен был Петром. Зато Халытар, морща в улыбке свое плоское и круглое с медный таз лицо, любил говорить, сильно картавя: «Я, Иван Унагов, когда-то был добгым молодцом о восьми гганях (гранях) и семи остгиях (остриях)». Но то было при красных.

Завернувшись в ветхую шубенку с истертым подбоем, вслед за Халытаром зашел и, пряча глаза, замер у порога Хоохой, невзрачный мужичонка. Затем, едва передвигая ноги, явился старик Аясыт.

— Ну что, самострелы на месте?

— Кажется, все на месте.

— А сколько их было — знаешь?

— Не считал... — старик снял чомпой[1] и заскреб в затылке.

— Заметил ли, что кто-нибудь трогал самострелы?

— Не-ет! Кто бы стал трогать!

— «Кто бы стал трогать!» Выходит, это ты насторожил на меня?

— Чего это, господин мой? — не понимая, старик повел мутными глазами.

— Самострел! Мы про самострел говорим!

— Где это?

— Там, в лесу! — Аргылов ткнул рукой на дверь.

— Хе! И скажешь же ты, сынок! — Аясыт, которому Аргылов и правда в сыновья годился, рассудил, что хозяин с ним милостиво шутит. Изображая улыбку, он обнажил голые десны и сморщил лицо. — В старину, правда, бывало...

— Тьфу, сатана! — Аргылов отвернулся. — Хоохой, может, ты видел во дворе чужого? Подходил ли кто к боковушке, где самострелы?

— Нет... — сказал тот и спрятал глаза.

---

[1] Чомпой — конусообразная высокая якутская меховая шапка.

Аргылов знал, почему Хоохой всегда опускает глаза: не выдерживает хозяйского взгляда. Это нравилось Аргылову.

— А ты? — повернулся он к Халытару.

— Я тут...

— Чего ты знаешь?

— Я все знаю...

— Ну, ну...

— Ничего не знаю...

— Придурок! — Аргылов зло сплюнул.

«Пустой труд! — пожалел Аргылов, что завел этот разговор. — Вроде дворовых собак, если не хуже... Будь жив у меня Басыргас, так он бы уж не дал утащить этот самострел!»

— Слушайте меня. Ты, Аясыт, сейчас же перетащи самострелы и все охотничьи снасти в амбар. Халытар, ты поможешь старику. И впредь смотрите в оба! — И, колеблясь, сказать или не сказать, все-таки выдавил из себя: — Кто-то насторожил на меня в лесу самострел...

— Боже праведный! — Ахнув от страшной вести, Аясыт принялся торопливо креститься.

Суетно толкаясь в дверях, мешая друг другу, хампачиты стали выходить, напуская холоду.

— Не может быть!

— Стрела пролетела мимо...

— Э-э, пахай! Настогожи там я, не пгомазал бы!

— Стой! — Аргылов кинулся к двери и успел схватить за воротник Халытара. — Ты что сказал?

— А я ничего не сказал, — поднял на хозяина невинные глаза Халытар.

— Проваливайте! — отступился Аргылов. — Вон!

В этот день Аргылов отлеживался дома. Расспрашивать об иноходце и тем более выслеживать его он уже не пытался.

А назавтра утром Суонда вышел задать скоту сена и вскоре заскочил обратно, что-то по-своему мыча.

— Чего там еще? — повернулся к нему Аргылов.

— С-стре...е...е...а...

— Что?!

Отбросив шубу, Аргылов живо подошел к Суонде, вырвал у него какую-то палочку и испуганно разжал пальцы. Стрела вонзилась в пол. Опять стрела! У Аргылова схватило в груди.

— Где ты взял это? Да говори скорее, немая тварь!

— Коп... конов...
— С коновязи, что ли?
— Ы-ы-ы... — закивал Суонда.
Кончиками пальцев Аргылов ухватил стрелу и выдернул из половицы. Рассмотрев ее, он заметил что-то красное на закраинах железного наконечника — мяса ли кусочек, крови ли сгусток... Вроде бы печень. Чья же? Только не зайца...
Аргылов бросил стрелу в огонь, в камелек.
— Есть еще что-нибудь?
Суонда отрицательно затряс головой.
— Выйди и все осмотри. Может, следы какие...
Едва Суонда вышел, Аргылов в растерянности присел на скамью. Опять стрела! Стрела с чьей-то печенью... «С печенью ворона!..» — неожиданно подумалось Аргылову, и он сейчас же на этом остановился. Зловещее предостережение! Ох, беда какая... Почти не сомкнул глаз всю ночь, а поди ж ты: опять не услышал ничего. Да, преследуют его упорно! Что же ему предпринять? Как уйти от мести? На кого заявить? Нет, надо бежать! Нельзя сидеть и ждать, когда тебя убьют...
— Суонда! Суонда!
— Ы-ы-ы... — Суонда приоткрыл дверь.
— Запрягай коня! В слободу!
Всю неблизкую дорогу молчали, лишь изредка оглядывался на хозяина Суонда: хозяин никогда до этого не ездил с ружьем.
В слободе Аргылов снял в аренду просторный дом у знакомого купца, остался там, а Суонду услал назад за дочерью и женой да с наказом прихватить с собой в Амгу несколько голов скота. За хозяйством пусть смотрят Хоохой с Халытаром, а Суонда будет жить попеременно то там, то здесь.
Назавтра же Аапыс с Кычей переехали в Амгу.

Глава двадцать вторая

— Всем собраться у церкви!
— Едет генерал!
— Едет генерал Пепеляев!
— Кто не явится, будет объявлен большевиком!
Конные глашатаи рысью шли по единственной улице

Амги из конца в конец, а им вслед уже хлопали двери, скрипели калитки и гомонил народ.

— Голубушка, ты бы вышла на воздух, проветрилась, — склонилась над Кычей мать. — Чем лежать так пластом...

— Не пойду!..

За дощатой перегородкой лежала Кыча, накрывшись шубой. Одержав верх над отцом, она по-прежнему не чувствовала себя победительницей. Все было то же — сумрак дня да мрак ночи, разобщенность, черствость и вражда. Если бы не мать, совсем бы задохнуться в такой жизни.

— Ох, беда с тобой! Может, ты думаешь переупрямить отца? В мыслях того не держи! Лучше бы стараться не сердить его чересчур — все-таки он тебе отец.

— Я никуда не пойду!

— Упрямство в тебе прямо отцовское!

Вот и опять она обидела мать...

Загудели колокола на церкви. Мимо окон с гулким топотом промчался всадник, громко завизжали девушки — это всадник, видимо, в шутку направил коня на них.

— Доченька, я сварила саламат...[1]

— Не хочу, мама. Потом, днем...

— Теперь разве не день? Перепуталось все у тебя, дочка...

Приподнявшись на локте, Кыча зачерпнула ложку густого саламата и попыталась проглотить.

— Хватит, мама. Не могу...

— Ну вот... Откуда тут захотеть? Аппетит у тех, кто ходит, что-то делает. Ты бы вышла на улицу, развеялась, могла бы зайти к прежним подругам. Вместе учились...

Кыча откинула со лба длинные волосы, а мать взяла пальцы дочери и стала рассматривать их на просвет окна.

— Исхудала, кожа да кости! А ведь пухленькие ручки были у тебя. — И прижала руку дочери к своей щеке. — Зачем ты мучаешь меня?

Закрыв лицо ладонями, Ааныс затряслась в беззвучном плаче. Тогда Кыча положила голову на колени матери и глянула на нее снизу вверх. Густая проседь появилась в косе матери. Прошлым летом седые волосы у нее

---

[1] Саламат — якутское национальное блюдо из муки и сливочного масла.

взблескивали лишь кое-где. Кыча приподнялась и обвила шею матери.

— Не надо, мамочка, не плачь! Я сейчас встану, я пойду... Ты только не плачь, ладно?

Одевалась Кыча долго, слабые руки плохо ее слушались. От всякого резкого движения начинала кружиться комната, как мутовка в руках расторопной хозяйки.

— Я пойду, мама. А ты ляг, отдохни...

Она двинулась к выходу по ускользающему из-под ног полу.

В сенях, прислонясь к столбу, Кыча стала наблюдать за жизнью слободы. Улицы сплошь были забиты подводами и оленьими упряжками, а людей с ружьями — как деревьев в лесу. Вдали у церкви темной массой колыхалась большая толпа слободских.

Кыча потихоньку выбралась из двора и пошла по улице к восточной окраине слободы. Шла она долго, но вереница груженых подвод не кончалась. «Как много их наехало!» — испуганно глядела по сторонам Кыча.

Свернув с улицы, она пошла по тропинке, петляющей меж дворами.

— Стой! Куда пошла? — послышался окрик часового, стоящего на амбаре. — Назад!

Кыча споткнулась от неожиданности и едва удержалась на ногах, вцепившись в мерзлый столб. Чуть отдышавшись, огляделась: оказывается, она подошла к озеру. Кыча направилась к озерному откосу.

— Стой! Стрелять буду!.. — закричал тот же часовой.

«Стреляй! Ну, стреляй!» — Кыча стиснула зубы. Тело ее сжалось, на лбу выступила испарина.

«Ну, что ж не стреляешь?»

Часовой бросил ей вдогонку похабную шутку и довольно загоготал.

Кыча прибавила шагу.

К этому длинному озеру со странным названием «Гольян да стерлядь» в школьные годы Кыча бегала с ведрами за водой, вон и сейчас там чернеют проруби.

Шум в глубине деревни стал слышнее, чаще забили колокола. Но их перезвон, в другое время такой радостный, показался Кыче заупокойным. Она приостановилась наверху тропинки, сбегающей с откоса к озеру, и ее тоскливый взгляд вонзился в черный круг ближайшей проруби. Кыча вдруг встрепенулась. «Какая разница — дома ли, там ли? Одно и то же...»

С усилием оторвав взгляд от проруби, Кыча засмотрелась на горы, окаймлявшие долину Амги. Высокие, поросшие темной щетиной густого леса, они кутались в голубоватое марево. С удивлением обнаружила Кыча, что девушка Амга, как и прежде, прекрасна в своем спокойном величии: будто бы нет ни войны, ни распрей. А Кыча, сама того не сознавая, готовилась увидеть что-то другое. Ей казалось, что теперь, после страшного нашествия, все должно неузнаваемо перемениться — и люди и природа. Но нет! Вот река, вот лес, такие, какими знает она их всю свою жизнь. Безмятежны, спокойны...

Кыча прижала рукавицу к горячему лбу. Что это с ней? Ругает природу... Не живая же река, чтобы, вознегодовав на белых, среди зимы взломать свою ледяную броню и швырять в них шугой. Но Амга знает, знает она, что творится сейчас на ее берегах. Только затаилась до времени. Кыча, будто защитив свою реку от чьего-то злого наговора, немного успокоилась.

Во-он посреди долины стоит одинокая ива. На ней нет ни листочка, и вся она, до корней, застыла на лютом морозе. Но сердце ее живое! Настанут теплые дни, весна прольется солнцем, дерево оживет, и потом еще много раз это будет повторяться. Но сейчас она терпеливо ждет и борется с зимней лютой стужей, чтобы встретить счастливую пору.

А что делает она, Кыча! Из-за ненависти к белым, противоборствуя отцу, она морит себя голодом, лежа в кровати. Кому принесет горе ее тихая смерть? Разве только самым дорогим людям — матери и Суонде. Этого-то она уже добилась, совсем измучила мать. Она ведь знает, что рано или поздно наступят счастливые дни. А что она сделала для их приближения? Ничего! Нет, нет, хватит безвольно валяться на кровати! Теперь она встанет на ноги! Если она поднимется и будет стараться, выход какой-нибудь должен найтись. Обмануть ли потребуется кого, схитрить-слукавить — она и это сделает, она сможет.

А в это время старик Аргылов с радостью торопился домой: в Амгу прибыл наконец давно ожидаемый гость. Долгонько он заставил себя ждать, слишком далеко впереди него катилась его слава. Внушительным мужчиной оказался генерал Пепеляев, даром что одет был просто.

То был большой тойон! Вески были его слова, горда осанка и выразительны жесты. Чуть поведет головой, подчиненные вытягиваются в струнку. Одно слово — генерал!

По обычаю пашенных, гостя встретили хлебом-солью. Старик Митеряй был удостоен сделать генералу подношение. С каждым из трех подносчиков генерал поздоровался за руку и почеломкался. Аргылов от растерянности не ответил на поцелуй, хотя, если бы и нашелся вовремя, тоже вряд ли бы ответил, потому что за весь свой долгий век Аргылов ни с кем и не целовался. Генерал, а не погнушался... А тот-то, главарь ихний, Рейнгардт, поздоровался с ним кончиками пальцев!

Сарбалахов объяснял по-русски, кто такие старики, которые преподнесли хлеб-соль. Двух пашенных генерал поприветствовал кивками и улыбкой, но при имени Аргылова удивленно вскинул левую бровь. Переспросив Сарбалахова о чем-то, он потрепал Митеряя по плечу и произнес несколько слов. Сарбалахов, улучив момент, шепнул, что генерал якобы обещает спасти Валерия, как только они войдут в Якутск.

Потом все провожали генерала к дому купца Семена. Возле ворот генерал обернулся, размашисто перекрестил свиту, а провожающим велели разойтись по домам, так как генерал будет держать военный совет. Это тоже понравилось Аргылову: другие бы, тот же Сарбалахов, к примеру, сразу же кинулись бы бражничать да бабничать, а этот, как видно, дельный человек.

Кыча вернулась к вечеру. Застолье было в самом разгаре, но при ее появлении пьяная безалаберщина разом оборвалась.

— Голубушка, где пропадала? — захлопотала мать вокруг Кычи, помогая ей раздеться. — Перепугалась я...

— Кто такие?

— Знакомые отца. Один из них — сын Сарбалаха из Нелькана, с Валерием вместе учился. Да ты его знаешь. Он приходил к нам с русскими в ту ночь, помнишь? Я пошла, а ты ложись...

Видя, что из-за перегородки хозяйка появилась одна, Сарбалахов поставил налитую рюмку на стол:

— А где Кыча?

— Нездоровится ей, — тихо ответила Аанчыс.

Сарбалахов вскочил на ноги, не удержавшись, пошатнулся и неверным шагом направился за перегородку.

Кыча сжалась в комок и притворилась спящей.

— Не обманывай, Кыча, повернись сюда. Ну, здравствуй. Дай руку...

Кыча снизу вверх глянула в наклонившееся к ней потное лицо. Сарбалахов мало изменился: задубел, обветрился, надел военную одежду да повесил к поясу пистолет. Он приподнял Кычу за руку:

— Идем! Не маленькая...

Кыча попробовала воспротивиться, но Сарбалахов, смеясь, легко снял ее с кровати. Чтобы не походить на упирающегося теленка, Кыча оттолкнула от себя Сарбалахова:

— Пусти! Я сама...

Приведя в порядок волосы и платье несколькими касаниями ладоней, Кыча вышла на большую половину вслед за Сарбалаховым. Тот, дурачась, повел рукой, как бы объявляя выход на сцену:

— Кыча Дмитриевна Аргылова!

Застолье встретило Кычу пьяным восторгом, лишь старик Аргылов, не глянув в сторону дочери, продолжал сосредоточенно грызть жирную кость. Мать усадила Кычу рядом с собой, а Сарбалахов стал представлять гостей.

— Ротмистр Угрюмов Николай Георгиевич.

Толстый человек, сидевший под божницей, сверкнул в улыбке золотыми зубами и наклонил голову. У него было одутловатое лицо, густые, нависающие на глаза брови и небольшая бородка.

— Прапорщик Василий Сидорович Чемпосов.

Из-за стола привстал и почтительно наклонил черноволосую голову молодой худощавый якут. Щеки его были прихвачены морозом, но уже заживали.

— Здравствуйте, Кэрэ Куо...[1] — сказал он.

— За здоровье Кычи Дмитриевны! — попеременно по-русски и по-якутски провозгласил Сарбалахов.

— За якутских девушек! — прибавил от себя Чемпосов.

Аанис вложила в руку Кычи свою рюмку и шепнула:

— Обидеться могут. Чокнись с ними...

---

[1] Кэрэ Куо — Прекрасная Девушка, персонаж героического эпоса олонхо.

Гости потянулись к ней с рюмками. Кыча поставила рюмку на стол и встряхнула рукой, сбрасывая капли пролитого вина.

— Барышня, барышня! — Угрюмов поднялся и, отодвинув в сторону оказавшегося на его пути Аргылова, подошел к Кыче. — Так делать не полагается. Чокнувшись, надо обязательно выпить. Ну, давайте-ка выпьем с вами. Вот так...

Он опрокинул рюмку в рот.

— Барышня, я жду.

— Кыча, ротмистр ждет, — поторопил ее и Сарбалахов.

— Ей нездоровится... — отозвалась Ааныс.

— Выпей, ну! — шепотом, но с угрозой приказал отец.

Кыча резко поднялась и кинулась к себе за перегородку. Угрюмов загородил ей путь, и тут между ними встала Ааныс:

— Нездоровится ей...

— Мамаша, не беспокойся!

С этими словами Угрюмов усадил Кычу на ее место, поцеловал ей руку и, любуясь своим великодушием, вернулся и сел напротив в углу под божницей.

— Налейте еще! — распорядился он. — Выпьем за девичью гордость. Гордая женщина — и мука, и радость. Люблю таких!

— Ура! — выкрикнул Сарбалахов, обрадованный, как видно, что дело не дошло до скандала. Наполняя рюмки вновь, он склонился к Кыче: — Нельзя сердить человека с оружием...

А Чемпосов, сидя рядом, с одобрением глянул на Кычу:

— Молодец, девушка! — похвалил он ее. — Вот так и держись!

Кыче стало совсем невмочь, слезы застлали ей глаза, и, чтобы скрыть их, Кыча уткнулась лицом в стол и закрылась руками.

— Ну вот... Нет того, чтобы оставить больную в покое!

Обняв дочку за плечи, Ааныс помогла ей дойти до перегородки.

...Накрывшись одеялом с головой, Кыча долго плакала. Со слезами незаметно вышла из нее боль, и она будто бы утешилась.

Проснулась Кыча от грохота — это гости, расходясь, вставали из-за стола. Ожидая, когда дверь хлопнет за последним гостем, Кыча притаилась, но тут кто-то приблизился к ней тяжелыми шагами и сорвал с нее одеяло.

— Николай Георгиевич! — в один голос воскликнули выходившие было Сарбалахов и Чемпосов.

В лицо Кыче хлестнуло горячечным дыханием, запахом пота, кожаных ремней и вина. Она сделала усилие уклониться, но сильные руки пьяного легко удержали ее.

— Ну, девка! Ты разбудила во мне зверя! Не ломайся напрасно. Лучше жди! Я еще приду.

Угрюмов припал к девушке, Кыча изо всех сил рванулась, но лишь оцарапала лицо о его щетину.

...Многих, увидевших Пепеляева впервые, генерал-лейтенант разочаровывал своим видом: неужели вот этот человек и есть «герой Перми», «народный богатырь Сибири», «сибирский Суворов»? Против всякого ожидания генерал был не сух и подтянут, как все его бывшие сверстники по кадетскому корпусу, а рыхловат и сутул. Ни выправки, ни решительности в жестах, медлителен, даже вял, голос «без металла», тускловатый и слабый. Отдавая приказания, он с виду и не приказывал вовсе, а застенчиво просил собеседника об услуге или даже его уговаривал. Генерал был похож скорее на конторского служащего и выглядел намного старше своих тридцати двух лет.

Две керосиновые лампы достаточно хорошо освещали карту, разложенную на столе. Сидевшие и стоявшие вокруг стола командиры и штабисты почтительно молчали, наблюдая за командующим. Заместитель командующего генерал-майор Вишневский, седеющий человек средних лет, молча следил за пухлой рукой Пепеляева, переползающей по карте с места на место. Напротив него, по другую сторону стола, тихонько барабанил кончиками пальцев по сафьяновой папке начальник штаба полковник Леонов — человек очень ладный и пригнанный, с каштановыми волосами, аккуратно зачесанными набок. Сидящий рядом с Леоновым полковник Рейнгардт на всех, исключая командующего, посматривал с пренебрежением: пришли на готовенькое. Особо выделял он при этом красноносого, однако уже успевшего до синевы выбриться, низкорослого полковника Андерса, известного выпивоху

и хвастуна, назначенного сегодня начальником гарнизона в Амге. Что же до Андерса самого, то ему было не до спесивого соседа: исхитрившись незаметно отодвинуться от стола вместе со своим стулом, Андерс приглядывался к широкому кожаному поясу начальника штаба: шел слух, что Леонов носит на себе золото, зашитое в пояс. Не в этот ли?.. Напротив через стол сидел, бездумно глядя в черное окно, полковник Суров, известный палач в Томской губернии; служа у Колчака, он расстреливал и вырезал без остатка целые деревни. В те же времена и за те же дела получили свои чины и полковник Шнапперман, и полковник Иванов, и полковник Варгасов. На углу стола сгорбился полковник Топорков, начальник контрразведки. Дела у него обстояли худо, он проклинал эту дикую страну, где невозможно сколотить даже простейшую агентуру, и озабочен был лишь тем, чтобы не попасться на глаза командующему. А в полутемном углу, далеко на отшибе, сидел Петр Александрович Куликовский, управляющий Якутской областью. Его, управляющего, даже не сочли нужным пригласить на этот совет, он вынужден был явиться сюда сам, да еще терпеть унижения со стороны начальника штаба Леонова, этого холеного гусака. Вместо того чтобы усадить управляющего областью между собой и командующим, тот, наглец, указал ему на стул в углу. Ну ничего, все это зачтется!

— Полковник Леонов! — после долгого молчания произнес наконец Пепеляев.

— Слушаюсь! — Леонов живо встал и одернул на себе японский френч.

— Доложите сведения о петропавловском отряде красных.

— Брат генерал, я уже докладывал, что сводный отряд Строда идет сюда. На пути его должен подстеречь в засаде Артемьев.

— Надежна ли операция? Это жизненно важно для нас. Какие есть гарантии?

— Артемьев местный человек, брат генерал. Он грамотен, умен, решителен. Он уверяет, что мимо него не прошмыгнет незамеченной даже мышь. Я склонен верить ему...

— Полковник Топорков, что нового вы можете сообщить об оперативных планах красных в Якутске?

Не нашедший желанного покоя за чужими спинами, Топорков вскочил, взвинченный, как на допросе.

— Якутск объявлен на осадном положении. Об этом я уже докладывал.

— Я не о вчерашнем спрашиваю...

— Ждем поступления новых агентурных сведений к утру.

— Разведка вяло работает, полковник... Смотрите, как бы это не обернулось бедой.

Все подавленно молчали, сознавая справедливость упрека командующего: топорковская контрразведка ни к черту была не годна. Пепеляев обозначил на карте жирной стрелой направление на Якутск, несколькими стрелами помельче — отряды боевого охранения, затем, бросив со стуком карандаш на стол, он застегнул верхнюю пуговицу своего черного френча и встал из-за стола. Все вскочили и вытянулись.

— Братья офицеры, нынче мы собрались в крупном стратегическом пункте, отбитом нами у врага. Отсюда начинается наш рейд по Сибири. В течение зимы нам предстоит пройти по всей Лене и весной, к распутице, овладеть Иркутском.

— Ур-р-а! — выкрикнул Топорков и осекся.

Пепеляев, выжидая, недовольно опустил взгляд и повертел в руках карандаш.

— В пути ни дня промедления! Я знаю: дружина устала. Знаю также, что сбор транспорта и продовольствия идет плохо. И все же ни дня промедления! Если здесь, в Амге, мы задержимся... Думаю, что кадровым офицерам незачем объяснять, что может произойти... А посему: в несколько дней обеспечить полную готовность дружины к походу на Якутск! Август Яковлевич, буду рад поздравить вас, если и на этот раз честь первому ступить в Якутск достанется вашему батальону.

— Спасибо за доверие, брат генерал! — Рейнгардт привычно стукнул каблуком о каблук, хотя были на нем не сапоги со шпорами, а мягкие камусные курумы.

— Полковник, приказ!

Начальник штаба вынул из сафьяновой папки и подал генералу лист бумаги, исписанный отменно четким стоячим почерком. Пепеляев внимательно прочел его.

— Какой нынче день? — спросил он.

— Одиннадцатое февраля, брат генерал! — прежде других отозвался услужливый Топорков.

— Уже двенадцатое, — поправил его полковник Леонов, глянув на свои карманные часы. — За полночь.

Пепеляев переправил несколько слов в приказе и размашисто подписал его.

— Братья офицеры. В восемь часов утра семнадцатого февраля дружина выступает в поход на Якутск. Да благословит всевышний наше святое дело!

«Спать, спать!» — приказал себе Пепеляев, задул свечу и повернулся к стене. Но сон не шел. Даже привычная с детства и оттого потерявшая изначальный смысл молитва перед сном — и та не шла на ум.

Амга! Амга! Сколько раз очерчивал он на карте маленький кружочек, сколько стрел нацелены были остриями на этот кружочек — затерявшуюся в якутской тайге деревню! А главное — как далек и нечеловечески труден был путь сюда от побережья Охотского моря! Подчас страх посещает нас не в момент самой беды, а много позже, когда беда уйдет. Пепеляев мысленно глянул назад и ужаснулся: двести сорок верст пешим строем, только полпути до Нелькана по безлюдному краю, без всяких дорог, в свирепый, душу леденящий мороз... Затем голод в пустом Нелькане, обратный путь в Аян к побережью Охотского моря и еще раз — тот же суровый путь, уже с обозом продовольствия, обмундирования и боеприпасов. И все это лишь на полпути к Амге. А сколько их было еще, таких же переходов! Неужели все это можно вынести человеку? «Герои! Богатыри!» — с искренним восхищением подумал о своих дружинниках генерал, даже о тех, кого не любил и кого сторонился. Что дает им столько сил? Идея! Только великая идея освобождения Родины от засилья большевиков.

Так хотелось думать генералу, поэтому он сделал усилие остановиться на этой утешительной мысли. Но мысль неуправляемо, как-то сама собой пошла дальше. Вспомнился сегодняшний крайне неприятный доклад Рейнгардта: местное население никак не идет в дружины и решительно отказывается давать лошадей. Что-то в этом угадывалось грозное. Неужели коммунисты перетянули людей на свою сторону? Так что же тогда сулил Куликовский и его подголоски? Кто они — слепцы или лгуны? Так и этак взвешивая все «за» и «против», Пепеляев видел только одну надежду — на военный успех: едва только победа, как солдаты сами собой появятся! После взятия Якутска — семь тысяч штыков, в верховьях

Лены — семьдесят тысяч, а после этого и до миллиона недалеко! Что же до народа, то он во все времена следует за победителем подобно стаду, которое идет за порозом[1], осилившим соперника.

Утешив себя таким образом, Пепеляев зашептал молитву. Но уснуть в эту ночь ему, как видно, было не суждено. Едва сон коснулся его своим крылом, как в дверь постучали.

— Анатолий Николаевич...

— Войдите, поручик. Что там? — генерал чиркнул спичкой и зажег свечу.

В комнату вошел адъютант командующего, молодой, очень подвижный и ловкий в движениях поручик Малышев.

— Под западной горой дозорные задержали сейчас двух конных. Один из них якут из отряда Артемьева, фамилия Аргылов.

— Аргылов... Не тот ли лазутчик, которого мы послали в Якутск еще из Нелькана?

— Он. Наши люди его узнали. Говорит, удалось бежать.

— Мда... А второй?

— Тоже якут. Одет в форму красных...

— Пусть Топорков и Андерс строго допросят их!

— Аргылов требует встречи с вами. Будто бы имеет сообщить сведения особой важности.

— У меня нет оснований не доверять ни Топоркову, ни Андерсу. Узнают важное что-либо, пусть доложат мне. Задержанные видели вас?

— Нет.

— Не показывайтесь им на глаза.

— Слушаюсь!

Адъютант вышел, неслышно притворив дверь за собой, а Пепеляев долго еще лежал, глядя на колеблющееся пламя свечи. Агрылов... Давешний старик, подносивший ему хлеб-соль, это ведь отец этого парня! По логике вещей парень давно уже должен быть расстрелянным. Побег из тюрьмы? Сомнительно... А если и так, то миновать все кордоны и заставы красных — не слишком ли много счастливых совпадений? Одно загадочно: попутчик его в красноармейской форме. Если обоих подослали из Чека, то почему хотя бы не переодели?

---

[1] Пороз — плодный бык, бугай.

А впрочем, не стоит раньше срока мучить себя подозрениями!

Пепеляев задул свечу, натянул на грудь одеяло и вынудил себя думать лишь о том, что приятно: о жене, о детях, о такой желанной в будущем мирной семейной жизни. Тихие волны умиротворения укачали-убаюкали его сердце, и он стал уже засыпать, как опять донесся до него стук в наружную дверь, а вслед за тем постучали и в его дверь.

— Ну, кто там еще! — не сдержал раздражения генерал. — Входите.

— Извините, Анатолий Николаевич...

Войдя первым со свечой в руке, адъютант смущенно пожал плечами: что поделаешь, не дают покоя! И кивнул назад, где у него за спиной маячили квадратные плечи полковника Топоркова.

— Брат генерал, — выступил тот вперед. — Задержанный Аргылов уверяет, что по вашему заданию он разведал основные положения оперативного плана красных. Разговаривать об этом не желает ни с кем, кроме вас.

— Как это так «не желает»? Вы контрразведка или пансион благородных девиц? Если сами не можете развязать ему язык, обратитесь к полковнику Сурову, он вас научит.

— Слушаюсь, брат генерал! — обрадованно рявкнул Топорков. — Обойдемся без Сурова!

Сидя на кровати, Пепеляев снизу вверх коротко глянул на Топоркова: тупица, солдафон! Заставь дурака богу молиться, он весь лоб расшибет... От избытка усердия, пожалуй, и вовсе пристрелят этого Аргылова, ничего от него не узнав.

— Кто его попутчик? — спросил Пепеляев, как бы смягчая жестокость приказа.

— Чекист.

— Чекист? — не поверил генерал.

— К тому же еще комсомолец. Он не скрывает этого. На вопросы отвечает охотно. Фамилия Чычахов.

— Аргылов знает, кто его попутчик?

— Знает. Говорит, что побег удался благодаря ему.

— Что-нибудь знает об оперативном плане этот чекист?

— Говорит, что не знает.

Пепеляев в задумчивости погладил свои бакенбарды.

— Поручик, — обратился он к адъютанту. — Зажгите мою свечу. Можете быть свободны. Действуйте, как приказано.

— Слушаюсь, брат генерал!

Оставшись один, Пепеляев долго сидел на кровати, глядя на медвежью шкуру у себя под ногами. Сделать ли еще одну попытку уснуть? Светлые мысли о грядущем покое и радостях мирной жизни были теперь уже в прах развеяны тревожным известием об этих двух задержанных якутах: не провокация ли? Нет, с такими мыслями уже не уснешь. А и уснешь, так опять привяжется этот дикий кошмар со старухой, которая хватает мертвой хваткой и душит. В последние дни проклятая старуха стала являться ему во сне все чаще. Пепеляев решительно встал и принялся одеваться: длинные курумы из белого камуса натянул до самого паха, поверх толстовки надел пыжиковую шубу, терпеливо и обстоятельно завязал все бесчисленные завязки и застегнул крючки.

В смежной комнате он жестом успокоил вскочившего навстречу ему адъютанта.

— Спите, поручик. Я скоро вернусь.

Аспидно-черная, кромешная и глухая, как вечность, стояла ночь на дворе, лютый мороз жег огнем.

— Стой! Кто идет?

— Это я...

— Брат генерал?

Брякнула винтовка во тьме — это часовой, судя по всему, встал перед генералом во фрунт. Желая взбодриться и отогнать прочь напрасные надежды на сон, Пепеляев молча прошел мимо часового и направился к единственному различимому предмету в этой чернильной тьме — к высокой сосне. Прислонившись к ней спиной, он остановился и прислушался к ночи. Всеохватная, на тысячи верст во все стороны тишина таила в себе непознаваемое, злой ли рок, светлую ли судьбу — поди угадай! Узкий серп месяца на ущербе затерялся во вселенной среди созвездий и миллиардов отдельных звезд. И стало генералу легко на душе при виде знакомых звезд. Как добрые спутники, как ангелы-хранители, они неотступно следовали за ним и в России, и в Сибири, и в Харбине, и даже здесь, на краю земли. А может быть, не звезды за ним, а он сам неотступно следует за какой-то одной из этих миллиардов, ему одному назначенной звездой? Где она — его звезда? В той ли стороне, где восхо-

дит солнце и начинается день, или там, где закат? А может, еще за горизонтом или уже за горизонтом? На южном склоне неба вдруг сорвалась одна из звезд и, стремительно прочертив небо, погасла. Суеверный холод волной захлестнул сердце генерала: нет, не может быть! Не надо этого, не надо!

Со стороны штабного дома донесся истошный крик. Вероятно, это Топорков «развязывал языки» своим пленникам. Свет из окон штаба далеко был виден, и даже без крика этого можно было догадаться, что там происходило какое-то действо. Пепеляев отвернулся, как от позора или непристойности: учишь их, наказываешь, требуешь — все как вода в песок. Право, солдафоны: все у них в открытую, не догадаются даже окна зашторить.

Стукнула калитка, послышался разговор с часовым вполголоса, и черная тень от штабного дома зашагала прямо сюда, к сосне. Видимо, вышедший из освещенного помещения человек, не оглядевшись во тьме, как и сам Пепеляев недавно, шел на эту сосну, как на единственный различаемый ориентир. Чтобы избежать конфузного столкновения, Пепеляев вышагнул навстречу из-под елки и окликнул идущего:

— Полковник?

— Брат генерал, — подошел Топорков. — Я, извините, опять к вам. Развязали ему язык!

— Какие сведения?

— Красные намерены встретить дружину, собравшись в Якутске. Всем их гарнизонам отдан приказ идти в Якутск.

— Ну, ну... Чудеса, да и только!

— Из Чурапчи Курашов, из Петропавловского Строд в эти дни со своими отрядами должны прибыть в Якутск.

— А встречные рейды? Засады у нас на пути?

— Говорит, что в плане ничего такого не предусмотрено.

— Трудно поверить...

— Почему, брат генерал?

— Слишком уж бездарно — вот почему!

— Чекист хотя и не подтверждает все полностью, но говорит, что разговоры об этом краем уха слышал.

— Если это не ложь, то сведения ценные. Когда, вы говорили, поступит сообщение от вашего агента?

— Завтра утром.

— Сразу же доложите мне. Если показания Аргылова

подтвердятся, завтра я с ним сам поговорю. Не подтвердятся, тогда...

— Понял, брат генерал.

Глава двадцать третья

— Чычахов! Чычахов! Томмот!

То ли окрик, то ли призыв доносился откуда-то из далекого далека слабым, много раз отраженным эхом. Лишь изредка, в недолгие минуты просветления вспыхивала и, померцав, пропадала смутная мысль: «Кого это зовут? Чье это имя?»

— Чычахов! Жив ли ты? Чычахов!

«Это ведь мое имя... Зовут меня?» — безразлично подумал Томмот. Затем в груди у него появились судорожные спазмы, стало трудно дышать, и Томмот забился, силясь сглотнуть комки в горле, в рот ему хлынула теплая, соленая жидкость. Томмот с трудом поднял руку и протянул ее в темноту: «Где это я? Что со мною?» Ничего не нащупав, рука упала, пальцы стукнулись о холодный пол, и тут он вспомнил: «Белые!»

Томмота стошнило. Отплевываясь, он выплюнул что-то твердое, пошевелил языком во рту и догадался: зубы! Два или три зуба оказались выбиты. Томмот окончательно пришел в себя и вспомнил вчерашнее. Хотя на вопросы он отвечал быстро и полно, били его не переставая. Чувствовалось, ответы мало интересовали его истязателей. Уже в самом начале допроса его свалили ударом, даже не потрудившись дослушать. Томмот знал, что в контрразведке белых бьют и пытают, но одно дело знать понаслышке, и совсем другое — испытать этот ужас на себе: трое мужчин в расцвете сил, исходя злобой и пóтом, истязали его одного. Кулаки их прямо-таки чесались, и не было для них большего наслаждения, чем бить, бить и бить. Несколько раз Томмот терял сознание, его кое-как приводили в чувство, и ужас вновь повторялся. Позже, поняв, что ответами он не избавляет себя, Томмот замолчал. Как видно, выбились из сил и палачи. Куда это бросили они Томмота?

Он опять пошарил вокруг рукой — и опять ничего, кроме холодного пола, не обнаружил. Тогда он попробовал приподнять голову: затылок чуть ли не раскололся,

ребра болели так, что не вздохнуть. Полежав немного и вновь набравшись решимости, Томмот двинул ногой — что-то мягкое — и принялся осторожно подгребать к себе. Оказалось, шуба, его шуба! И даже шапка... Малейшее движение отзывалось болью, но Томмоту все же удалось сесть на полу и кое-как одеться.

— Чычахов! Ты меня слышишь?

Только сейчас Томмот узнал голос Валерия.

Как ни вглядывался он в темноту, различить ничего не удалось. Что легче — превозмогая боль в груди, откликнуться или молчком попытаться приблизиться? Томмот поднялся на четвереньки и ползком двинулся на голос Аргылова. Вскоре он ткнулся головой в какую-то преграду, пощупал рукой — оказалось, стена. Дощатая...

— Где ты? — с трудом выдавил он из себя слабый хрип.

— Рядом, в соседней камере.

Томмот сел на пол и привалился к стене.

— Это подсобный дом купца Корякина. В большом доме, где нас допрашивали, находится у них штаб, а тут тюрьма. Я тебя окликал всю ночь. Чего не отвечал?

Томмот вместо ответа сплюнул накопившуюся кровь:

— Айыы-айа! Все отшибли... Хвастал — встретят чуть ли не с музыкой...

— Ничего, это еще не все. Лишь бы узнал генерал!

— «Генерал, генерал!..»

— А вот посмотрим!

Судя по задору в голосе, Валерию досталось не так тяжко, как Томмоту. «Дешево отделался байский сынок! — подумал Томмот. — Нюхом чуют, кого в смерть вогнать, а кого пощадить...» Стараясь унять головокружение, он закрыл глаза.

— Эти псы еще смеют подозревать меня в предательстве, — негодовал за стенкой Валерий. — Собаки... А что у тебя выпытывали?

— Не подослан ли красными...

— Ну, ничего! Подождем, что скажет генерал. Он мне давал задание, и я должен доложить ему, как выполнил...

— Выполнил!.. Лежа в тюрьме Чека?

— Не мели пустое!

— Мели не мели, они не верят нам.

— Ах, псы проклятые!

«Почему они не верят? — размышлял Томмот. — Есть другие сведения? Или вправду в контрразведке их

допрашивали без ведома генерала? Ах, жаль, если не поверят, очень жаль! Погибнуть, так хоть с пользой бы, а так, ни за понюшку табаку... Надежда только на него, на Валерия: учуя конец, он наизнанку вывернется...»

— Чычахов, — после долгой паузы заискивающе шепнул Валерий в щель перегородки. — Что ты рассказал обо мне?

— Как уговорились...

— Томмот, ты отличный парень! И впредь помни об уговоре. Не горюй, утром я опять потребую встречи с генералом.

Чычахов промолчал. Избитое тело его болело все разом, каждой клеткой. Еще одного такого допроса он, видимо, не выдержит, но как быть, если обязан выдержать! Он не имел права сейчас умереть, он обязательно должен остаться в живых, и не просто выжить, но выйти отсюда свободным от подозрений, с полным к себе доверием! Ах, насколько же труднее было Томмоту, чем его соседу через стену, черт бы его побрал! Его, кажется, и вовсе не били. Вон он вскочил и пошел кружить, как зверь в клетке. Держись, говорит, и впредь уговора. А сам был бы не прочь, если б меня тут прикончили, тогда бы он избавился от опасного свидетеля...

— Валерий!

— Чего?

— Если останемся живы, то оба.

— Как понять?

— А если умрем, то и умрем оба...

— Это что, угроза?

Томмот опять промолчал: говорить для него было страданием.

Видимо, утро уже наступило, снаружи стали слышны голоса. Чычахов с трудом встал, держась за стену, и сделал шаг, потом еще и еще, оказалось, он способен ходить, сломанных костей вроде бы нет. Превозмогая боль, Томмот принялся двигать руками-ногами, сначала медленно, затем все быстрее.

— Вставай! Двигайся, ходи! — заметно взбодрившись, приказал он соседу.

За стеной послышался скрип половиц: Валерий послушно встал.

— Я тебе говорил: поедем сначала к твоим, переночуем, а сюда заявимся утром.

— При чем тут утро — не утро? Нас задержали дозорные! А их и днем и ночью хватает! — Половицы под Аргыловым сердито заскрипели.

— Умен, так понял бы суть! Пепеляев изо всех сил тщится показать себя милостивым. Если бы люди нас тут увидели утром, разве с нами обошлись бы так зверски? А ночь все прикрывает! Ты жив еще там? Запомни: благодаря мне жив!

— Ладно, ладно, Чычахов, не будем сердиться друг на друга. Ведь под одним богом ходим.

Томмот не ответил.

Громыхнула дверь за перегородкой, и к Валерию кто-то вошел.

— Поручик Малышев, это вы? — снизил тон Валерий.

— Валерий Дмитрич...

— Поручик, идите к командующему! Я прошу вас, поручик... Скажите ему...

— Не волнуйтесь! Все скажете ему сами, — поручик усмехнулся. — Когда приехали?

— Еще вчера...

— Мы этого не знали. О вашем приезде генерал-лейтенант узнал только что. Захотел увидеть вас, пожалуйста, идемте. Как тут холодно! Б-р-р! Вас заставили здесь ночевать?

— Я готов!

Уже открывалась наружная дверь, когда Томмот закашлял, давая знать о себе, да пожалел, от шальной радости Валерий вряд ли на это обратил внимание.

Не заявит ли он сейчас своим: попутчика моего надо расстрелять, поскольку я его использовал из крайней необходимости, чтобы он помог мне доставить добытые сведения. Худшее в том, что ему поверят, а мне — нет. Но если он будет уверен, что тень на него не падет, обязательно постарается от меня избавиться! Хотя все-таки он трус... Так думал Томмот, прислонившись плечом к дощатой перегородке, по одну сторону которой была удача, а по другую — крах.

Прошли прихожую. Поручик без стука распахнул дверь в смежную комнату:

— Пожалуйста!

За столом, низко склонившись, сидел над бумагами человек в черном вязаном свитере. Заробевший Валерий бросил руки по швам: Пепеляев!

— Брат генерал! По вашему заданию...

— А-а, Аргылов! С возвращением! — Пепеляев, выйдя из-за стола, пошел ему навстречу. — Господь милосердный внял нашим молитвам. Пожалуйста, проходите.

Генерал взял Валерия под руку и, подведя к столу, усадил.

— Только что узнал... Приехали прошлой ночью? Следует поругать кое-кого: герой прибывает к своим, а мне не докладывают!

Валерий открыл было рот, чтобы пожаловаться генералу на Топоркова, но вовремя спохватился: неловко было бы, возвратясь из стана врага к своим, начинать свой доклад с жалобы. Потом... Потом пожалуется.

— Брат генерал!

— Рассказывайте, я слушаю.

Странно осевшим голосом Валерий начал рассказывать, как на пути к Якутску нарвался на красных и после перестрелки едва ушел от погони, с кем в городе установил связь, как был схвачен по доносу штабс-капитана Соболева чекистами, как уговорил Чычахова и убежал с ним, будучи уже выведен на расстрел. Дальше он рассказал, как с великими трудностями перед арестом добыл копию оперативного плана действия красных войск и что этот документ он при задержании чекистами сумел уничтожить, но главное успел вызубрить наизусть. И без запинки, как стихи, отбарабанил сочиненный им текст.

Генерал с него не сводил глаз, но особенного воодушевления не проявлял.

— Да... Вы доставили сведения большой ценности. — Генерал поднес ко рту кулак, как заметил Валерий, чтобы скрыть зевок. — Спасибо.

Этот зевок озадачил Валерия, и он заметно сник. Не знал он, что равнодушие генерала вызвано тем, что сообщение Валерия — не новость для генерала. В действительности Пепеляев был немало обрадован: агентурное сообщение, поступившее час назад, подтверждало сведения, добытые Аргыловым. Судя по всему, красные действительно решили стянуть войска к Якутску в надежде на длительную оборону. Эту на редкость благоприятную ситуацию красные прямо-таки преподносили Пепеляеву, как хлеб-соль. К дальнейшему походу можно было подготовиться без спешки, основательно. Что же касается плана красных превратить Якутск в «мощный боевой кулак», то это не более как благое желание.

Если отряд Строда подстережет в засаде и уничтожит Артемьев, а дорогу из Чурапчи в Якутск, по которой движется отряд Курашова, перережет генерал Ракитин, то из чего составят красные свой «мощный кулак»? Все-таки что оно такое — этот план красных? Ограниченность стратегического мышления? Трусливое прятание в нору? Но пусть то, пусть другое, а еще лучше — то и другое вместе, в любом случае это подарок судьбы! Пепеляев встал.

— Брат Аргылов, за отличное выполнение задания от лица командования дружины объявляю вам благодарность. Родина не забудет вас.

— Спасибо, брат генерал!

В знак окончания разговора генерал наклонил голову, но Аргылов все еще стоял, разочарованный таким исходом. Сколько раз в мечтах своих рисовал он себе эту встречу! Нет, не такой была эта встреча в мечтах! Под гром оркестра... Пусть оркестра и не будет, пожалуй, но под восторженные крики всей дружины — это уж обязательно — он строевым шагом подходил к генералу и докладывал: задание выполнено. А генерал при всех говорил, держа его за руку: «Подлинный герой! Вручаю в ваши руки судьбу якутской земли!»

В действительности сложилось наоборот: началось с побоев... И хотя все пришло к благополучному концу, Валерий не мог да и не хотел, пожалуй, скрыть свое разочарование: в штабе, как на грех, кроме адъютанта, о его встрече с генералом никто, пожалуй, и знать не будет. Ах, в каком разительном несоответствии с действительностью обнаружили себя его мечты! С тяжкой повседневностью эти мечты до жестокости оказались не в ладах. Валерий стоял растерянный, словно человек, наблюдающий, как долгожданное вкусное варево нечаянно опрокидывается на шесток камелька. Мстительно вспомнив о Топоркове, Валерий, сам того не заметив, перенес это чувство на генерала: не может быть, чтобы ему не доложили о задержанных прошлой ночью! Врет генерал... От этой неожиданной мысли у Валерия исчезло желание жаловаться на Топоркова. Да еще пришла на память скрытая угроза Чычахова: «Останемся живы, так вместе. А умрем, так и умрем вместе». Расстреляют ли Чычахова как шпиона Чека, или он расстанется с жизнью по-другому, все равно подозрение упадет и на него, на Валерия.

— Брат генерал...

— Да? — поднял глаза уже обратившийся к своим делам Пепеляев.

— Имею одну просьбу. Там, — Валерий кивнул в глубь двора, — содержится мой попутчик, о котором я сейчас рассказал. Комсомолец, несколько дней проработал в Чека. Но душой парень наш. Он спас меня от расстрела, по дороге сюда подстрелил несколько красных... Прошу его освободить и дать под мое начало. Я ручаюсь за него.

Пепеляев помолчал, поглаживая бакенбарды и опустив взгляд.

— К чекистам мы не признаем пощады. Разве только под вашу ответственность... Поручик!

В дверях показался адъютант.

— Приведите того, — махнул в сторону окна генерал и опять повернулся к Валерию. — А вы подождите в той комнате. Как его фамилия?

— Чычахов.

— Если не ошибаюсь, ваши родные находятся здесь, в Амге?

— Н-не знаю... — удивился новости Валерий.

— Во всяком случае, с батюшкой вашим я встретился. Как местный уроженец, пожалуйста, окажите помощь в обеспечении дружины транспортом, продовольствием и одеждой. Пойдете в распоряжение полковника Андерса.

— Слушаюсь, брат генерал!

В прихожей Валерий присел у теплой голландки. «Обо всем знает... — с тревогой подумал он. — И отца, и даже где живет. Неужели и вправду здесь, в Амге?»

Зайдя снаружи и увидев Валерия растерянным, Томмот принялся гадать, что бы это могло значить. Генерал ему не поверил? Но почему тогда Валерий расхаживает свободно? Конвоя-то нету... Тот робко улыбнулся и чуть подмигнул Томмоту. Что это? То ли «Будь осторожен», то ли «Не бойся, все хорошо!».

Адъютант распахнул дверь:

— Проходи!

Томмот шагнул.

— Здравствуйте... — замялся он, не зная, как назвать сидящего за столом человека.

— Здравствуйте, «товарищ», — слабо усмехнулся Пепеляев и показал на стул. Томмот осторожно присел на краешек.

— Ты, кажется, чекист? — против своего обыкновения обратился на «ты» Пепеляев.

— Проработал несколько дней... был мобилизован.

— Участвовал в расстрелах?

— Не-ет... Аргылов был у меня первым.

— У нас к чекисту один приговор — пуля.

— Но я не чекист ведь... — Томмот чуть приподнялся на стуле и сел опять.

— Из Чека и не чекист?

— Несколько дней...

— Все равно!

Чычахов опустил голову.

— Способ спасти жизнь у тебя лишь один: чистосердечность. Расскажешь правду...

Чычахов поспешно воскликнул:

— Я рассказываю только правду! Все, что знаю. Одну правду...

Пепеляев, чуть пригнувшись через стол, приблизился к Томмоту:

— В Чека на допросах Аргылова был?

— Был.

— Что он показывал?

— Н-нич-чего...

— Как же так? Совсем ничего не говорил?

— Почему, говорил!

— Что же?

— Ругался очень... Ну, там всяко... Кумаланы, тарбыяхсыты[1], нищие... Пепеляев с вас, сволочей, спросит... в таком роде.

Пепеляев принялся в упор разглядывать Томмота.

— В Чека откуда был направлен?

— Из педагогического техникума.

— Коммунист?

— Нет.

— Комсомолец?

— Состоял... Сейчас вот никто, у вас нахожусь...

— А почему ты у нас? — тихо и вкрадчиво спросил Пепеляев.

Глянуть со стороны, так не белый генерал допрашивает чекиста, а учитель ведет беседу с учеником.

---

[1] Тарбыяхсыты — бранное слово.

Генералу все больше нравилось, что на всякий вопрос парень отвечал не торопясь, раздумчиво, в нескольких словах, которые он выговаривал с усилием. На допросах многие бывают чересчур угодливы, на любой вопрос у них тут как тут ответ, который выпаливают они без единой запинки, всячески стараясь выгородить себя, показать, что они белее самих белых. Таким веришь с трудом, а поверишь, начинаешь презирать. Этот же, как видно, простодушен до смешного...

— Я спрашиваю о причине твоего перехода к нам...

Томмот вздохнул и опять принялся теребить свою шапку.

— Мы были бедняками, — начал он. — Отец умер рано. Мать решила, чего бы ни стоило сделать из меня грамотного человека. Чтобы дать мне учиться, она работала у баев, не зная дня и ночи. В нужде я проучился восемь лет, полтора года оставалось до того дня, когда б я стал учителем... — Как бы устыдившись, Томмот кротко взглянул на генерала и замолчал.

— Ну, ну... Рассказывай дальше.

— Отдав столько сил учебе и уже добившись кое-чего, кажется мне обидным опять оказаться наравне с неграмотными бедняками. Я б хотел жить в достатке, в почете... Хоть и коротко, но послужил я вот у властей, в чекистах, и что же? Опять я только на побегушках, опять полуголоден. Если даже красные и победят, все равно навек останусь в том же положении. Да и не победят они — видно по всему...

— Святая истина! Народом своим будете править вы, ученые люди.

— Аргылов тоже вот так говорит. Потому и перешел...

Стыдясь выбитых зубов и одновременно будто намекая на них, Томмот прикрыл ладонью вспухшую щеку и рот. Генерал сделал вид, что не заметил этого.

— Матери понравится, что ты перешел к нам?

— Мать умерла.

— Кто еще из родных?

— Никого.

— Тебя почему взяли в Чека? Оказывал какие услуги?

— Не знаю. Не помню случая, чтобы оказывал... Просто в техникуме я слыл за хорошего комсомольца, выполнял все, что поручали. Может, поэтому?

«Кажется, не врет», — то верил, то не верил Пепеляев.

— Может быть, слышал: мы прибыли сюда по приглашению самого якутского народа, чтобы очистить Якутию от коммунистов. Тех, кто признается в ошибках и желает их искупить, мы не караем. Мы дадим тебе возможность смыть пятно позора, которое ты обрел в комсомоле и в Чека. Нам нужны честные и храбрые люди. Где бы ни был, ты должен своему народу рассказать о нас, о наших целях и задачах, объяснять, почему мы прибыли сюда. Понятно?

— Ладно... — поднял голову Томмот.

— Сейчас пойдешь с Аргыловым. Когда настанет пора боев, желал бы я услышать твое имя в числе храбрецов.

— Я оправдаю...

Томмот обеими руками схватил протянутую через стол руку генерала и неловко, но усердно потряс.

В прихожей, под присмотром адъютанта, Валерий и Томмот привели себя в кое-какой порядок: вымыли лица, очистили от кровяных пятен одежду. На дворе их ждали собственные, уже оседланные кони.

— Не говорите никому, что прибыли вчера, — посоветовал, а может, приказал адъютант. — Прошлой ночи у вас не было. Вы прибыли только сейчас, дорогой заехали в штаб и едете из штаба! Все!

— Мошенники! Еще заставляют скрывать... — уже отъехав от штаба, выругался Валерий. — Генерал обо мне спрашивал?

Томмот уклончиво промолчал.

— Я добился его освобождения, поручился за него, а у него еще секреты! О чем спрашивал генерал?

— Спрашивал, что ты показал на допросах.

— А ты?

— Ну, а я ему что положено: мол, показаний не давал, только ругался.

— Они еще не доверяют мне, сволочи! Хоронясь тут в тылах...

«Жизнь моя на волоске! — только сейчас с запоздалым страхом подумал Валерий. — Проговорись этот парень, давно бы уже и следы мои остыли». Говоря по правде, Валерий был намерен избавиться от Томмота, ед-

ва только доберутся до Амги, но теперь... Не будь живого свидетеля, наверняка так легко не поверили бы ему, Валерию. Ирония — сын хамначчита волею обстоятельств превратился в его ангела-хранителя. Чудеса! А хороши же эти сволочи — вместо благодарности обвиняют в измене...

— Собаки! — вслух выругался Валерий.

— Чего? — не расслышал Томмот.

— Собаки, говорю. Знают, что люди сутки ничего в рот не брали, и не дали хотя бы червячка заморить. Но теперь-то на них плевать! Я узнал, отец мой с семьей находится здесь. Наедимся вволю! — И крикнул прохожему: — Стой-ка, друг! Не знаешь, где тут проживает старик Митеряй Аргылов?

Выйдя со двора штаба, Пепеляев с адъютантом едва не столкнулись со всадником. Конь, загнанный седоком, храпя, резко свернул и остановился, толкнувшись грудью в изгородь. Царапая пальцем кобуру, адъютант бросился заслонить собою генерала.

— Это штаб? — прохрипел с седла всадник.

— Кто такой?

— Подъесаул Наживин. От Артемьева с донесением.

— Давайте сюда!

— Велено командующему, лично в руки.

Пепеляев отстранил адъютанта:

— Я Пепеляев. Что у вас?

Связной спрыгнул с коня и, узнав генерала, протянул ему пакет:

— Срочное...

Чуя неладное, Пепеляев нервно вскрыл пакет. В донесении значилось:

«Отряду красных из Петропавловского с командиром Стродом во главе на местности Суордах удалось миновать нашу засаду. Было предположение, что они, узнав о засаде, повернули назад в Петропавловское. Но оказалось, что они обошли нас окольной дорогой. Сейчас отряд Строда идет по направлению к Амге.

Артемьев.

с. Петропавловское, 10 февр. 1923».

— Где Артемьев сейчас? — спросил Пепеляев связного.

— Идет на соединение с вами, брат генерал.

— Поручик! Генерала Вишневского ко мне! Немедленно!

Скомкав и сунув в карман бумагу, Пепеляев резко повернулся и заспешил назад, к штабу. Еще не осмыслив возникшую ситуацию, он почему-то мучительно вспоминал и никак не мог вспомнить, какое нынче число. Он суеверно опасался — не оказалось бы нынче роковое тринадцатое. Но вместе с половиной ночи тянулся еще тот же самый двенадцатый день февраля.

Тринадцатое предстояло завтра...

В этот длинный-предлинный день к старику Аргылову заявились трое вчерашних — Угрюмов, Сарбалахов и Чемпосов, уже заметно навеселе. Шумно ввалясь, они без приглашения разделись, расселись и закурили.

Сарбалахов, как хозяин, придвинул стулья к столу:

— Старик Митеряй, Аанык! Просим вас сесть вот сюда.

Аргылов отчужденно взглянул на гостей:

— Что такое?

— Имеем к вам разговор.

«Не о сынке ли? — Аргылову больно сдавило сердце. — Неужели? О, боже мой! Если принес злую весть, чего же давеча, заходя, скалился, варнак этакий? А что с Чемпосовым этим — прячет глаза...»

— Надо, чтобы и Аанык подошла. Обычай соблюсти...

— Побыстрей, ты! — прикрикнул старик на жену.

Та оставила свои дела у камелька и подошла.

«Чего этот нучча[1] уселся в стороне и выставил свой носище? Куда девалась его вчерашняя прыть!» — Аргылов покосился на Угрюмова.

— Не обессудьте, старик Митеряй и старуха Аанык! Мы пришли к вам с предложением и речами, которые могут показаться неуместными в эти дни, когда на всем белом свете кровь людская течет, а ненависть и вражда выплескиваются через край. — Торжественно и витиевато, словно рассказывая олонхо, начал Сарбалахов, распрямившись и подыгрывая себе жестами. — Но хоть на просторах нашей земли угнездился дух войны и бедс-

[1] Нучча — русский.

вий, корень жизни не должен исчахнуть. Погибшим уже не ожить, а живой человек тянется к жизни...

— Чего ты там плетешь несусветное! — рассердился Аргылов. — Нечего нести околесицу, говори по-человечески!

— А мне кажется, я толкую по-якутски, по-человечески...

— Не мучай, говори, что там из Якутска сообщили.

— Из Якутска?

— Да, о сынке... Бэлерии...

Поняв, о чем беспокоится старик, Сарбалахов перешел на другой тон.

— Оказывается, Митеряй, ты нас принял за недобрых вестников. Не приведи господь такого. Мы по другому делу. Ну, успокойся, сядь.

— О, грех какой... Не мори уж, скажи прямо, чего надо.

Сарбалахов выбил трубку о край стола и положил в карман.

— Мы с Чемпосовым пришли как сватья...

— Что-о? — Аргылов дернулся, как уколотый. — Ты, сын Сарбалаха, решил надо мной посмеяться?

— О, боже! — схватилась за голову и Ааныс.

Сарбалахов, осердясь, надул щеки.

— У вас имеется взрослая дочь. Так вот к ней сватается наш офицер, ротмистр Николай Георгиевич Угрюмов.

Услышав свое имя, ротмистр наклонил голову и обнажил под зачесом лысину.

— Харчагай...[1] — Ааныс отвернулась, с шумом отодвинула свой стул и пошла прочь.

Угрюмов проводил ее взглядом.

— Пусть женщина уходит, это лучше, — нашелся Сарбалахов. — Мужчины скорей поймут друг друга. Николай Георгиевич не какой-нибудь безродный бродяжка. Должно, ты слыхал о людях, приближенных царя — их называют «дворяне». Ротмистр — прямой их потомок. До революции его родители владели большим имением, ну, значит, землями. Еще они имели в Петербурге и Москве несколько своих домов. Когда восстановится прежняя власть, все свои владения он получит обратно. Имеет военное образование, воевал всю германскую

---

[1] Харчагай — плешивый.

войну при царе, воевал и при Колчаке, прошел сквозь огонь и воду. Старик Митеряй, распространись мыслью и вдаль и вглубь: дочь твоя становится дворянкой. У тебя самого появляется возможность развернуть торговлю на севере и на юге. К твоим ногам падут даже власти города Якутска, потому что, насколь слыхать, среди якутов нет еще человека, породнившегося с русскими дворянами. Ты будешь первым. Старик Митеряй, мы ждем твоего слова! Неспроста говорится, что у женщины волос долог, ум короток, с ними можно и не считаться. Главное — твое слово.

Подперев голову, Аргылов погрузился в думу. Вначале он был ошарашен, но способность соображать вернулась к нему быстро. Сын Сарбалаха и вправду не шутил: они пришли свататься. Потому-то, оказывается, этот русский и угнездился отдельно. Серьезны ли его намерения или он бесится? Для зятя этот нучча уж больно того... Сидит, сатана, расплывшись, копна копной. Староват, немногим, кажись, моложе меня самого. Однако деньги у всех одинаковы — и у русских, и у якутов, и у старых, и у молодых. Правильно говорят, что деньги не пахнут. Если он действительно дворянин, то это заманчиво. Стать сановитым тестем Аргылов не прочь. О-о, тогда бы он кое-кого хорошенько бы проучил! Только не шибко ли скоропалительно это?..

— Давно ли знает девку этот ваш... — не отнимая рук от лица, осведомился Аргылов.

— Увидел вчера, и вот... Полюбил!

— Скажи как быстро!

— Сейчас все быстро — время такое...

— Жениться, так быстро! Бросать, так быстро, — поддакнул Чемпосов.

Сарбалахов незаметно наступил ему на ногу.

Аргылов украдкой глянул меж пальцев: второй сват не с чудинкой ли?

— Хозяин согласен? — спросил ротмистр.

— Погодите немного, Николай Георгиевич.

— Вы его спрашивайте конкретно: да или нет?

— Спешит! — буркнул себе под нос Чемпосов. — Приспичило!

— Сиди, не болтай! — обрезал его Сарбалахов.

— Что он говорит? — кивнул на ротмистра Аргылов.

— Э, да ничего особенного! Ну, что скажешь?

— Не наступали б на горло...

— Тебе же рассказано, какой человек зять. Чего еще раздумывать?

— Еще бы не раздумывать!

«И жениться легко, и бросить легко...» Правда, это так. Этот русский — вроде перелетной птицы. Может оказаться, что жен у него по городам да селам — не счесть. Может, и в России законная жена? А нет, так не сегодня завтра зятька-то убьют. Война она и есть война...

— Тарас, в такие-то времена... Удобно ли? Не осудит ли народ? Подождать бы надо...

— Пустое! Чего там еще — удобно ли? Обещаю тебе: на свадьбу пригласим самого генерала Пепеляева! Вот... А насчет людской молвы... Ты на это наплюй!

— К тому же есть обычай калыма и прочего, — стоял на своем Аргылов. — Нельзя же так... Не по-людски!

— И скажет же! Право, язык без костей, рта не дерет! Какого и сколько калыма ты хочешь сорвать с нас, с солдат? Наш калым — это наши жизни. Мы сражаемся за вас, и жизни наши висят на кончиках наших штыков. Заговорил о калыме! И без нашего калыма у тебя мошна толстая!

Наступила длинная пауза. «Не слишком ли рубанул сплеча?» — мелькнуло у Сарбалахова. Ротмистр, не понимая слов, но понимая тон, поглядывал с тревогой то на старика, то на свата. Один Чемпосов сидел безучастно, глядя в пол.

В прежние времена сватов без калыма Аргылов и близко не подпустил бы к своему двору. А сейчас, если подумать, что за калым может уплатить этот бродяга? Кроме вшей в портках, у него и нет, поди, ничего. Другое дело, если они победят! Если они овладеют хотя бы Якутском, там найдется добра на калым не одной девке! Да и девка-то сама — отрезанный ломоть... В ней, сатане, ни капельки моей крови. Умру, так она обо мне и слезы не уронит, а то и обрадуется. Будто в целом свете нет у ней более кровного врага, чем я. У-у, стерва! Уж выдать ее за этого лысого борова — все лучше, чем выскочит замуж за какого-нибудь комсомольца-босяка с глазами на темени. Может, хоть этот нучча ее укротит!

— Старуха! — распорядился Аргылов. — За стряпню!

— Вот это умное слово! Вот это хозяин! — вскочил Сарбалахов и обрадованно затряс руку Аргылова.

Второй сват глубоко вздохнул.

Ротмистр Угрюмов не понял что к чему: старик кричит на кого-то, а Сарбалахов явно обрадован...

— Что он сказал? Он согласен?

Сарбалахов вместо ответа сделал размашистый жест, показав рукой на принесенную ими сумку:

— Николай Георгиевич, спирт — на стол!

У Кычи в эти дни только и дел было, что спать: за ворота не выйти — офицеры и солдатня проходу не дают, делать что-нибудь по дому — душа не лежит, все из рук валится. Вот и заспалась она вроде еврашки[1].

Ааныс разбудила Кычу, поправляя на ней сбившуюся шубу.

— Что, мама?

— Тише! Слыхала, о чем они говорят?

— Кто такие?

— Да эти... гости вчерашние. Они пришли сватать.

— Кого это?

— Не меня же!

— Ме-е-ня-я? Да я в их бесстыжие лица... — Кыча вскочила.

— Не надо, доченька! Натворишь беды...

Ааныс уложила Кычу обратно, легла рядом, и обе скрылись под шубой.

— Голубушка, подожди. Давай подумаем вместе.

— Ты что, мама, говоришь? О чем тут думать?

— Доченька! Если ты выйдешь к ним и в лицо откажешь, они ни перед чем не остановятся. Чего доброго, начнут стрелять или снасильничают. Были бы люди как люди...

— А он что-нибудь сказал?

— Кто?

— Да отец...

— Я не слышала... Разве станут спрашивать? Схватят, сомнут, и все...

— Что же это такое! Как же так? Я же не согласна?

Ааныс теснее прижала к себе дочь.

— Мама, кто из них... сватается?

— Нучча...

— Я так и знала. Он вчера пригрозил. Что же мне делать?

---

[1] Еврашка — всякий зверек из семейства хомяков, впадающий зимой в спячку. (*Примеч. переводчика.*)

— Если согласится отец, сегодня стерпи все. Перечить сейчас бесполезно. Сделай вид, что не отказываешь, лишь бы отправить их домой. Завтра ли, послезавтра, может, выход найдем. Хороших бы людей отыскать где-нибудь в укромном месте. Пока не уляжется кутерьма, ты могла бы там спрятаться...

— Джахтар![1] Долго ли звать тебя? — послышалось из-за стола, и вслед за тем, отдернув в сторону занавеску, явился сам хозяин. — Я велел тебе приготовить еще еды. Ты что, оглохла? Навари еще мяса. Занеси из амбара замороженный хас![2] Хотуой, ты тоже вставай! Одевайся, да получше!

Стол накрыли, гости повеселели, предвкушая пир, загремела посуда, зазвенели ножи и вилки.

— Дочь где? — обернулся Аргылов к жене. — Или ждет, чтобы я зашел к ней с плеткой?

Убитая горем Ааныс поплелась за перегородку.

— Доченька! Придется тебе, бедная моя, идти к столу. Сиди и молчи, не перечь! Завтра, может...

— Долго вас еще ждать?

— Успеете! — огрызнулась Ааныс.

Кыча глубоко вздохнула и сложила руки на коленях.

— Ну, ладно...

Вскоре из-за перегородки Ааныс за руку вывела дочь.

— Кыча Дмитриевна! Девятипудовый привет и восьмипудовые наилучшие пожелания! — Стоя с набитым ртом, Сарбалахов фатовски поклонился.

Угрюмов встал ей навстречу, щелкнул воображаемыми шпорами и сделал поклон:

— Добрый вечер, мадемуазель Кыча! — и приложился к ее руке.

Ааныс хотела было усадить Кычу рядом с собой, но Сарбалахов запротестовал:

— Невесте положено сидеть вот тут! — распорядился он и посадил Кычу рядом с Угрюмовым.

— Чэ![3] — провозгласил Аргылов и, не глядя ни на кого, поднес свою рюмку ко рту.

---

[1] Джахтар — женщина, баба.
[2] Хас — конский брюшной жир.
[3] Чэ — междометие, выражающее призыв, повеление: «Ну, давай!»

— Погоди, погоди! — гвоздем вскочил Сарбалахов. — «Чэ!» Мы же не пьяницы! Надо соблюсти обычай как положено, выслушать слово невесты. Кыча Дмитриевна, ты сама, вероятно, все слышала и знаешь, так что лишних слов тратить не надо: Николай Георгиевич Угрюмов сватается к тебе. Что ты скажешь на это?

Она промолчала, но Сарбалахова это не смутило, и он вскинул свою рюмку:

— Говорят, молчание — знак согласия. К тому же всякая девушка, хотя и рвется выйти замуж, стесняется сказать вслух об этом. Так что поднимем наши рюмки за соединение судеб Кычи Дмитриевны Аргыловой и Николая Георгиевича Угрюмова. — Затем, обращаясь к ротмистру, Сарбалахов добавил по-русски: — За вас!

— Выпейте, — приблизившись к Кыче и чокаясь с нею, посоветовал Угрюмов. — И хандра долой!

Но Кыча сидела молча и каменно, не отрывая взгляда от луженых боков самовара.

— Чемпосов! Теперь твой тост! — распорядился Сарбалахов.

— Не буду!

— А-а, тебе досадно, что проиграл! Слушайте! Чемпосов бился об заклад, что ни девушка, ни родители не согласятся. И проиграл. Ладно, Чемпосов, не расстраивайся, в другой раз я в твое утешение нарочно тебе проиграю. Значит, тоста не будет? Ну, черт с тобой!

— Ой, грех! — хоронясь от стыда, Аанысъ натянула платок на глаза.

Даже Аргылов в согласии с женою (кто бы мог поверить!) возмутился, ударив кулаком по столу:

— Хватит!

За столом стало тихо и неловко.

— Что такое? — забеспокоился ротмистр, ничего не поняв из разговора.

— Э, да так... — беспечно отмахнулся Сарбалахов. — Друзья, и по нашему, и по русскому обычаю молодые должны поцеловаться. — И крикнул Угрюмову по-русски: — Горь-ка-а!

Сообразив, в чем дело, ротмистр поспешно вытер губы и встал. Но в этот момент распахнулась наружная дверь, и с мороза в дом шагнули двое.

— Здравствуйте!

Никто не нашелся сразу ответить.

— Не здороваетесь? Вам, сытым, голодные не компания...

Первый из вошедших кинул шапку на орон и подошел к столу.

— Валерий? — раньше всех опомнился Сарбалахов.

— Э... Бэ.... Бэ... — старик схватил ртом воздух и упал лицом в стол.

— Сынок! — всплеснула руками Ааныс.

Кыча не переменила позы, но лицо ее оживилось, хотя ни радости, ни огорчения оно не выразило.

Старик Аргылов сжал голову руками: сон это, явь? Неужели это сын его стоит перед ним? Изменившийся, похудевший, но несомненно он! Что это? Откуда он взялся? Или все же ему мерещится с пьяных глаз?

— Б-бэ... ле-рий! Ты ли?

— Я, я! Не призрак же! Или вы успели меня похоронить? Уж не поминки ли это?

Опрокинув стул, старик кинулся к сыну, обхватил его, уронил голову ему на грудь. Валерий ласково, как маленького, погладил отца по седеющей голове:

— Успокойся, отец! Видишь, вернулся живой...

— А-а... Ы! — заглушая в себе рвущийся наружу крик, старик задвигал кадыком. — Бог... бог...

— Не бог, отец, а вот этот парень. Он меня спас. — Левой, свободной рукой Валерий подтолкнул ближе к столу Чычахова. — Знакомьтесь. Звать его Томмот. Не будь его, сомнительно, чтобы ты сына своего увидел живым...

Вздрогнув, Кыча быстро-быстро заморгала глазами: Томмот? Да, он. Здоровается с отцом, трясет его руку... Почему он здесь? Кычу сюда привезли, связав, а Томмот приехал по своей воле? «Спас», говорит Валерий. Обнимается с отцом, улыбается во весь рот... Что же это такое? Бежал от своих? Так что же он, притворялся все время? Предатель... После такого как можно верить во что-нибудь на этом свете? Смотри-ка, улыбается даже мне. Не иначе как мы с тобой ровня, дескать, оба предатели... Как бы не так! Радуешься встрече? Ну, так вот тебе, порадуйся!

Кыча обернулась к ротмистру:

— Выпьем!

Не дав никому опомниться, она опрокинула рюмку в рот, обмерла, задохнувшись, а восхищенный ротмистр приник к ней и поцеловал в щеку. Мельком Кыча слови-

ла удивленный взгляд Томмота. Валерий, усевшись возле отца, махнул ему:

— Садись туда! Вы там — пустите человека!

— Голубчик, у тебя поранен подбородок, — разволновалась Аанныс. — Да и под глазом тоже... А у этого парня кровоподтеки!

— Думаешь, в Чека по головке гладят? — весело откликнулся Валерий. — Налейте-ка! Ну, за то, что встретились живые! По правде говоря, надежды у меня не было.

Валерий набросился на еду, а отец все пододвигал ему куски покрупнее да пожирнее.

— Кто это? — спросил ротмистр у Сарбалахова.

— Молодой хозяин. Сын старика...

— А-а! Кычин брат! Здравствуйте! Ротмистр Угрюмов.

Валерий, не отрываясь, грыз кость, и ротмистру пришлось убрать протянутую руку. Лицо его пошло красными пятнами.

— Голубчик, если вы сильно проголодались, остерегитесь жирного мяса, — робко предупредила Ааныс Томмота.

— Ничего! Спирта, спирта наливайте, он все переварит! За что сейчас выпьем? За то, чтобы сытно елось и впредь! Как по-твоему, Сарбалахов? Чего, как рыба, жабрами водишь?

— Дело продолжай! — подтолкнул Сарбалахова ротмистр. — Что молчишь?

— Тише, друзья! — уже не столь твердо, как прежде, встал и не столь уверенно, как до того, произнес Сарбалахов. — Вернемся к первой причине этого застолья. Валерий, мы собрались по торжественному случаю: твоя сестра Кыча Дмитриевна и ротмистр Николай Георгиевич Угрюмов дали друг другу слово стать супругами. Мы отмечаем помолвку.

— Че-го? — поднял на него осоловевшие глаза Валерий.

— Сестра твоя Кыча выходит замуж вот... за ротмистра, — запинаясь, объяснил Сарбалахов.

— Замуж... Ха-ха-ха! Вот за него? — ткнул он пальцем в Угрюмова. — А ты представляешь себе, сколько женщин имел этот боров? Хочешь стать очередной?.. У этого потаскуна наверняка еще и постыдная болезнь! Чего молчишь? А ну встань и проваливай!

Валерий выдернул Кычу из-за стола и отшвырнул. Аапыс едва успела подхватить ее под руки и поспешно увела.

Ротмистр затормошил Сарбалахова:

— Что он говорит?

Сарбалахов не ответил ему. Он припал грудью к столу и, прищуря один глаз, пытался разглядеть раздваивающегося Валерия.

— Кривой тунгус, чего глаз зажмурил — не пристрелить ли собираешься?

—Пристрелить — дело пустяк. Знай меру, а то...

— Смотри-ка ты!

Оглядев гостей-пришельцев, Валерий заскрипел зубами при мысли о том, что в тот вечер, когда ему был вынесен смертный приговор, они, вероятно, вот так же бражничали.

— Погоди, Бэлерий... — Видя закипающую в сыне ярость, Аргылов предупреждающе положил руку ему на плечо. Но этим он лишь подзадорил его.

— Нечего мне годить! Ты воюй с врагами, рискуй своей жизнью, а они тут пьянствуют! Ты лежишь в тюрьме у чекистов и ждешь расстрела, а они тут распутничают. Нет уж теперь Аргылова-дурака! Теперь есть умный Аргылов, и он с вами поговорит как надо! Проваливайте! Прочь отсюда, сучье отродье Сарбалаха! Будешь еще в нашем доме собирать свой сброд? Вон!

Валерий ахнул кулаком о стол, задребезжала, подпрыгивая, посуда, чуть не опрокинулась лампа.

— Ишь ты, ходя![1] — Ротмистр поднял свой громадный кулак.

— Думаешь, Сарбалахов тебя побоится? Я тебе покажу сейчас кривого тунгуса!

Воодушевившись поддержкой ротмистра, Сарбалахов лапнул себя по бедрам, ища пистолет, вспомнил, что пояса с пистолетом на нем нет (оставил, раздеваясь), он сделал вид, что ищет оружие по карманам.

Томмот подскочил к Угрюмову и схватил его за руки:

— Ротмистр, он же пьян... Не сердитесь, — шепнул он ему. — Мы выпили еще у Пепеляева...

Угрюмов сбавил тон: генерал-лейтенант не имеет привычки угощать водкой по пустякам...

Поднялся из-за стола и Чемпосов.

---

[1] Ходя — пренебрежительное прозвище азиатов.

— Вечер уже, а мы тут с утра! Пойдемте! — И подхватил Сарбалахова под мышки.

Томмот осторожно тронул ротмистра за рукав:

— Пожалуйста.

Видя, что все встают из-за стола, Угрюмов тоже тяжело поднялся, опрокинул в рот еще одну рюмку и пошел к дверям.

Валерий за столом остался один. Сарбалахов подошел к Аргылову-старшему.

— Старина! Хоть стол у нас и разладился, уговор остается в силе... — заявил он, держа старика за грудки и рыгая.

Чемпосов, обогнув стол, подошел к Валерию и тронул его за плечо:

— Правильно сделал! Хвалю.

Валерий, не поднимая головы, рыкнул:

— Вон!

Глава двадцать четвертая

Утром следующего дня, 13 февраля, когда Валерий и Томмот засобирались в штаб, старик Аргылов, будто чуя недоброе, принялся напутствовать их — будьте осмотрительны. Парни почтительно выслушали его, но, чувствовалось, спешили лишь избавиться от наставлений.

Возле штаба было людно в это морозное солнечное утро. Шли толки о вчерашней неожиданной отправке офицерской роты навстречу Строду, который, оказывается, обошел все засады и подошел чуть ли не к самой Амге. Много толков среди своих знакомых вызывал и Валерий, которого давно уже похоронили и который вдруг воскрес из мертвых.

— А-а, чекисты! — встретил их полковник Андерс, к которому они пришли согласно предписанию. — Ну, заходите, заходите. Я бы с вами еще душевно поговорил, вытягивая каждую жилочку в тонкую ниточку, а потом... — он щелкнул пальцами, изображая два выстрела. — Но наш брат генерал играет в демократа. Детская болезнь... Пройдет!

По привычке низкорослых, Андерс высоко вскидывал голову, чтобы казаться повыше ростом. Заложив руки за спину, он обошел вокруг парней, оглядел их, как жеребцов на продаже, и остановился перед Томмотом.

— Господин чекист, с чего это у вас левая щека больше правой?

— От благотворного воздействия вашего кулака, господин полковник!

Валерий бросил на Томмота осуждающий взгляд, а Андерс от неожиданности подскочил. «Ишь, иронизирует, скотина!» — подумал он и сказал:

— «Господин полковник»... Это хорошо! Не то что «товарищ» или, тем более, вот это идиотское «брат». Ты скажи мне, — обратился он к Томмоту, — как я, благородный гвардейский офицер, могу быть товарищем или братом тебе, дикарю?

Томмот пожал плечами.

— Не знаешь? Так вот, подумай, дабы сохранить оставшиеся зубы.

Андерс прошелся по комнате, приглаживая ладонями жидкие волосы, затем уселся за стол, подобрав под себя одну ногу.

— Слушайте. Приказом командующего вы переданы под мое начало. Аргылов поедет сегодня с группой Сарбалахова на сбор провианта и подвод. А ты, Чычахов, будешь сегодня трибуном. Наш генерал очень любит ораторов. Поедешь с Чемпосовым в наслег и проведешь агитацию среди населения. Расскажешь людям, как чекисты истребляют всех без разбора, как они занимаются повальным грабежом и насилием, почему ты убежал от красных к нам, — одним словом, не жалея слов, ты должен расписать все ужасы, а затем восславить генерала Пепеляева, прибывшего в Якутию по приглашению самого народа. Поможешь Чемпосову в наборе добровольцев. Записавшихся в дружину добровольцев приведете с собой. Насчет вознаграждения в обещаниях не скупитесь. Ну это знает и сам Чемпосов. Понял? Предупреждаю: что-либо не так — пеняй на себя. Иди! А ты останься. — Он ткнул пальцем в Валерия.

На дворе Чемпосова и Томмота ждал солдат с конем, запряженным в сани.

— У тебя что, винтовки нет? — удивился Чемпосов, увидев, что Томмот не вооружен. — Так не пойдет! Еще скажут, что я тебя конвоирую...

Чемпосов куда-то исчез, через некоторое время появился с японским карабином в руках, и они поехали. Возница-солдат сел на передок, а Томмот с Чемпосовым — сзади.

— Как тебя зовут, догор? — спросил у возницы Томмот.

Услышав вместо привычного окрика дружелюбный голос, солдат радостно обернулся.

— Лэкес я, Лэкес!

— Хороший парень, — похвалил его Чемпосов. — Будущий командир якутской армии.

— Откуда родом? — опять спросил Томмот, и Лэкес опять обернулся с той же улыбкой.

— Из Болугура.

— В солдатах добровольно?

— Нет, заставил мой господин, бай Борисов.

— Ну, а ты?

— Что я? Вот, служу...

Дорога повела их по реке, вверх по течению на юг.

— Куда это мы? — поинтересовался Томмот.

— А в ближний наслег. В сугулане[1] людей должны собирать. Вообще-то ораторствовать должен был я, но сегодня велено выступать тебе: говорят, будет здорово, если человек, сам недавно бывший в красных, комсомолец, да еще чекист, начнет крыть своих...

Лэкес при этих словах с удивлением оглянулся на Томмота.

— Какой я оратор! — отмахнулся Томмот.

— В Чека работать приходилось не языком, а кулаками?

— Ни разу не видел, чтобы били...

— Значит, следствие, суд и прочее по законной форме?

— А как же без следствия можно определить, кто виноват, а кто не виновен? Кого и как наказать, определяет не Чека, а суд и трибунал.

— Не били и Аргылова?

— Не били.

— Он же был избит!

— Ы-ы... Не знаю. Спросите его самого.

«Кажется, его приставили наблюдать за мною», — подумал Томмот.

Дорога поднялась на косогор, затем нырнула в лес. Чемпосов ехал, свесив голову, как бы вглядываясь в мелькающую под санями дорожную колею, затем неожиданно заулыбался, вспомнив что-то хорошее.

[1] Сугулан — дом родового управления, сборный пункт в наслеге.

— Выгнал нас... Это я про вчерашнее. В шею всех! Молодец Валерий, да и только!

— Первый раз вижу человека такого: выгнали его, а он радуется.

— Конечно, радуюсь! Истасканный да облезлый, как старая шкура, а зарится на такую молоденькую! Думает небось: якутишки будут рады... Потаскун! Перед тем как пойти к Аргылову, мы с Сарбалаховым побились об заклад. Я был уверен, что, вот ей-богу, ни за что не согласятся. А старик обеими руками... Ну и человечина — собственную дочь, красавицу, толкает в лапы этого поганца. Ох и люди!

— А что говорил Сарбалахов?

— Был уверен, что не откажут. Угадал, сатана. Урод, родившийся только для счета душ. И девушку-то знает с детских лет. Был бы человек, пожалел бы. Да, у мертвого здоровья не спрашивают, а у таких не стоит искать совести. Дай ему только волю, начнет шерстить и своего и чужого, продаст за грош и отца с матерью. Я это говорю меж нами. Не станешь ведь из уст в уста?

— Не беспокойся, — успокоил попутчика Томмот. — Никогда не кормился этим...

Чемпосов набил трубку табаку, кисет протянул Томмоту. Тот отказался.

— Не куришь?

— Нет. Жил я в сельской местности — табаку не было. Поехал в город учиться, там табак нашелся бы, но так и не приучился курить. Угости Лэкеса.

Уже намеревшись положить в карман кисет, Чемпосов протянул его вознице. Тот засиял.

— Курение — вроде порока... Был бы подвержен, курил бы. По-твоему выходит, что все баи должны стать порочными курильщиками, а все бедняки — беспорочными... И у меня табак не тюками лежал, когда я подрастал. Мои родители были не богачи, хотя и не голодали. Ты где учился?

— В учительском техникуме. Со второго курса я.

— Тоже вот не удалось окончить реальное — из-за революции и войны.

— Ты с революции... у белых?

— Каких белых? И белые бывают разные, — Чемпосов глянул собеседнику в лицо и усмехнулся. — Белые... До позапрошлого года я вот так же, как и ты, весь свет

делил только на красных и белых. Оказалось, вопрос не не так-то прост.

— Это как же?

Чемпосов откинулся на задок саней:

— Поближе, поближе садись. И брось сюда свое ружье — держишь, как божью свечку. Никого не будет в этих местах...

Томмот засунул карабин под санную подстилку и, подстраиваясь так и эдак, улегся наконец на бок рядом с Чемпосовым. Побои в штабе давали о себе знать на каждой кочке.

— В реальном я сильно увлекся историей различных народов, — начал рассказывать Чемпосов. — Роясь в книгах, я узнал, что процветание какой-либо нации не всегда зависит от количества народа. Решающую роль тут играют физическая выдержка, моральная стойкость народа, его способность противостоять испытаниям, воля, мужество и стремление к прогрессу. Поэтому в истории имеется тьма примеров, когда даже многомиллионные нации теряли свободу, становились рабами других и исчезали с лица земли, а некоторые народы, даже небольшие числом, умудрялись достичь высот культуры и славы. Не так ли?

— Да, это так...

— Чего-чего, а на муки для якутского племени господь не поскупился. На его долю выпало немало тяжких испытаний, а все же мы выдержали их и дожили до сегодняшнего дня. Выносливости, терпения и упорства нам не занимать. Не меньше должно быть и стремления к культуре. И я стал думать: почему обойденному судьбой якуту не зажить по-человечески, не распоряжаться самому своей судьбой? Безмерно я был рад, когда февральская революция скинула царя с трона. Рад был не только я, ликовали все, вот, думали, настали времена для свободного развития! Затем еще одна революция, власть захватывают большевики, вспыхивает междоусобица, начинается кавардак. Те самые народы, которые, как ожидалось, должны были дружно двинуться к высотам прогресса, начинают воевать между собой, разделившись на красных и белых. Я вначале не понимал, кто из них прав, а кто не прав. Спустя немного красные вдруг начинают расправляться с людьми, кто побогаче да пообразованней. Попутно в эту кутерьму попадает и моя семья — мы лишаемся всего. С тех пор я и отстранился

от красных. Прислушиваюсь к белым — вроде бы не плохи. Кричат, что борются за счастье и процветание народа, за его судьбу. Примыкаю к белым — к прошлогодним и позапрошлогодним. Начинаю приглядываться и вижу, что ни о каком благе народа они и не думают, все преследуют лишь корыстные цели — мстят, сводят старые счеты, рвутся к власти и богатству. Настоящие разбойники с большой дороги. Я и от этих в бега ударился. Запутавшись так, сидел, схоронясь, и слышу: якуты пригласили вот этого Пепеляева. Достал его призывы, листовки: точь-в-точь мои заветные помыслы! Я вне всяких партий, мне лично ничего не надо, воюю лишь за свободу и счастье народа. Как только захвачу власть, сразу передам самому народу в руки, чтобы он установил самоуправление. Поверил я. Поехал в Нелькан и присоединился к дружине. Вот почему говорю, что и белые не все одинаковы. Прежних-то и белыми называть неохота, — настоящие черные бандиты.

— Прежние беляки разве не говорили, что только они одни борются за народ? — спросил Чычахов.

— Ого! Во весь голос! Вранье всегда крикливо...

— А эти... не могут ли и они наврать? — то ли рассуждая, то ли спрашивая, вполголоса произнес Томмот.

— Нет! — решительно возразил Чемпосов. — Неужели?.. Нет, не может быть!

— Я просто так... Подумал...

— О целях своей борьбы Пепеляев даже стихи пишет.

— Да ну! — искренне удивился Томмот.

— Сам читал... Там, например, есть такие строки... Подожди-ка... Ага, вспомнил... — Чемпосов провел рукавицей по заиндевелым усам:

Донеслись до нас стоны народные
И сердца разбудили свободные.
Бросив труд, бросив семьи родные,
Собрались мы в ряды боевые.
Не на радость, на подвиг тяжелый мы шли,
От людей мы не ждали награды.
На пути, разрушая преграды,
Крестный путь мы свершили одни...

Томмот усмехнулся: смотри-ка, генерал идет спасать народ.

— Такие стихи может сочинить каждый, если вдоволь наестся.

— Да ты подумай... «Стоны народные... Сердца разбудили свободные...» Или думаешь, что генерал врет в стихах?

— Кто его знает...

Томмот замолчал, вспоминая стихи, которые недавно прочитал в газете. Их строчки врезались в его память.

Народ разутый, народ раздетый,
Народ голодный, народ холодный
Стонал веками в тяжком ярме;
Борцы за свободу томились в тюрьме,
Кормили вшей по чумным этапам;
Раздолье было царским сатрапам,
То бишь опричникам и палачам;
Была им работа по темным ночам!
Сколько братьев наших замучено,
Сколько с детьми матерей разлучено,
Сколько позора,
Сколько разора...

Массив глухого леса стал перемежаться полянками. Все больше появлялось признаков человеческого жилья. Ехали, каждый погрузясь в свои думы.

Наконец Чемпосов сказал:

— Нам надо бы познакомиться по-настоящему, а то получится по пословице: познакомились на другое утро... Меня зовут Василием Сидоровичем. А тебя?

— Томмот, по отцу — Иванович.

— Если не возражаешь, я буду звать тебя просто Томмотом, а ты меня Василием, а лучше — Басылай. Что ты скажешь на собрании?

— И сам не знаю. Как перешел к белым...

— Ладно, сойдет. В заключение призовешь людей вступать к нам добровольцами.

— Не сумею, наверное, никогда в жизни не ораторствовал. Напрасно на меня понадеялись...

— Тогда первым выступлю я. Лэкес, поторопи коня!

Выехали на просторный алас, на противоположной опушке зачернело около десятка домов.

Остановились вскоре посреди небольшого поселка, во дворе большого дома. Дом оказался изнутри не перегороженным, в одну просторную комнату. Пять-шесть пожилых мужчин курили, собравшись вокруг камелька. Старик с жиденьким клочком бороды из-под ладоней внимательно пригляделся, как раздеваются у правого орона зашедшие с мороза люди, и, хромая, подошел к ним поближе.

— Не вы ли приехали провести собрание?
— Да, мы, — ответил Чемпосов, потирая озябшие руки.
— Братья?
— Да, братья... — без особой охоты откликнулся Чемпосов и, избегая дальнейших расспросов, отошел.
— У нас народу немного. Помоложе да поздоровее все подались к красным... — Спохватившись, что сказал лишнее, хромой старик обернулся к остальным: — Эй, парень, поди созови всех!
Семилетний на вид мальчишка, шмыгнув мокрым носом, проворно выскользнул за дверь. Вскоре в доме набралось человек двадцать.
— Все, кто может, уже здесь, — сообщил хромой старик.
Чемпосов с Томмотом сели за стол.
— Разве не найдется никого, чтобы вести собрание? — немного подождав, обратился к молчащим людям Чемпосов.
— Как же, был такой, да сейчас его нет!.. — зашумели собравшиеся. — Мэхясь...
— Не князек ли?
— Наш ревком. Ушел с красными.
— Я спрашиваю не про ревкомовцев!
— А-а, он спрашивал о других...
— Все наши, «имеющие голову» [1], давно уже улепетнули в сторону слободы.
— Здесь одна беднота...
— Выберите председателя собрания! — остановил поднявшийся гомон Чемпосов.
— А зачем нам выбирать там кого-то, — просипел старик со старой ситцевой повязкой на голове. — Вернется Мэхясь, ну и будет по-прежнему главенствовать...
— Я говорю: выберите человека, чтобы вел собрание!
— Если только на сегодня, то пусть распоряжается старик Никус-скороход. Пусть он будет хозяином сугулана.
— Вот и ладно! — смеясь, зашумели люди.
Никус-скороход, хромоногий старик, не только не вел за всю свою жизнь ни одного собрания, но, пожалуй, и был-то на них два-три раза. Не разобрав, в шутку или всерьез его выбрали руководить собранием, он стал затравленно озираться.

[1] «Имеющие голову» — богатые, знатные люди.

— Иди, чего крутишься! — поторопил его Чемпосов.

Никус-скороход, привыкший идти, куда велят, захромал к столу. Подражая когда-то увиденному им человеку, ведшему собрание, он встал возле стола, упираясь о него большим и указательным пальцем левой руки, вздернул повыше жидкую бороденку и помотал головой.

— Ти-и-хо! — крикнул он вдруг не своим голосом.

Люди сначала испуганно примолкли, а затем весело зашумели.

«Не идиот ли этот чертов старик? — с раскаянием подумал Чемпосов. — Не надо было мне тянуть эту волынку с избранием председателя». А старик Никус тем временем, не зная, что делать дальше, затоптался на месте.

— Скажи, что слово предоставляется мне! — шепнул ему Чемпосов.

— Сейчас этот товарищ... Эй, как его... брат... Он говорит, что слово предоставляется мне.

Опять послышались смешки.

— Прекратите смех! Надвинулись времена не шуточные. — Краем глаза увидев, что старик Никус продолжает по-прежнему торчать истуканом, Чемпосов цыкнул на него: — Садись! Якутская земля охвачена пламенем, залита кровью. Злодеи, называя себя то коммунистами, то ревкомовцами, истребили цвет нашего общества, именитых и знатных, подорвали благоденствие народа.

Вынув трубку изо рта и подавшись широким, дочерна загорелым лицом вперед, человек, сидевший заложив ногу за ногу, плюнул сквозь зубы на шесток печи.

— Что до меня, то опасаться нечего — гол как сокол...

— ...По белу свету шествуют беды да несчастья, — пропустив мимо ушей недоброжелательную реплику, продолжал Чемпосов.

— Правильно говорит! В беду нас ввергли проходимцы и разбойники, вроде Коробейниковых да Артемьевых. И Пепеляев этот...

Звонкоголосого крикуна, видимо, кто-то подтолкнул в бок, и он осекся на полуслове.

— Якутский народ, доведенный до отчаяния, вынужден был обратиться с призывом о помощи и спасении к генералу Пепеляеву. Вняв этому, благородный генерал созвал свою дружину. И вот, пройдя через испытания похода, он появился сейчас в вашей Амге.

— Я вот себя считаю якутом, но почему-то не помню, чтобы обращался за помощью к генералу. — Сиплый старик с повязкой на голове уставился в потолок, словно что-то припоминая.

— А мне-то и подавно не сметь кого-либо звать... Помню за всю свою жизнь один такой случай: в позапрошлом году обращался к ревкомовцам, чтобы выделили мне земельный надел...

— Будете слушать или нет?! — повысил голос Чемпосов.

— Хе, не нравится, когда мы говорим...

Стало тихо, и в этой уже ничем не нарушаемой тишине Чемпосов продолжал. Он говорил о том, что цель Пепеляева — избавить народ от гнета, о том, что Пепеляев вскоре овладеет Якутском и пойдет походом дальше на юг, и о необходимости обеспечить дружину подводами, продовольствием и одеждой, а сверх того — каждому записаться добровольцем. Правда, получилось у него это поспешно и как-то неубедительно. Люди молчали, пряча глаза, и невозможно было понять, слушают они или не слушают.

Закончив речь, Чемпосов, не обращая внимания на председателя, передал слово Томмоту.

— Вижу, некоторые из вас не совсем мне поверили. Выслушайте сейчас вот брата Чычахова. Он бывший комсомолец, да еще сотрудник Чека. Несколько дней назад он перебежал к нам из Якутска. Он вам расскажет, кто такие есть красные и почему он перебежал к Пепеляеву.

Томмот встал и привычно заправил гимнастерку. Среди студентов техникума он слыл заправским оратором, в политических спорах он был бойцом. В те времена нужные слова приходили на ум сами, нетрудное это было дело — говорить о том, к чему лежит сердце. А теперь, не зная с чего начать, Томмот замешкался.

— Друзья...

— Смотри-ка, парень отыскал-таки друзей!

— Братья...

— А теперь — братьев! Оказывается, он нам родственник...

— Братья, — повторил еще раз Томмот. — До недавних пор находился я среди красных, а теперь присоединился к Пепеляеву. Вы должны знать старика Аргылова. Так вот, я бежал к белым с его сыном Валерием...

— Как, тот злодей... — опять на полуслове осекся тот же звонкий голос.

— Не расстрелян разве — ты хочешь спросить? — обратился Томмот на этот голос. — Нет, не расстрелян. Когда его, как врага трудового народа, чекисты вывели на расстрел, я помог ему бежать.

— Теперь ясно, какой ты «молодец»... — просипел старик с повязкой.

— Не отвлекайся, расскажи, почему перешел на сторону Пепеляева, — Чемпосов заерзал на стуле.

— Если же рассказать, почему я перешел к Пепеляеву, то так. Я родился в бедной семье, отец умер, рос в холоде и голоде, в постоянной нужде, но посчастливилось мне учиться. Если бы я закончил учебу и стал учителем, то жил бы в достатке. Еще в детстве завидовал я ухоженным и упитанным учителям, живущим в чистых, по-русски построенных домах. Мечтал я быть похожим на них, но исполнению этой мечты помешали мне вот эти большевики. Если установится их власть, я опять окажусь ровней неимущему народу и даже хуже того: каждый бедняк будет цениться выше меня. Для большевиков ведь самый хороший человек тот, кто беднее всех, а хуже всех — богач. Одним словом, при красных — прощай моя привольная жизнь, прощай достаток и почет. Никак я не мог согласиться с таким исходом для себя. Поразмыслив, прикинув так и сяк, я решился на побег. Брат Пепеляев, я верю, расправится с большевистской властью и вернет прежнюю жизнь. И тогда, как уже говорил, я смогу достигнуть всего, к чему стремлюсь.

— Учился ты, чтобы богатым стать?

— Да, это так.

Удивленный Чемпосов снизу вверх взглянул на Томмота.

— Власть коммунистов мне не подходит, — продолжал Томмот. — Уже несколько лет, как утвердилась эта власть по всей России. Может, вы думаете, что в России живут одни русские? Это не так. Там живут несколько десятков разных национальностей. И везде верховодят коммунисты, а во главе у них Ленин, он живет в Москве... Ленин и партия коммунистов ведут такую политику: угнетения одной национальности другой, как это бывало при царской власти, не должно быть. Каждая нация должна получить самоуправление или собственную государственность. Все вместе вольются по доброй воле в со-

став Советского Союза. Якуты тоже получили самоуправление, то есть автономию. Прежде Якутией управлял царский губернатор, а теперь, говорят, станут управлять люди, которых якутский народ выберет сам. Недавно в Якутске прошел съезд Советов, на котором были выбраны высшие руководящие органы управления всей якутской земли. Так кто, вы думаете, там заседал и кого избрали? И заседали, и оказались выбранными одни лишь красные партизаны, сами коммунисты, голая беднота да батраки, не разбирающие, где восток, а где запад. Было там немного из старой интеллигенции, так и те стали подголосками коммунистов. Главарями новой власти выбрали они Аммосова, Ойунского, Барахова там и прочих, сплошь одних атаманов тех же коммунистов. И смысл всех их докладов, постановлений разных сводится к одному: всех, кто жил в холе и богатстве, — к ногтю, а беднякам и хамначчитам дать приволье. После этого мне еще понятнее стало — не по пути мне с ними. И вот — я тут.

Томмот опасливо глянул в сторону Чемпосова. Тот молча ковырял пальцем в столешнице дырку от выпавшего сучка.

— Можно задать вопрос? — из-за голов сидящих впереди высунулась неимоверно большая, с лопату ладонь, а вслед за тем появился и ее обладатель, небольшого роста, очень худой старик.

— Не обессудьте за вопрос. Как говорится, коровы знакомятся через мычание, люди же — через разговор. Что сделают с кабальными долгами? Ревкомовцы говорили, что долги эти все уничтожены. Теперь же, по слухам, их станут взыскивать опять. Мы из поколения в поколение не вылезаем из кабалы, поэтому хотим знать...

Рассчитывая на то, что Чемпосов ответит сам, Томмот молчал, но тот подтолкнул его локтем.

— Спрашивают же тебя!

— Не знаю, как распорядится Пепеляев, — поднялся опять Томмот, — но на съезде Советов было сказано, что кабала уничтожается. А те, кто будет вынуждать к кабале, будут отвечать перед законом и судом.

— Вот это правильно!

— Какие указания были там насчет хамначчитов?

— Хамначчитов? — Томмот с опаской взглянул на Чемпосова: разговор клонился куда-то «не туда». — О

хамначчитах я уже говорил... Словом, говорят, что человек человека не должен угнетать.

— Вот так!

Опустившись на стул с видом усталого человека, Томмот вытер лоб и шепотом бросил Чемпосову:

— Хватит с меня!

— А как с разделом земли? — просипел старик с повязкой.

Томмот опять взглянул на своего спутника: тот сидел как каменный.

— Я спрашиваю насчет земли!.. — Старик с повязкой повысил голос и, подпираясь палкой, с трудом стал подниматься, собираясь подойти к столу.

— Землю — по количеству душ!.. — упавшим голосом ответил Томмот, не вставая.

— Э-э... — так и не поднявшись на ноги, старик опустился на место.

— А налог?

Тут Чемпосов резко вскочил:

— Для чего собрались вы: чтобы обсудить постановления съезда коммунистов или воззвание генерала Пепеляева?

— Зачем же сердиться? — пожалел его старик с повязкой. — Сами рассказывали, вот мы и спрашиваем...

— Я познакомил вас с воззванием генерала, рассказал, в чем он нуждается. Те, кто хочет вступить в дружину солдатом или желает сделать пожертвование продовольствием, подводой, одеждой, записывайтесь у меня. За этим всем выедут из слободы особо назначенные люди. Кто запишется в дружину солдатом, поедет с нами.

Чемпосов достал чистый лист бумаги, крупными буквами вывел на нем «Добровольцы», провел под заголовком жирную черту и покосился на старика Никуса, в важной сосредоточенности сидевшего рядом. Тот принял этот взгляд за понукание и беспокойно завозился на стуле:

— Давайте, давайте...

— Торопит нас Никус! — заметил кто-то с издевкой. — Раз ему не терпится, пусть записывается. До Якутска на одной ноге он быстро доскачет!

Кое-где сдержанно засмеялись, засмеялся, выставив два, как заячьи резцы, зуба, и сам Никус. Постучав карандашом об стол, Чемпосов спросил:

— Я рассказывал, за что воюет дружина генерала Пепеляева. Все поняли?

— Поняли! Очень даже... — ответили ему.

— Знаете, какая это большая честь — вступить в дружину солдатом?

— Знаем! Знаем, как же...

— Кто записывается?

Люди молчали, сутулясь и опуская головы.

— Так есть кто-нибудь или нет?

Чемпосов начал выходить из себя: о необходимости наибольшего числа добровольцев из среды якутов командующий не уставал подчеркивать при каждом удобном случае, поэтому вернуться с пустыми руками было никак нельзя. Сарбалахов вчера ему посоветовал наобещать с три короба, будто бы они добровольцу выдают сколько угодно мануфактуры, табаку, крупчатой муки и другого, но у него язык не поворачивался в один прием высказать столько лжи.

— Так что же будем делать? Генерала позвали, а когда он появился, показываем ему спину?

— Что ты, право... — старик с повязкой опять задиристо выставил челюсть вперед. — Чего ты пристал к нам: «звали». Не звали мы его, сказано тебе! Приставай к тем, кто звал!

«Чертов старик! Выискался, въедливый такой, на мою голову!» — про себя выругался Чемпосов.

— Ну тогда кто может выделить коня? Поясняю вторично: кто сейчас отдаст одного коня, после войны получит двух.

Опять нависла гнетущая тишина. Обе стороны замолчали, как бы негласно состязаясь в выдержке.

— Аю-айа!.. Замучила, прямо смерть! — Схватившись за поясницу, встал сиплоголосый старик. — Ты бы, брат, и сам подумал: откуда у нас лишние кони? Лишних не имеется! Эх, занемела окончательно поясница...

— Так кто выделяет коня? — Чемпосов обвел взглядом всех, ни к кому в отдельности не адресуясь.

— Нет таких. Не-ет! Закончим!

Даже не спросив насчет пожертвования продовольствия и одежды, Чемпосов скомкал свой чистый лист с единственным словом «Добровольцы» и засунул его в карман. Облегченно гомоня, все повалили во двор. «Некоторые, должно, приехали на конях. Отобрать!» — подумал раздосадованный Чемпосов.

— Берите ружья и выходите! — шепотом сказал он своим.

Живо выскочив за дверь, тут же увидели, как двое пошли к опушке за сеновал.

— За ними! — велел Чемпосов.

Нагнали тех за сеновалом сразу же, возле запряженного в сани коня.

— Чей конь?

— Мой, — робко ответил хозяин коня, худой, болезненного вида, хотя и молодой мужчина, в старом зипуне, туго подпоясанном.

— Коня твоего я забираю для нужд дружины, — заявил Чемпосов. — Иди, Лэкес, привяжи этого коня к своему. Ну, похо!

Онемев от неожиданности, мужичонка в зипуне пошел было следом за Лэкесом, да вдруг повернулся к Чемпосову.

— Что же это? — выдавил он из себя, в замешательстве топчась на одном месте.

— Конь хромает на одну ногу, потому и оставлен в прошлых наборах, — подойдя, объяснил другой, немолодой уже мужчина. — У этого человека большая семья. Кормится он только охотой, и без коня ему нельзя. Хворый. Пешком далеко идти, что-нибудь на себе нести — не в состоянии, лишиться коня — погибель...

— Ничего, что конь хромой, будет в обозе, — не глядя ни на кого, хмуро ответил Чемпосов. — А ты не заступайся! Не заговаривай зубы! Адвокат... Пошевеливайся, Лэкес!

Видя, что уводят его коня, мужичонка в зипуне тихо простонал: «О, горе!» и, шагнув вдогонку за конем, оперся рукой о дерево. Слезы потекли по глубоким морщинам его исхудалых щек.

— Птенчикам моим, знать, суждено с голоду умереть...

— Стой! Вернись!.. — внезапно обернувшись в сторону Лэкеса, закричал Чемпосов. — Поставь обратно!

— Коня? — не смея поверить, переспросил Лэкес.

Не ответив, Чемпосов пошел к дому. Вид у него был подавленный. А Лэкес охотно повернул коня и привел на старое место.

— Пусть Баянай [1] тебя не обделит! — сказал он мужичонке и, подпрыгивая, помчался к сугулану.

[1] Баянай — дух, покровительствующий охотникам.

Поехали назад не отобедав.

— Когда я привел коня и привязал на старое место, хозяин уж был рад — не знаю как сказать! — Улыбаясь до ушей, Лэкес повернулся к спутникам.

Чемпосов только крякнул, кутаясь в воротник дохи.

Довольно долго ехали молча. Кончился алас, дорога ушла в лес.

— Ты сегодня за кого агитировал: за Пепеляева или за красных? — хмуро спросил наконец Чемпосов.

— Было велено рассказать, как и почему я перешел, вот и рассказал.

Чемпосов обернулся и глянул ему прямо в лицо:

— Хочешь сказаться дураком? Только, кажется, ты не так уж глуп. Не поймешь, какая у тебя подкладка...

— Какая еще подкладка?

Чемпосов опять ушел в воротник дохи. Завечерело, лес становился все сумрачней.

— Есть хочется. Давайте куда ни то завернем, — предложил Лэкес.

Ни слова в ответ.

У Томмота из головы не шел испытующий взгляд Чемпосова. Эх, дал он сегодня маху: о некоторых вещах надо было промолчать, о съезде Советов, к примеру, не стоило рассказывать, вдруг этого черта угораздит доложить начальству? Хотя, в сущности, что за беда? Меня спросили, я и рассказал. Судя по всему, Чемпосов не двоедушен. У доносчика на лице всегда что-нибудь этакое... Даже в детстве ябеду все безошибочно определяли по лицу. И все-таки нет уверенности, что не донесет. Тем более приехали без добровольцев, без подвод и без коней — пустые... Но если он заметил, что я говорю не так, почему тотчас же не одернул? Донесет, могут и к нему придраться...

— Во время того их съезда ты был в Якутске? — неожиданно обернулся Чемпосов.

— В Якутске...

— На заседаниях присутствовал?

— Не на всех.

— Народу много было?

— Ух как много! Со всех улусов...

— Ну и... как?

— Чего как?

— Ну, это... в общем... Ну, съезд-то...

— В общем? В общем-то было радостно, торжествен-

но, приветствия там, поздравления... Автономия как-никак.

— Ликуют бедняки — это понятно. Но чему радуется интеллигенция?

— Как же! Тоже носятся с этой автономией... Говорят, широко распространится якутская письменность, разовьется национальная культура, будет литературно-художественный журнал на якутском, откроется театр, свои писатели, артисты, музыканты... Да, еще вот это: в школах обучать детей по-якутски...

— Похоже на сказку или на олонхо.

Больше за всю дорогу Чемпосов ни слова не произнес. Спал он или бодрствовал — понять было трудно.

Глава двадцать пятая

— Голубушка, я пройдусь по знакомым, поспрашиваю, может, найду, где тебя пристроить Ты встань да поешь, — упрашивала Ааныс.

Кыча приподнялась на кровати: дом был залит солнечным светом. Ночью она совсем не сомкнула глаз, задремала только под утро. Сколько дум она передумала за эту долгую ночь!

Выгнав непрошеных гостей, трое оставшихся долго еще сидели. Вконец запьяневший Валерий рассказал отцу про побег. «Предатель», — думала она о Томмоте, и ничего другого думать не могла. Не зря говорят, что скотина пестра сверху, а человек пестр изнутри. Если бы о поступке Томмота Кыча услышала от других, не поверила бы ни за что. Но теперь ей деться некуда: видела воочию, слышала своими ушами...

Мать все шептала ей: «Доченька, ты спи. Убай[1] твой вернулся живым... Да еще спасибо случаю, прогнал он тех. Ты разве не рада?» А Кыча с удивлением думала, что и вправду она не рада. Убай Валерий... Как-никак брат все же, он ее нянчил маленькую, баловал. Когда учился, он во время каникул всегда привозил ей гостинцы из города. Кыча нарочно стала припоминать лишь все хорошее, но так и не обнаружила в себе радости. Мысли ее все возвращались к Томмоту, которого она, было вре-

---

[1] Убай — старший брат.

мя, уважала больше всех и даже, страшно сказать... Ну, не любила разве? Ладно, пусть будет и так. Она все старалась вызвать в памяти облик того прежнего Томмота и никак не могла. Здесь она его видела только мельком, когда Валерий стал представлять спутника и назвал его имя. Все же успела она заметить, что Томмот сильно похудел, на лице у него были кровоподтеки, глаза потеряли прежний блеск. Сев за стол, он, как показалось, наблюдал за ней, искал ее взгляда. Она же нарочно не смотрела в его сторону. Нарочно чокнулась она с ротмистром и выпила рюмку вина. Изменник! Он еще ищет ее взгляда! Помнишь, как ты сказал на похоронах красноармейцев, что собственными руками задушил бы бандита, убившего таких прекрасных ребят? Теперь на него и не взгляну, не повернусь к предателю лицом!

Но тут еще одна мысль озадачила ее: ведь Валерий и Томмот прежде не были знакомы. Как же они познакомились? Что их связало? Ничего, кажется, нет такого, что могло бы их связать. Неужто она сама? Может, Томмот устроил побег Валерию только потому, что он ее брат? Может, из-за нее он притащился сюда? Может, он предал своих из-за меня? О, нет! Такой Томмот мне не нужен!

— Есть тут кто?..

Кыча вздрогнула от этого неожиданного окрика. Не ответив, она накрылась одеялом с головой и отвернулась к стене.

Загремел ружейный приклад об пол, ноги в торбасах прошагали за перегородку.

— Кто такие живут здесь?

Кыча, не оборачиваясь, принялась притворно стонать.

— Там, кажется, ребенок. Больной, что ли?

— Ладно. Приведи коня, что за хотоном, а я займусь амбаром...

Вышли.

Кыча быстро поднялась и стала одеваться.

В гостях у амгинского старожила, купца, старик Митеряй встретил приехавшего из дальнего наслега бывшего князьца[1] Быргыллу. Поговорив некоторое время в передней комнате, приспособленной под магазин, хозяин пригласил их во внутренние покои, где был накрыт стол.

[1] Князец — в дореволюционное время староста наслега.

И тут, посреди чаепития, утирая со лба пот, князец обратился к Аргылову:

— Старик Митеряй, я о тебе думал, как об умном человеке.

— А что оказалось?

— Оказалось не то. Теперь я думаю, что у тебя ум не особенно чтоб глубок.

Аргылов был задет. К Быргылле, слюнявому и вечно потному неряхе, он всегда относился с пренебрежением. Нерасчетливо много разведя домашнего скота (вот кто воистину был человек недалекого ума!), он не способен был заглянуть дальше собственного подворья, предвидеть дальше завтрашнего дня. А теперь этот Быргылла в чем-то его поучает!

Быргылла между тем будто и не замечал, как взъярился Аргылов. Он со смаком вытянул чай, затем поставил опорожненное блюдце на стол, провел ладонью по мокрым губам и обернулся к Аргылову:

— Старик Митеряй, дурной слух о тебе перекатывается из улуса в улус. Волк лютый, говорят... И как же ты опростоволосился так, что на сборы лошадей поехал сам? Разве можно в таких делах участвовать? Двуногих-двуруких много — пусть ходят сами, только вовремя их натравить. А после всего можно даже и голос поднять в защиту обиженных. Тогда бы народ отзывался о тебе иначе, по-доброму...

— По-твоему, чтобы прослыть умным, не помогать дружине?

— Помогай! И я помогаю, но про меня не говорят таких черных слов.

— Если победят Пепеляева, гляди, и ты не взлетишь белой птицей!

— А вдруг да взлечу? Если дозволит всевышний...

— Чекисты доберутся и до тебя!

— Не знаю, не знаю... — Быргылла возвел очи горе. — Как бы я еще не схватил похвалу и от чекистов!

Выйдя во двор, Быргылла предусмотрительно спросил:

— Старик, в какую сторону ты? Ну, а мне в эту. — И зашагал в другой конец деревни.

Мерзавец! Направился совсем не туда, куда ему нужно, лишь бы только не показаться на улице рядом с Аргыловым! Все еще пылая гневом к Быргылле, старик Аргылов пнул ногой калитку, вошел к себе на подворье,

и тут будто вожжой его хлестнули: дверь амбара оказалась чуть приотворена. Легкой рысью подбежал он к амбару, рывком распахнул дверь, бегло, но хватко оглядел его изнутри. Слева, на старых жерновах, еще вчера лежало целое стегно́[1] мяса. Стегно исчезло... Старик завертелся волчком, заглянул даже в подвал — нет как нет! Увидев жену, вошедшую во двор следом за ним, он крикнул изо всей мочи:

— Баба, куда дела мясо?

— Какое мясо?

— А коровье стегно!

— Лежит на жерновах!

— А ну, сюда! — Аргылов схватил ее за руку. — Найди. Давай найди! Куда подевала?

Ааныс отбросила занесенный кулак мужа:

— Я, что ль, съела это мясо? Скорей всего слопал сам с друзьями своими, с бродягами. Оброс ими, как мхом...

— Молчать!

Проглотив конец ругательства, Аргылов внезапно умолк и кинулся к хотону. Жерди притворенных воротец небольшого выгона за хотоном лежали на земле, а сам выгон был пуст. Так и знал! В памяти Аргылова почему-то опять всплыл Быргылла. «Лютый волк...» Неужто его не оставили в покое даже здесь, в Амге? Неужто мстят ему и тут? Коня увели... Как в прошлый раз иноходца Кэрэмэса. Нет, не может быть!

Он вошел в дом.

— Хотуой, ты чужих у нас видела?

— Были, говорит, люди с ружьями, — ответила за дочь Ааныс. — Небось твои же дружки — люди Пепеляева.

Старик молча вышел и напрямик отправился к штабу. Солдат, стоявший в наружном карауле, хотел было его остановить, но Аргылов отстранил его, как лишний предмет, и распахнул дверь. Подоспевший солдат схватил старика за локоть и остановил его на самом пороге. Аргылов, стараясь вырвать свою руку и ломясь вовнутрь, истошно закричал:

— Кыньараал!.. Бэппеляйэп!..

Из боковой комнаты появился озабоченный адъютант.

— Что такое?

---

[1] Стегно́ — окорок.

— Ломится силой! — прохрипел солдат, все еще оттаскивая старика назад.

— Отпусти! И закрой дверь! В чем дело, старик?

— Кыньараал...

— Какой «кыньярал»! — озлился адъютант. — Генерал, что ли? Нет его!

Пепеляева действительно не было. Согласно приказу, им подписанному, через несколько дней дружине предстояло двинуться на Якутск, и генерал отправился осматривать походное снаряжение. Сейчас адъютант, выполнив кое-какие поручения генерала, спешил ему вдогонку.

— Ты кто такой, что вламываешься сюда? — напустился поручик на старика и вдруг узнал его: тот, который встречал генерала, отец Валерия...

— Быраат кыньараал! Мин... ат! мин... эт! — Аргылов постучал себя в грудь.

— А черт разберет тарабарщину вашу! Эй, кто-нибудь есть там?..

Злясь на старика, поручик все же вышел в переднюю и вскоре вернулся с каким-то короткошеим якутом.

— По какому делу пришел? — перевел тот вопрос адъютанта.

Аргылов начал издалека: как он помогал дружине и как вместо благодарности какие-то мародеры увели с база его коня и взяли из амбара стегно мяса. Если и дальше люди генерала будут обижать своих...

— Короче! — нетерпеливо перебил поручик. — Что он говорит? Что ему надо?

— Говори, коня увели, мясо украли...

— Все вернуть! Хапилин! — поручик приоткрыл дверь в прихожую. — Войдите сюда! Штабс-капитан, этого человека обворовали какие-то мародеры. Все вернуть! Мародеров — к ответу! Считайте, что это приказ командующего. Все!

Поручик потрепал по плечу старика и пожал ему руку, глянув при этом в сторону штабс-капитана и якута-переводчика: видят ли они его великодушие? Видят... Вот и хорошо, в случае чего будут свидетелями.

Аргылов успокоился. Они вышли вместе с Хапилиным, обошли несколько дворов, и старик Аргылов нашел своего коня. Оказалось, что коня увели еще и запряженного, а он в пылу гнева у себя же во дворе не заметил исчезновения упряжки. Офицер о чем-то допытывался у солдат, да, кажется, ничего толком не узнал. С запряженным

конем на поводу они затем и пошли к складам. Им открыли большой амбар, чуть ли не доверху набитый мерзлым мясом. У старика глаза разбежались. Подумав, он показал пальцем на два самых жирных стегна. Офицер кивнул головой, и Аргылов с кладовщиком едва доволокли их до саней.

— Ну, а затем? — спросил Валерий отца.

— Вернули, и все! — похвастался отец, расщипывая полено на лучины. — Не таков я, чтобы не отстоять свое.

— Отстоишь у таких! Сомневаюсь, чтобы в другой раз ты получил свое назад. Коня у тебя все равно отберут. Начнутся походы, передвижения... Они ни перед чем не остановятся. Поделом тебе: жил бы себе в лесу, а то язык высунул — сюда, в самый котел!

— Не стали давать житья мне! Подстроили, чтобы пала кобыла. Украли иноходца, насторожили на меня самострел. По-твоему, сидеть и ждать, когда убьют?

— Скоро и здесь закрутится кутерьма! Подвод мало, продовольствия и одежды мало, значит, начнут брать силой. Давеча слышал разговор о заблаговременном рытье окопов. Пойдешь вот кайлить мерзлую землю, раз так уж рвался сюда...

Старик с досадой кинул на шесток камелька горсть лучин.

— Разве податься в сторону Абаги? — вслух подумал он. Валерий промолчал. — Правда ли, есть слух, что к этим местам подбирается отряд Строда?

— Подобрался уже...

— Вот так новость! — охнул старик.

— Об этом молчи пока. Не велено разглашать. Прихлопнут Строда сегодня-завтра. А ты и вправду, пожалуй, в Абагу. Здесь, на большой дороге, добра не жди.

Крякнула наружная дверь, ворвался клуб морозного пара, а следом, притоптывая торбасами, вошел Томмот.

— Как съездилось? — полуобернувшись, спросил Валерий.

Томмот и прежде заметил, как изменился к нему Валерий, едва только они ступили на амгинскую землю. Вот и сейчас то же: спрашивает жестко, не повернув головы, разговаривает, как тойон со своим хамначчитом.

— Съездилось. Хорошо...
— Коней сколько привели?
— Коней нет.
— А провизия?
— Нет и провизии.
— Что же тогда «хорошо»? Вернулись живые?
— И это неплохо...
— Хгм!

Раздеваясь, Томмот украдкой кинул взгляд за перегородку: не появится ли оттуда Кыча. Вчера он не успел ее разглядеть. Сначала, ошеломленный, он и вовсе ее не признал. Затем, когда сказал этот Сарбалахов... Да, не представлял он Кычу в невестах у пепеляевского офицера... Выходит, из Якутска она уехала по своей воле. Небось думает сейчас о нем: такой же перебежчик. Но почему тогда не выйдет сюда и не перемолвится словечком? Были знакомы когда-то, и не было между нами вражды. Стыдится? Вряд ли, при всех пить водку и целоваться — какой уж тут стыд!

Старик Аргылов подбросил в запечье горсть лучин:

— Поздно! Подавайте варево на стол. Что, девка не станет помогать?

— Захворала она, — из-за камелька отозвалась Ааныс.

Валерий встал, отпихнул табуретку ногой:

— Чычахов, завтра ты поедешь со мной в северные наслеги. — И обернулся к отцу: — Будешь переезжать, так не позже завтрашнего. Со Стродом-то покончат, да вот на юге в Маралахе засел другой отряд красных.

Томмот прислушался. «Похоже, начинает заливать ваши норы!»

Уже собирались спать, как в дом вломился вооруженный солдат.

— Чычахов у вас? — спросил он по-русски.
— Да, он здесь, — откликнулся Томмот. — Это я.
— Вызывают в штаб.
— Зачем? — подошел Валерий.
— Не знаю.
— Чего стоишь? — обратился к солдату Валерий. — Иди. Он дорогу найдет.

Солдат взял винтовку на ремень, но не двинулся с места.

— Велено его доставить...

«Так и есть, арест...» Был момент, когда силы поки-

пули Томмота: тело его, словно храня память о том, как били в позапрошлую ночь, нестерпимо запыло.

— Зачем вызывают? — подойдя к Томмоту вплотную, шепнул Валерий.

Томмот только пожал плечами.

— Сегодня там у вас ничего такого... не случилось?— Но, не допытываясь, Валерий дернул его за рукав: — Соберись с силами! Лишнего не говори, слышишь, Томмот?

Переступив порог хорошо знакомой комнаты в штабном доме, Чычахов в ту же минуту получил такой удар, что отлетел, как брошенная сума, и ударился головой о кирпичную печку. Почему-то он поторопился встать на ноги, будто от его проворства много зависело. Но едва схватился руками за угловые кирпичи и приподнял голову, как сразу же получил еще удар. Падая на спину, он успел заметить две человеческие фигуры. Почему-то засело у него в голове, что он обязательно должен сказать нечто важное и непременно это сделать стоя. Вот почему он несколько раз упорно поднимался, а те двое всякий раз сбивали его с ног кулаками. Все происходило молча. Слышалось лишь трудолюбивое сопение истязателей, шмяканье кулачных ударов да глухой звук, с которым тело Томмота ударялось то об одну стену, то о другую.

В полузабытьи, падая затылком на край порога, Томмот неясно увидел перед собой чье-то потное лицо, затем сильные руки схватили его за грудки.

— Какое задание дали тебе в Чека? Почему ты бежал вместе с Аргыловым? Говори!

Слова доходили до Томмота издалека и то слышны были, то не слышны. И опять каруселью пошли в его глазах все четыре стены и потолок этой сумрачной комнаты.

— Говори! Скажешь?.. Говори! Врешь — скажешь! Гех! Ы-ык...

В который уже раз подпираясь, чтобы подняться, Томмот бессильно опустил голову на пол и закрыл глаза. «А зачем я встаю? — подумалось ему. — Чтобы били? Только бы не поддаться им! Только бы не потерять сознание...»

— Встать! Быстро встать!..

Теперь его принялись бить ногами по ребрам. Чтобы

удержаться от крика, Томмот до крови прикусил губу. Затем утихло, и Томмот, чуть заметно приоткрыв глаза, увидел перед собою незнакомого военного: покатый с залысинами лоб, большие торчащие уши, голое мясистое лицо. Рядом с ним стоял Топорков. Оба в расстегнутых кителях, распаренные и тяжело дышащие.

— Обеспамятел?

— Притворяется!

Топорков за грудки поднял и посадил Томмота на стул, затем кулаком под челюсть поднял его уроненную на грудь голову.

— Сиди прямо! Слышишь нас?

Томмот приоткрыл веки пошире:

— Слышу...

— Вот и ладно! Теперь признавайся. Тебя прислали из Чека? Отвечай!

— Никто не посылал...

— Врешь! Почему сегодня ты распинался за красных? Почему агитировал за них в наслеге? Быстрей говори!

«Так и думал...»

— Не было этого...

— Врешь, товарищ чекист! — это сказал напарник Топоркова, подполковник — Томмот разглядел его погоны. — Теперь ты уже не вырвешься из наших рук! Все, что было сейчас, — только цветики. Ягодки будут впереди. Смотри, не дошло бы до этого! Сам все расскажешь да будешь еще умолять, чтобы выслушали.

В отличие от Топоркова этот не рычал устрашающе, а говорил садистски проникновенно, и это было вдвое страшней.

— Рассказать мне не о чем. Все уже выложил. В тот раз...

—Сегодня на собрании о чем говорил?

— Что велели: почему убежал от красных...

— Еще?

— Отвечал на вопросы.

— О чем?

— О съезде...

— Вот-вот! Это уже кое-что. Ну, и что же там на съезде? Ты уже прости нас, любезный, но придется тебе всю твою большевистскую пропаганду здесь повторить. У подполковника Мальцева, честь имею представиться,

не было еще случая, чтобы какой-нибудь самый закоренелый молчун не стал красноречивым...

— Дайте мне воды, — тихо, но требовательно попросил Томмот.

Топорков зачерпнул из ведра и подал ему кружку, решив, что парень начинает «раскалываться». А Томмот отхлебнул из кружки, затем достал из кармана носовой платок, брызнул на него и принялся не торопясь отирать лицо. Мальцев, сидя напротив, терпеливо ждал.

— Вы почему допрос с избиения начали? — спросил Томмот. — Может, я и так бы все рассказал.

— О-о, почерк мастера. Стиль, так сказать... — милостиво ответил ему подполковник Мальцев.

— Костоломы вы, мясники! А не контрразведчики...— в том же тоне, как похвалу, высказал им Томмот.

— Ах ты паскуда! — взъярился Топорков.

Тут Томмот вскочил и заорал прямо в лицо Топоркову:

— Бей, гад! Корявая дубина!

У Топоркова отвалилась челюсть. Но Томмот, не давая ему что-либо предпринять, быстро заговорил:

— Если бы я действительно был агентом Чека, то разве стал бы я себя раскрывать какой-то там агитацией? Или, по-вашему, в Чека такие же идиоты, как вы? Тот, кто донес вам на меня, или болван, или сволочь!

— Погоди! — остановил Мальцев уже рванувшегося с кулаками Топоркова. — Позови-ка тех...

Топорков шагнул к двери и, отворив ее, крикнул куда-то в темноту:

— Привели? Давайте их сюда!

Ввели Чемпосова и Лэкеса.

Едва войдя, Чемпосов побледнел, на щеках его, прихваченных морозом, резче прежнего выступили темные пятна. Видя, как Томмот вытирает платком кровь с лица, испуганный Лэкес остановился у порога и прислонился к косяку.

— Понимает ли по-русски этот? — спросил Топорков, кивнув в сторону Лэкеса.

— Не понимает, — ответил Чемпосов.

— Переведи! Сегодня ты выезжал с этими вот людьми в наслег?

— Выезжал... — по-детски шмыгнул носом Лэкес.

— О чем говорил Чычахов на собрании?

— Не знаю...

— Как так? — пошел грудью на парня Топорков.

Лэкес прижал обе руки к груди.

— Брат полковник, он и вправду не был на собрании, — поспешил на помощь Чемпосов. — Возился с лошадьми на дворе.

Топорков отбросил Лэкеса к дверям:

— Пшел!

Створки дверей с грохотом ударились о стены, Лэкес, запнувшись о порог, шмякнулся на пол уже в смежной комнате. «Молодец! Ай да Лэкес!» — Теплая волна благодарности затопила сердце Томмота.

— Может, и ты на собрании не был, ничего не слыхал? — обратился Топорков уже к Чемпосову.

— Я слышал...

— Вот и расскажи. Но знай наперед, этот человек — шпион Чека, доказано полностью. Ну?

Вначале запинаясь, затем все более осваиваясь, Чемпосов без спешки рассказал, как было. Получилось, что Чычахов на собрании говорил о причинах своего побега к белым, затем по просьбе собравшихся перечислил вопросы, которые обсуждались на съезде Советов. Он повторил почти все, о чем говорил Томмот на сегодняшней сходке в наслеге, но так, что придраться было не к чему, и получилось, что Томмот ругал красных и хвалил Пепеляева. Чемпосов кое-что бегло пропускал, кое-что усиливал, и сам Томмот удивился: все точно, все без утайки — и все не так!

— Может, ты что-нибудь скрыл?

— Нет, я ничего не скрыл, — Чемпосов посмотрел в глаза Топоркову.

— Или, может, забыл что?

— Нет, брат полковник! У меня хорошая память, к тому же это все было сегодня.

— А если проверим?

— Будет только так, как я рассказал!

— Ну, смотри! — погрозил Мальцев, подойдя, и, открыв дверь, толкнул Чемпосова в смежную комнату. — Уведите пока!

Оба переглянулись между собой.

— Чего же тогда болтал этот одноглазый дикарь? — вполголоса пробормотал Топорков.

Но Томмот расслышал.

Значит, донес не Чемпосов и не Лэкес, а какой-то одноглазый, который, по-видимому, сидел на сходке позади

всех, Томмот его не видел. Томмоту стало легко оттого, что давешние спутники его оказались стоящими людьми, а еще больше оттого, что истязатели его заметно повесили носы.

Но вдруг лицо Мальцева преобразилось, что-то новое появилось в его вкрадчивой улыбке палача:

— Прошу вас сесть, брат чекист. Пожалуйста, не стесняйтесь...

Томмот сел на стул.

—Привяжите его!—бросил подполковник Топоркову и, потирая руки, все с той же улыбкой, стал приближаться к Томмоту. — Сейчас у нашего брата отворятся уста.

Топорков завернул руки Томмота за спинку стула и туго их связал. Мальцев подошел сзади и сдавил ему виски основаниями ладоней. Сильнее. Еще сильнее. Томмоту показалось, что у него затрещал череп, а выдавленные глаза сейчас выпадут из глазниц.

— Говори, какое задание получил в Чека? — наклонившись к самому уху, допытывался Мальцев. — Ты агент чекистов, да? Отвечай...

Томмот молчал, стиснув зубы. Пот струился по его лицу, а мыслей — совсем никаких, кроме той, единственно нужной сейчас: нет, не скажу, нет!

— Зачем тебе терпеть эту адскую боль?.. Ты их агент, да? Отвечай... Станет больнее... Какое задание?..

Томмот ясно почувствовал, что он умирает от боли. «Только бы скорее, скорее... Почему я молчу? Надо кричать, может, так легче, легче...» Но когда он подумал об этом, он уже кричал, дико кричал, пронзительно.

Снаружи громко забарабанили в дверь:

— Полковник, мешаете работать!..

Топорков яростно зашептал в ухо парню:

— Не кричи... Расскажешь, нет? Признавайся!

Но Томмот все кричал, обезумев от боли и испытывая в крике облегчение.

Отворилась дверь, заглянул молодой офицер:

— Полковник Леонов просил не шуметь.

— Перестань вопить, перестань... — Мальцев разжал занемевшие от натуги руки и вытер пот со лба. — Дикарь и есть дикарь.

— А эти тоже, барышни... Работали б себе... Ничего, мы перейдем в другой дом.

Оба, схватив Томмота под мышки, поволокли вон. Глотнув морозного воздуха, Томмот немного пришел в себя, и недавно такую спасительную мысль о смерти заменила другая: я должен выжить... Ойуров сказал, что на смерть не имею права... Это равносильно дезертирству... Я должен...

Отворив какую-то дверь, истязатели впихнули Томмота вовнутрь, и он упал грудью на пол. Топорков зажег свечу и поставил на подоконник.

— Чычахов, повторяю, если хочешь жить — признавайся. Слышишь? Встань!

С трудом поднявшись, Томмот кое-как утвердился на ногах, но Топорков толкнул парня в глубину избы, и тот снова упал, прислоняясь затылком к мерзлой стене.

— Спрашиваю последний раз...

Скользя затылком по стене, Томмот выпрямился, но Мальцев схватил его и усадил на обрубок полена.

— Ну-с, начнем сначала.

Валерий не спал, прислушиваясь к каждому шороху снаружи. Вот будто бы снег скрипнул под чьими-то ногами. Один человек или не один? Мимо ли пройдут или это уже за ним? Мимо будто бы...

Мысли, с убийственной логичностью вытекая одна из другой, кружились будто в хороводе охосой, и ни одну мысль нельзя было ни вынуть из этой цепи, ни вставить новую. Топорков такой изверг, что развяжет язык кому угодно, сумели же они позапрошлой ночью заставить его выложить все, что он намеревался доложить только одному командующему. Развяжут язык и Чычахову. А это значит, что он непременно скажет что-нибудь новое и о нем, о Валерии, а там — коготок увяз, всей птичке пропа̀сть. Даже если Чычахов и умрет, ничего не сказав нового про него, то и тогда спасения нет: люди Топоркова ни за что не признаются в этом, они скажут, что пристрелили парня после того, как тот признался в шпионстве. Что это, они действительно им не верят или хотят приобрести славу разоблачителей агентов Чека? На худой конец черт бы с ним, с Топорковым, будь он один такой дуболом, но Валерий не мог без холодка тревоги вспомнить мимолетный разговор с полковником Рейнгардтом, который спросил Валерия про Соболева. Когда

Валерий сказал, что был схвачен чекистами по доносу Соболева, тот недоверчиво улыбнулся—что за чепуха! — и пошел прочь. Может статься, что о своих подозрениях Рейнгардт шепнул Топоркову. Нет, нельзя было Валерию лежать и ждать.

Наспех одевшись, Валерий выскочил вон, а увидев издали свет в окнах Пепеляева, он припустил бегом.

— Стой, кто идет? — окликнул его постовой, но Валерий ринулся на свет окон и забарабанил в раму.

— Генерал! Брат генерал! Я к вам!

Солдат, оттаскивая его за ворот, орал:

— Стой! Прекрати! Идем!

Послышался стук открываемой калитки, и в ее проеме показался адъютант.

— Постовой, я же велел пропустить нарочного генерала Вишневского!

— Это не он, это якут...

— Какой еще якут?

— Брат поручик, Аргылов я, — Валерий стряхнул со своего ворота руки солдата. — Я к командующему...

— Приходи утром. Постовой, прогони его...

Валерий кинулся к дверям.

— Куда опять? А ну, прочь отсюда!

За калиткой в доме распахнулась дверь.

— Тот якут еще здесь? — спросил адъютант. — Пропусти его.

Валерий вошел в дом вслед за адъютантом. Пепеляев, глядя во тьму за окном, стоял спиной ко входу.

— Брат генерал, добрый вечер.

Пепеляев обернулся. Вид у него был усталый, веки набрякли и покраснели.

— Не вечер, Аргылов, ночь. Что хотите? Пожалуйста...

Мягкий тон генерала прибавил Валерию смелости.

— Брат генерал, я с Чычаховым, который, вы помните, бежал со мной от красных, завтра утром должен поехать в наслеги для сбора подвод и продовольствия по распоряжению полковника Андерса. А сейчас он арестован полковником Топорковым. Но он ведь был освобожден по вашему распоряжению.

— А вы этому Чычахову вполне доверяете?

— Он спас меня от расстрела. На моих глазах он убил несколько красных. И он... он любит мою сестру...

— А-а! Да, да... Поручик!

В дверях появился адъютант.

— Вызовите Топоркова.

Пепеляев стал расспрашивать Валерия, где они были, сколько достали подвод, что говорят в народе.

— Прежде всего, брат генерал, народ хвалит вас за гуманность...

— Да, да... Рад, что правильно понят. Прошу вас где бы ни находились, подчеркивайте мирное, лояльное отношение дружины к якутам...

— Брат генерал, по вашему вызову... — раздался голос Топоркова.

Пепеляев пошел за свой стол и, опершись на него руками, отчужденно спросил:

— Почему вы задержали Чычахова?

— Брат генерал, он сегодня выезжал в наслег и там произнес речь в похвалу большевиков.

— Откуда вы знаете? Кто выезжал с Чычаховым в наслег?

— Чемпосов.

— Чемпосов?.. Ах, да... Тот, молодой, — он тронул щеки, — и тут у него пятно... С нами прибыл, с востока?

— Да.

— Что показывает Чемпосов? Подтверждает агитацию за большевиков?

— Нет... Говорит, якобы тот отвечал на вопросы.

— На чем в таком случае основаны ваши подозрения?

— На донесении тайного агента. Агент надежный, брат генерал.

— Почему тогда обвинение ваше не подтверждает Чемпосов? Вы подозреваете и его?

— Нет, брат генерал. К нему мы претензий не имеем.

— Право, полковник, я вас не понимаю... Поручик, освободите Чычахова и отправьте его домой.

— Брат генерал!.. — Топорков вышагнул вперед.

— Поймите, брат полковник. Местные жители, подобные вот Аргылову, желают победы нашему святому делу, они — наша опора. Поход на Якутск требует многого. Аргылов с Чычаховым имеют задание выехать в наслег для сбора подвод. От успеха их дела зависит и наш успех. Аргылов, желаю вам успеха. — Пепеляев подал Валерию руку.

Топорков повернулся было, чтобы выйти тоже, но Пепеляев остановил его взглядом: задержись-ка.

Когда захлопнулась дверь, Пепеляев взял Топоркова под руку.

— Не сердитесь, полковник. Подобное иногда бывает просто необходимо. Никак нельзя нам сейчас отвадить от себя Аргыловых. Отвернутся они от нас — тогда беда. До поры до времени приходится им улыбаться во гневе да хвалить пренебрегая. Мы не должны повторить ошибку Колчака, который отринул от себя все население Сибири. И по совести, полковник, — Пепеляев заглянул Топоркову в глаза, — вы этого Чычахова действительно подозреваете?

— Он мне не нравится, брат генерал...

Глава двадцать шестая

Из слободы они выехали задолго до рассвета.

Валерий сел в сани-кошевку, а Томмоту показал на дровни, смутно выступавшие из тьмы возле ворот:

— Садись туда. Править будет возчик, а ты ложись да спи.

Томмот заглянул в лицо возчику:

— Ты, Лэкес?

— Вас отпустили?

— Отпустили! Можно сказать...

— Страх тогда меня обуял! Думал, вас-то они непременно съедят...

Продрогшие на морозе кони без понуканий ударились в резвую хлынь. Болело все тело от битья, но в дровнях на мягком сене, в меховых торбасах и в шубе да по накатанной дороге тепло и покойно было, и Томмот стал думать о том, что вот и еще один раз все обошлось, а что дальше — лучше не загадывать.

Лишь трое суток провел Томмот здесь, а кажется, будто бы век тут жил. Вот когда вспомнишь истину, что жизнь человеческая не часами, не сутками меряется, а событиями и делами. Всего за трое суток он побывал в таких передрягах, что иному улуснику где-нибудь в глухомани на целую жизнь хватило бы.

«Вот оно, твое безопасное ГПУ!» — сказал бы теперь Ойуров. Понятно, почему его так рассердило тогда нелепое представление Томмота о безопасности и о бездельном протирании штанов в ГПУ.

Трое суток. Итоги. Первое: мнимый оперативный план красных, судя по всему, принят за подлинный. Не случись отряда Строда в Сасыл-Сысы[1], Пепеляев, пожалуй, долго бы еще благоденствовал в Амге, собирая коней, подводы и продовольствие для похода на Якутск. Второе — остался жив. Это тоже кое-что. Вот и все. О выходе Вишневского на перехват отряда Строда было известно, но заблаговременно сообщить об этом красным Томмот оказался бессилен. Он не смог даже встретиться со своим человеком в слободе. Да еще вот это злополучное выступление на сходке... Да, там он, кажется, переборщил. Взятую на себя роль прямодушного, бесхитростного парня он в этом случае переиграл. Неосторожно было во все горло славословить Пепеляева и его дружину. Но, с другой стороны, откровенная агитация, пусть и в устах простака, все равно заметна, пожалуй... Да еще одноглазый агент их, усердствуя, наверняка сгустил краски. Да, это урок! И еще один урок надо извлечь, пока не поздно: этот костолом Топорков только с виду дубина. Нет, не зря он так упорно преследует Томмота, он нюхом чует, где что лежит!

Ребра, будто стиснутые обручем, не давали ему вольно дышать, даже слабое движение вызывало боль, казалось, что тело разрывают крючьями.

«Надо уснуть, — подумал он. — На многое ли я сгожусь, если раскисну? Каждый неверный шаг, каждое опрометчивое слово в моем положении могут оказаться гибельными. Быстрей уснуть!»

Приятно теплил лицо лисий воротник дохи, тянули бесконечную монотонную песню железные подрезы саней, и нечеткие уже видения пошли перед глазами беспорядочной вереницей.

— Брат! Брат!..

Томмот, очнувшись, смахнул с лица иней.

— Что ты, Лэкес?

Тот махнул рукой на восток:

— Там... там...

Томмот быстро опустил поднятый воротник дохи и прислушался. Откуда-то издалека, из бескрайнего океана тьмы и стужи доносился сюда слитный гул, похожий на громовые раскаты. Пристально вслушиваясь в этот гул, можно было различить частую ружейную пальбу,

---

[1] Сасыл-Сысы — лисья поляна.

татаканье пулеметов и разрывы гранат. В предутреннем лютом морозе каждый звук был отчетлив и казался намного ближе.

— Где мы? — тихо спросил Томмот.

— Подъехали к Абаге.

— А там? — кивком головы Томмот указал в сторону гремящего боя.

— Сасыл-Сысы, кажется. Алас такой в нескольких верстах от Абаги, через реку.

— Велик ли алас?

— Сасыл-Сысы? Так себе, проплешинка с озерцом, три-четыре юрты. Да в низине, как на дне чашки: вокруг крутые взлобья да лес.

— На тракте?

— Чуть в стороне...

«Как же они позволили перехватить себя в таком неудобном месте?» — взволновался Томмот, все еще прислушиваясь. Судя по разговорам в штабе Пепеляева, красные должны были подойти к Абаге вчера. Как видно, там и устроил Вишневский засаду. Значит, стродовцы обошли ее? Может, кто-нибудь успел предупредить их? Минуя засаду, они, видимо, были вынуждены свернуть на этот тесный боковой алас.

В той стороне, на востоке узенькой полоской уже пробивался рассвет. Значит, пепеляевцы напали на красных под самое утро, когда изнуренные тяжелым походом люди крепко спали. Беда! Эх, если бы... Томмот чуть было не вырвал вожжи из рук Лэкеса, да спохватился: куда он поедет и что сделает?

Бой не ослабевал. Чаще стали слышны разрывы гранат. Белые, однако, не застали наших врасплох: вон как дерутся!

Томмот чуть успокоился.

Конь вдруг рванул и во весь мах наметом понесся по дороге на север. Лэкес, привстав на колени, неистово нахлестывал его вожжами.

— Чего так погнал, Лэкес?

— Это не я, а он... — Лэкес показал на едущего впереди Валерия.

Проскочив через Абагу, вынеслись на вершину крутояра и нырнули в лес. Миновав несколько перелесков, остановились на опушке большого аласа.

Подошел Валерий.

— Лэкес, покорми коней, — приказал он и, круто

взмахнув тальниковым прутом, стеганул им по снегу. — Задал Вишневский Строду!

— Да, но что-то долго тянется бой, — Томмот сдвинул шапку на затылок, прислушиваясь. — Послушай-ка, и сейчас гремит.

— Ну и гремит — что из того? Должно, еще не сдались. Как будто ты понимаешь что-нибудь или много воевал...

Валерий вполголоса завел какую-то песенку, потом оборвал ее и громко рассмеялся.

— А ты, Томмот, вроде собаки...

— Ты что это? — разозлился Томмот.

— Да не ругаю я тебя, хвалю. Давеча опасался, что не сдюжишь поездку, а ты, как та собака, зализал раны, встряхнулся да побежал.

— Так что же, охать мне, ахать, дожидаясь твоего сострадания?

— Да ты не сердись, — Валерий снова засмеялся и заглянул Томмоту в глаза: — Послушай, ты почему не поговоришь с Кычей?

— А какое мне дело до чужой жены?

— Вон как! Ревнуешь, значит? Напрасно! Кыча и не думает выходить за ротмистра, это все затеял отец.

— Чего же она тогда пила с ним, целовалась?

Рассвет уже наступал, сумерки заголубели.

— Я думал, поедем к месту боя, — сказал Томмот. — Почему ускакал?

— Дураков нет. Пусть воюют сами.

С той стороны, откуда вставал рассвет, то замирали, то вспыхивали звуки уже далекого боя. Кто там кого?

За день объехали немало мест. Гневные окрики и угрозы. Плач и мольбы. Слезы и проклятья.

К вечеру Томмот не выдержал и на одном из распутий соскочил с саней.

— Валерий, хватит! И мы ведь из плоти и крови.

— Не мели пустое! Или ты думал, они коней своих станут отдавать, ликуя?

Валерий резко вывернул на боковую дорогу и дал коню кнута.

Возвращаясь с пятью отобранными лошадьми, они решили заночевать в одном аласе, где стояло несколько

изб. С трудом Томмот упросил Валерия не ехать в ночь: устали, проголодались, да и тело у Томмота сильно разболелось.

— Лэкес рассказывал, что здесь старик живет какой-то, травами лечит. Может, подлечусь немного...

Стояла уже густая тьма, когда они заехали во двор крайнего дома. Дворовый пес миролюбиво облаял их, и Валерий, еще не сойдя с саней, с маху перетянул его кнутом. Взвизгнув, пес отскочил к амбару и оттуда, из-за прикрытия, разразился злобным, мстительным лаем.

В доме давно уже спали. Хозяин, торопливо поднявшись, подбросил дров в камелек.

— Что расскажете? — поприветствовал он гостей и наклонил голову, ожидая ответного: «А вы что расскажете?»

— Ничего! — едва удостоил его Валерий и стал раздеваться.

— А вы что расскажете? — отозвался с порога Томмот.

Хозяин из-под ладони вгляделся в Аргылова, подошедшего к камельку. Кажется, узнал: насупился, опустил глаза.

— Утром восточнее Абаги мы слышали бой. Не знаете, чем там кончилось? — спросил Томмот, желая прервать молчание старика.

— Это в Сасыл-Сысы...—Хозяин оживился:—Белые потеряли убитыми страсть пароду. Отступили, говорят...

— Ка-как?.. — Валерий резко обернулся.

— Красные, говорят, закидали их гранатами.

— Вранье!

Хозяин снова насупился и молча толкнул в бок жену. Женщина проворно поднялась и, не сказав ни слова, принялась хлопотать.

— Так где, говоришь, старик тот, лекарь? — спросил Томмот вошедшего следом за ними Лэкеса.

— Через два дома третий. Я покажу!

— Лошадей как следует покорми! — вдогонку распорядился Валерий. Он снял с себя шубу, доху и бросил на кровать.

Лэкес вместе с Томмотом вышел со двора, намереваясь его проводить, но Томмот отослал его:

— Лошадей покорми. Третий дом, говоришь?

— Через два — третий.

Непроницаемая мгла потопила мир, на небе — ни

звезды. Очертания домов, амбаров, хотонов были едва различимы во тьме. «Этот, что ли?» Дверь, обитая коровьей шкурой, оказалась не запертой, но примерзшей к раме. Поддавшись силе, она отворилась со ржавым скрипом.

— Кто здесь?

— Старик Охоноон?

— Тут я. Куда же денусь, старикашка. Засвети-ка жирник на столе.

С зажженным жирником в руке Томмот пошел на голос. Да, это был он: седой, на правой скуле шрам, говорили, его молодого лягнул конь. Наклонившись, Томмот шепнул:

— Сколько горностаев добыл нынче, Охоноон?

— Э... одного только.

— А чем добыл?

— Черканом.

— Ну, коли так, то здравствуй, Охоноон! — Томмот пожал старику руки.

— Здравствуй, сынок. — Старик вгляделся в лицо гостя и задул жирник. — Отнеси на стол. В такую пору мы с огнем не сидим. Иди сюда, садись на табуретку. Чем обрадуешь?

— Пока ничем обрадовать не могу.

— А я только вот из Абаги. Ходил, кое-что узнал.

— Ну и?

— Большой отряд пепеляевцев устроил засаду на главной дороге. Но красные, говорят, обошли ее и окольной дорогой направились на Сасыл-Сысы. Кто-то, говорят, их предупредил о засаде. Белые начальники ну рвать-метать! Под самое утро разыгрался большой бой, красные отогнали белых назад. С обеих сторон погибло много людей. Командир красных Строд получил рану. Я повстречался с Олексаном Хармановым, который выехал в Абагу из этого Сасыл-Сысы. Строд с отрядом остановился в его доме. Олексан, расставаясь, благословил Строда по-нашему: мол, пусть минуют тебя и стрелы, пусть не находят тебя и пули...

Томмот встревожился:

— Об этом надо как можно скорей известить Курашова! А Курашов из Чурапчи даст телеграмму в Якутск.

— Вот и я так думаю. Собираюсь в путь утром, как рассветет. Идти два кёса, не столь уж много, я споро дойду.

— Утром? Ну, хотя бы и утром... Ждать совсем нельзя, дедушка Охоноон! Чем скорее передашь, быстрей Строду помощь подоспеет...

— Коли так, то чего же я, выживший из ума, дожидаюсь рассвета? Или дорогу не знаю?

Шепотом ругая себя, старик встал, подошел ощупью к камельку, снял торбаса с загрядки и, вновь вернувшись к нарам, стал одеваться.

— Охоноон, если я узнаю что-нибудь очень важное, напишу или передам на словах. Постарайся все доставить к месту как можно быстрей.

— Это уж само собой!

— Постоянно наблюдайте за дорогой на Чурапчу. Случится, белые устроят засаду, сразу же дайте знать!

— И это понятно.

Старик заспешил, и Томмоту стало жалко его. В такую тьму да стужу в ветхой одежонке да при стариковских силах пройти пешком не меньше двух кёсов — это не шутки!

— Ты уж прости, дедушка Охоноон, не хотелось бы тебя неволить, — признался Томмот.

— Жалей не жалей, а коли надо, так надо! Я хоть стар, но силенки есть еще. Насчет одного горностая я сказал, потому что так положено мне говорить, а добыл я нынче уже сверх трех десятков. Ладно, я пойду. Благополучия тебе. Уж как ты молод! Нам, старикам, умереть — и горя меньше, а вот вам, молодым... Эх!

Старик притянул к себе голову Томмота и нюхнул его в лоб. Выйдя наружу, они сейчас же разошлись в разные стороны...

Проходя через двор, Томмот по фырканью лошадей и шуршанию сена возле хотона понял, что Лэкес еще не управился с лошадьми.

— Ну что, подлечился? — спросил из-под шубы Валерий, уже улегшийся спать.

Томмоту показалось, что он не просто спросил. «Не спит, паршивец!» — с тревогой подумал Томмот.

— Дома нет старика, — помолчав, отозвался он. — И где шляется в ночь?

Отвернувшись к стене, Томмот натянул шубу на голову.

Утром, когда они пили чай, напустив морозу, вошел кто-то, стуча мерзлыми торбасами. Оказался Охоноон —

он стоял у двери, поглаживая сверху вниз заиндевелую бороденку.

— Ты что, старик, лишился сна? — спросил хозяин дома. — Гость вот приходил к тебе ночью, а тебя нет, говорит.

— Э, обходил свои петли, да вернулся пустой! Зашел одолжиться солью. Может, найдется щепотка?

— Сами давно пресное едим.

— Нет так нет, что поделаешь! Пойду... А гости-то кто же? Не эти ли вот ребята?

— Из слободы они. Один вот больной, травами твоими интересуется.

— Вон что! А что болит у тебя? — подошел поближе Охоноон.

— В груди болит, дедушка, — сказал Томмот. — Да и лицо вот...

Старик чуть присел, разглядывая через стол Томмота.

— Эка, парень, тебя разрисовали! За травками ко мне пойдешь или сюда принести?

— Принеси, старик! — распорядился Валерий.

Томмот поднялся из-за стола:

— Ну зачем почтенного человека принуждать бегать!

Морщась от боли, Томмот надел шубу, пропустил вперед старика и вышел за ним.

Пока шли к знакомой двери, обитой коровьей шкурой, ни Томмот, ни старик не обмолвились ни словом. Лишь в убогом жилище старика Томмот обернулся к нему и спросил:

— Ну?

— Все хорошо.

— А что хорошо? Донесение передал?

— Передал.

— Надежно ли?

— Нынче же в Чурапче все будет известно.

Радость охватила Томмота. Он закружился вокруг старика, как ребенок, которого одарили пряником или игрушкой.

— Спасибо, дедушка Охоноон!

— А подлечить тебя и вправду надо. Дам-ка я тебе вот это... — Он повозился где-то у себя в углу и подал Томмоту завернутый в тряпочку сухой пучок травы. — Завари как чай и попей. Легче станет.

— Спасибо, дедушка Охоноон! За все спасибо!

Томмот обнял старика.

Вернувшись, он сделал, как велел Охоноон, — заварил пучок травы в чайнике, затем с аппетитом доел свой завтрак и запил настоем. Душа его ликовала: в Чурапче сегодня же все будет известно!

Солнце уже поднялось из-за леса, когда братья отправились в путь. Валерий в своей кошевке ехал, как обычно, далеко впереди. За ним поспешал Лэкес с реквизированными конями, привязанными за поводья к его саням, а Томмот ехал последним.

Вдруг конь его встал, наткнувшись на рысившую впереди лошадь. Томмот привстал в санях, чтобы определить причину внезапной остановки, и тут же услышал испуганный вопль:

— А-а-ы-ый!..

Бросив вожжи, Томмот кинулся на крик.

— У тебя что, глаза повылазили, идиот?! На!

Взбешенный Валерий хлестал Лэкеса кнутом, а тот, обхватив голову руками, все ниже приникал к саням. Томмот, подскочив, встал между ними.

— Стой! Остановись, тебе говорят! В чем его вина? Спятил, что ли?

— На, смотри! На! — Валерий сорвал с головы шапку и ткнул Томмоту в лицо.

К шапке пристала конская слюна. Томмот понял, что произошло: Валерий неожиданно остановился, и конь Лэкеса с ходу ткнулся мордой ему в голову.

— Так разве он нарочно?

— А, поди прочь, заступник!

Валерий злобно стрельнул взглядом в сторону Томмота и с новой яростью набросился на парня. Томмот вырвал кнут из руки Валерия и бросил его на снег.

— Ты не очень-то! А то и тебя тоже... — Валерий быстро поднял кнут.

— Что «и меня тоже»?

Валерий и Томмот стояли друг против друга, меряясь ненавидящими взглядами. Наконец, грязно выругавшись, Валерий бросился к своим саням и пустил коня в крупный намет.

Лэкес испуганно таращил глаза, прижимая руки к груди. Поперек его лица вспыхнула красная тонкая полоска.

— Больно?

— А, пройдет... — проговорил Лэкес и опасливо по-

глядел вперед. — Бог свидетель, я не видел, как он остановился.

— Садись ко мне.

Лэкес обрадовался и пошел привязывать своего коня к задку Томмотовых саней.

Наконец Лэкес подсел к Томмоту, и поехали дальше.

— Лэкес!

— Ы-ы? — обернулся тот.

— Ты и вправду с конями управлялся, когда я говорил там... на сходке? Я что-то не помню.

— Все я слышал!

— Так что же я, по-твоему, говорил?

— Братья так не говорят...

— Как это — «так»?

— Они знай себе кроют красных, и только. А твоя ругань как ласка...

— Не может быть!

— Да, так.

— Ну, друг! — не найдя, что еще добавить, Томмот умолк.

—Не бойся, Чемпосов на тебя не скажет.

— А почему? Откуда ты знаешь?

— Ниоткуда не знаю...

— Зачем тогда говоришь?

Лэкес с опаской взглянул на Томмота: сказать или не сказать.

— Чемпосов не похож на них...

— Почему так думаешь?

— Он никогда не ругается и не бьет. Пожалел человека, вернул ему коня. Полковник его сильно ругал, говорят.

— Лэкес, а как твоя фамилия?

— Хамаровым зовусь, — парень улыбнулся.

— Чего улыбаешься?

— Фамилию свою забываю часто. А раньше и вовсе не знал. Я рано остался сиротой, хозяева ко мне обращались не иначе как «нохо!» или «эй, парень». Записан я Хамаровым, а полное имя Леонтий Игнатьевич Хамаров.

От торжественной длинноты своего имени Лэкес весело рассмеялся.

— Хотел бы ты учиться, Леонтий Игнатьевич?

Лэкес недоверчиво оглянулся на спутника: шутит, что ли? Нет, Томмот спрашивал серьезно.

— О-о... — глубоко вздохнул Лэкес. Затем, невидящими глазами уставясь в подпрыгивающий лошадиный круп, он стал говорить: — Прошлой весной наш ревком Силип сказал мне, что осенью отправит меня на учебу в Якутск в такую школу, где обучают хамначчитов и батраков. Да потом поднялось вот это...

Помолчали малость. Успокоительно мерно бежал конь. Дивно синее небо было высоко и безоблачно. Отливал синевой снег и березы, и даже тени этих берез, косо пересекавшие дорогу. Весна уже показывала ушки.

— А где сейчас ревком Силип?

— Ушел с красными.

— Если случится бой, значит, будешь стрелять в Силипа?

Лэкес обернулся к Томмоту и поглядел на него укоризненно:

— Не стану стрелять...

— Почему?

Лэкес опять отвернулся. Стремительно нырнули вниз с северного крутояра Абаги.

— Будешь учиться! Запомни: ты будешь учиться!

Парень не оборачивался, но чувствовалось, что слушал он жадно, с заветной надеждой, ловя каждое слово Томмота.

— Не думай, что так будет всегда. Вернутся и люди, посылавшие тебя на учебу, придет и время учебы!

Тут Лэкес, не выдержав, обернулся:

— Убегал ли ты от красных? — спросил он.

— Откуда же тогда взялся я?

— Не убегал ты, как видно...

— Получается, я коренной беляк?

— И не беляк ты.

— Кто ж тогда?

— Не знаю...

Подъехали к окраинным домам Абаги. С обеих сторон улицы из подворотен навстречу путникам вынеслись остервеневшие псы. Следом за ними во весь дух бежал какой-то кривоногий солдат.

— Стой! Вы попутчики Аргылова?

В Абаге стали известны подробности вчерашнего боя. Генерал Вишневский, потеряв более половины отря-

да убитыми и ранеными, отступил. А сегодня из Амги с главными силами дружины прибыл сам командующий генерал-лейтенант Пепеляев. Он остановился со штабом на восточном берегу Амги в местности Булгуняхтах, в двух верстах от осажденного в Сасыл-Сысы красного отряда Ивана Строда.

Чуть раньше со стороны селения Петропавловского, преследуя отряд Строда, прибыл сюда и атаман Артемьев. Кривоногий солдат, встретивший путников в Абаге, был его посыльным. Узнав о возвращении Аргылова, атаман вызвал его. Человека, бежавшего вместе с Аргыловым, он велел привезти с собой.

Это была новая головоломка для Томмота. Почему атаман белых велел Аргылову взять с собой и его, Томмота? Если Топорков нюхом чует что-то неладное в их с Аргыловым побеге, то во много раз более проницательный Артемьев, надо думать, и подавно подозревает их. Может, что-нибудь уже разведано и передано Артемьеву? Земля полнится слухами о зверствах людей Артемьева. Говорили, что заподозренных не только в измене, но даже в простом сочувствии красным они без суда и следствия ставят под дула ружей.

Реквизированных коней Валерий отправил дальше в Амгу, после чего путники, все трое, отправились в штаб за реку. Остановили они коней на восточном взгорье возле небольшого рубленого дома, окруженного столбовой изгородью в четыре жерди.

— Отведи коней и жди нас вон там, — без обычного презрительного обращения «нохо» показал Валерий Лэкесу на дом рядом.

Дом, куда они вошли, был битком набит военными. Хозяев оттеснили в угол. Больше десятка офицеров склонились над картой, расстеленной на большом столе под божницей, остальные сидели вдоль стен на стульях и кроватях.

Войдя, Томмот сразу же выделил из всех Пепеляева. Прошлый раз в Амге, одетый в вязаный свитер, он имел домашний вид и был похож на озабоченного главу большого мирного семейства, который выговаривает своим расшалившимся детям. Сейчас это был генерал, человек, облеченный властью. На скрип отворившейся двери Пепеляев оторвался от карты и вопросительно посмотрел на вошедших. Погоны на его черном френче кратко блеснули.

На молчаливый вопрос генерала отозвался якут, одетый в черную овчинную борчатку в талию, он стоял у стола в независимой, раскованной позе, поставив одну ногу на чурбан, заменяющий стул:

— Я вызывал!

У него были густые в беспорядке волосы, широкий лоб, нос с горбинкой и рыжеватые усы на медном прокаленном на ветрах и морозах лице.

— Пусть выйдут и подождут в другом месте, — вмешался пожилой небритый офицер в помятом френче.

— Выйдут, когда выйду я! — Не оборачиваясь ни на говорившего, ни на вошедших, человек в борчатке распорядился:

— Садитесь.

— Брат генерал...

Чуть заметным движением век Пепеляев остановил пожилого офицера и наклонился над столом:

— Братья офицеры, прошу к карте.

Томмот, сидя в сторонке, все поглядывал на человека в борчатке: так вот он каков — Артемьев, главарь-атаман, гроза коммунистов! Про Артемьева Томмот слышал давно. Тот был один из первых якутов, получивших хорошее образование, он окончил реальное училище, затем многие годы работал в улусах писарем, учительствовал. К личным врагам своим он был безжалостен, как морозный месяц, но слыл за умного и рассудительного человека. В Якутске он работал инспектором в ГубОНО, преподавал в школе. К тому времени белые отряды завладели чуть ли не всей Якутией, окружили Якутск, Артемьев же продолжал работать в советских просветительных учреждениях. Но прошлой весной, после убийства из засады прославленного красного партизана Нестора Каландаришвили, шедшего с отрядом из Иркутска, он внезапно ударился в побег на восточный берег и присоединился к белым. Человек — это загадка, правду говорят... Почему бы Артемьеву не работать по-прежнему? Что толкнуло его на побег после того, как уже стало ясно, что белые потерпят поражение? Говорят, будто он дезертировал, устрашенный расстрелом участников заговора против Советской власти. Но вряд ли. Будь это так, после побега он затаился бы, а не возглавил белый отряд. Всего верней, он имел давний сговор с белыми. Потомок знатных родов, он, конечно, мечтал только господствовать, может быть, даже стать правителем всей Якутии.

Но в любом случае это был не случайный человек, завлеченный хитростью в ряды белых. Это был сознательный и яростный враг. «О, сколькими бедами обернутся мысли, зреющие в этой голове!» — подумал Томмот, глядя на плоский затылок Артемьева. Его удивило, как безразлично отнесся Артемьев к появлению близкого человека, чудом вырвавшегося из-под расстрела. Ведь они с Валерием приятели — так тот сам говорил. Заметно огорчился и Валерий: повернулся ко всем спиной и вперил взгляд в окно.

Томмот стал рассматривать окружающих. Седеющий, с квадратным красным лицом, человек в генеральских погонах был, конечно, Вишневский. По левую руку командующего сидел чистый и опрятный полковник Леонов, начальник штаба: за разъяснениями по карте все обращались к нему. Ближе — то и дело вставал, звеня шпорами на сапогах, полковник Суров. Этот изверг был к тому же и щеголь: выходя на мороз, как рассказывали, он эти шпоры снимал и поверх шевровых сапог надевал камусные торбаса. Во время первого допроса он заходил, и Томмот имел возможность познакомиться с его увесистыми кулаками. На ороне справа примостился некто чернявый, низкорослый и худой в камусных курумах под самый пах. Это был Василий Борисов, отпрыск амгинского бая. К Пепеляеву он примкнул во Владивостоке, где учился в университете.

Совещание, как видно, кончилось, пошел беспорядочный разговор всех со всеми, полковник Леонов стал сворачивать свою карту. Пристукнув ладонью по столу, вспомнил о вызванном подчиненном и Артемьев.

— После Чека отяжелел, нерасторопен стал. Долго ехал! Ну, здравствуй. — Подавая руку Валерию, Артемьев кивнул в сторону Томмота. — Это твой чекист?

Томмот дернулся, чтобы поздороваться, но Артемьев, как видно, и не собирался подать ему руку. Атаман уставился на Томмота круглыми помрачневшими и твердыми, как срез сухого сучка, глазами. Прикусив губу, Чычахов едва выдержал этот взгляд.

— Да, чекист! — ответил он за Валерия. — Почему это вы все попрекаете меня Чека? Я был там четыре дня.

— Михаил Константинович, парень не врет, — без особого рвения заступился Валерий. — Он учился в педагогическом техникуме, в Чека проработал всего нес-

колько дней. Он друг моей сестры. Почти родственник...

— А-а!

— Храбрый парень... Во время побега застрелил двух красных.

— Вижу, что храбрый, даже на меня рысью смотрит. Ну, ладно! Садись, рассказывай.

В низком, тесном для стольких людей и шумном от всеобщего говора помещении был не резон особо распространяться, поэтому Валерий вполголоса и кратко рассказал, как доехал до Якутска, с кем встречался, чего сам добился, как был схвачен и как убежал. Кажется, были названы многие имена. Делая безразличный вид, Томмот прислушивался в оба уха, но разобрать ему удалось немногое. Затем Артемьев стал задавать вопросы, опять-таки упоминая имена людей и называя адреса, а Валерий отвечал.

Услышанным Артемьев, видимо, остался недоволен: обеими ладонями враз отстукнул себя по коленям.

— Мда... Никогда не думал, что обернется таким образом. Тебе, конечно, лучше знать — сам съездил. Хотя многое из того, что ты рассказал, мне уже известно.

— И я такого оборота не ждал. В Якутск я ехал с другими представлениями.

— Да-а... Кажется, в этом среднем мире[1] нет существа ненадежнее человека! — скрюченным пальцем Артемьев провел по волосам от лба к затылку и этим же пальцем злобно погрозил кому-то: — Ну, по-го-дите!

— Какая тут обстановка? — осмелился спросить Валерий.

Рассчитывая на доверительность, он и спросил доверительно, как спрашивают о вещах тайных, ушам посторонним не предназначенных. Но Артемьев против всякого ожидания провозгласил во всеуслышанье:

— Эти верзилы воевать разве умеют? Напасть на спящих и убежать, поджав хвост, как побитые щенки... Наклали полные штаны — и деру! А ведь называются генералами, полковниками!

Томмот, не говоря уже о Валерии, притих, ожидая, что сейчас что-то должно произойти. Но ничего не про-

---

[1] По языческим представлениям якутов мир разделен на верхний (небо), средний (земная жизнь) и нижний (загробная жизнь).

изошло. То ли Артемьев рассчитывал, что из русских по-якутски никто не понимает, а якуты, знающие русский, не выдадут, то ли его власть и независимость были уже столь значительны?

— Насчет плана красных — это правда?..

— Как же иначе! — обиделся на вопрос Валерий. — Доложил командующему.

— Понятно теперь, почему он так спокоен, когда ему говоришь об отрядах из Якутска! — И стукнул себя кулаком по колену. — Рассказывать ему об этом не стоило!

— Как же я мог скрыть, когда был отправлен с таким заданием?

— Перед тем как сказать, надо переварить — что сказать, как сказать и для чего сказать. Вот тут переварить! Тут! — Артемьев постучал себя по лбу.

— Все равно бы из нас вытрясли. Только мы появились, схватили, принялись избивать — и вызнали.

Артемьев глянул на синяки и ссадины Томмотовой физиономии и понимающе усмехнулся.

— Сидим! Ждем, когда Строд сдастся! Дураки...

— Они решили сдаться?

— Сомневаюсь! А вот командующий со штабными шишками — эти нисколько не сомневаются. У красных, дескать, нет другого шанса на спасение. Да как же это они, разгромленные и прогнанные через всю Сибирь, до сих пор не уразумели — кто такие большевики! Коммунист будет стоять на краю могилы — и не уступит!

«Вот в этом ты несомненно прав», — подумал Томмот одобрительно.

— Так сказать им это!

Артемьев многозначительно постучал костяшками пальцев по чурбаку, на котором сидел.

— Вон тот, — кивнул он в сторону Пепеляева, — с утра послал красным ультиматум с предложением сдаться. Так Строд передал, дескать, единолично он решить не может и просит прекратить бой до четырех часов дня, чтобы обсудить наш ультиматум с отрядом. Вот мы сидим и ждем. Уверен, что красные не митингуют, а укрепления строят. Эх, ворваться бы сразу да передушить их как утят! Эта хитрая лиса Строд уже выскочил из моего капкана, обошел стороной нашу засаду. Чует сердце, обведет вокруг пальца и на этот раз. Ну, ждите, простофили, ждите!.. Вроде той собаки, которая приняла

луну за масленую лепешку и дожидалась, чтоб луна упала ей в пасть. Ждите! — Он вынул из кармана часы. — Осталось двадцать минут.

Сам того не желая, Артемьев подал сигнал: вслед за ним и другие стали вынимать часы. От минуты к минуте становился все тише говор, пока не умолк совсем, все гуще становилось облако табачного дыма, студенисто шевелившееся над головами сидящих, все более отчетливо в тишине слышался гуд огня и треск поленьев в камельке. Невольно прислушиваясь, все, как по команде, поворачивали головы в сторону двери, едва там слышалось какое-либо движение. Пепеляев сидел, подперев лоб одной рукой и барабаня по столу пальцами другой. Полковник Леонов в который уже раз доставал из полевой сумки какую-то бумагу, перечитывал ее, прятал и вновь доставал. Вишневский с виду дремал, навалившись спиной на стену. Полковник Суров без конца звякал своими шпорами без всякой нужды, раздражая всех этим звяканьем. Василий Борисов бездумно глядел в окно, ничего не видя там за сплошным толстым слоем льда. В углу унимала ребенка мать — хозяйка дома.

Внезапно тяжкий кулак, как молот, грохнул об стол:

— Все! — С часами в руке стремительно поднялся Суров.

— Да! А их нет! — вслед за Суровым вскочил полковник, высоченный, светловолосый, с продолговатым лицом.

Томмот догадался, что это был Рейнгардт, взявший штурмом Амгу.

— Спокойствие! — подал голос Пепеляев. — До Сасыл-Сысы две версты. Еще пятнадцать минут.

Офицеры послушно сели на прежние места в прежних позах, но теперь беспокойство охватило и самого Пепеляева.

— Поручик, взгляните.

— Слушаюсь!

Адъютант вышел и скоро вернулся.

— Никого нет.

Пепеляев поднялся, вялым взмахом руки разрешил сесть остальным, тотчас вскочившим на ноги вслед за ним, и принялся ходить взад-вперед, неслышно ступая в мягких курумах.

— Идут! — просунул голову в дверь и тут же скрылся постовой солдат.

— Вот, вот... — неопределенно пробормотал Пепеляев, как бы подводя итог своим ожиданиям, и остался стоять там, где остановился, — перед камельком.

Все повернулись к двери.

Ввалился дородный, широкий в кости офицер и, сдвинув вниз с лица толстый шарф, доложил:

— Брат генерал. Парламентер...

Не дослушав доклада, Пепеляев приказал:

— Введите!

Ввели красноармейца с завязанными глазами. Офицер озябшими пальцами безуспешно пытался распутать узел, но подскочивший поручик оттиснул офицера и быстро снял повязку.

Красноармеец зажмурился от света. Это был русский, лет тридцати, по исхудалому лицу его можно было судить о долгих днях недоедания и других бедах, выпавших на его долю. Был он по виду довольно потрепан, но держался уверенно, будто его ждала не скорбная участь пасть от пули, а только высокое счастье.

— Гражданин генерал! Вам...

Генерал поспешно взял поданный ему пакет, криво надорвал его и выхватил из пакета небольшой лист бумаги, чуть не выронив его на пол. Руки командующего заметно дрожали.

Пробежав письмо глазами, Пепеляев посмотрел на красноармейца, опять склонился к листу и, вдруг откинув письмо прочь, крикнул сорвавшимся голосом:

— Он предлагает сдаться мне!

Воцарилась тишина. Офицеры, переглянувшись между собой, зашумели:

— Ка-ак?!

— Он — нам?..

— Чтобы мы?..

— Да, да, — сдаться нам! Трудно поверить, но это так! Полковник, прочтите вслух.

Адъютант поднял с пола письмо и подал Леонову.

— *«...Вы бросили вызов всей Советской Сибири и России,* — зычно, словно боевой приказ, начал читать полковник. — *Вас пригласили сюда купцы-спекулянты и предатель-эсер Куликовский. Народ не звал вас. С оружием в руках он стал на защиту Советской власти... Якутская интеллигенция идет вместе с трудовым народом...»*

— Без крика, полковник! Не надо кричать... — недовольно бросил Пепеляев.

Леонов поперхнулся, откашлялся и стал дочитывать:

— *«...Сложить оружие отряд отказывается и предлагает вам сложить оружие и сдаться на милость Советской власти, судьба которой не может решиться здесь. Ваша же авантюра будет похоронена здесь, в Якутии. Помните, что народ — с нами, а не с генералами!»*

С минуту было тихо. Потом кто-то (Суров, кажется) слегка хохотнул, и вдруг хохот двух с лишним десятков мужчин потряс стены этого тесного дома.

Смех удивил парламентера, он растерянно стал разглядывать всех поочередно. Пепеляев, уже немного успокоясь, ждал, пока дружинники смолкнут.

Смех прекратился так же внезапно, как и взорвался — будто наваждение нашло на всех и тут же ушло.

Пепеляев обратился к парламентеру:

— Вы, наверное, хорошо укрепились?

— Мы готовы встретить вас.

— Наверное, вы все коммунисты? Во всяком случае, вы-то уж коммунист?

— Нет, гражданин генерал, еще не стал коммунистом. Коммунисты у нас есть, но большинство — беспартийные.

— У вас нет ни малейшего шанса спастись, скажите это другим красноармейцам, своим друзьям. Ладно?

Парламентер нетерпеливо переступил с ноги на ногу: разговор этот был для него бессмысленным.

— Гражданин генерал, скажите: сдаетесь вы или нет?

Пепеляев помрачнел и отвернулся.

— Поручик! — подошел он к адъютанту. — Пишите. «...Переговоры считаю законченными. Открываю военные действия».

Генерал взял у адъютанта карандаш и размашисто расписался. Вырвав лист из блокнота и сложив вчетверо, адъютант вручил его парламентеру.

Красноармейцу завязали глаза.

— До свидания, — сказал он, засовывая бумагу за пазуху. — Встретимся! Там, в Сасыл-Сысы...

Парламентера вывели.

— Братья офицеры — к столу, — скомандовал генерал и направился на прежнее свое место под божницу. — Полковник, карту!

— Брат генерал, я требую выслушать меня, — заявил Артемьев.

Пепеляев удивленно взметнул на него косматые брови. Леонов перестал разворачивать карту. Адъютант замер с табуреткой в руках. Все обернулись к Артемьеву.

— Слушаю вас.

— Судьба нашей кампании во многом будет зависеть от решения, которое будет принято сейчас.

— У вас есть какое-либо предложение?

— Надо прекратить наступление на Сасыл-Сысы.

Все разом заговорили: разочарование, насмешки (не хочет ли он драпануть от Строда и во второй раз!), возмущение безответственностью, возмущение бесцеремонностью (стратег из хотона сует свой нос в дела командующего), иронические аплодисменты «браво!».

— Надо прекратить это бессмысленное наступление! — властно повысил голос Артемьев. — Надо двигаться на Якутск и взять его в ближайшие дни, пока красные не стянули туда силы и не успели возвести укрепления.

— В эту ночь Строду — крышка!

— За ночь Якутск от нас не уйдет!

— Я человек прямой, — уверенно возразил Артемьев. — Привык говорить в открытую. Сомневаюсь, что ночью будет успех: мы дали красным укрепиться. Если уж мертвецки спящих не удалось их сломить, то теперь...

— Не вам бы, Артемьев, упрекать нас! — перебил его генерал Вишневский. — Наша вчерашняя неудача — это продолжение вашей неудачи. Мы имеем дело с противником, который...

— Который будет драться до последнего патрона! — подхватил Артемьев. — Стоит подумать, во сколько жертв обойдется нам эта осада. Мое предложение — овладеть Якутском, а затем без труда можно будет прихлопнуть и Сасыл-Сысы.

— Он думает, что Строд будет сидеть и дожидаться этого желанного часа!

— Да, он будет сидеть и дожидаться! — с дерзкой заносчивостью отпарировал Артемьев. — Мои люди будут держать его здесь, как в капкане! Ни щели, ни поры ему не оставим!

Пепеляев со стуком опустил сжатые кулаки на стол:

— Спасибо, Михаил Константинович, — сказал он Артемьеву. — Ваше радение я высоко ценю, однако не могу согласиться с вами. Мы никак не можем оставить

за собой отряд Строда. Логичнее будет покончить с ним и двинуться на Якутск, имея обеспеченный тыл за спиной.

—У стратегов из хотона своя логика! — засмеялся полковник Суров.

Артемьев с размаху впечатал в стол рукоять пистолета.

— Еще одно слово, полковник...

— Братья! Братья... Успокойтесь... — Пепеляев примирительно повел руками. — А вы, полковник, попридержите язык! Слушайте мой приказ: завтра на рассвете дружина штурмует Сасыл-Сысы. Операцией буду руководить я. Да поможет нам бог!

Глава двадцать седьмая

Верстах в семи, не доезжая Абаги, у подножья небольшой горы вблизи речки старик Аргылов приглядел для себя дом. Хозяин его, оставшись вдовым и не стерпя одиночества, еще с лета переселился куда-то к родственникам. Место хорошо было своей уединенностью и вместе с тем не столь уж большой удаленностью от тракта. Живущих в двух юртах по соседству Аргылов сейчас же приспособил к работе: кто-то из них уже таскал дрова и нагонял в дом тепло, кто-то наводил чистоту. Шум большого сражения за рекой, о котором рассказал ему старик сосед, не обеспокоил Аргылова. Он был уверен, что там приканчивают, если уже не прикончили Строда.

Осмотрев новое жилье и усадьбу, Аргылов остался доволен: дом был просторен и имел хотон, обмазанный нынче осенью, добротно срубленный амбар, во дворе — юрта, там у бывшего хозяина жили хамначчиты. Левая половина юрты была перегорожена тонкими листвяшками — видимо, там, в перегородках, содержали свиней. «Окажется, что жить на старом месте нельзя, так можно эту усадьбу совсем купить», — думал Аргылов.

Вернувшись вечером в слободу, он с радостью обнаружил дома Суонду, привезшего воз сена, а утром следующего дня в заботах о переезде пошел в штаб, где после долгих поисков Сарбалахова наткнулся на того во дворе. Видя, что Сарбалахов не расположен вести беседу, Аргылов схватил его за рукав.

— Да подожди ты! Что это вы все зашмыгали, как бурундуки?

— Тут зашмыгаешь! Слыхал про Сасыл-Сысы?

Слишком много разговоров про этот алас, хотя его и аласом-то не назовешь — полянка. Лес нависает со всех сторон, из-за деревьев можно шутя перестрелять всех этих... И что с ними возятся так долго?

— Ну, ладно, какое дело у тебя?

— Тарас, мы переезжаем.

— Куда?

— В сторону Абаги.

— Хуже места не отыскал?

— С хозяйством тут не слаживается. Много сумятицы, а я привык к тиши. Да вот загвоздка: выехать-то можно, лишь взяв на это бумагу. Помоги мне достать ту бумагу!

— Эх, нелегкая тебя принесла! — Сарбалахов с досадой покрутил носом. — Начальники наши рассвирепели, только знай что требуют подвод да продуктов. Ну, что с тобой поделаешь...

Сарбалахов завел старика к начальнику Амгинского гарнизона полковнику Андерсу, объяснил, кто он такой и почему нуждается в пропуске.

— Аргылов, Маргылов — мне безразлично. Ему можно верить?

— Конечно. Это подтвердит и полковник Рейнгардт. Старик был у нас проводником, когда мы брали эту слободу.

— Вот что. Если он такой надежный человек, то пусть завтра поедет с вами на сбор подвод и продуктов. Пропуск и батраку? Пусть и батрак поедет с вами. В таком случае я вам дам только одного солдата. Хорошо? Я им — пропуск, они мне — коней да мяса. Передайте ему.

Сарбалахов перевел старику.

— Говорил ли ты, что я оказывал им помощь и раньше?

— Сказал я. Но он распорядился так.

— И вот еще что растолкуй этому старику: не будет путем помогать, поплатится головой. — Андерс постучал кулаком в дощатую перегородку: — Прапорщик!

«Дурак! — подумал Аргылов. — Может, ты потому и расположил здесь свое пузо, что тогда я согласился быть проводником!»

Пропуск Аргылову выписал прапорщик.

— Так вот, старик: сегодня переезжай, а завтра поедешь с нами. И без выкрутасов: полковник если сказал, так отрезал! — Сарбалахов намерился уйти.

— Мог бы сказать без ругани, без угроз — и без того я вам помогал раньше. Суонду брать с собой?

— Бери и его. Присмотрит за лошадьми.

— Тарас, помоги: одолжи одного коня. Сегодня перевезу кладь, а завтра поеду с вами. Ведь я для вас делал и не такое и еще помогу.

— Ухватистый ты старик! Ладно, идем...

Домой Аргылов вернулся с пропусками в кармане и с запряженным в сани конем.

В условленное утро на трех подводах отправились в южные наслеги. Обоз, как прежде, возглавил Харлампий, в середине поехали Сарбалахов с Угрюмовым, Аргылов с Суондой замыкали. Садясь в сани, Угрюмов на Аргылова не взглянул. Суонде было невдомек, куда и зачем они едут, а спросить ему и в голову не приходило. Видя увязавшихся с ними вооруженных людей, он только удивленно взглянул на Аргылова.

Проехали с кёс до слободы, остановились дать коням передых. Старик Аргылов отозвал Сарбалахова в сторону.

— Тарас, хочу попросить тебя об одолжении, — сказал он, поглаживая грудь собеседника тыльной стороной собачьих рукавиц.

— Интересно, о чем ты хочешь попросить среди тайги?

— Не надо мне ни пушнины, ни тучного зверя, это я и сам еще могу добыть. Я прошу только о том, что в твоей власти.

— Если окажется в моих силах...

— Нет, без «если»! Скажи: «выполню обязательно».

— Ну ладно, пусть так.

Старик заговорил с необычной для себя горячностью.

— Сам знаешь, в этом солнечном мире ничего нет ужаснее, чем лишиться доброго имени. После смерти, как говорят, от щуки остаются зубы, от человека — доброе имя. А порушил мое доброе имя старик Чаачар. Сделал из меня человека, на которого ни собака не лает, ни корова не мычит. В тот раз ты сам слышал, как он меня клял-проклинал. Мало того, треклятый старик удумал ходить по людям и разносить обо мне хулу. Да если б только обо мне. А то каркает, что ко-

нец скоро делу Бэппеляева. Надо бы заставить его замолчать.

— Арестовать? Этого у нас не одобряют.

— Возиться еще! Или кроме ареста нет способа заставить человека замолчать? Зачем же вы таскаете с собой эти штуки? В лесу, кроме ворона, нет ни единого существа. Или пули жалко?

— Зря не болтай, старик! Попадись нам красные, увидел бы мою щедрость!

— Чаачар опасней любого красного!

— Если мы его... уберем, не подымется ли сыр-бор?

— Пустое! В такую сумятицу кто поднимет шум? Да и сами мы не покажемся, пошлем Харлампия без ружья...

— Одно беспокойство с тобой, старик!

— Тарас, ты мне как родное дите, — стал улещивать его Аргылов. — Просьбам — счет, мольбам — учет... Да и говорю тебе — пошлем Харлампия. У этого рука не дрогнет!

— Нет, старик. Не сердись, но это уже слишком. Что уж за тяжкая вина такая — ну, покричал человек, погорячился... Не шутка же ему лишиться единственного коня!

— Тарас, ты давал слово!

— Донесем в штаб, там рассудят.

— Э, рассудят! Не думал, что отбросишь слова мои в грязь...

Из-под сена в санях Аргылов вынул и выложил на сиденье куски вареной говядины и конского нутряного жира, настрогал мерзлой стерляди, выставил бутылку спирта. Все принялись есть и пить, исключая Суонду, который пожевал строганины и, зная свое место при господах, отошел.

— Ах, сынок ты мой Тарас! — захмелев, принялся опять сокрушаться Аргылов. — Не думал я, что покорную просьбу мою, смирное мое слово с уздечкой и поводком ты отбросишь!

И тут Сарбалахов размягчился:

— Ну ладно! — сказал он, пережевывая стружки строганины. — Если согласится мой начальник...

Угрюмов, которому перевел он просьбу старика, глянул на остаток спирта в бутылке и кивнул утвердительно.

— Он согласился! Ну, старик, распоряжайся Харлампием.

Аргылов увел Харлампия к передним саням, и вскоре тот умчался. Угрюмов между тем отбросил в сторону кость и обратился к Сарбалахову:

— Передай ему: я согласился на его просьбу, так пусть и он выполнит мою.

Сарбалахов перевел.

— Чего он хочет? — спросил Аргылов.

— Он должен выдать за меня свою дочь, — сказал Угрюмов.

— Так брат ее не согласен! Сами же видели в прошлый раз.

— Черт побери, какое его собачье дело? Женюсь-то я не на нем! Передай этому чучелу.

Сразу не зная что ответить, Аргылов заколебался:

— Постараюсь уговорить сына. Посоветуемся... Тарас, ты ему передай это помягче. Пусть немного подождет.

— Ничего я не стану ждать! — вскипел Угрюмов. — Я солдат. Сегодня — жив, завтра — убит. Одно из двух: если он «нет», то и я — «нет»!

— Ладно... Скажи, что согласен.

— Сарбалахов, предупреди старика: пусть никто мне не мешает! Всех перестреляю!

Доели строганину, допили спирт, остатки еды убрали под сено и уже расселись было по саням, когда примчался Харлампий. Завернув на обочину, он остановил коня. На санях, вниз лицом, бездыханный и плоский, как доска, лежал старик Чаачар.

— Застал старого черта дома? — спросил его Аргылов.

— Я ему: вызывают в сугулан, он — ни в какую. Ну, я его взял в охапку, вытащил и — на сани. Домашние — в три ручья, догадались, кажется. Меня вроде признали...

Чаачар только очнулся от обморока и чуть приподнял голову:

— Это ты здесь, старик Митеряй! Сверстничек... Догадывался я: вконец изживешь... — Тут он попытался было приподняться на руках, но не смог, закашлялся, изо рта и носа, пузырясь, хлынула темная кровь.

Уже взявшегося за ружье Харлампия остановил Сарбалахов:

— Митеряй, ротмистр говорит, что возле дороги нельзя. Отведем в лес.

Суонда сидел на пне, зажмурив глаза и закрыв руками уши, Аргылов тумаками погнал его к саням, и вскоре они свернули в лес на заброшенную дорогу.

— Давайте здесь. — Первым сошел с саней Аргылов. — Не велика птица...

— Ротмистр, можно здесь? — спросил Сарбалахов.

— Я ничего не знаю! Это ваше, якутов, дело, — отвернулся Угрюмов.

— Управляйтесь скорей! — выпрыгивая из саней, крикнул Сарбалахов.

Харлампий схватил Чаачара за ворот облезлой дошки и рванул. Ветхая оленья шкура порвалась.

Неимоверно коверкая слова, дюжий Харлампий выматерился по-русски, схватил старика и легко, будто не его самого, а одну лишь ветхую доху, выкинул из саней на снег. Не в силах встать или приподняться, Чаачар лежал, хватаясь за грудь и натужно дыша.

— Давай, давай! — нервно торопил Сарбалахов.

Харлампий лязгнул было затвором винтовки, но тут вмешался Аргылов:

— Подожди! Не хочу я псине этому доставить удовольствие быстрой смерти... Сначала я его заставлю каяться. Другой встречи у нас не будет, — Аргылов подошел к Чаачару и хлестнул его кнутом. — Встать! С каких это пор ты стал таким важным господином, что смеешь разговаривать со мной лежа?

Чаачар поднялся на четвереньки.

— Ты, собака, ходил по людям и везде облевывал меня...

— А разве... это неправда? — прохрипел Чаачар.

— Будешь еще спорить, мерзавец? Стой на ногах!

Трясущийся Чаачар из последних сил поднялся.

— Слушай, выродок! Если дашь слово, что пойдешь по наслегу и будешь говорить всем, что ты меня оболгал, то я отпущу тебя. Откажешься — сейчас же будешь расстрелян. Ты слышишь, собака, что тебе говорят? Ну!

Уже не чуя боли, исхлестанный плетеным ремнем, старик стоял будто уже не живой. Из рассеченной головы кровь ручьем текла по лбу и заливала ему лицо.

— Я тебя уломаю! — хлестал Аргылов. — Ты у меня заговоришь! Говори! Моли меня! На колени передо мной! На колени! Черная собака, скажешь хоть слово или нет?

Старик Чаачар вызывающе выпрямился, белая его голова стала от крови красной. Отирая ладонями заливающую глаза кровь, он прохрипел что-то.

— Ага, заговорил! Язык на месте! Что там хрипишь? Говори громче!

Аргылов приподнял наушник шапки и приблизился к окровавленному старику. А тот чуть подался назад, затем вперед, будто его покачивало, и плюнул в подставленное лицо Аргылова сгустком крови, вложив в этот плевок все — и ненависть, и отчаяние, и боль, и обиду, и месть.

Ослепший от этого неожиданного кровавого плевка, а еще больше от ярости, Аргылов исторг звериный вопль и, не утерев даже лица, свалил Чаачара наземь и принялся остервенело бить ногами захлебывающегося в собственной крови старика.

Угрюмов брезгливо следил за всем со стороны.

Не выдержав ужасного зрелища, Сарбалахов закричал Харлампию:

— Взбесился старик! Чего стоишь? Стреляй!

Харлампий отстранил Аргылова и выстрелил в старика, но до сознания Аргылова выстрел, казалось, не донесся — выкрикивая что-то бессвязное, он в самозабвении, как шаман, продолжал кружиться и подпрыгивать, уминая под собой снег.

— Отведи-ка старика. Совсем лишился рассудка, — велел Сарбалахов Харлампию.

Тот подвел Аргылова к саням, уложил его, а Сарбалахов стал горстями прикладывать снег к его лицу.

— Успокойся, Митеряй!

Аргылов сидел, запаленно дыша, как человек, пробежавший целый кёс, и вдруг опять рванулся, заметив чернеющий труп Чаачара. Сарбалахов, придавив плечи Аргылова, усадил его обратно.

— Харлампий его добил. Приди в себя. Мы твою просьбу выполнили. Лицо хорошенько вытри, в порядок приведи себя — людей встретим.

Аргылов вытер лицо ошейником, долго оттирал пучком сена ноги и грудь.

— Трогайте! — стал торопить всех Сарбалахов и обернулся к Харлампию: — Иди, забросай его снегом хоть слегка.

— Пусть лежит! — прохрипел Аргылов. — Пусть ворон выклюет его глаза!

— Поехали, поехали! Старик Митеряй, а где же твой человек?

Аргылов обеспокоенно вскочил:

— Суонда! Куда, сукин сын, задевался? Суонда!

— Не навострил ли он лыжи?

— Не, он у меня — как собака на поводке. Суонда!..

— Харлампий, посмотри-ка его следы, — распорядился Сарбалахов.

Суонду обнаружили неподалеку. Он лежал на снегу, обхватив голову руками.

— Подымайся, дылда!

Харлампий пнул его в бок, но Суонда не шевельнулся. Подошел Аргылов.

— Трусоват малый. Душа его, надо думать, чуть не отлетела. Вставай!

Спина Суонды затряслась: его рвало.

С большим трудом доволокли Суонду до саней, бросили поперек.

— Какой толк от него теперь? — Сарбалахов неприязненно оглядел тело-тушу Суонды. — Не хватало еще с ним нянчиться!

— Звездануть хорошенько прикладом — мигом очухается! — Харлампий с готовностью достал ружье из-за спины.

— Не надо! — остановил его Аргылов. — Да, теперь он нам не помощник. Придется отправить его назад.

— Быстрей! Быстрей! — Теперь всех торопил Угрюмов.

Выехав на большую дорогу, Аргылов намотал вожжи на руку все так же лежащего колодой Суонды, завернул коня обратно и стегнул кнутом. Сам он подсел к Харлампию.

К новой усадьбе хозяев Суонда подъехал к вечеру. Зайдя в дом и никому ни слова не сказав, он улегся на свою кровать и даже вечером не занес обычную охапку дров, не задал коню корма, не поднялся и на ужин.

— Суонда, что с тобой? — допытывалась Кыча. — Или заболел? Где у тебя болит?

Молчание.

— Суонда, ты простыл?

Молчание.

— Отец поругал? Ты плюнь на это!

Суонда отрицательно затряс головой.

— Тогда что? Одет ты очень легко. Ой, да у тебя жар! Горячего молока тебе дам. Получше накрою тебя. И спи. Ладно? Суонда... На, попей молока! — Кыча стала гладить его по плечу. Затем, перегнувшись, она все же заглянула ему в лицо и отшатнулась: лицо его вспухло от слез, а слезы все лились.

— Плачешь? В какую же ты попал беду? Ну, успокойся...

Перегнувшись еще раз, Кыча нюхнула Суонду в затылок и, гладя его плечи и спину, стала приговаривать:

— Спи, Суонда. Не плачь... Не надо... Спи.

...Ночью, проснувшись, он ощупал себя и вокруг себя: кровать, стена. Как же это? Только вот сейчас, миг назад, он лежал там, в лесу, а Чаачар, весь в крови, поднимался на четвереньках, и ужас объял Суонду. Сон был это...

Бедный, бедный старик Чаачар! Всю жизнь кроме работы ничего не знал, жил смиренно. И вот такое... И прежде Суонда знал, что суров и жесток его хозяин старик Аргылов. Но что такой зверь лютый, рассказать — язык не повернется. И как это матушка-земля носит на себе таких извергов?.. Какое чудовище почитал Суонда своим господином! Так тебе и надо: не ходи безропотно как скот, куда погонят. Дурак, в позапрошлом году ему в ревкоме столько старались втолковать. А он только упрямо мычал! Если б он тогда по закону ушел, может, миновала б его эта беда. Но куда ему деться сейчас? Кто его примет под свое крыло, кто станет с ним вожжаться? Кто теперь на такого взглянет с добром? Все скажут: это — пестун бая Аргылова. Хотя он только хамначчит, но кровь, пролитая хозяином, измазала, конечно, и его. Да это так и есть: он весь в чужой крови... Голубка Кыча этого не подозревает, потому и гладит его. Еще нюхнула его — совсем как в детстве. Эх, хоть бы к ней, голубушке, не пристала и капля крови, хоть бы она, родимая, продолжала оставаться чистой, как белый снегирек.

Суонда зажмурил глаза и закрыл ладонями уши: перед глазами опять возник Аргылов, опять в ушах его вопль. Чудище, как он терзал Чаачара, стараясь сломить его! Суонда, хоть и лежал на снегу вниз лицом, чтобы не видеть этого ужаса, но чувствовал все, что происходит. О, как крепка бывает, оказывается, воля у человека! Старик Чаачар умер, так и не сказав ни слова,

без сожаления и без мольбы. И правда, ему, безгрешному, не о чем было молить, а жалеть он мог лишь об одном: очень долго глаза его оставались нераскрытыми, и он все гнул спину перед Аргыловым. Что он подумал, когда увидел меня?.. «И он тут, с этими хищниками, чтобы оборвать мою жизнь?» Бездну ненависти унес старик в сердце... Но Суонда не виноват, он даже не знал, куда и зачем едет. Видит бог, вины за ним нет. И все-таки правда, что сам ты вор, если водишься с ворами, кровосос, если ходишь в их стае.

«Ты виноват! — старик Чаачар стоял перед глазами Суонды. — Видел и допустил! В мою защиту не проронил и слова, не шевельнул даже пальцем!» Когда его тащили к саням, Суонда краем глаза успел заметить: бедняга Чаачар лежал на снегу. Но почему кажется, что он живой? Почему выстрелили в него только раз, ведь одним выстрелом иногда и чирка не убьешь, да в такой суматохе недолго и промазать. Стрелял, пожалуй, Харлампий. Этот выродок был пьян, говорят, что у пьяных в глазах двоится. С пьяных глаз он мог ошибиться и выстрелить во второго — в тень. А если и в него, так могли лишь ранить. Может, я оставил старика раненого в лесу, а сам валяюсь тут в тепле? Суонду охватило смятение. Ему уже никак не возможно было оставаться здесь дальше и лежать. Если он сейчас ничего не предпримет, то будет потом терзаться всю жизнь. Лучше умереть, чем не сделать хоть с капельку хорошего, имея к тому возможность. Схватят и обвинят в оказании помощи красному— так некому о нем слезы лить. Разве лишь Кыча...

Суонда тихонько встал, оделся и вышел. На черном чуть с синевой небе ярко расселились бесчисленные стада звезд. Слабый свет от каждой сливался воедино и жил на земле ровным, голубоватым горением. Оглядев небосвод, Суонда определил: первая половина ночи. Он сходил на баз, запряг коня, взял уже вожжи в руки, когда его осенила неожиданная мысль. Суонда привязал коня к городьбе и пошел к амбару. На двери амбара висел большой, с собачью голову замок. Суонда потрогал его, замок обжег его огненным на морозе железом. Что-то неразборчиво зашептал, гулко сглотнул застрявший в горле комок, опять зашептал и неумело перекрестился. Сжав зубы, Суонда решительно крутнул замок, вырвав из гнезда пробой. Не решаясь войти сразу в это для него святилище, он еще раз перекрестился и быстро вошел в

амбар. Спустившись в подвал, он отыскал на ощупь и выбросил наверх куль муки и два стегна говядины. Согнутый пробой, он всунул в старое гнездо, не заботясь даже о том, чтобы его выпрямить, и пошел к саням, таща куль муки под мышкой и два стегна на одном плече.

Поехал Суонда по безлюдным местам, минуя слободу и другие деревеньки, стремясь пройти снежной целиной по тропам и дорогам, известным ему одному. Чуть позже полуночи он стал подъезжать к тому лесу. С приближением к страшному месту он ехал все медленней. На развилке дорог он сошел с саней и прислушался. Далеко впереди, в тайне леса, он услышал звук, похожий на крик ворона. Вздрогнув, Суонда направил коня на боковую тропу.

Вскоре он добрался до места.

Не сходя с саней, из-за крупа коня он стал вглядываться в окружающую темень. Глаза слезились, он то и дело протирал их меховой рукавицей, пока не рассмотрел на истоптанном снегу неясное пятно. Затем, сойдя с саней, Суонда приблизился к этому пятну, наклонился, приложив ладонь ко лбу старика, и сейчас же отдернул. Так и знал: эти звери разве уйдут, не доконав?

Суонда принес с саней лопату и кайло, стал копать возле трупа могилу. Земля была крепка, как камень, из-под кайла сыпались искры. Копал Суонда долго, но могильная яма углублялась совсем незаметно, по колено — больше он не выкопал. Взглянув на звезды, Суонда оторопел: ночь была уже на исходе.

Он выровнял дно ямы, принес с саней охапку сена и выстлал дно могилы, поднял труп Чаачара, перенес и положил его на сено. Одна нога старика была согнута в колене, а рука со сжатым кулаком вытянута вверх. Суонда потрогал их, желая положить поудобнее, но, схваченные морозом, они не поддавались. Суонда попытался отогреть его веки пальцами, чтобы закрыть глаза, но все было напрасно. Тогда он сорвал с головы облезлый треух.

— Старик Чаачар, ты на меня ради всего не сердись, — сказал он, не издавая ни звука, а только про себя. — Моя вина в том, что пришел с ними, — хозяин велел... Ну, прощай! Не держи зла на меня за то, что плохо прибрал, весной доделаю. А сейчас, до поры до времени, я тебя укрыл, чтобы не дать на растерзание зверью. Прости...

И принялся зарывать могилу. Старик Чаачар уставил остекленевший взгляд в звездное небо, осенявшее землю, по которой он столько лет ходил и на которой всю жизнь прожил ее вечным тружеником.

Суонда бережно разгладил, разровнял на могильном холмике насыпанный им снег.

— Спи... — И перекрестился.

Выехав на большую дорогу, Суонда направил коня к жилью покойника. До аласа, где жила осиротевшая семья старика Чаачара, он доехал быстро, а доехав, остановил коня поодаль от юрты.

Из трубы камелька изредка вылетали одиночные искры: обитатели юрты, наверное, только легли спать, напрасно прождав всю ночь своего старика. Потихоньку, чтобы никто не услыхал, Суонда перетащил стегна мяса и куль муки и положил их в клеть, пристроенную к юрте, — так, чтобы они не сразу бросились в глаза.

Затем, отойдя от юрты, Суонда оглянулся. Из трубы по-прежнему вылетали редкие искры: хозяина здесь еще ждали.

В слободу Валерий и Томмот вернулись к ночи, а наутро полковник Андерс распорядился обойти все дворы, собрать у жителей хлеб, испеченный для дружины, и к вечеру снарядить и отправить в Сасыл-Сысы обоз с продовольствием.

В который уже раз вспоминался Ойуров: да, удел разведчика — это ходьба по острию ножа, это пытки и смерть в случае провала. Но самое мучительное — и он же, Ойуров, про то говорил — бесславье. Легко ли расстаться с жизнью, помня, что никто не узнает, ради чего ты расстался с нею? А легко ли вот так, как нынче, своими руками помогать врагу, да еще притворяться усердным?

— Ты поедешь по левой стороне улицы, а я — по правой, — распорядился Валерий, — так быстрей обойдем.

«Вот и хорошо! — обрадовался Томмот. — Это то, что мне надо». У него была цель встретиться во время этого обхода со своим человеком, вернувшимся из Сасыл-Сысы.

Хлебы, печенные из муки продзапасов дружины, хозяйки сами выносили и складывали в сани под большую охапку сена, а Томмот все высматривал русского, кото-

рого ему описали: высок, русоволос, голубоглаз, с крупным хрящеватым носом и рыжими бровями. Столкнулся он с ним нежданно-негаданно во дворе за складами, потеряв уже надежду на встречу.

— Чего тебе? — чисто по-якутски спросил тот, сматывая конопляную веревку.

— Мне бы увидеть Прокопия Савельева, — ответил Томмот по-русски.

— Э, да ты, догор, перейди на якутский. Или не разумеешь? Беда-беда! Забыл человек родной язык!

Это был их пароль. То сматывая, то разматывая веревку, Прокопий Савельев сообщил, что после того, как Пепеляев ничего не добился восемнадцатичасовым штурмом, белые еще раз атаковали Сасыл-Сысы, и опять безуспешно. Говорят, красные на этот раз особенно отпугнули их осветительными ракетами: ночь на несколько минут превращается в белый день, и этот неожиданно яркий свет сильно действует.

— Был слух, что Пепеляев снял осаду...

— Хитрость! — махнул рукой Савельев. — Ловушка. Сейчас он уже ни шагу не двинется, покуда у него в тылу чирей этот. Готовят новый штурм. Ты что везешь?

— Хлеб вот везу. На склад...

— Тогда вези! Неудобно мы стоим, на виду.

Савельев сам взял коня под уздцы и подвел сани к дверям склада, к которому он, как старый обозник, был прикомандирован. Дежурный интендант на складе оказался русский унтер-офицер, поэтому Савельев и Томмот могли без опаски разговаривать по-якутски. Пока переносили хлебы из саней в склад и одутловатый интендант несколько раз их пересчитывал и записывал на бумагу, пока вслед за тем обозник Савельев придирчиво осматривал сани и подтягивал гужи в упряжке, Томмот многое от него узнал.

Вчера 16 февраля около полуночи из Табалаха пришел новый приказ Пепеляева, в котором полностью приводится расшифрованное донесение Строда в Якутск. Донесение было послано с нарочным после первого боя с Вишневским 13 февраля, но перехвачено пепеляевцами. Приводится в приказе также и устная депеша с тем же нарочным: лучшие командиры ранены, Строд ранен в правую половину груди, ранение слепое, дышит тяжело.

Печальная это была весть! Сколько же они сумеют вот так выстоять и как им помочь? И только одно утеше-

ние теплом отзывалось в душе: донесение уже передано в Якутск через Чурапчу по телеграфу. Милый старикашка Охоноон, как ты там живешь сейчас в своей промерзшей юрте, сколько горностаев добыл, а главное — сколько полезных известий добыл и передал?

Томмот успел расспросить Савельева о своих людях в слободе, в Чакыре и Абаге — кто они, чем занимаются, какова их наружность.

— Если потребуется что-нибудь в мое отсутствие, — добавил Савельев, — найди в церкви дьякона Григория. Фамилия его Носов. Он замещает меня. Пароль: «Свечи продаются? Я бы взял пяток». Он должен ответить: «Пяти нет, имеем только три».

— О численном составе и вооружении дружины сведения есть? — спросил Томмот.

— Уже передал.

— Какие-нибудь изменения замечены?

— И это уже передал.

— Сейчас твоя главная задача держать под наблюдением тракт Амга — Якутск. В случае засады сейчас же передать по линии. За этот участок дороги отвечают твои люди, а товарищу из Абаги передай, что на ответственности его людей дорога Амга — Чурапча. В Абагу я сам собираюсь, но может получиться так, что не встречусь с ним. Меня не ждите, я могу задержаться. Постарайся надолго не отлучаться из слободы. Как ты поддерживаешь связь с Якутском?

— Через Чакыр.

В просвете между домами проехали груженые сани с Валерием на передке, он заворачивал сюда, к складу. Собеседники распрощались без обычных пожеланий друг другу и без рукопожатия.

На снаряжении обоза Томмоту пришлось работать за двоих, таская мешки, тюки, туши и увязывая их на санях: Валерий незаметно исчез. После выезда отца с семьей в Абагу он спешил воспользоваться свободой и частью припасов, оставленных Аргыловым.

Когда поздно вечером Томмот вошел в дом, шум и чад большого загула остановил его в дверях. На трапезном столе были разбросаны объедки мяса и хлеба, куски мороженого масла и расставлены высокие тонкошеие бутылки, большей частью уже порожние. Заметно пьяные

Чемпосов с Валерием не удивили Томмота, зато третий заставил его отшатнуться: обочь стола вполоборота к собутыльникам, как бы подчеркивая свою непричастность к ним, сидел подполковник Мальцев. «Не за мной ли опять? — подумал Томмот. — Этот хвост, как видно, долго еще будет за мной тянуться!»

— А-а, Чычахов! — пошатываясь, Валерий пошел ему навстречу. — Ну как, обоз отправил?

— Отправил. Андерс объявляет тебе благодарность.

— Ха-ха. Вот как надо делать: деревья пусть валят другие, а ты подбирай белочек. Раздевайся, садись к столу. — И, подойдя вплотную, шепнул: — Мальцев Николай Николаевич. Тот самый?

— Тот самый...

— Смотри, таких людей лучше не сердить, потому и зазвал в гости. Сделай вид, что меж вами ничего не было. — И подошел к Мальцеву: — За обоз, снаряженный нами в Сасыл-Сысы, полковник Андерс мне благодарность объявил. Знакомьтесь, Чычахов.

— Разве ты успел меня позабыть? — снизу вверх исподлобья глянул зловещий гость.

— Нет, помню...

— И не забудешь! Кто попадает в мои руки, запоминает меня на всю жизнь. Ты кто таков?

— Чычахов я...

— Я не фамилию спрашиваю. Кто был твой отец?

— Охотник.

—Батрак?

— Да, батрак! Хамначчит...

— А сам кто?

Томмот промолчал. Желая свести все в шутку, Валерий, смеясь, ответил за него:

— Чекист он, Николай Николаевич! Он чекист, осторожнее с ним!

— Знаю! — без всякой шутливости отозвался Мальцев. — Как, ты сказал, тебя зовут? Хамначчит?

— Меня зовут человек.

— Ты — человек? Ах ты обезьяна!

Наступила долгая пауза. Валерий вмиг сообразил: притворившись пьяным, он уронил голову на стол. Томмот медленно поднялся и вышел из-за стола, укрощая себя: «Нельзя, держись! Нельзя, держись!» Чемпосов, понимая его, поднялся тоже и подошел его успокоить.

— Это он спьяну! — шепнул он, поспешно вернулся к Мальцеву и с почтительностью полового налил ему еще один стакан.

Тот схватил стакан и, ни на кого не взглянув, выпил.

— Брат полковник... — обратился к нему Чемпосов.

— Я тебе брат? — еще держа себя в берегах, вежливо осведомился Мальцев.

— Знаю, что вы, господин полковник, говорите это во хмелю. Но обращение «брат» предписал генерал Пепеляев. Ваша дружина пришла освободить якутов от коммунистов, вручить им свободу, вручить им основы государственности...

— Государственность якутам! — как от зубной боли простонал Мальцев. — Как собаке юбка... Свобода? Но что будет делать со свободой дикарь? Свобода дикости — это свобода? Что будет делать дикарь со свободой — лепешку себе испечет? Талдычат нам: якутский народ нас пригласил! Пригласили... Ни подводы, ни куска мяса от вас без насилия! Эсер Куликовский — вот кто нас сюда приглашал! Знаете такого? Управляющий Якутской областью...

— А Никифоров? А Попов? — вставил вопрос Чемпосов. — Разве они не якуты?

— Якуты, да только на остальных якутов им плевать!

— Неправда! Генерал Пепеляев в своих воззваниях...

— Пепеляев! В своих воззваниях! Сказочки для дураков... А вы знаете, что он сказал нам? — перегнулся Мальцев через стол. — До поры до времени не обижать якутов, обещать им все! До поры! А потом мы поддадим им под зад, ох, поддадим! Все богатства этого края будут наши! Вот так, мои любезные. Мы победим, а после победы будете управлять вы, якуты, — так, что ли? Вот вам! — и с грубостью захмелевшего извозчика сунул под нос Чемпосову кукиш. — Губернатором Якутии Пепеляев назначит меня! Или Андерса...

Чемпосов побледнел. Томмот поймал под столом его руку и зажал в своей. Глядя на Мальцева, он поразился, как быстро во хмелю меняется человек, как выворачивается его изнанка, и он сотворяет такое, чего трезвый никогда бы себе не позволил. Прошлый раз на допросе, домогаясь от Томмота показаний, он разговаривал больше кулаками, а сейчас и сам, как на допросе, но без принуждения, выболтал все, что знал. Ну, что же, он сам

подает оружие против себя. Хорошо бы узнал Пепеляев...

— У-у! — как от лютой тоски завыл Мальцев и замотал головой. — Кадровый офицер лейб-гвардии его величества Николай Николаевич Мальцев за одним столом черт знает с кем! Я, который в ставке верховного главнокомандующего чокался со своим тезкой великим князем Николаем Николаевичем... По-зор! — Пудовый удар кулака по столу подбросил объедки, опрокинул пустые бутылки. — Встать!

Все трое — Валерий, Чемпосов и Томмот — непроизвольно вскочили.

— Подполковник Мальцев уходит...

Валерий подхватил его под мышки. Качаясь, как две ракиты на ветру, они пошли в обнимку в правый угол дома, и Валерий сам надел на гостя шубу, застегнул ее, надел на него шапку. Хватая ручку двери, но мимо, гость чуть не грохнулся вниз лицом, однако устоял. Уже перешагивая через порог, он в последний раз оглянулся:

— П-подполковник Мальцев уходит...

Проводив гостя, Валерий скоро вернулся и, раздеваясь в правом углу, испытующе глядел на понуро сидящих дружков. Пока он уходил и вернулся, они не притронулись ни к еде, ни к вину и не проронили ни слова. Валерий подошел к столу.

— Выпьем! Давайте есть-пить...

Чемпосов отодвинул свой стакан, Томмот накрыл кружку ладонью.

— Сыны народа всерьез обиделись! Дурачье!

— Глухой, что ли? — Чемпосов вскинул голову. — Не слышал, как он нас поносил?

— А вы-то сами не оглохли случаем? Нас во все времена так поносили! Плосконосые, а туда же норовят, в великие народы! Но плюнем на это и будем помнить лишь об одном: деньги, деньги, деньги! Будет у меня мошна толста, буду и я, азиат, благородней любого европейца. И вот этот спесивый офицер лейб-гвардии его величества будет целовать мои торбаса! Вот вам, мальчики, и цель, и направление жизни! Выше голову!

Томмот с интересом глянул на Валерия:

— Ну, удивил ты меня! Оратор...

Валерий принял это за похвалу. Левой рукой он обнял Томмота за плечи, правой налил ему и себе и вытер губы, забрав их в горсть.

— Удивился, говоришь? Оратор? Школа Чека! Это там сидя, я понял, как надо жить! За то, чтоб и мы когда-нибудь взлетели белыми птицами!

— Блюдолизы никогда не взлетят! — вскипел Чемпосов.

Валерий сначала выпил, закусил и только потом удостоил ответом:

— Ну, хорошо. Потешь душу, обидься на этого подполковника, вознегодуй, а он вынет пугач да пулю тебе! А нет, так в контрразведке замучает. Найти себе смерть — дело нехитрое. Выдержать да перетерпеть все, чтобы восторжествовать, — вот это дело другое! Понятно я говорю?

— Нет худшего, чем ходить на задних лапках! — продолжал свое Чемпосов.

— Ничего, походишь! — погрозил ему Валерий. — Ты не один! Схватят тебя, тень падет и на меня. Вытворишь что — защищать и сочувствовать не буду, сам наступлю ногой на горло! Я тебя предупредил...

Хмель, как видно, шибанул ему в голову. Он опять подсел к Томмоту.

— Сатана, хороший ты парень. Я тебя люблю... Ты мне спас жизнь. Но и я тебе отплатил тем же, поручился за тебя. Я ради тебя г-готов на все! Давай-ка я тебя поцелую!

— Бабы мы, что ли, целоваться? — отстранился Томмот.

— О Кыче не горюй, будет твоя! Помнишь, как я их турнул, когда они тут женихались? А все ради тебя. Меня за это могли расстрелять, но ради тебя я на все пойду! Давай еще выпьем. Чего бы ты желал у меня получить? Подарю, что пожелаешь, — Валерий пошарил у себя на груди и вынул из кармана зеленый блокнот, на шелковой обложке которого была вышита голая женщина. — Это подарок Васи Борисова, японская вещичка. Посмотри-ка, как разлеглась эта бабенка! На, дарю!

— Чужой подарок...

— Нет, нет, ты возьми. Дарю. — И сам вложил блокнот в карман Томмоту. — Еще чего хочешь? Ничего не пожалею. Выпьем, а? Что с тобой, Басылай?

Чемпосов, сидевший с видом оглушенного, молча поднялся и улегся на кровать лицом к стене.

— Ну и хрен с тобой! На сердитых воду возят... Томмот, выпьем? Слышишь, пойдем к женщинам, а? У меня

тут завелась одна вдовушка лет за двадцать. Ы-ы-ым-мы! Огонь, не женщина...

— Это не для меня!

— Ну и дурак! Досыта поедим, вдоволь попьем, вволю повеселимся, тогда и помереть не жалко... Пойдем!..

— Не пойду.

— Распоследний ты человек, не сердце в тебе, а ледышка. Тряпка, а не мужчина... Ничего не надо оставлять про запас, надо жить настоящим мгновением! Рыбья кровь в тебе, что ли?

— Бери вон Чемпосова.

— Так он же идеалист! Не пойдет... Вот если сказать, что это ради якутов, сразу бы кинулся... Как хочешь, а я пошел!

Томмот вывел его во двор. Луна еще не взошла, было темно. Кое-где робко светились окна.

— Та-ам, в конце, есть дом с зелеными ставнями. Потребуюсь — найдешь меня там. Ну, а сейчас иди и ложись в обнимку с тощей подушкой, дур-рак!

Валерий заковылял серединой улицы. Томмот, вернувшись, окликнул Чемпосова, который не отозвался, подбросил в камелек и тоже лег спать.

«Что это с Чемпосовым?» — думал он. «Идеалист», — сказал о нем Валерий. «Не похож на других», — отозвался о нем Лэкес. И правда, среди Аргыловых, Сарбалаховых, Борисовых он хоть и с ними, но как бы и в стороне. Когда они вернулись из поездки ни с чем, Чемпосов мог всю вину свалить на Томмота. Почему же не сделал этого? А поведение его на допросе?.. Когда Томмот поблагодарил его с глазу на глаз, он возмутился: «Думал, что я доносчик? Узнаю, что действительно ты шпион, доносить не пойду, расстреляю сам!»

И все-таки Чемпосов — не Валерий... Валерий дрянь, и это все видней. Так, в теплую погоду с каждым днем все сильней распространяется вонь от падали. Он и женщин подбирает себе подобных, одного с собой поля ягодки. Родной брат называется: упоминает имя сестры в их ряду и не усовестится.

Кыча... Совсем запутался он и не знал, что о ней подумать. Не то чтобы словом переброситься, он ее и не видел толком. Почему она прячется? Почему ссорится с отцом? Сидела за одним столом рядом с ротмистром и распивала с ним вино... Валерий говорит, что она противит-

ся, хочется верить этому, но как знать... Если к этому браку ее вынуждает отец, то почему она не крикнула ему, Томмоту: помоги! Правда, прежнего Томмота для нее уже нет, но и в этом случае не понятно, почему она отвернулась от него, если он так же, как и она, с белыми.

В глазах Кычи он увидел только удивление, испуг, а потом и отвращение. Или она была смущена, что ее застали в такой «интересный» момент? Не было заметно, чтобы она обрадовалась и возвращению Валерия... Она благодарила бы Томмота за спасение брата.

Почему он внушает ей презрение, если они на равных, что сделал он ей плохого? Не потому ли, что предателей презирают даже те, которым они служат? Мысли о Кыче жили в его голове сами по себе, затаенно, и возникали в самый неподходящий момент. Дальше так продолжаться не могло, ему надо было встретиться с нею. Вчера и сегодня он искал и не мог найти повод, чтобы съездить в Абагу. Давеча днем он напросился было сопровождать обоз в Сасыл-Сысы, но Валерий на него цыкнул: «Не хорохорься, храбрец, пусть умирают другие!» А в Сасыл-Сысы ему надо обязательно...

Проснулся Томмот от неясного движения рядом с собой.

— Что? — спросонья вскрикнул он и выхватил пистолет из-под подушки.

На его кровати, зажав ладони между колен, сидел Чемпосов. В тусклом свете жирника лицо его казалось странно изменившимся.

— Чего тебе? — пихнув пистолет назад, спросил Томмот.

Чемпосов не отрываясь глядел на прыгающий в камельке огонек. Худощавый, с тонкими чертами лица, добросердечный, он нравился Томмоту: среди бесшабашных, ухватистых и наглых парень выглядел подобно нежному растению из иных краев. Но иногда закрадывалось опасение: тихони имеют способность вкрасться в сердце и незаметно вызнать всю твою подноготную. Почему, например, его допрашивали при Томмоте? Не добивались ли они, чтобы Томмот поверил в благородство Чемпосова, сблизился с ним и раскрылся? Томмот отвернулся к стене, надеясь опять уснуть, когда Чемпосов тронул его за плечо:

— Ты рассказал правду?
— Когда?
— А тогда, в наслеге...
— Я думал, об этом все знают. Красные об этом пишут в газетах каждый день.
— Среди дружинников кто-то распространяет большевистские газеты. Топорков сбился с ног. Мне попадались эти газеты, да не стал я их брать. Ты не расскажешь подробней?
— Хватит с меня...
— Не бойся. Что расскажешь, не выйдет за стены этого дома.
Заложив руки за голову Томмот стал говорить, повторяя все, о чем в наслеге Чемпосов уже слышал — как по случаю автономии в Якутске и в улусах царит торжество, как съезд образовал Республику, как избрали правительство республики — Совет Народных Комиссаров, а возглавляет правительство сын бедняка Максим Аммосов, который во времена Колчака прошел всю Сибирь, перешел линию фронта и в Москве был принят Лениным. Томмот повторил, что был образован также и высший орган власти — Центральный Исполнительный Комитет, а председателем его избран Платон Ойунский, сын хамначчита...
— Смысл перемен сводится к тому, что не будет угнетения одного народа другим, и я это принимаю. Я даже готов прославлять это якутским «уруй-айхал»[1]. А вот то, что человек может не угнетать себе подобного — не принимаю. Равноправия нет и не может быть. Например, если я буду жить в богатстве и почете, кто-то должен же на меня работать! Не хочу я теперь, уже получив возможность разбогатеть, лишиться всего и стать ровней кумаланам да батракам.
— Наверняка, из тебя получится отменный бай, — с иронией сказал ему Чемпосов.
— Ты так говоришь, будто бы это плохо!
— Для кого как! Разбогатев, станешь держать в батраках детей, с отцами которых дружил твой отец...
— Мне безразлично!
— Если б это увидел твой отец...
— Он не увидит! А если б увидел... Бррр, холодно! Подбрось-ка дров!

---

[1] Якутская здравица.

— Я большевиков не принимаю по другой причине, — вернувшись от камелька, раздумчиво заговорил Чемпосов. — Они хотят сжить со света всех состоятельных и образованных людей. Они пускают по ветру в распыл все богатство, накопленное этими людьми в течение веков. По их идее на всей земле должны остаться одни бедняки. А теперь рассуди: много ли протянет народ, оставшийся без накоплений, без именитых людей и интеллигенции? В смутах и распре он истребит сам себя, а оставшиеся в живых превратятся в рабов иных племен. Вот так равноправие получится в конце концов!

— Не слыхал я что-то, чтоб большевики грозились уничтожить всех богатых и образованных. Они борются с теми, кто против Советской власти. Так это же понятно... В составе их правительства, я слыхал, немало людей из старой интеллигенции...

— А я желаю другого, — будто не расслышав слова Томмота, Чемпосов продолжал свою мысль. — Я хочу, чтобы якутская нация, вся — богачи или бедняки, образованные или безграмотные — жила счастливо и мирно. Мечтаю о времени, когда якуты овладеют своей письменностью, все дети станут ходить в школу, разовьются литература и искусство...

Томмот положил руку на плечо Чемпосову:

— Басылай, твои мечты бесплодны. Нет «всей якутской нации». Есть якуты-богачи, есть якуты-бедняки. Богачи стремятся обогащаться, бедняки стремятся от них освободиться. Потому-то сейчас племя двуногих и разделилось на белых и красных! Беднота и богачи никогда не примирятся, не мечтай об этом. Зайца и волка не поселишь в одной норе.

— Разве все богачи подобны волкам?

— Ну, пусть и встретится где-то белая ворона. Куда же ты остальных-то волков денешь, когда придет твоя просвещенная жизнь?

— Перестань смеяться!

— Есть причина! Говоришь про себя, что белый, да ты совсем не белый. Думаешь, что твои мечты сбудутся, когда победят пепеляевцы? Но ведь ты сам слышал, что говорил этот подполковник.

— Он врет! Пепеляев говорит другое, я сам слышал!

— Не спорю, ты, наверное, слышал. Но Мальцев то-

же говорит, что слышал. Посуди: кому генерал скажет правду — тебе или Мальцеву?

Чемпосов не ответил.

— Басылай, не обманывай себя, что борешься за народ. Ты воюешь не за народ. То же самое и со мной, и с Валерием. Все трое мы воюем за то, чтобы богачи попрежнему угнетали народ, а бедняки по-прежнему гнули на них спину. Сколько тех и других? Положим, из ста человек богачей двое. За двух баев мы идем против девяноста восьми. Вот и получается, что ты воюешь против якутского народа.

— И ты?

— И я.

— Хорош малый!

— Хорош не хорош, а только это так. А теперь рассуди: если победят пепеляевцы, думаешь, они дадут якутам автономию? Как бы не так! Сунут, как давеча Мальцев, кукиш под нос, и будешь по-прежнему именоваться «инородцем», «азиатом», «обезьяной». Неужели Мальцевы станут печься о культуре для народа? Или Аргыловы? Дремуч ты, парень! Они плюют на твой народ.

— А ты?

— Я уже говорил: хочу разбогатеть, как они, но в отличие от тебя не тешусь самообманом.

— Собака ты, оказывается!

— Пусть я хуже собаки, но если думаешь, что ты лучше, то ошибаешься. Я хотя бы не стараюсь прикрываться пустыми словами «ради якутского народа». Не отрицаю, я — собака. Но нельзя разбогатеть, не превратившись в собаку! А хочешь знать, кто такой есть ты? Ты помогаешь толкнуть народ в неволю! Ты приближаешь день гибели своего народа! И сколько бы ты ни твердил «ради якутов», ты кровный враг этих же якутов!

— Перестань врать!

— Разве я вру? — усмехнулся Томмот. — Ладно, живи тогда сам по себе, праведник. Нечего тебе связываться со мной, вралем.

Подтянув на себя одеяло, Томмот отвернулся к стене, Чемпосов остался сидеть.

Проснувшись уже на рассвете, Томмот с удивлением обнаружил Чемпосова сидящим за столом перед коптящим жирником и опорожненной бутылкой. С кем-то мыс-

ленно споря, он то и дело грозил пальцем этому своему воображаемому собеседнику, что-то ему горячо доказывал, но ясно можно было расслышать лишь несколько слов:

— Под... полковник врет! Он врет!

Глава
двадцать восьмая

Уложив Чемпосова спать и наведя порядок на столе, Томмот отправился искать дом с зелеными ставнями, чтобы уговорить Валерия отпустить его в Абагу.

Он довольно скоро нашел этот дом. В просторной, в полдома кухне было тепло, в плите весело трещали разгоревшиеся поленья. Плосконосая седая старуха убирала со стола вчерашнюю посуду. На вошедшего она не обернулась.

— Здравствуйте! — сказал ей Томмот, подумав про себя, что у него и у старухи на сегодня одно дело — убирать после вчерашней попойки.

— Кого надо? — не сразу отозвалась старуха.

— Аргылова.

— Бэлерий! — обернувшись куда-то в глубину дома, позвала старуха.

За перегородкой послышался сиплый спросонья голос Валерия:

— Кто там?

— Это я, Чычахов.

— Заходи сюда!

Перешагивая порог, Томмот увидел Валерия, лежащего в обнимку с незнакомой женщиной, и попятился назад. У женщины были мягкие русые волосы, румянец на пухленьких щечках, прямой высокий носик, беленькое личико — точь-в-точь как у тех фарфоровых куколок, которые выставляют в городе между оконными рамами.

— Чего пятишься, заходи смелей! Кто послал? Вызывают, что ли?

— Нет, не вызывают. Я... — Томмот умолк на полуслове.

— Ну, понятно! — по-своему истолковал его приход Валерий. — Одумался, агнец божий. Живем лишь раз, и, как говорят, неизвестно: мы ли съедим голову тайменя будущего года... Тетя Феня, капитан ушел?

— Ушел, — из кухни ответила старуха.

— У Ариши никого нет?

— Никого.

— Познакомлю тебя с Аришей. Только не задерживайся, — сказал Валерий Томмоту.

Смысл разговора только сейчас дошел до Томмота.

— Что ты! Не надо, — остановил он Валерия, уже приподнявшегося, чтобы встать.

— Как не надо? — удивился тот.

— Я хотел бы сегодня съездить к твоим в наслег. Вот и зашел спросить... разрешения...

— В наслег? К моим? Чего ты там забыл? Не к Кыче ли?

Валерий рывком откинул шелковое одеяло, и Томмота ослепило обнаженное тело женщины. Она лежала без движения и, кажется, даже хихикала.

Томмот, пятясь, выкатился в кухню. Из-за двери раздался хохот Валерия. Смеялась и женщина, вторя Валерию серебристыми колокольцами.

— Ну, уморил! — выглянул в дверь Валерий. — Ладно, леший с тобой, поезжай. Но завтра утром... Ой, агнец бо... Ха-ха-ха!

То, что увидел Томмот в доме с зелеными ставнями, всю дорогу неотступно стояло перед его глазами. Увидев женщину одетую и прибранную, разве мог бы Томмот подумать, что такая раскрасавица причастна к чему-либо грязному? Она, видимо, давно позабыла, что такое стыд. Могут ли светлые побуждения быть у таких людей? Могут ли быть у них настоящие чувства? Только сейчас дошло до Томмота, что его-то ведь приняли за «своего», за «делового» посетителя. Это ведь ему предложили некую Аришу, от которой только что ушел капитан. Томмот страдал, будто сам он вывалялся в грязи и не знает, как очиститься.

Ему подумалось — может, с грехом таким, пусть даже он его не совершил, нехорошо ему ехать сейчас к Кыче? Он уже натянул было вожжи, но благоразумие удержало его: едет он не ради ее одной, ему еще надо встретиться с нужными людьми в Абаге, а подвернется случай, так подобраться и поближе к Сасыл-Сысы. И еще одна оправдательная зацепка успокоила Томмота: при последнем разговоре Ойуров сказал, если подвернется

случай, поинтересоваться судьбой дочки Аргылова. Вряд ли это было дополнительным заданием. Попросту пожалел парня товарищ Ойуров.

К Аргыловым он подъехал после полудня.

Шагнув за порог, Томмот неожиданно уперся в широкую спину громадного человека, тот молча затягивал завязки шапки.

— Ух! — вскрикнул невольно Томмот.

Верзила, заслонивший ему проход, не отстранился. Обойдя незнакомца, Томмот прошел чуть дальше и застыл: в нескольких шагах от него стояла Кыча. Она мыла посуду.

— Кыча...

Увидев гостя, она выронила блюдце, чуть было не кинулась уйти, но сдержалась и, постояв так немного, как ни в чем не бывало принялась опять полоскать чашки.

— Кого нам бог послал? — спросила с левой половины Ааныс.

— Чычахов я, Томмот.

Ааныс подошла. Она была в старой меховой жилетке, повязана черным платком, под мышкой держала берестяное ведерко.

— Товарищ нашего Бэлерия? Раздевайся.

Томмот быстро снял ружье, отставил его к запечью, повесил на крюк шубу и шапку.

— Едешь откуда?

— Из слободы.

— Как там наш Бэлерий? — и вдруг увидела, что парень не сводит глаз с Кычи. — Э-э... Я пойду в хотон... — полувопросительно сказала Ааныс. — Налей гостю чаю.

Ааныс прошла за печку и нырнула в дверь.

Кыча с невозмутимым видом продолжала полоскать чайную посуду, а Томмот так и остался стоять, не решаясь сесть на орон без приглашения. Он стоял и рассматривал ее: смотри-ка, возгордилась! Уж не потому ли, что выходит замуж за этого ротмистра? Не сводя с нее испытующего взгляда, он все же сел, да не на орон, а прямо за стол, скрестив на груди руки.

Как ни пыталась Кыча казаться безразличной, вид у нее был горестный. Круглое личико Кычи постоянно улы-

балось, а сейчас оно заметно осунулось, побледнело и словно бы угасло от тяжких дум.

Убрав посуду в шкаф, Кыча вытерла стол, волосяную мочалку отнесла за печку и повесила сушиться. Когда она направилась за перегородку, Томмот встал на ее пути:

— Налей мне чаю, Кыча.

— Не стряпуха я для белых.

— Прежнему Томмоту ты бы налила?

— Прежнего Томмота нет! Значит, и прежде не было его...

Томмот сам подошел к шкафу, взял там чашку и налил себе из чайника. Здесь же в шкафу он взял кусок лепешки и немного масла. Проголодался он! Однако не смог ни пить, ни есть.

— Сыт небось? Награбленным...

— Я никого не грабил. Это правда...

— В Якутске ты тоже говорил правду?

Томмот поднял голову, и некоторое время они молча глядели друг на друга.

— Увидеться с тобой... Я за этим приехал.

— Врешь!

— Если ты на меня так кричишь, то почему уехала из города?

— Обо мне другой разговор.

— Значит, ты вольна поступать, как заблагорассудится, а мне сделать по-своему нельзя?

— Если хочешь знать, я не убегала. Не дезертир я, ты меня с собой не равняй!

Кыча залилась румянцем, в голосе у нее были слезы. Томмот поднялся из-за стола и сделал шаг ей навстречу...

— Кыча...

— Чтобы ты своим лживым языком не смел называть моего имени! — Она оттолкнула его рукой.

Вместо того чтобы обидеться, Томмот засиял, и это взбесило девушку. Кулаками в грудь она погнала его, пятящегося, на другую половину дома.

Услышав возню, Ааныс поспешила в комнату.

— Кыча! Что с тобой?

Она оттащила дочь, Кыча упала на стол головой и зашлась в плаче. Ааныс увела ее за перегородку.

Томмот ликовал, ему казалось даже, что сумерки отступили, что в доме стало светлей.

Вскоре из-за перегородки вышла Ааныс. Ожидая беды, она украдкой бросила на Томмота короткий взгляд. Успокоилась, однако, видя, что и парень спокоен и даже чему-то рад.

— Лежит и плачет... Что тут случилось?

— Да так, просто...

— Как это так! — с сомнением покачала головой Ааныс.

— Сердится, что в бандитах. Но я никого не граблю, просто выезжаю с ними...

— Хворает она, вот и не в себе немножко. Голубчик, ты на нее не сердись...

— Нет, разве можно...

— Вот и хорошо. Я быстро управлюсь. Пусть она там одна успокоится, а ты посиди тут.

И правда, Ааныс скоро появилась с берестяным подойником в руках. В темном закутке за печкой она перелила надоенное молоко в другую посуду и подошла к столу.

— О, да ты и не ел. Поешь, а?

— Пожалуй, поем.

Ааныс накрыла на стол, и Томмот принялся уплетать за обе щеки. Лепешка, которая совсем недавно застревала в горле, оказалась на редкость вкусной. Горячий чай, подбеленный свежим молоком, теплом растекался по телу.

— Ешь, ешь! — матерински глядела на него Ааныс. — Оголодал ты, парень, совсем. И мой Бэлерий небось ходит так же, щелкает зубами. Такой голодный, а чего не ел, когда подала Кыча?

— Да так...

— Живем у большой дороги, люди с ружьями заходят часто, ты на нее не сердись.

Томмот с набитым ртом широко улыбнулся и махнул рукой: не стоит об этом!

«Кроткий характер у парня», — подумала Ааныс. И тут догадка ее осенила:

— Голубчик, ты в Якутске чем занимался?

— Учился.

— Где?

— В учительском техникуме.

«Так и есть!» Ааныс прилегла на стол грудью, оглянулась на перегородку и шепотом спросила:

— Кычу ты раньше знал?

— Знал. Вместе учились.

— А это... вы с нею дружили?

Поколебавшись, Томмот согласно кивнул головой.

— Но лучше об этом молчать. Узнает отец, этот Угрюмов, ваш русский зятек, станут сводить счеты...

— Да какой же он зять? Не зять совсем...

— Как? А вино пили...

— А вот так, — Аапыс не стала объяснять. — Он не зять совсем.

— Как знать! Я же видел, Кыча целовалась с ним! А на меня вот смотрит хуже, чем на собаку...

— Не говори так, голубчик... У девушки сердце лежит к тебе, вот она и упрямится. Кто знает, чем кончится эта смута. Вы молоды...

— Не стоит гадать! Что до меня, не верится, что доживу до тех дней.

— Грех так говорить! — и вдруг захлопотала опять: — Пора ставить варево на ужин. Суонда, оживи-ка огонь!

Нескладный большой человек, на которого давеча наткнулся Томмот у порога, нехотя поднялся с кровати, куда он только было улегся, зайдя снаружи, разгреб угли в камельке и подложил дров.

— Голубчик, разруби-ка мне эту кость, — попросила хозяйка, заправляя котел мясом. — Топор лежит в запечье.

Томмот с охотой принялся было за дело, как вдруг из-за перегородки выскочила Кыча, схватила с крюка возле дверей шубу и шапку Томмота и бросила ему в лицо:

— Пусть проваливает! Уже «голубчиком» сделался! Обманщик! Бандит!

Томмот опешил, но стал послушно одеваться. А Кыча не находила себе места; лицо ее пылало, руки дрожали. Увидев ружье, она схватила его и попыталась взвести курок.

— Спятила, девка! — Мать вырвала у нее ружье и передала Томмоту. — Не дури, тебе говорят!

Но Кычу уже трудно было остановить.

— Тогда ты стреляй! Нам двоим на этой земле не ужиться! Стреляй, бандит!

Услышав такое, Суонда проворней соболя вскочил с кровати и встал между своей любимицей и парнем.

Томмот закинул ружье за спину и направился к двери. Тогда, метнувшись к запечью, Кыча схватила топор.

Томмот выскочил вон. Сзади хлопнула дверь. В сенях он прислушался: в доме еще гомонили. Вот так в переплет он попал! Видать, при Кыче вход в этот дом ему уже заказан. Ладно, нет худа без добра — он теперь поедет к Сасыл-Сысы, нельзя упускать удобный момент: едва ли его еще раз выпустят из слободы одного, без соглядатая! Валерий, пожалуй, и в этот раз не отпустил бы, не опохмелись он с утра со своей бабенкой. Да, за отлучку из слободы и особенно вот за эту поездку в сторону Сасыл-Сысы не похвалил бы его Ойуров. Расставаясь, он не раз говорил ему: «Избегай места боев. Нам не нужно твое ратное геройство. Есть на то другие люди. Нам нужны твои глаза и уши. Ты должен быть в живых. Твоя главная задача: вызнать, куда собираются ударить белые, места и время их засад».

Но Томмот ничего не мог сделать с собой.

Сасыл-Сысы... Сколько уже героев полегло на этом маленьком аласе! Пятачок, стиснутый со всех сторон белыми... И ничем нельзя помочь им в их отчаянном положении. Что Томмот сделает, если попадет туда нынче? Посмотрит — только и всего...

Он вывел коня на большую дорогу и направил его в сторону Сасыл-Сысы.

О, Кыча! Он мысленно вернулся в дом, из которого только что был выпровожен ею. Каким гневом сверкали твои глаза! Бандит, говоришь. Но, к несчастью, пока должен им оставаться. А ты храбрая, Кыча. К ружью бросилась, за топор схватилась... Если бы ребята из Якутска могли видеть тебя в эту минуту! Спасибо тебе, светлое солнышко! Спасибо за преданность нашей мечте, за то, что ты такая, какой я тебя знал всегда. Живи с сознанием своей правоты, а я вытерплю, снесу всю меру твоего презрения. Когда-нибудь я поклонюсь тебе, и ты меня не оттолкнешь. Может быть, этот день и не далек.

Стемнело. Стало пощипывать щеки: мороз к вечеру прижал, да вдобавок задул ветер-низовик. Держа вожжи под мышками, Томмот принялся завязывать шнурки наушников, и тут конь, фыркнув, вдруг отскочил вбок.

— Сат! — Томмот подстегнул коня, но тот остался недвижим.

Соскочив с саней, Томмот прошел по глубокому снегу вперед, к голове коня, чтобы завернуть его на дорогу, когда послышался близкий скрип санных полозьев, а

вслед за тем смутными тенями выдвинулись тяжело нагруженные кони.

— Стой! Кто идет! — крикнул по-русски Томмот.

Сани остановились.

— Это мы... из Сасыл-Сысы... — ответил возница с передних саней, по выговору объякутившийся русский из слободы.

— Кто это «мы»?

— Возчики мы... Господа послали нас с грузом в слободу, — отозвался со вторых саней якут. — Если назвать это грузом...

Томмот пошел на голоса. Кладь высоко нагруженных саней сверху была забросана охапками сена. Уж не везут ли обратно туши мяса, отправленные в Сасыл-Сысы вчера? Сердце ворохнулось у него в груди: там все кончено?

— Как там... красные? — с беспечным выражением спросил Томмот.

— Сражаются.

— Не сдались еще?

— Еще чего!

— Говорят, сами еще Пепеляеву предлагают, сдавайся, мол.

Собравшись в кружок, возчики закурили, во тьме засветились светляками их трубки. В редкие минуты, когда соберутся вместе, возчики обычно говорливы. Эти же почему-то угнетенно молчали.

— Рассказали бы что-нибудь, — попросил Томмот.

Люди продолжали молчать, шуршал только пар их дыхания — он мгновенно смерзался на лютом морозе и опадал вниз.

— Когда обещают ваши начальники прижать красных к ногтю?

— Да обещают... — ответил нехотя тот же якут. Помедлив, он добавил: — Про этого Строда говорят, что он там вроде чего-то поел и обрел силу волшебника. Пуля попадает в него — а ему хоть бы что. Рана, говорят, прямо на глазах так и затягивается. Может ли такое быть?

— Не знаю, — отозвался Томмот. — Что это у вас на возах?

Ответа не последовало.

— Что на возах, спрашиваю?! — повысил голос Томмот.

— Груз такой, что и выговорить-то страшно, — ответил русский.

Подойдя к саням, Томмот разрыл притрушенное на кладь сено. Обнажилось что-то бесформенное, громоздкое, наваленное кое-как. Удивившись, Томмот чиркнул спичкой и тут же бросил ее в снег: вытянув к нему руку с растопыренными пальцами, словно собираясь схватить его, уставясь льдышками глаз, лежал труп рыжебородого человека с офицерскими погонами. Высокая груда окоченевших на морозе трупов, сваленных вповалку и увязанных на санях, и была грузом этого ночного обоза.

— Это мертвые? — попятившись, спросил Томмот невпопад.

— Да, трупы... Братьев...

— Из Сасыл-Сысы?

— Оттуда.

— Это все — такое?.. — показал Томмот на вереницу саней.

— Тут не все. Еще больше осталось там, на месте...

Томмот пошел обратно к своим саням. Возчики, кончив перекур, разошлись по своим местам и, видимо ободряя себя громким понуканием коней, потянулись мимо стоящего на обочине Томмота.

Конь Чычахова, выйдя на дорогу, с места пустился резвой рысью, будто и он хотел уйти как можно дальше от места ужасной встречи.

Спереди снова послышался храп коней, скрип полозьев и, наконец, стук столкнувшихся оглоблей — не второй ли обоз?

— Ст-ой! Черт!.. мать!.. — сыпанули матерщиной впереди. — Руки вверх!

Блеснул огонь, раздался треск пистолетного выстрела.

Томмот сошел с саней и поднял руки. Две тени двинулись к нему.

— Кто такой?

— Чычахов я.

Чуть не опалив ему лицо, близко вспыхнула спичка. И Томмот увидел перед собой полковника Топоркова и подполковника Мальцева.

— А-а, чекист! Далеко едешь?

— К брату Артемьеву.

— Зачем?

— По заданию Аргылова.

— У «брата» и без тебя хлопот, — Топорков сбил вниз поднятые руки Томмота. — Идем!

Они пошли к задним саням.

— Зажгите спичку! — приказал кому-то Мальцев. Человек, получивший приказ, засуетился в санях, зашуршал в негнущихся на морозе пальцах спичечный коробок. — Сейчас, брат чекист, ты кое-кого увидишь.

— Я — не Чека. Не Чека я! Охотник... — услышал из саней Томмот и вздрогнул: голос бы знаком ему.

Две спички вспыхнули одновременно, и он увидел: меж двумя солдатами, опустив голову, сидел человек, одетый в облезлую оленью доху, в старой вылинявшей заячьей шапке, с обледеневшими жидкими усами и бородкой. Ойуров!

— Ну что, узнаешь? — спросил полковник.

— Нет, не знаю. Не видел я в Чека такого человека. Там работают грамотные люди...

— Приглядись хорошенько! Что он чекист, мы знаем. Ну, узнал?

— Нет, не знаю.

— Бр-р-р!.. — поеживаясь, затоптался на снегу Мальцев. — Поехали!

— Чычахов, ты поедешь с нами обратно, будешь переводить, — приказал полковник. — Сволочь эта или прикидывается, или действительно не понимает по-русски. Садись сюда, — он показал на сани, но тотчас же поправился: — Нет, нет. Ты сядешь с нами. Солдат, привяжи его коня к своим саням.

— А брат Артемьев не станет ругаться? — осмелился спросить Томмот.

— Никаких братьев-сватьев! Едешь с нами!

Все трое пошли к передним саням, вожжи дали Томмоту.

Не стесняясь сидящего впереди Томмота, они пустились в откровенный разговор, время от времени прикладываясь к бутылке, которую из-под сена достал Мальцев. Томмот уловил из этого разговора, что дела белых в Сасыл-Сысы не блестящи, и Топорков с Мальцевым радырадешеньки удобному случаю поскорей умотать оттуда. Случай-то какой: теперь у них было чем ответить на упрек генерала в том, что они никак не могут поймать ни

одного «красного шпиона». Судьба Ойурова была уже определена: доказано ли будет, что он чекист, или не будет доказано, его все равно расстреляют как чекиста. Ойурова они схватили по доносу дочери попа, расстрелянного в Чека, та сейчас у пепеляевцев медсестрой. Получилось так, что они не сумели взять у нее письменные показания: когда пришли к ней, эта потаскуха лежала в постели с каким-то полковником. Едва они заикнулись о цели своего визита, полковник выхватил пистолет и принялся палить в них, благо что мимо. Топорков с Мальцевым поспешили убраться, показания поповны они решили написать сами и подписаться вместо нее. Сейчас они подробно обсуждали, как они это сделают.

Поповна... Не та ли, о которой рассказывал ему сам Ойуров? Воистину случай всемогущ. Томмот сидел на передке, понуря голову. Ох, Ойуров, Ойуров! Как же ты так попался? Зачем ты спешил навстречу своей гибели, ведь тебя в лицо знает не одна та треклятая поповна! Решил все-таки сам, не выдержал...

Чуть было не сплоховал Томмот. Если бы в темноте, до того как вспыхнула спичка, Ойуров не успел подать голос, Томмот едва ли сумел бы скрыть свой испуг и изумление. И обоим бы — каюк! «Я — не Чека! Я — охотник!..» О, Трофим Васильевич! Едва ли мы спасемся, выдавая себя за охотников. Часа через два приедем в слободу, а в слободе Валерий — задушевный твой собеседник.

Томмот обернулся назад.

— Не крутись. Погоняй лошадь! — Мальцев ткнул его в спину дулом пистолета.

Вот... С него не спускают глаз... Он мог бы незаметно вынуть пистолет, застрелить обоих, а затем и других, ехавших сзади. Конечно, сомнительно, что такой дерзкий план удался бы полностью, но это было бы лучше, чем покорно ждать своей участи, которая решится часа через два-три. Теперь же и вовсе приходится отказаться от этого плана: за ним следят. Не значит ли это, что он уже арестован? Если они полностью доверяют той поповне, определенно и его заподозрят: как это он не узнал своего же, чекиста?

— Долго еще до слободы? — спросил подполковник.

— Часа два с лишним...

— У-у! Лют мороз! Ничего не осталось в бутылке? Бр-р-р!.. Что за адская страна!

— Ни капельки не осталось...

— Есть где-нибудь в пути жилье? Слышь, что ли? Тебя спрашивают!

— Поблизости живут родные Валерия Аргылова, — с готовностью подсказал Томмот. — Совсем близко!

— Да-а? Хорошо, поехали туда, — оживился Топорков. — В Амгу отправимся завтра с утра. И давай быстрей! Хлестни! Закоченеешь тут.

«Везу их в семью Кычи... Не ошибусь ли? — подумал Томмот, направляя коня на боковую дорогу. — Будь что будет. Как говорят, пока падает топор, бревну — передышка. Может, и подвернется случай. Лишь бы не появился Валерий!»

Глава двадцать девятая

Из-за своей перегородки Кыча увидела, как вошли, толкаясь, двое офицеров в серых папахах, а за ними мелькнуло лицо Томмота. Сначала ей подумалось, что офицеров привел Томмот, чтобы арестовать ее в отместку. «Ну да все равно...»

Ааныс, стоя у камелька, молча поглядела на ночных гостей. Лишь Суонда продолжал лежать, отвернувшись к стене, безразличный ко всему.

Офицеры прошли к орону на правой половине. За ними вошли два солдата, подталкивая перед собой прикладами какого-то человека со связанными руками.

— Здравствуйте, — робко полушепотом приветствовала вошедших Ааныс. Затем она узнала Томмота. — А, это ты, парень? Откуда?

— Хотел заехать в Абагу, да вот вернули. Задержали они одного, говорят, что красный. — Выговорить «чекист» он почему-то не смог.

Нежданные гости разделись. Арестованный остался стоять у дверей.

— Что делать с ним? — спросил офицеров пожилой солдат с густыми бакенбардами.

— Развяжите, никуда не денется, — кинул солдатам Топорков, подходя к камельку и разминая озябшие пальцы. — Скоро мы с ним затеем разговор по душам. Пусть раздевается!

— Полковник велит тебе раздеваться, — перевел Томмот.

Развязанный Ойуров снял шапку, скинул ветхую дошку. Томмот поспешно отвел от него взгляд, но успел заметить, что избили его сильно: лицо было в синих кровоподтеках, из рассеченной губы кровь текла и сейчас. Жесткие длинные волосы Ойурова были неумело искромсаны тупыми ножницами. Отпустил он усы и бороду, внешность его сильно изменилась, особенно не похож он был на себя, когда снимал шапку. Но глаза... Да, глаза свои не изменишь...

— Пусть приготовят поесть, — распорядился полковник.

Томмот перевел. Ааныс молча поставила на стол тарелку мяса.

— И только? — разглядел Топорков тарелку. — Потребуй еще чего-нибудь. Пусть не скупится.

Хозяйка принесла лепешки с маслом, налила чаю.

— Братья, давайте к столу, — пригласил Томмот солдат. — Попейте чаю.

Офицеры молча подвинулись, так же молча и солдаты подсели к столу.

Арестованный, растопырив пальцы, пошел было к камельку, но его остановил окрик Топоркова:

— Ку-уда?!

— Назад, сволочь! — крикнул и Томмот.

Выглянув из-за перегородки, Кыча увидела: арестованный пошел назад и уселся на чурбак возле двери. Одет он был легко. А этим жалко и огня. «Сволочь!» Раскричался, вишь, собака. Подпевала!

— Ну-ка, попроси у нее спирту, — приказал Топорков. — И пусть сварит еще мяса!

Томмот пошел к Ааныс на левую половину и передал, что велел полковник.

— Где я достану этот спирт? — заколебалась Ааныс.

— Очень прошу: постарайтесь достать. У старика где-нибудь есть запас. Очень спирт нужен... Не думайте, пожалуйста, что для меня.

— Есть бутылка, только она начатая...

— Мало этого! Поищите, постарайтесь. Найдете, на стол несите не сразу, а помаленьку...

— Молодец! — рявкнул Мальцев, увидев перед собой бутылку. Глаза у него заблестели, он словно воскрес.

Выпили, набросились на мясо и лепешки, налили по второй, и вскоре тарелки очистились.

— Пока поспеет мясо, еще раз поговорим с этим большевиком, — распорядился Топорков. — Подведите ближе!

Хватив изрядно, голодные солдаты быстро захмелели. Молодой ходил как на пружинах и был в отменном настроении, зато пожилой заметно помрачнел. Ойурова подвели к столу.

— Как зовут? — спросил Топорков и кивнул Томмоту: — Ты сразу переводи.

— Уйбан я. Пишусь Ходуловым... Отец мой, как говорили встарь, кормил единственную корову. Охвостками сена после господских коров...

— Короче! Не хоронись за отца! Как, сказала эта шлюха, зовут его?

— Да, похоже на это, — Мальцев, припоминая, потер лоб. — Фамилия не христианская, дикарская... Как он сам сказал? Ходулов? Кажется, именно так, Ходулов...

Топорков вскочил, как подброшенный, схватил Ойурова за грудки:

— Давно ли в Чека?

— Не знаю. Я не Чека. Я охочусь...

Подтянув пленника к себе поближе, Топорков стал молча бить его по лицу, не тратя времени и красноречия на расспросы. Упрев и умаявшись, наконец он отбросил Ойурова от себя. Тот попятился, потеряв равновесие, чуть не упал, но выпрямился.

— Подполковник, теперь вы...

Мальцев поднялся и поманил Ойурова к себе:

— Поближе! Поближе...

Молодой солдат схватил пленника за воротник и подтолкнул его к Мальцеву. Тот подошел к Ойурову и, будто обняв его сзади, стал пудовыми кулаками переминать его внутренности.

Тяжко простонав, Ойуров упал на колени. На левой половине раздался вопль Ааныс, а вслед за тем голос Томмота.

— Дайте-ка мне!

Словно желая поскорей дорваться до жертвы, Томмот решительно отстранил и солдата, и подполковника. От порядочной затрещины Ойуров грохнулся на пол. Солдат подскочил к нему и поднял его за шиворот. Лицо Ойурова было в крови.

Ааныс завопила еще пронзительней.

— Молодец! — Топорков хлопнул Томмота по плечу.

— «Молодец»... — покривился Мальцев и вытер лоб.— Он был уже почти готов! Этот все испортил...

— Постоянно кто-нибудь да что-либо вам обязательно испортит!

Мальцев в ответ лишь махнул рукой и подошел к столу.

Кыча, содрогаясь от ужаса, наблюдала в щелочку. Как человек может так зверски мучить себе подобного! Говорят, будто человек более жесток, чем зверь. Похоже на правду. Этот Чычахов! Остервенел пуще офицеров. Нет, не мучила бы совесть, если б вчера топором... За что истязают бедного старика? Говорит, что охотник. Не похож на промысловика, но ясно, что хороший человек. Как помочь ему?

— Брат полковник, хозяева все видят, — Томмот подошел к Топоркову. — Боюсь, про этот допрос завтра будет знать весь улус. Звон может достичь и ушей генерала. Лучше завтра, в Амге... Да вот и еда готова!

Острый запах уварившегося мяса защекотал ноздри, все поспешили к столу.

— Уберите этого... — велел Топорков.

— А куда? — не слишком почтительно спросил пожилой солдат, которому совсем не улыбалось провести ночь на морозе.

— С глаз долой — вот куда!

Томмот пошел к хозяйке:

— Найдется место для арестованного?

Сидя у занавески, Аапыс этой же занавеской вытерла мокрое от слез лицо.

— На дворе есть небольшая юрта, вчера там ночевали солдаты.

— Уберите его туда, — распорядился полковник, когда Томмот доложил ему о юрте. — Ты карауль в юрте, — приказал он пожилому и повернулся: — А ты встань на пост снаружи. Если что, дайте знать. Идите! Хозяйка потом вас накормит. Хозяйка, покажи юрту!

Солдаты нехотя стали одеваться.

— Требуют показать, — Томмот опять подошел к Аапыс.

— Мама, я покажу! — живо вскочила Кыча. — Оставь этим мяса...

Кыча набросила на себя шубенку, низко, до глаз, подвязалась платком и взяла в руки медный подсвечник с

жирником. За Кычей вышли солдаты, толкая перед собой арестованного. Томмот проводил их взглядом.

Кыча пошла к юрте, темнеющей в глубине подворья.

— Нас выгнали, а сами... — Чертыхаясь, молодой солдат остался посреди двора, остальные вошли в юрту.

Хоть труба камелька и была закрыта, за день юрту сильно выстудило. Кыча поставила жирник на стол.

— Сейчас затопим печку...

Сухие поленья загорелись быстро, в трубе загудело.

Солдат заглянул в закуток, огороженный молодыми листвяшками.

— Тебе туда! — показал солдат арестованному, а сам, повернувшись к огню, распахнул шубу.

— Я покажу ему!

Кыча вошла в закуток первой. Приникнув к Ойурову, она торопливо зашептала:

— Что мне сделать? Вам нужно ночью обязательно бежать, завтра будет поздно...

— Тише! Я тебя знаю, ты — Кыча...

Она от неожиданности отшатнулась:

— Кто вы?

— Почему уехала из города?

— Увезли...

Ойуров шепнул ей в самое ухо:

— Разговаривала с Томмотом?

— Нет...

— Что так долго? — крикнул им солдат.

— Вытираю кровь ему, — отозвалась Кыча и вынула из кармана тряпочку.

Ойуров притянул к себе ее голову:

— Томмот честный. Запомни: он — честный! Его слово для тебя — закон.

— Томмот?

— Верь ему, — повторил Ойуров.

Кыча зажала себе рот рукой.

— Запомни: я тебе доверил большее, чем свою жизнь. Понимаешь?

— Понимаю...

— Передай Томмоту привет от человека, обещавшего ему журнал «Голос якута». Тогда он тебе поверит.

— Хорошо.

В несколько мгновений для Кычи все на свете перевернулось и обрело другое значение. Утерянное нашлось, надежды возродились.

— Девка, скоро ты управишься? — забеспокоился солдат.

— Скоро... — ответила она солдату, водя тряпочкой по лицу Ойурова. — Что нам сделать, что?

— Спиртное есть у вас?

— Наверное... Запасы отца.

— Надо их напоить. Всех! И караульных тоже.

— Озвереют еще больше.

— У нас выбора нет. Предупреди Томмота: пусть ко мне совсем не подходит. Совсем! Ясно?

— Поняла. А как... тогда?

— Будет видно, это мое дело.

— Я еще приду.

— Без надобности — не смей!

Кыча опустила ему в карман кусок лепешки. Выйдя, она бросила окровавленную тряпочку в огонь камелька.

— Жалко, да? Бабы все жалостливые, — солдат пригляделся к Кыче. — Ой, да ты еще молоденькая! Дочь у меня вот такая... Эй, ты! Иди сюда! Позови-ка его сюда, пусть погреется. Человек как-никак.

Ойуров подошел к камельку.

— Ну, я пошла, — сказала Кыча солдату. — Ждите, принесу поесть.

По двору, постукивая друг о дружку торбасами, прохаживался молодой солдат.

— Тепло там? — Он показал на искры из трубы юрты.

— Пока холодно. Отужинает начальство, я тебя позову.

— Ладно, буду ждать.

«Томмот честный! Он честный!»

Опять надвинув на самые глаза черный платок и низко опустив голову, Кыча быстро прошла к себе за перегородку. Мать накрывала на стол, а Кыча быстро переворошила содержимое нескольких ящиков—спиртного не оказалось. У отца должно было быть припасено немало спирта, на это он особенно запаслив. Но куда он мог его припрятать? Знает наверняка Суонда, но пока у него добьешься ответа, черная ворона успеет побелеть. Наверно, в подвале, в амбаре...

— Это кто такой лежит? — только сейчас узрев Суонду, лежащего на кровати возле дверей, спросил Топорков.

— Кажется, хампаччит, — ответил Томмот.

— Подними его. Пусть накормит лошадей.

Томмот едва добудился спящего Суонду и объяснил, что от него требуют. Тот потер кулаками глаза и, позевывая, стал одеваться.

— Без спирта это мясо в горло не протолкнешь! — Топорков бросил вилку на стол.

Томмот подошел к перегородке.

— Спирта...

— Нет! Нет у нас! — не дала ему договорить Аапыс. — Где я возьму, когда у нас нет. И в какую прорву столько лезет...

— Томмот... — шепотом позвала Кыча.

Томмот оглянулся и не поверил глазам своим: по-детски приподняв руки, словно желая кинуться ему на шею, Кыча потянулась к нему.

— Требуют спирта! — гаркнул он на девушку. — Спирта, понятно?! Будет, нет?..

— Я... Я поищу в амбаре!

— Говорят, что нет. — Томмот вернулся к столу. — Сейчас поищут.

— Иди, сам поищи хорошенько! Черта они там найдут!

Озадаченная поведением дочери — давеча набросилась на парня с кулаками да с ружьем, даже топор подняла, теперь же побежала услуживать — Аапыс поглядела им вслед.

На дворе приплясывал от мороза молодой солдат.

— Чего я мерзну тут? — пожаловался он Томмоту. — В такую погоду кого сюда нелегкая принесет?

— Ничего не знаю, так приказал полковник, — ответил Томмот, пропустив Кычу вперед.

— Сволочи! Сами отсиживаются в тепле, спирт лопают...

В амбаре, оскальзываясь на мерзлых ступеньках, он следом за Кычей спустился в подвал.

Едва достиг он дна подвала и твердо встал на ноги, щеку ему обожгло горячим дыханием Кычи.

— Том-мо-от! Человек, который обещал тебе «Голос якута», шлет привет!

— Что-о?

— У кого ты хотел одолжить журнал «Голос якута»? Так он тебе...

— Кы-ча!

— О, Томмот!..

Они замерли в объятии. Сколько раз в мечтах своих Томмот представлял себе этот миг, но никогда бы и в голову не пришло такое: в холодном амбаре, на дне ледника!

— Кыча, не плачь. Не плачь, тебе говорят! Что он велел передать?

— Напоите их допьяна, говорит. Остальное будет видно. И чтобы ты к нему не подходил. Совсем!

— Будет видно? Да опьянев, они его просто застрелят!

— Я ему сказала так же. А он говорит — выбора нет.

— Да, это верно. Ты к нему пойдешь?

— Он сказал, чтобы без надобности не шла.

— Есть такая надобность! Передай вот это. — Томмот вынул из внутреннего кармана пистолет и нож. — Спрятала? Спеши. А где же спирт?..

— Не знаю. Догадываюсь, что тут...

Томмот зажег спичку. В одном из углов под кучей бурого снега он увидел какие-то сумы, ящики, мешки. Он поспешно разбросал этот хлам. Внизу оказался большой ящик с висячим замком. Томмот ударом ноги расколол крышку, отломал доску и просунул руку в дыру: бутылки!

— На, держи! Четыре бутылки. Заверни в тряпицу. На стол подавать не сразу, пока не потребуют, пока не заругаются. Солдату в юрте отнеси побольше да разведи покрепче. А когда уснут, постового со двора в дом позови. Только надо бы дать знать Ходулову, что снаружи поста нет.

— Хорошо!

— Давай побыстрей. Вылезай сперва ты.

— О, Томмот, прости меня...

— Ладно, ладно! Быстрей вылезай!

...Навстречу им кинулся обеспокоенный Мальцев.

— Ну, как?

— Есть! Есть!

— Быстрей сюда!

— Тра-ля-ля... — попытался напевать Мальцев, мотая отяжелевшей головой. — Не помню ни одной самой паршивой песни. Ни единого слова... Эх, жизнь про-

клятая. А ведь у меня был неплохой тенор! Остался мой золотой голос в снегах Сибири, господин полковник...

— Все мы прежде были божьими птахами... Тенор!

— Я был тенором! Не верите?

— Будьте вы хоть тенором, хоть сифилитиком... К черту лирику вашу!

Томмот развел и принес на стол полбутылки спирта, и вскоре оба захмелели настолько, что каждый, уже не ожидая другого, сам стал наливать себе. Топорков все больше становился молчалив и угрюм, только ворочал глазами да икал. Зато у Мальцева язык развязался. Он принялся длинно рассказывать, как, пребывая в Сибири в составе армии адмирала Колчака, принял участие в расстреле восставших рабочих Куломзина. Видя, что полковник его не слушает, он повернулся к Томмоту:

— Вот там был бой! Сражение, не то что здесь. Разве это бой? — Мальцев качающейся рукой показал куда-то вбок. — Да и вся эта наша компания, «дружина», «братья» — это просто хулиганство! Историческое хулиганство! Э, да ты разве поймешь? Лучше сходи, тащи еще...

— Есть у них спирт, да не хотят давать. Боятся отца-старика. Попросите сами.

Мальцев пошел было на левую половину, но остановился перед камельком. Его сильно качало.

— Спирт! Ну?

— Суох... Нету... — возразила Ааныс.

— Как это «суох»? — Мальцев вытащил пистолет. — Ну, как, «баар»?

— Баар... баар... совсем конец... — испугалась Ааныс.

— Бери! — кивнул он Томмоту.

Тот принял у хозяйки еще бутылку, разбавил спирт в банке и поставил на стол.

— Моло... — Не договорив, Топорков икнул и выронил на стол недожеванный кусок мяса. Удивленно поглядев на кусок, он смахнул его рукавом со стола, выпил услужливо подвинутый Томмотом стакан и поднял на Томмота мрачные глаза. — Молодец!

— Для них царь и бог — вот! — Мальцев хлопнул рукой по кобуре. — Язык пули понятен всем!

— Я не про вас. Вы известная сволочь. Я хвалю вот его, — и опять Топорков уставился на Томмота тяжелым

взглядом. — Чычахов, я желаю наградить тебя. Мою награду ты не забудешь вовек!

— Спасибо, брат полковник!

Помянув о награде, тот переменился: трезвые, мрачные, холодные глаза смотрели на Томмота мстительно и подозревающе. Казался пьяным, оказался трезв... Томмоту стало не по себе.

— Благодарить будешь потом! Знаешь, чем я хочу тебя наградить? Высокую честь расстрелять этого чекиста я предоставляю тебе, бывшему чекисту. Завтра, при народе, ты его... — Топорков щелкнул пальцами...

В груди у Томмота похолодело.

— Брат полковник, раньше я ни разу...

— Не расстреливал людей?

Томмот опустил голову и промолчал.

— Не расстреливал? Тем лучше. Это будет твой первый.

— Слушаюсь, брат полковник.

— Вот за это стоит выпить, подполковник! — Топорков стукнул Мальцева стаканом в поникший лоб. — Выше голову! За первое причащение брата Чычахова! А теперь, брат Чычахов, сходи и проверь, как стерегут солдаты твою завтрашнюю мишень. Проверь и коней! Заодно солдатам отнеси поесть.

— Слушаюсь, брат полковник.

За перегородкой он взял у Кычи пистолет, нож, положил их во внутренний карман, подойдя к столу, прихватил для солдат мяса, лепешки, бутылку и вышел в темь.

Наружный постовой, не стерпя мороза, вошел в юрту и застал арестованного у огня.

— Он тут у огня, а я дрожу на морозе, как собака! — заорал солдат как ужаленный. — А ну, прочь!

— Чего злобствуешь! — упрекнул его пожилой. — Мало, что ли, места? Пусть греется. И он небось человек.

— Тебе, Епифанов, я вижу, красных жалко? Узнал бы об этом полковник... Да и зачем ему греться, завтра ему крышка!..

Завернувшись в свою ветхую доху, Ойуров присел на кормушку, сбитую из молодых неошкуренных листвя-

шек. Кутался он в дошку больше по привычке, зная, что ему это не принесет облегчения, все тело у него одеревенело настолько, что даже боли он не чувствовал, хотя знал, что болело и в груди, и в животе — везде, где прошлись кулаки его истязателя. Ребра как бы сдвинулись с мест и перемешались. Набил, видать, руку! Айу-айа...

«Завтра все равно ему — крышка».

Неужели на этом и оборвется жизнь твоя, Трофим Ойуров, единственный сын Басылая Балыксыта, прозванного Рыбаком за то, что всю жизнь питался только озерным гольяном да малявкой.

Много ли лет прошло с того весеннего утра, когда он, мальчуган лет шести-семи, в испуге проснулся от крика, который, как ему показалось, потряс стены маленькой избушки? И увидел он, притаясь под старым заячьим одеялом: посреди избушки стоял первый бай их наслега Аабылан и шумно мочился прямо на земляной пол, разражаясь бранью — он требовал, чтобы хозяин избушки подтер за ним... Много лет прошло с того памятного утра, но Ойуров все помнит ясно, как будто это произошло вчера.

И совсем недавним кажется то время, когда он, молоденький парень, из-за неудачной любви подался бродяжничать на побережье Ледовитого океана. Устроился он тогда к одному купцу писарем, вел реестровую книгу. Подружился со стариком-рыбаком, согнутым от старости в три погибели, уже и не помнящим своего возраста. Старик был древним, как сам мир, но крепок телом, как топляк[1], выброшенный прибоем. Люди говорили, что ему давно перевалило за сотню. Однажды им довелось почти пол-лета прожить вдвоем на речном острове в шалаше.

В последний вечер, перед тем как расстаться, старик сидел согнувшись возле тлеющего костра и рассказывал ему про свою жизнь.

— Голубчик, у меня прошлое — длинное, а будущее — короче птичьего клюва. Зато у тебя прожито с гулькин нос, будущее — необозримо. У меня было много времени, чтобы понять свою душу. Ты рассуждаешь,

[1] Топляк — дерево, пролежавшее долгое время в воде и утонувшее. (*Примеч. переводчика.*)

что все баи нехороши, не должно быть угнетения, все люди должны быть равны и счастливы. Выслушай, голубь мой, заповедные слова старого человека. С малых лет до ветхой старости, в поисках счастья и доли, я обошел многие земли. Задубелой шкурой своей я выстрадал и понял истину: нет под солнцем счастья бедному и неимущему, оно принадлежит только богачам. Мысли твои о равенстве — ложь. Нигде в мире такого нет и не будет вовек. Как может не угнетать бай и как посмеет бедняк равняться с баем? Будешь в себе пестовать эти мысли, всю жизнь проведешь в страданиях. Такова воля бога, и это будет стоять нерушимо, пока земля не провалится в преисподнюю, а небо не расколется пополам. Мне жаль тебя — такого молодого, потому и говорю тебе эти слова.

Вернулся он в свой улус к осени и обнаружил дом пустым: мать и отец умерли от какой-то эпидемии. Трофим ходил обескрыленный, со сникшей душой, добавила яду измена поповны. Он стал бродяжничать. Случалось, поигрывал в карты, узнал и вкус спиртного. Но все больше склонялся он к мысли, что старик был прав! Ему, катящемуся как перекати-поле, жизнь становилась все безразличнее.

Затем осенью 1918 года, рассчитавшись с купцом, у которого работал в верховьях Лены, он сел в утлую лодчонку и поплыл вниз по реке в сторону своей земли. Стояли промозглые, дождливые дни, по реке гулял сильный северный ветер. Однажды Трофим, не в силах выгрести против ветра, пристал к низкому берегу, заросшему густыми купами ив. Листва давно облетела, черные ветки ив выглядели жалко и сиротливо. Выгрузив свое барахлишко под крутой, заслоняющий от ветра яр, Трофим в поисках сена для шалаша пошел с косогора вниз, завернул за небольшой мысок и пошел затем по берегу, разбрасывая ногами мелкую гальку. И тут внезапно перед ним зашевелилась куча хвороста, выброшенная на берег волнами:

— Стой! Руки вверх!

От неожиданности Ойуров поскользнулся на мокром камне, чуть не упал, но устоял и поднял руки вверх.

— Подойди поближе!

Он повиновался. В мокрой, потемневшей от дождя шинели, с красной латунной звездочкой на околыше надвинутой на самые уши фуражки, с худым лицом,

сплошь обросшим щетиной, за кучей хвороста лежал человек.

— Кто такой?

— Ойуров я.

— Что за человек?

Говорил он через силу, будто выталкивал из себя слова поодиночке. Под тяжестью пистолета его рука, дрожа от напряжения, опускалась все ниже. Обезоружить его при желании было очень легко.

— Добираюсь до дому. Летом работал по найму у купца Черных.

— Выворачивай карманы...

Вдруг он упал лицом в песок, не выпуская пистолета из рук.

Трофим подошел к нему вплотную и окликнул. Тот не ответил. Опустившись рядом на колени, Трофим перевернул человека вверх лицом. Левая штанина была вся в засохшей крови. Бормотал он что-то неразборчивое.

Соорудив шалаш и разведя костер, Трофим отнес раненого туда на руках, положил возле костра на толстый слой сена. Потом он ножом располосовал штанину, присохшую к ране, обнажил ногу и чуть не отпрянул в ужасе: вся нога безобразно распухла и до самого паха пошла в сплошных багрово-черных пятнах. С трудом размотал он старую перевязку, как смог вычистил рану и перевязал заново, изорвав на бинты запас исподнего белья, напоил раненого с ложки теплым чаем и отнес в шалаш. Пистолет он положил ему на грудь. Пришел в себя человек только к вечеру и, как только открыл глаза, сразу схватился за кобуру. Успокоился, лишь нащупав скатившийся с груди пистолет. Так провели они двое суток.

Раненый был красноармейцем из отряда Рыдзинского, установившего этим летом в Якутске Советскую власть. В составе отряда Стояновича, посланного против банды атамана Гордеева, лютовавшего в верховьях Лены, они шли пароходом и попали в засаду. Всех, кроме нескольких спрыгнувших с парохода в реку, белые захватили в плен. Этот человек схватился за проплывавшую рядом большую кучу хвороста, а не то утонул бы. Рану в ноге ощутил позже, на берегу. Три дня назад его вынесло на этот берег. Трофим предложил ему поплыть вместе, чтобы оставить его в какой-либо деревеньке на излечение, но тот отказался, показав на ногу:

— Гангрена... Проживу не больше суток. Прошу тебя, задержись... Похоронишь меня.

Ночь раненый пролежал в беспамятстве, изредка приходя в сознание, а днем ему как будто полегчало. Он попросил вынести его из шалаша к костру, немного полежал, жадно глядя в низкое небо, затем перевел взгляд на вздымающееся лоно реки и подозвал к себе Трофима.

— Товарищ, подошел мой смертный час. Выслушай меня. Когда доведется встретить красных, расскажи им обо мне. Звать меня Озоль Ян Янович. Запомни: Озоль... Латыш я... Слыхал когда-нибудь про Латвию? Она там, далеко за Россией. Скажешь им: я умер, как подобает красному солдату. Эх, не увидел торжества власти трудящихся — вот о чем жалею. Скажешь им...

Озоль устало прикрыл глаза и положил ладонь на руку Ойурова:

— Идешь куда?

— К себе, на родину.

— Чем станешь заниматься?

— Наймусь на работу.

— Опять в батраки?

— Иного не остается.

— Есть у тебя иное! Подайся к красным... В России — Советская власть... Ленин... Твоя дорога с ними.

Трофим нагнулся над ним, закрывая от налетевшего ветра. Озоль покачал головой:

— Пусть дует! Теперь все равно. Помни одно: за свободу народа не жалко и умереть... Я коммунист с тысяча девятьсот пятого года, прошел сквозь тюрьмы и каторгу. Сражался за счастье якутской бедноты... Не жалею о прожитой жизни, нет — я счастлив... Достань бумаги... из левого кармана.

Трофим подал латышу его бумаги. Окоченевшими пальцами Озоль вытащил из стопочки тонкую книжечку и протянул ее Ойурову:

— Мой партийный билет... Передай красным. И сам к красным... К красным!

В груди у него захрипело, дыхание стало прерывистым и тяжелым. Собравшись с последними силами, он приподнял голову и показал на свой пистолет:

— Бери! Теперь он твой.

К вечеру он, так и не придя в сознание, умер.

Выкопал могилу Ойуров на высокой рёлке[1] на берегу реки и похоронил там коммуниста-латыша. Над могилой он поставил большой красный плитняк.

Ту ночь у костра Ойуров провел без сна. Передумал он дум, может, больше, чем за всю жизнь до этого. И понял, что в этот осенний день на берегу реки Лены его сердца впервые коснулось очищающее пламя великой правды.

Старик-рыбак сказал ему: «Беднякам в этой жизни счастья не видать. Не ищи его напрасно!» Тогда Трофим крепко уверовал в эти слова. Тогда что же, не прав старик! Шла молва: все взбудоражилось, как в зимний буран, люди разделились и проливают реки крови. Слухи эти не задевали Трофимовой души. Жить бездумно казалось единственно удобной и достойной человека участью.

«Старик, старик! Оказывается, ты затуманил меня неправдой. Я тебя не виню. Верю, что ты мне желал, как и сам говорил, только добра. Но ты, старик, был неправ. Пожалуй, есть на свете счастье и для бедняка. И потому прав латыш: хватит жить бездумно! Позорно сидеть сложа руки и ждать, пока другие добудут тебе твое счастье, может, ценою своей жизни».

Исполнить завещание латыша удалось не сразу. Над Сибирью властвовал тогда Колчак. Попал Ойуров к красным только в декабре 1919 года, когда в Якутске свергли власть белых. С тех пор в составе революционных войск он прошел немало дорог.

Как отговаривали его товарищи из Якутска от этой рискованной поездки, но уступили все же. Он хотел скрытно пробраться в окруженный отряд Строда, передать распоряжение командования, поддержать осажденных. Под видом возчика ему удалось пробраться в Сасыл-Сысы ,и, может, все получилось бы, но его послали в лазарет доставить раненого офицера, а там случилась неожиданная встреча с поповной. К несчастью, та узнала его, хоть он сделал все, чтобы изменить свою внешность.

По привычке Ойуров опустил руку в карман за трубкой, но обнаружил вместо нее кусок лепешки. Трубку отняли у него при обыске.

---

[1] Рёлка — гребень, гривка, сухая возвышенная полоса *(сев.-сиб.). (Примеч. переводчика.)*

Подошел, кажется, твой черный час, Ойуров. Сомнительно, что ты вырвешься из лап этих оголтелых бандитов. Но что твоя жизнь? Хоть трижды умри, но сделай так, чтобы Чычахов остался вне подозрений, если ты не предотвратишь опасность его разоблачения, то грош тебе цена, это будет равносильно предательству. Пораскинька умом, Ойуров, не отыщется ли какая лазейка, не появится ли хоть малый из малых шанс выбраться из этой западни. Эх, если бы Томмот признал тебя там, на дороге, расстреляли бы тебя, Ойуров, и на том бы ниточка оборвалась... Завтра в Амге Валерий Аргылов увидит тебя, и конец... Провал задания, смерть этого парнишки будут на твоей совести, Ойуров. Нет, Валерий ни за что не должен видеть тебя: ни живого, ни мертвого.

Так, обращаясь сам к себе, размышлял Ойуров и машинально, не чувствуя вкуса, жевал, отламывая по кусочкам, остывшую лепешку.

...Наружного постового не было. Томмот вошел в амбар и засветил спичку. Седло с потником, на счастье, нашлось сразу же, оно лежало рядом в углу и оказалось еще довольно прочно. Зато немало пришлось пошарить и сжечь спичек, чтобы в длинном ряду деревянных крюков на стене отыскать уздечку с обротью. Подхватив и то и другое, Томмот вышел на баз, где три коня похрустывали сеном, а четвертый, сытый, терся шеей о кол изгороди.

Томмот поймал этого сытого, оседлал, вздел уздечку, вывел с база и привязал к изгороди с дальней стороны, ближе к лесу.

— Почему не на посту? — накинулся он на молодого солдата, войдя в юрту и застав его там. — Полковник послал меня проверить вас.

Молодой солдат нехотя поплелся к выходу.

Томмот подал пожилому солдату кусок мяса, протянул бутылку.

— Чай кончился. Придется тебе запивать этой жидкостью.

— Спасибо! — Солдат засуетился, не помня себя от радости.

— Полковник велел мне допросить арестованного...

— Сюда! Сюда! — солдат услужливо распахнул дверь

в закуток и замешкался. — Э-э, — наконец протянул он, не зная как обратиться. — Мне бы сходить по надобности...

— Иди! — отмахнулся Томмот и повернулся к Ойурову. — Ну, долго ты будешь стоять так, прикусив язык? Говори!

Когда солдат вышел, Ойуров спросил:

— Зачем ты здесь? Мой приказ тебе не передали?

— Передали... Но меня действительно послал полковник. За хотоном, возле скотного выгона, приготовлена оседланная лошадь. Караульному принес спирта. Молодого Кыча уведет в дом и даст вам знать. И вот это...

Томмот протянул Ойурову пистолет и нож.

— Знают ли, что они твои?

— Нет, никто не знает. Свой пистолет у меня — вот, — хлопнул Томмот себя по боку. — Как вы попали сюда, Трофим Васильевич?

— Известно как: по дороге. Твои сведения поступают, спасибо... Ты должен по-прежнему оставаться здесь и быть вне подозрений. Задача остается прежней. В случае изменения задания тебе сообщат или прямо из Якутска, или через Чурапчу. В Чурапче вместо меня остался Вишняков.

— Вишняков?

— Да. Тот, с которым ты вел на расстрел Аргылова.

— Понял. — Томмот тронул Ойурова за рукав. — На вас донесла поповна?

Ойуров нахмурился.

— Это теперь уже не важно. Я постараюсь в ночь ускользнуть отсюда. Если же не удастся... Слушай, убьют меня здесь — постарайся мой труп убрать подальше отсюда, да пусть чем-нибудь забросают... Аргылову на глаза я не должен показаться даже мертвый — это будет и твой провал. Если вырваться не удастся, то все равно в слободу быть привезенным живым мне никак нельзя. Я добьюсь, чтобы меня убили в пути. Мой труп и в этом случае упрятать! Понял?

— Понять-то понял...

— Говори. Времени у нас нет.

— Трофим Васильевич, завтра...

— Ну?!

— Меня...

— Да говори же!

— Полковник говорит, что я должен... завтра расстрелять...

— Кого, меня?

— Трофим Васильевич, пусть что угодно...

Ойуров схватил Томмота за грудки и притянул к себе:

— Расстреляешь! Ты меня расстреляешь даже тогда, когда этого от тебя не потребуют. Живым в слободе мне быть нельзя. Если не убьют при попытке к бегству, я стану проклинать тебя, и ты меня пристрели. Скажешь, что не выдержал оскорблений.

— Трофим Васильевич!

— Это приказ!

Успокоившись, Ойуров положил руку Томмоту на плечо:

— Знаю, тяжел этот приказ. Но ты его выполнишь! Смерть — она ведь простая вещь, вроде как бы расстались на время... А если не от чужой руки, а от своей — без мучений...

В слабых отсветах камелька между жердинами перегородки Томмот разглядел в глазах Ойурова мольбу — то, чего не видел в его глазах никогда:

— Прошу тебя...

— Выполню... Трофим Васильевич.

— Томмо-от...

В звуке имени своего услышалась Томмоту ласка матери. Только мать звала его по имени так тепло.

Чтобы не показать лица, Томмот склонил голову. Ойуров приподнял его голову за подбородок пальцем.

— Повесил нос? Нет, ты погоди меня хоронить раньше времени! Не думаешь ли ты, что при расставании с жизнью я стану лить слезы? Конечно, нет существа, которое желало бы себе смерти, но мне легче, чем многим — я ни в чем не раскаиваюсь. Мальчик мой, родиться вновь, прожить повторно и исправить прежние ошибки нам не дано. Ты еще молод. Будь счастлив. Кыча — хорошая девушка. Пусть и она будет счастлива. Оба... Если умру, первенца — сына назовите моим именем.

— Трофим Васильевич!

— Будет! Все будет — и любовь, и радость победы. Веришь мне?

— Верю, Трофим Васильевич...

— Это тебе мое благословение. — Он прижал на миг Томмота к своей груди и тут же отстранил.

Они немного постояли, молча глядя друг на друга.

— Здешние дороги знаете?

— Имею представление.

— Версты через три-четыре к слободе нужная вам дорога свернет на запад. Запомнили?

— Запомнил. Ну, прощай, мой мальчик. Сюда идут. Я сейчас пущу себе юшку, с таким расквашенным носом это не трудно.

В юрту заскочил караульный.

— Они вышли во двор, — опасливо проговорил он и, взглянув на окровавленное лицо Ойурова, сокрушенно вздохнул.

Томмот кинулся наружу. Молодой солдат стоял навытяжку перед офицерами. Топорков твердо держался на ногах, а Мальцев, видно, ослаб. Пошатываясь и тыча рукавицей в тулуп постового, он что-то ему выговаривал.

— Я допросил арестованного, — подоспел Томмот, надеясь, что офицеры, быть может, не пожелают войти в юрту.

— Ну и что же?

— Молчит. Хоть и еле дышит...

Полковник отстранил Томмота и шагнул за порог. Солдат вскочил. «Успел спрятать бутылку», — облегченно подумал Томмот. Полковник подошел к закутку, и солдат распахнул перед ним дверь.

Топорков мельком взглянул на Ойурова, лежащего на полу ничком, и безнадежно махнул рукой.

Вернулись в дом. Мальцев, войдя, кинулся к недопитой бутылке, но Топорков вырвал ее из рук подполковника:

— Хватит! Пора ложиться.

Первым лечь на кровать Топорков приказал Томмоту. Уткнувшись лицом в стену, Томмот слушал перебранку офицеров: полковник принуждал Мальцева лечь рядом с Томмотом. Затем послышался звяк посуды, убираемой со стола, и грохот: это пододвигали стол вплотную к кровати. «Не верит, — отметил Томмот, — запер, как в ловушке».

Огонь в камельке потух. Рядом с Томмотом сопел Мальцев, бормотал какую-то несуразицу и все норовил обнять Томмота. Топорков на столе долго кряхтел и воро-

чался, укрываясь шубой, но успокоился и он наконец. Скоро раздался его храп, похожий на бульканье жидкой болотной грязи под сапогами.

Томмот прислушался. Едва слышные шаги прошелестели к запечью, к дверям хотона.

Через хотон Кыча вышла во двор.

— Стой! Кто идет?

— Это я... Зайдите покушать. Ваши все спят.

Теплой ладошкой Кыча прикоснулась к жесткой, давно не бритой щеке солдата, и он разомлел от ласки.

— Епифанов! — с порога заглянул он в юрту. — Я пошел погреться.

Тихонько, чтобы не потревожить коров, Кыча с солдатом вошли в хотон. Возле дверей на маленьком столике мигал жирник и стояла еда.

— Может, не очень-то здесь уютно, да негде больше.

— Ничего.

Кыча вынула из-под стола бутылку.

— Ого! — обрадовался солдат.

— Выпьете? Немножко...

Солдат, ни слова не говоря, взял у нее бутылку, налил себе, осушил стакан и, схватив чего закусить, вытаращил глаза.

— Да ты красавица! Как зовут?

— Кыча.

— А я Петр.

Парень придвинулся ближе к девушке.

Ойуров сидел в своем закутке, помаленьку откусывая от куска мяса, оставленного Томмотом. С неясной еще надеждой он слушал, как солдат отхлебывал из бутылки спирт, каждый раз удовлетворенно крякая и отдуваясь. Хмель ударил в голову Епифанову, он принялся разговаривать с собою вслух. Чем больше от глотка к глотку пустела бутылка, тем внятней становился его разговор с самим собой.

— Думают, Епифанов дурак! Епифанов — себе на уме, не полезет под пули. У Епифанова есть кое-что! Уж до Челябинска добраться — хватит...

В просвет между тонкими жердинками Ойуров настороженно следил за ним. Солдат сидел, прислонясь к сте-

не, медленно разжевывал мясо, останавливался, заплетающимся языком спорил с кем-то и опять принимался медленно, как вол, жевать. Ойурову подумалось, что солдат просидит вот так всю ночь. Его охватило отчаяние: уходит время! Наружный постовой, как видно, пригрелся в тепле — самый удобный момент, а этот все не спит. Ах, уходит время!

Бормотание солдата стало едва слышным и наконец иссякло совсем. Кажется, уснул... Ойуров тихо подобрался к двери закутка. Солдат, уронив голову на грудь, громко всхрапнул, проснулся, подбросил в камелек дров. Затем, позевывая, он подошел к закутку, заложил в пробой двери палку, отошел и, наверно, сел, Ойурову он стал невидим.

Ойуров чуть не застонал от злости: что за сокровище держали в этом закутке, что приделали на дверях железный пробой? Эх, солдата надо было убрать давеча, когда он придремал! С пистолетом в руке Ойуров подошел к двери, но солдата по-прежнему не было видно. Зато он явственно услышал равномерный храп из-за камелька. Спи, солдат!

Ойуров принялся стругать ножом тонкую жердину возле пробоя. Полусырое дерево было податливо, стружки Ойуров ловил в ладонь и клал в карман. Лишь бы не явился не вовремя наружный постовой. Лишь бы Кыча сумела удержать его в доме подольше... Наконец он проделал в двери дыру, просунул руку и снял заложку, осторожно выбрался из закутка, загасил тлеющий жирник. Солдат спал, привалившись к теплой боковине камелька.

Ойуров был уже в двух шагах от порога, когда в камельке «выстрелило» полено: уголек, отскочив, угодил солдату в лицо, — он схватился за обожженную щеку и открыл глаза.

Ойуров застыл, внутренне умоляя солдата, чтобы тот в полусумраке не заметил его. Но Епифанов вытаращил глаза и, вскинув винтовку, крикнул что было мочи:

— Стой! Стрелять буду!

Изловчившись, Ойуров прыгнул к нему и ударил ножом в то место, где должна быть ямочка над ключицею. Как опрокинутый куль, солдат медленно свалился на бок. Схватив его винтовку и патронташ, Ойуров тихонько вышел.

...Лежа под боком Мальцева, Томмот чутким ухом уловил возникший вблизи и быстро удалившийся частый перестук копыт: «Ускакал!» Он закрыл глаза и тут же провалился в сон, как в небытие.

Молодой солдат Петр Георгиевич, как он представился Кыче, тем временем все чаще прикладывался к бутылке и все ближе придвигался к молодой хозяйке, раскрасневшийся, растрепанный и вспотевший.

— Кыча! — обнял он девушку. — Я тебя люблю!

— Неправда!

— Видит бог!

— Не верю я в такую любовь...

— Идет война, всем некогда. Потому и спешим. Время сейчас такое.

— Слишком уж ты спешишь! Одержи-ка победу да возвращайся. А до тех пор... Убери руки!

Приобняв Кычу, солдат все же привлек ее к себе. Кыча с силой уперлась ему руками в грудь:

— Закричу! — Солдат отпустил ее. — Любишь, так зачем же хватать руками?

И перебралась на другую сторону стола.

...Жирник, выгорая, стал дымить и шипеть и вскоре погас.

Разгоряченный от выпитого и раздосадованный неудачей, солдат выбрался наружу уже за полночь. Сгоряча он не ощутил мороза. Опрокинувшись на сани с сеном, он долго глядел в звездное небо и незаметно для себя уснул.

Когда он проснулся, дрожа от озноба, уже занимался рассвет. Ковыляя на замерзших ногах, солдат побежал к юрте, с разбега нырнул в ее темноту и неуверенными руками нащупал успевший уже выстыть камелек.

— Епифанов!

Ответа не последовало. Парень чиркнул спичкой: Епифанов лежал возле печки на боку.

— Просыпайся, Епифа...

Коснувшись ледяной руки лежащего, солдат отпрыгнул в сторону. Возле порога он еще раз зажег спичку, в глаза ему бросилась раскрытая дверь закутка. Он кинул-

ся к дому, забарабанил в закрытую дверь прикладом ружья:

— Откройте! Откройте!

Этот неистовый стук разбудил всех. Резко повернувшийся на кровати Мальцев упал на пол и выматерился.

Уже хлопочущая у камелька Аанныс поспешно откинула крючок двери.

Ворвавшись в дом, солдат с порога закричал:

— Убежал! Он убежал!

— Кто?! — вскинулся на столе Топорков.

— Арестованный!

— А Епифанов?

— Епифанов там... Он уже остыл...

Поспешно одевшись, офицеры и Чычахов побежали в юрту.

Томмот, хлопоча, отпихнул в темный угол пустую бутылку, валявшуюся на полу.

Полковник пощупал Епифанову лоб, приподнял за волосы голову.

— Огонь сюда! — Мельком взглянув на рану, определил: — Нож.

— Да, да... Нож, — согласился и Мальцев.

— Подполковник, хорошо ли вы его обыскали? Как же вы пропустили нож? — жестко спросил Топорков.

— Не только ножа, но даже иголки мы на нем не оставили, — заверил Мальцев, вытягиваясь перед полковником. — Не взял ли он нож у Епифанова, когда тот уснул?

— А ты? Ты где был? — повернулся Топорков к молодому солдату.

— Я? Там... — солдат показал во двор.

— Где это там?

— На санях...

— Спал?

Солдат молча опустил голову.

— Тебе велено было спать или стоять на посту?

Тяжелый, как гиря, кулак полковника угодил парню в челюсть. Растопырив руки-ноги, солдат отлетел назад в раскрытую дверь закутка и опрокинулся там через голову.

— Кони где?

Чычахов повел их на скотный выгон, все три коня оказались на месте.

— Почему он не взял коня? Удивительно... Если он пеш, то далеко уйти не может.

— Конь мог быть и у хозяев, — предположил Мальцев. — Чычахов, ты вчера не заметил здесь чужого коня?

— Темно было...

Попытались разобраться в следах, но трудно было что-нибудь определить на твердом насте.

Зашли в дом.

— Ат! Баар? — внезапно по-якутски спросил Топорков у хозяйки.

— Есть, — ответила Ааныс.

— Где?

— Спрашивают, где у вас стоит конь, — перевел Томмот и с горечью подумал: ах, забыл он предупредить о коне!

— Должно, на выгоне. Вон Суонда знает.

Все повернулись к Суонде, который сидел за столом на левой стороне избы и пил чай.

— Где стоит конь? — шагнув к нему, заорал Топорков.

Будто и не слыша переведенный ему вопрос, Суонда продолжал неторопливо тянуть чай из блюдца, которое держал словно игрушку в огромных корявых пальцах.

— Ах ты дикарь! — Мальцев выбил из рук Суонды блюдце и схватил его за грудки. — Ат, ат!

Суонда с сожалением взглянул на осколки и сделал движение наклониться, чтобы собрать их.

— Конь! Где конь?! — Мальцев принялся бить Суонду затылком об стену.

Будто только что уразумев, о чем его спрашивают, Суонда молча показал в сторону хотона.

— Иди, покажи!

Придя на выгон и не увидев своего коня, Суонда сделал бессмысленные глаза.

— Спроси: куда он дел коня, — приказал Топорков Томмоту.

Суонда в ответ развел руками.

— Как он устроил побег арестованному и куда тот подался? Спроси.

Суонда затряс головой.

Мальцев ринулся к Суонде с кулаками, но Топорков удержал его за рукав:

— Экий вы болван, подполковник! Возьмем его с собой.

...Вернулись с конями и запрягли их в сани. Мальцев подтолкнул Суонду к юрте:

— Иди вынеси труп!

Шагнув за порог и увидев труп, Суонда попятился назад. Мальцев стал подталкивать Суонду в спину, пустил в ход ноги, но все оказалось напрасно: выпучив глаза, Суонда неотвратимо пятился назад.

— С него не будет толку! Вытащим сами... — сказал Томмот молодому солдату.

Скорченный труп Епифанова бросили на сани.

— Преследовать уже нет смысла, — решил Топорков. — Он ускакал далеко. Давайте завтракать.

...Попили чаю, «подлечились» остатками вчерашней попойки.

— Скажите ему, чтобы одевался, — кивнул Топорков в сторону Суонды.

— Шевелись! — подскочил к нему Мальцев.

«Один другого стоят: чуть что — в крик да с кулаками», — подумал Томмот.

Из-за перегородки выскочила Кыча, кинулась к Суонде.

— Он не виноват! Не трогайте его!

— Ха, откуда взялась такая раскрасавица? — Мальцев ущипнул ее за бедро. — Почему пряталась вчера? Ай да лебедушка!

— Он тут ни при чем! Я прошу вас...

— Кто же тогда «при чем»? Ах, не знаете! А мы знаем. Выведите его.

Мальцев оторвал Кычу от Суонды и оттолкнул ее. Томмот, выходя, поймал на себе умоляющий взгляд Кычи: «Помоги...»

Когда гуськом они уже подходили к саням, из дома неодетая выбежала Кыча и кинулась к Суонде. Ей преградил дорогу молодой солдат, ее ночной собеседник. Следом за дочерью прибежала и мать.

Застоявшиеся кони взяли с места в карьер, только завихрилась снежная пыль.

— Су-онда! Суонда-а!

Глава тридцатая

В комнату вошел старик высокого роста, худощавый, с седеющей бородой, в очках. Прислонясь к дверному косяку, он немного постоял, поглаживая лысоватый морщи-

нистый лоб, затем кинул на ближайший стул соболью шубу и шапку из лапок черно-бурых лисиц. Небрежно брошенная одежда соскользнула на пол, но старик не стал ее поднимать. Шагом смертельно уставшего человека он прошел к столу на середине комнаты, упал на стул и спрятал лицо в ладонях.

Это был Петр Александрович Куликовский, управляющий Якутской областью, он вернулся после встречи с командующим добровольческой дружиной генерал-лейтенантом Пепеляевым. Назвать ли это встречей?

«Как он смеет со мной так? Я что — лакей ему?» Куликовский вынул из портсигара сигарету. Прикурил, сделал две-три затяжки и с отвращением отбросил сигарету прочь: японские, не отличишь от прелой соломы... «Как он смеет? А я-то носился!»

На совещания генерал вызывал его редко. Особенно невнимателен он стал к нему после Нелькана, где надолго застрял, не имея достаточного количества транспорта. В Амге же и вовсе перестал его звать, на первый военный совет в слободе Куликовский вынужден был явиться сам, без приглашения. Какой стыд!

Сегодня же генерал сам пожелал его видеть. И хотя не «пожалуйста», а «пусть явится немедленно», Куликовский обрадовался и примчался, как мальчик, на резвых ногах. Довольно долго его заставили ждать в передней и только после приема всех офицеров и офицеришек через битый час его пропустили во внутреннюю комнату. В черном американском френче с погонами генерала стоял к нему спиной человек — он смотрел в окно.

— Добрый день, Анатолий Николаевич, — сказал Куликовский генеральской спине. — Вы меня приглашали?

Пепеляев не обернулся.

— Брат генерал...

— Брат? — крутнулся на каблуках генерал. — Избави бог от таких братьев, как вы!

— Я... Я... — Куликовский хотел выговорить свой длинный титул с тем, чтобы напомнить генералу о приличиях, но поперхнулся и умолк.

— Старый, выживший из ума болван — вот вы кто! Изолгавшийся проходимец, а не политик!

— Что-о?

Но кроме этого бессмысленного «что-о?» никаких

других слов у Куликовского не оказалось. Он стоял, как соляной столб, и только моргал своими чуть навыкате глазами.

— Вы обещали радушную встречу населения, наплыв добровольцев в дружину. Где обещанное?

— Анатолий Николаевич...

— Вы обещали полную обеспеченность дружины продовольствием, одеждой, транспортом и всем остальным. Где, где это?

— Я один... Во всем управлении, кроме меня самого...

— Один или двадцать один — это меня не касается! Отвечайте — сколько сейчас имеется у вас продовольствия и подвод?

— Ничего...

— Где ваши якуты, которые рвутся в добровольцы? Молчите... А вот мне известно, где они находятся! Они ходят добровольцами в красных отрядах. Слышите вы — в красных! Вам знаком такой красный отряд из якутов: нарревдот? Туда записались даже многие бывшие белые и теперь воюют против нас. Вот где ходят ваши мнимые добровольцы!

— Брат генерал, я и сам диву даюсь...

— Подите прочь!

...И вот теперь он сидел у стола и обдумывал свое ужасное положение: «Какое право у него так со мной обращаться? Я — управляющий Якутской областью. Если назвать по-прежнему — генерал-губернатор! На этот пост меня назначил сам барон Дитерихс, правитель Амурского края. А кто он такой? Это я его нашел на мусорной свалке в Харбине. Это по моему приглашению он прибыл сюда с дружиной, собранной на деньги, добытые мной. Да не я ему, а он должен бы мне подчиняться! Кто знал о нем до недавних пор? И погоны-то свои генеральские получил он всего несколько лет назад из рук так называемого Сибирского временного правительства, от которого давным-давно ничего не осталось, кроме пустого названия. А мое имя, имя Петра Александровича Куликовского, давно уже гремит по всей России! Давно...»

Куликовский откинулся на спинку стула, закрыл глаза и бессильно уронил голову.

...Петр Куликовский еще с молодых лет мечтал прожить яркую жизнь, не такую, как миллионные толпы

посредственностей, копошащихся в ежедневной заботе о куске хлеба. Или он станет прославленным героем, или погибнет! Движимый этими мечтами он, тогда еще студент Петербургского университета, примкнул к революционным организациям. Говоря по правде, Куликовского не интересовали конечные цели революционной борьбы. Революцию он рассматривал лишь как лестницу для собственного восхождения. Скоро он был пойман, осужден и выслан в эту вот богом проклятую страну — ледяную Якутию.

Об осуждении и высылке на каторгу знал, увы, лишь узкий круг революционеров да жандармских и судебных чиновников. Слава к нему не пришла, и он понял, что если дальше пойдет по этому же пути, то может бесславно окончить свои земные дни где-нибудь в тюремном каземате. Революцию же, которая вознесла бы его, приходилось ждать неопределенно долго. Слава была нужна Куликовскому не в туманной перспективе, а сию минуту. Поэтому, вернувшись из ссылки, он стал членом партии эсеров. В те времена эсеры-террористы совершали громкие акции, нападая на царей, их родственников и приближенных, грохот их бомб и треск пистолетных выстрелов разносились по всему миру, вызывая у одних восхищение, у других испуг. Легендарная слава двух Вер — Фигнер и Засулич не давала Куликовскому покоя. Достичь ее казалось легко и просто: тяжело ли нажать на собачку пистолета или кинуть бомбу — это дело нескольких секунд. Зато потом широко распахнутся для него двери истории!

В боевую организацию эсеров попасть оказалось не так просто. В поисках лазейки Куликовский прибыл в Баку. Здесь ему удалось стать членом городского комитета партии эсеров. В воспоминаниях об этом городе и о той поре своей жизни возникали всякий раз дома, вповалку взгромоздившиеся на низком берегу Каспийского моря, и острый запах нефти. Кажется, это было в начале декабря 1904 года. Да, именно тогда. Тогда ему устроили личную встречу с руководителем эсеро-террористов знаменитым Борисом Савинковым, одно имя которого наводило ужас на царя и на его сановников. Савинков долго не отводил глаза от лица Куликовского, как бы пытаясь вчитаться в его тайные мысли. Куликовский выдержал давящий взгляд — не опустил головы.

— Садитесь! — показал ему на стул Савинков и, нависнув на него сверху, поведал Куликовскому о том, что террорист должен обладать несгибаемой волей и ледяным сердцем и что жизнь террориста в конце концов кончается виселицей.

— Знаю, — ответил Куликовский.

— Кто вступил на путь террора — идти вспять уже не может. Уважительная причина сойти с этой дороги только одна — смерть. Если колеблетесь, откажитесь сразу.

— Нет!

Затем было еще несколько встреч с подобными же разговорами, и тогда, на последнем их свидании, Савинков сказал ему:

— Я вам верю!

Через несколько дней Куликовский поехал в Москву.

В то время боевая организация террористов под руководством Савинкова готовила покушение на жизнь великого князя Сергея Александровича, генерал-губернатора Москвы. Куликовскому доверили принять участие в этом покушении.

Второго февраля 1905 года в Большом театре давали спектакль в пользу Красного Креста, стало известно, что великий князь прибудет на этот спектакль. Убивать его было решено на подходах к театру. Бомбометателей назначили троих — Моисеенко, Каляева и его, Куликовского. Моисеенко был невозмутимый, немногословный, угрюмый человек. Каляев же был горяч и страстен, его так и пожирал внутренний огонь. Может быть, он предчувствовал свой близкий конец, и нервы его были напряжены до предела. Однажды, сидя с Куликовским в трактире в Замоскворечье, он сказал:

— Я очень устал... О, если бы выполнить задуманное, какое это было бы счастье!.. Убить великого князя Владимира в Петербурге, Сергея — тут! Тогда бы разразилась революция! Я этого не увижу. А вы увидите, вы счастливый...

— Вы тоже увидите это!

— Нет! Мне такого счастья не дано. Знаю. Удастся покушение или нет — мне все равно смерть...

Наступил вечер 2 февраля. Великий князь мог проехать к театру двумя путями, и они с бомбами, завернутыми в ситцевые платки, к восьми часам уже поджидали его: Каляев — возле городской думы, Куликовский —

около Александровского сада. Моисеенко и Савинков находились вблизи. Вечер был морозный, к тому же поднялась метель. То ли от мороза, то ли от волнения Куликовского стала бить дрожь, к счастью, к нему подошли Каляев и Савинков. Каляев, увидев в карете с великим князем детей, пропустил их беспрепятственно. Надеясь, что великий князь поедет домой один, все трое остались поджидать его возле театра. Всевышний спас его и на этот раз: князь возвращался с княгиней и детьми.

Разочарованные террористы пошли прочь от опасного места. Долго они ходили по городу, запутывая следы, пока не пришли к Москве-реке. Куликовский шел за своими единомышленниками замыкающим. Ознобная дрожь сменилась обильным потом, в глазах зарябило, ноги его стали ватными и подгибались. Зашатавшись, чтобы не упасть, он схватился за чугунные перила бетонного моста. К нему подошел Савинков.

— Что с вами?

— Возьмите у меня бомбу. Иначе я ее выроню.

Затем решено было убить великого князя 4 февраля днем, но Куликовский отказался тогда принять участие в акции — его на это решающее испытание попросту не хватило. Это был крах его мечтаний. В тот день бомба Каляева разнесла великого князя Сергея на куски, а через три месяца террорист был повешен во дворе Бутырской тюрьмы. Куликовский ходил как помешанный: по всей России были распространены объявления о его розыске. «Я оказался недостойным высокого назначения. Должно быть, так уже сказали обо мне, скажут и впредь. Савинков и его люди отвернутся от меня. Но рано еще ставить на мне крест! Я еще докажу, кто такой я! Обо мне еще услышат!»

Затем был день 28 июня 1905 года — одна из самых знаменательных дат его жизни. Был этот день по-летнему тепл и ярок, как то озарение, которое неожиданно ослепило его, и вот Куликовский, разыскиваемый как особо опасный государственный преступник, среди бела дня в своем же обличье появился на приеме градоначальника Москвы графа Шувалова и в упор несколько раз выстрелил в него из пистолета.

Арест и суд оказались совсем не такими, как он себе представлял. Его приговорили к повешению. И вот Куликовский, тот самый Куликовский, который мнил за-

служить себе бессмертную славу отвагой и смелостью, послал всенижайшее прошение царю, вымаливая себе жизнь. Мольбе бывшего террориста вняли: виселичная петля была ему заменена каторгой. Февральскую революцию он встретил в Якутске...

Можно было сказать, что желаемого, пусть и не в полной мере, он все же достиг: имя его стало известным. Несмотря на позорное прошение царю, его имя произносили рядом с именем Каляева и Савинкова. Бывший «революционер», а сейчас ярый враг Советской власти Борис Савинков, по слухам, находился теперь за границей, организуя там интервенцию против Советской России. Что бы сказал он, узнав, что его сподвижник Куликовский привел в Якутию дружину генерала Пепеляева? Если падет власть большевиков, вполне возможно, что Савинков сделается диктатором России. Неужели не вспомнит он тогда про своего бывшего соратника Куликовского? Передавали, что после истории с Шуваловым Савинков о Куликовском отзывался очень тепло...

Куликовский хотя и не такая крупная фигура (к великому огорчению, надо все же признаться хоть себе самому), но и он имеет отношение к истории. А кто такой Пепеляев? Вчерашний полковник, не больше. Может, придет еще время, когда он станет гордиться тем, что знавал Куликовского!

Однако, утешая себя таким образом, он, по совести сказать, был не уверен в подобном исходе. После свержения царизма, надеясь быть вознесенным на гребень волны революции, он поспешно уехал из Якутии в Центральную Россию. Но его честолюбивым мечтам не суждено было сбыться: когда он попытался протиснуться на руководящие посты партии эсеров, то был бесцеремонно оттиснут теми, у которых локоть оказался поострее. Затем большевистская Чека разгромила эсеровские подпольные центры, и Куликовский навострил лыжи в Сибирь. Он старался из всех сил, но Колчак так и не удостоил его почестей. А когда красные разгромили этого адмирала, Куликовский опять оказался в Якутии. Тут-то и осенила его новая идея — от имени «всего якутского народа» призвать белые войска, а самому же добиться назначения на должность управляющего Якутской областью. Он хорошо понимал, что это будет его последней ставкой. Хорошо понимал он и то, что ему невыгодно

ссориться с Пепеляевым. Пока... А посему приходится терпеть, когда так нехорошо ругают тебя и даже выгоняют вон!..

Куликовский снял очки, будто умываясь, помял лицо ладонями и вытащил из нагрудного кармана часы. Ба! Да времени уже много. Сейчас придет этот... как его там? Он порылся в бумагах на столе. Ага, вот... Чемпосов.

Трезво поразмыслить, генерал был прав: Куликовский, облеченный многообязывающим титулом «Управляющего Якутской областью», действительно не завербовал еще ни одного добровольца, не предоставил войскам ни одной подводы. Но с другой стороны, надо же войти и в его положение. Много ли способен сделать человек, раньше ни разу не бывший в якутских наслегах, ни слова не знающий по-якутски? К тому же один как перст, не имея ни одного человека в своем подчинении, ни канцелярии, ни прав, не говоря уже о власти. Еще в Нелькане он как-то заговорил было об этом с генералом, но тот досадливо отмахнулся. И вот вчера Куликовский решил наконец обзавестись хоть одним подчиненным человеком, непременно грамотным и обязательно из якутов. Рекомендовали ему некоего Чемпосова.

Чтобы войти в берега, Куликовский предался занятию, которое в минуты волнения всегда возвращало его к покою. Из небольшого чемодана в углу он достал картонную папку и жестяную коробку. В папке у него лежали хрусткие листы бумаги с типографским грифом «Управляющий Якутской областью», а в коробке — штемпельная подушка и несколько печатей с круглыми толстыми ручками. Выбрав печать покрупней, он потыкал ее в штемпельную подушку, подышал на нее и приложил к листу. Печать оттиснулась великолепно. После этого Куликовский хотел глянуть, как соотносится с такой превосходной печатью его подпись «П. Куликовский», но в это время в дверь постучали.

В ответ на «Войдите!» вошел молодой якут.

— Чемпосов, — представился он.

— А-а, Чемпосов! Пожалуйста, садитесь! Скажите, голубчик, вы в чьем распоряжении находитесь?

— У полковника Андерса.

— Я намерен принять вас на работу в свое областное управление. Когда мы обоснуемся в Якутске, наше управление, как и бывшая канцелярия губернатора, ста-

пет насчитывать многочисленный штат. Вы будете первым. Это большая честь. Вы понимаете это?

Чемпосов согласно кивнул.

— Чем занимаетесь вы у Андерса?

— На разъездах по сбору подвод.

— Отныне эту же работу вы будете вести не от имени Андерса, а от моего имени — управляющего Якутской областью. С полковником я улажу. Но главной вашей обязанностью будет установление и поддерживание связи с наслегами от моего имени, рассылка моих распоряжений. Вы бывали в улусах Амги?

— Да, довелось.

— А в восточно-кангаласских улусах?

— Бывал и там.

— Покажите-ка, пожалуйста, на карте.

Куликовский достал из чемодана и разостлал на столе сложенную в несколько раз довольно большую карту. Старая, еще царских времен, карта оказалась очень подробной — там были указаны все наслеги, даже небольшие населенные места Якутской области.

Чемпосов показал на карте и рассказал о наслегах, где ему пришлось побывать.

— Какие места попадутся нам по дороге в Якутск?

Рассказывая о наслегах, расположенных вдоль почтового тракта на Якутск, Чемпосов разглядел на карте странные надписи. Так, на верхней половине, на пространствах от устья Лены через Колымский край, Индигирский край и далее до самого Берингова пролива, было начертано жирным карандашом «А-м-е-р-и-к-а». Ниже, правее от Охотского края до хребта Джугджур, так же четко было выведено «Я-п-о-н-и-я». Под локтем у Куликовского, где должны были располагаться золотые прииски Бодайбо, значилось «А-н-г-л-и-я». Чемпосов не догадался вначале, что значат эти надписи и обведенные границы на карте.

И вдруг до него дошло! Он умолк на полуслове.

Проследив взгляд Чемпосова, Куликовский стал равнодушно объяснять:

— Я вижу, вас удивили надписи на этой карте. Вы — не малое дитя, должны понимать, что организовать такую дружину, обеспечить ее продовольствием, одеждой, снабдить военным снаряжением—было делом не легким. Прежде всего, потребовалось очень много денег. Где было достать их? Пожертвования купцов Якутской области

Никифорова, Галибарова, Кушнарева, Филиппова были лишь капля в море. Пришлось обратиться за помощью к иностранным фирмам. А долг, как говорится, платежом красен. Как первый взнос, мы им отдали пушнину, собранную со всей области. Конечно, в сравнении с тем, что мы уже получили и сколько нам было обещано, это была мизерная плата. Чем же расплатиться?

Чемпосов промолчал.

— Якутская область неисчислимо богата. Богатства бегают по ней в виде пушных зверей, они лежат в ее недрах. Вот мы и расплатимся ими. Мы обещали после падения большевистской власти дать им окраинные области Якутии в долгосрочную концессию. В той обстановке, которая тогда сложилась, это было единственно верное решение. Вы не согласны со мной? Кстати, как вас зовут?

Кто-то заглянул в дверь:

— Чемпосов! Басылай!

Куликовский вопросительно поглядел на собеседника.

— Это Дмитрий Аргылов, — ответил Чемпосов, поднимаясь. — Наш помощник по сбору продовольствия и подвод. Почетный старец из этих мест.

— Проходите, проходите, — с протянутой для приветствия рукой Куликовский пошел навстречу. — Кем он приходится тому... молодому Аргылову?

— Отцом.

— А-а, знаю, знаю... — Куликовский схватил руку Аргылова и преувеличенно дружески затряс. — Пожалуйста.

— Басылай, ты мне нужен, — не особенно обращая внимания на любезности Куликовского, сказал Аргылов. — Позавчера какой-то дурак арестовал моего Суонду. Они заночевали у нас, а ночью то ли чекист, то ли еще кто, кого они везли с собой в Амгу, не будь дураком — убежал. Обвиняют Суонду. Но Суонду ты хорошо знаешь: разве способен этот истукан устроить кому-либо побег? Врут заведомо! Будь ты хоть Чека, хоть самим господом богом, Суонде до этого дела нет. Напились, проспали и теперь сваливают на другого. А мне без Суонды — как без рук. Придется мне, видать, добиваться приема у самого генерала. Искал я Сарбалахова, чтобы он был за переводчика, но он куда-то уехал. Нет и сына. Так что, Басылай, одна надежда на тебя.

— Что он говорит?

Чемпосов перевел. Выслушав, Куликовский заволновался, заговорил очень громко, будто споря:

— Смеют обижать почтенного старика! Они отваживают от нас помощников! А потом сами же будут тыкать в глаза — не хватает того, не хватает этого. Пойдемте к генералу. Я с ним поговорю! — Затем, после паузы, он спросил потише: — Человек, кого схватили, и вправду ни в чем не замешан?

— Нет, нет! Он — хамначчит этого старика. Круглый дурак, не разбирает, где лево, где право.

— Пойдемте!

Куликовский поднял с пола свою соболью шубу. Пока он одевался, в голове у него забрезжила новая мысль: он сейчас придет к Пепеляеву в сопровождении этого старика и скажет, что, пока не будет изжито суровое отношение к местному населению, добровольцев из якутов им не видать. Генерал прежде и сам не раз указывал на необходимость гуманного отношения к местному населению, хотя бы до овладения Якутском. Кроме того, явившись перед генералом с почтенным стариком, Куликовский покажет свою связь с населением: Куликовского признаёт местная якутская знать, к нему обращаются за помощью! Однако если, как давеча, генерал опять заругается... Нет, якута, знающего по-русски, брать с собой не стоит.

— Вы оставайтесь здесь и подождите меня, — сказал Куликовский Чемпосову.

— Ты что это, Басылай.... — закрутился на месте Аргылов.

— Этот господин поведет тебя к генералу сам, — ответил Чемпосов и, видя, что Аргылов остался недоволен таким оборотом дела, добавил: — Это большой господин, вроде прежнего губернатора. Он все берет на себя.

Оставшись один, Чемпосов подтянул к себе карту, расстеленную на столе. «Давно уже все распродали налево-направо по кусочкам, будто лепешку поделили! Если уже сейчас, до победы, они начали распродавать Якутию по кусочкам, то что же будет потом? Якутии как таковой может и вовсе не оказаться?»

Чемпосов вскочил, собираясь немедленно куда-то бежать и что-то предпринимать. Но куда он пойдет, к кому обратится? С удивлением понял он, мысленно оглядевшись, что нет ни одного человека, перед которым он мог

бы не таясь излить свою душу. Долго стоял он у заледенелого окна, терзаемый мыслями. Я желал вам счастья и благоденствия, мои бедные родичи и соплеменники! Никогда не думал, что над моим народом нависнет такая беда! Если б я знал или хоть догадаться мог, что все обернется так, разве оказался бы я здесь, у этих продажных шкур? Клянусь, что нет! Но к чему запоздалые клятвы, когда целый народ, может быть, обречен, и не за горами время, когда «стоянка останется без завета, пепелище — без следа», как говорят в народе.

Вернулся Куликовский. Он неторопливо разделся, повесил на вешалку шубу и обернулся к Чемпосову:

— Я распорядился...

Тем не менее был он расстроен чем-то или очень устал. Голова время от времени клонилась, как у засыпающего, и он подбрасывал ее, как конь, напрягая кадыкастую шею.

— Я сейчас...

Он вяло двинулся к себе за перегородку, повозился там, пошуршал бумажками, позвякал склянками и через несколько минут явился преображенный — бодрый, энергичный, с осмысленным взглядом. Глаза его ненатурально блестели. Чемпосов изумился.

«Спирта он, что ли, там хлебнул?»

Куликовский остановился перед Чемпосовым с высоко вскинутой головой и, как бы продолжая только что прерванную беседу, громко заговорил:

— ...Таким образом, мы установим самые тесные связи с наслегами и улусами и быстро возьмем в свои руки управление делами всей области. Высшей инстанцией в Якутии станет областное управление, единственным хозяином края — управляющий областью. Вся пушнина, каждая намытая крупица золота поплывет в наши руки. И тогда... Одну минуточку, я вам кое-что покажу...

Отыскивая что-то в своем чемодане, он повернулся к Чемпосову спиной, а когда с бумагой в руке опять было к нему обратился, того уже не было в комнате. Чемпосов тихонько вышел.

Суонда, которого старик Митеряй привел к вечеру в свой дом, вызволив из-под ареста, неподвижно лежал на кровати. Не поднялся он даже на ужин. Валерий было

вскипел: «Заважничал!», но отец быстро его унял: «Не тронь его! Досталось ему и без нас!».

Позавчера, прибыв в слободу, Томмот разыскал Валерия и в общих словах передал ему, что случилось у них в прошлую ночь.

— Знаком ли тебе тот чекист? — вскинулся Валерий.

— В глаза ни разу не видал. Назвался Ходуловым, говорит, что охотник.

— А почему же его задержали как чекиста?

— Кажется, наговорила какая-то женщина.

— А, женщина... — протянул Валерий. Но все же спросил: — Почему он тогда убежал?

— А кто хочет умереть? Тем более ему пригрозили, что завтра начнут тянуть из него жилы.

Валерий понимающе наклонил голову.

Около полуночи кто-то постучался. Томмот быстро нащупал под подушкой пистолет.

— Кого это носит в такую пору?.. — ворчал старик Митеряй, наспех вдевая голые ноги в торбаса. — Кто там?

— Чего ты следствие ведешь? Кто б ни был, впускай! — отозвался Валерий.

Старик откинул крючок.

Топоча мерзлыми торбасами, кто-то ворвался и остановился посреди дома, свалив по дороге скамейку.

— Кто такой? — в темноте спросил старик Митеряй.

— Якут я, старик. Якут, по фамилии Чемпосов.

Ломая спички, Чемпосов зажег свечу на столе.

— «Якут я!» — передразнил Валерий. — Нашел чем гордиться. Умишка твоего только на то и хватает!

— Да, горжусь! Горжусь народом, который согрел пламенем сердца вечную стужу этой земли. В краю лютых морозов он развел неугасимый священный огонь, свил теплый домашний очаг, — в один дух, словно импровизируя олонхо, выпалил Чемпосов. — Горжусь якутским народом! На этой богом проклятой земле, где, казалось бы, нет места живой душе, он силой ума своего и силой рук развел тучные стада круторогого скота и бессчетные табуны коней.

Голос Чемпосова был неестественно звонок, а глаза лихорадочно и затравленно блестели.

«Что с ним?» — с сочувствием подумал Томмот.

— Якут да якут, нашел чем хвастать, — проскрипел старик Аргылов, направляясь к своей кровати. — Собака их съешь — якутов твоих.

Чемпосов остановился на полуслове, как будто ему дали по губам. Постояв так, хлопая глазами, он пошел следом за стариком.

— Старик Митеряй, ты, видимо, пошутил? Зачем же тогда примкнул... к этим?

— Не болтай лишнего! Нализался, так спал бы лучше.

— Старик Митеряй, очень прошу ответить мне. Я пришел только затем, чтобы поговорить с тобой. Пока не получу ответа...

— Чего-чего?!

— Я спрашиваю: почему ты примкнул к пепеляевцам?

Старик Аргылов вперил в Чемпосова тяжелый взгляд исподлобья:

— Чтобы они искоренили красных. Чтобы они вернули мне мои угодья и моих хамначчитов.

— И только? А счастья всему якутскому роду-племени ты разве не желаешь?

— Нет! — ответил, как кнутом стеганул, старик. — Пусть провалится хоть в преисподнюю твой «якутский род и племя»! Мне нужны золотые монеты. Принадлежи они хоть якутам, хоть русским — мне все одно, лишь бы они попали в мой карман. Мне нужны хамначчиты. Будь они из якутов или русских — мне безразлично. Понятно тебе? Ну и все! Хватит тебе болтать, дай уснуть людям! — Аргылов лег и отвернулся к стене.

Чемпосов молча направился к Валерию.

— Я или слишком трезв, или вдребезги пьян. Выпить у вас найдется?

— Вон — на столе... Но ты и так достаточно нагрузился.

Выудив бутылку из кучи посуды, сдвинутой как попало на край стола, Чемпосов налил и выпил полный стакан.

— Старика Митеряя я вроде понял. Валерий Дмитриевич, вот ты человек образованный... Сегодня был у Куликовского. Он мне показал карту. Старую карту Якутии... И там обозначены места, которые они обещали отдать иностранным державам: север — Америке, юг — Японии, Бодайбо — Англии. Ты понял? Наш край, оказывается, уже распродан. И на вырученные

деньги, оказывается, мы и прибыли сюда... Доходит до тебя?

— А что здесь непонятного? Так и должно быть! — ответил с трезвым спокойствием Валерий. — Кто станет финансировать задарма?

— Э-э?! — Чемпосов дернулся в сторону Валерия.

— Я говорю, что так и должно быть. А ты что: из-за этого, что ли, сам не спишь и другим не даешь?

Чемпосов сорвал с Валерия одеяло.

— Твою родину распродают по кусочкам, а ты в это время спокойно спишь?

— Сплю. Спи и ты. Там возле дверей найдешь что подостлать под себя...

— Ну уж нет! Я спать не буду! Ты... Ты... — не находя нужных слов, Чемпосов посидел, уставя в Валерия длинный сухой палец. — На днях не ты ли в наслеге с пеной у рта ораторствовал: «Счастье якутского народа», «будущее всей нации...» Или я вру?

— Нет, ты не врешь. Не отрицаю: эти слова говорил.

— Не понимаю я... Как это?

— Когда хочешь уговорить ребенка, посули ему конфету — вот как.

— Конфету?!

— Ладно тебе чушь городить! Не притворяйся невинным! И ты нередко ораторствовал, обещая то же самое!

— Я-а?!

— Ладно, перестань!

— Ты, Валерий, знаешь, кто такой? Свол-лочь ты, вот кто!

— Полегче, знай меру! Раскаешься, да окажется поздно! Великая беда — какие-то улусы обещаны иностранцам. Запомни, глухариные твои мозги: ради уничтожения красных можно продать всю Якутию! Всю, без остатка!

— Собака!

— Ну, ну! Знаешь ли, как будешь отвечать за эти слова?

— Вы — хуже собак! Ты со своим отцом... — Чемпосов неуклюже повернулся и, пошатываясь, подошел к Чычахову. — А ты чего молчишь? Небось молча радуешься? Радуйся: ты был прав! Оказалось ошибкой, что я причислял себя к людям, которые стоят за народ. Оказывается, я — кровный враг своему народу...

— Чемпосов... Послушай-ка!

— Не хочу я слушать вас! — захрипел Чемпосов, будто схваченный за горло. —Лежите! Нежтесь в удовольствиях! Ешьте и пейте! Веселитесь! Богатейте! Плюйте на судьбу родного народа! А я вам больше не сообщник. Торгуйте Якутией без меня! Если есть на этом свете возмездие за грехи и злодеяния, то придет время, когда спросится и с вас! И на мне лежит теперь грех за то, что я ходил с вами по одной тропинке... Преступно виновен я в том, что вместе с вами подтолкнул свой народ к краю бездны! Эх, опомнился я поздно! Возвратного пути мне теперь уже нет...

Пробормотав еще что-то, Чемпосов пинком распахнул наружную дверь и вышел.

— Холодно, дверь захлопните побыстрей!

Старик Митеряй босиком подбежал к двери, закрыл ее, накинул крючок. Возвращаясь, он задул на столе свечу.

У Томмота сжалось сердце.

Утром старик Аргылов, первым выйдя из дома, тут же влетел обратно:

— Чемпосов повесился! В наших сенях. Не нашел, паскудник, другого места...

Глава тридцать первая

Через посыльного Артемьев вызвал Валерия к себе для встречи, и к вечеру они с Томмотом выехали из слободы.

— За каким чертом я ему понадобился! — рычал и плевался Валерий с досады, что приходится ехать неизвестно зачем в самое пекло.

А Томмот обрадовался: заедет в Абагу, встретится там со своим человеком. Прошка с ним уже виделся третьего дня.

Проехали Чапчылган. Сумерки опустились ниже, конь Валерия впереди то и дело скрывался в морозном тумане. Где-то чуть в стороне ватаенно молчала Лисья Поляна, Сасыл-Сысы.

По утрам в штабе дружины Томмот жадно прислушивался к разговорам штабных офицеров, приглядывался к

их поведению, следил за выражением лиц. И каждый раз он с радостью и облегчением отмечал: Сасыл-Сысы продолжает жить, Сасыл-Сысы сражается!

Чтобы сломить красных, пепеляевцы пустились во все тяжкие. Недавно командующий дал приказ соорудить некое подобие «танка», нагромоздив на сани мерзлые балбахи. Было задумано под прикрытием этих навозных «танков» вплотную подобраться к окопам красных. Соорудили таких махин около десятка, да вот беда: забыли, что подобные «танки» не могут двигаться сами, а двигать их оказалось непосильно. А на днях был почему-то объявлен сбор зеркал по всей слободе. Оказалось, для того, чтобы этими зеркалами отражать свет ракет, выпускаемых красными, и ослеплять их. И это «чудесное средство» осталось неиспользованным: наступили лунные ночи.

Однако все на этом свете имеет предел, имеют предел и возможности осажденных. Сколько осталось сейчас боеспособных бойцов у Строда из трехсот его человек? В ночь на 14 февраля во время первой атаки белых, с обеих сторон, говорили, были большие потери, самого Строда ранило в грудь. С тех пор вот уже более десяти суток только бои, только бои — без пищи, без воды, без тепла, сутками на мерзлой земле, под открытым небом... А у белых все: они часто меняются, спят в тепле, едят досыта, хоронятся за деревьями, лежат в прочных окопах, стреляют прицельно да сверху вниз, в атаку ходят под прикрытием ночи.

Помог ли Томмот осажденным? Эта мысль не давала ему покоя: чем ты занимаешься в то время, когда другие, истекая кровью, ведут смертный бой? И отвечал себе со злой иронией: я собираю для пепеляевцев транспорт и продовольствие...

Ойуров сказал ему в юрте: «Пока что с заданием справляешься...» Но это ведь смотря какой меркой мерить.

Конечно, сделано кое-что. Как ему кажется, он добился доверия белых; через посредство Валерия до их командования доведен ложный оперативный план красных, и, судя по всему, этот план принят за истинный. Пепеляев уверен, что со стороны Якутска опасности нет. Установлено пристальное наблюдение за дорогами на Якутск и Чурапчу. Хотя Томмоту и не было сказано прямо, он догадывался, что в положенное время по этим дорогам придет осажденным помощь. И еще, Ойуров спас-

ся. Задание остается прежним, сказал он, значит, успокаиваться рано. Как же он, отчаянная голова, настойчиво твердивший Томмоту об осторожности, не удержался, примчался сюда, в Сасыл-Сысы! Оправдал Томмота перед Кычей...

Вышла луна. Ее голубовато-молочный свет озарил поляны и глухой лес вокруг. Казалось, весь мир земной притих, околдованный этим светом, и все сущее, что есть в этом мире, стремится сейчас только к добру... При мысли о Кыче Томмоту стало тревожно: не оступилась бы она по наивности и по прямоте своей. Как они стояли тогда, обнявшись, на дне ле́дника! Этого не забудешь...

Сильно подкинуло на ухабе, Томмот едва усидел, схватившись за спинку кошевки. Положившись на едущего впереди Валерия и вспоминая происшедшее, Томмот не заметил, как они свернули с тракта и ехали уже по боковой дороге. Скоро подкатили ко двору Аргыловых.

— Заночуем тут, — объявил Валерий, останавливая коня возле коновязи.

— А Артемьев?

— Черт с ним! Дураков нет, чтобы ехать ночью.

В доме ужинали. На вошедших оглянулись все, кроме Суонды, который остался сидеть без движения, заслонив широкой спиной полстола. Раздеваясь, Томмот скорее ощутил на себе, чем увидел, взгляд Кычи.

— Куда направляетесь? — спросил старик Митеряй, когда сели за стол.

— В Сасыл-Сысы. Артемьев вызывает.

— Чего ему?

— Разве я знаю?..

Отец взглянул на сына неодобрительно. Посторонний человек, глядя на них, мог подумать, что за столом друг против друга сидят двое врагов. Но сами недруги разговаривали между собой по-особому, на языке, знакомом только им одним. Их грубость и хмурость скрывали от непосвященных взаимную приязнь, душевное расположение и даже любовь. И еще один, безмолвный разговор происходил за этим обычным, скучным с виду ужином.

«Томмот! Я рада твоему приезду!» — излучали глаза Кычи.

«Я рад, что вижу тебя!» — отвечал ей Томмот.

— В последний раз что за разбойники из ваших ночевали тут? Разбили ящик, высосали чуть ли не весь запас

спиртного, увезли с собой два стегна мяса, куль муки... Что, если я пожалуюсь генералу?

— С ума не сходи, отец! Ничего не вернешь.

— Но однажды вернули!

— Больше это не повторится.

— От этого окаянного чекиста, или кто он там, в накладе остался только я. Поймали хоть его?

— Не спрашивал.

«Его не поймали?» — безмолвно спрашивала Кыча.

«Нет!»

«Как хорошо! О, как хорошо!»

— Переселившись из слободы, мы, как видно, ничего не выгадали, — жаловался старик сыну. — Из огня да в полымя: и ночью и днем беспрерывно ездят, и каждый глядит, как урвать. Едва ли спокойной окажется и эта ночь. Подумать только, даже этого балду арестовали, будто бы он подстроил побег. Этому чудищу там, должно, все мозги вытряхнули. И прежде у него их было не густо, а теперь в голове — совсем ничего. Перестал слушаться: ему говоришь «иди» — он стоит, велишь стоять — норовит лечь. И ни звука, даже мычать перестал.

Все замолчали, сосредоточившись на еде.

— Когда-нибудь покончат с этим Стродом в Сасыл-Сысы?! Кажется, давно бы пора. Собрались на Якутск, да запутались в этом Сасыл-Сысы, как чирок в траве! Вояки...

Отужинали наконец.

— Коней накормите, — распорядился Валерий, развешивая на загрядке шапку с рукавицами и шарф.

Томмот все еще сидел за столом. Кыча пришла убирать со стола и мыть посуду. Подметая стол утиным крылом, она коснулась коленями его колен, затем легкая ступня ее нашарила его ногу под столом, и в сердце Томмоту хлынула радость. Он поднял глаза на Кычу, но она свои опустила. И все шаркала по столешнице утиным крылом — уж так старательно, так старательно!

— Чего молчите, будто и не знакомы?

Оба невольно вздрогнули. Обойдя кругом стол, Кыча спросила брата:

— О чем мне с ним говорить?

— Как же, встретились бывшие друзья, да еще парень с девушкой.

— Парень?

— А кто же мы?

— Бандиты.

— Молчи, дура! Будешь много болтать, как бы за язык не повесили!

— Вы и повесите, с вас станется! Недаром вам даже Суонда кажется чекистом...

Со стопкой мисок в руках, Кыча на полдороге наткнулась на Валерия. Она не стала обходить его, а он тоже не пожелал уступить ей дорогу — так они и стояли, меряясь взглядами.

— Хотуой! — предостерегающе крикнул старик Митеряй, выбиравший в запечье полено на лучины.

— Родные брат и сестра, а ссоритесь из-за пустяков, — вмешалась и Ааныс.

Перед сном Валерий сказал Томмоту:

— Стала на язык чересчур востра. Может, в городе с комсомольцами якшалась?

— Э, нет! Она к ним не подходила. Когда я был в комсомольцах, она к себе совсем не подпускала. Я все к ней подкатывался.

«Ходили чуть ли не под руку, — вспомнил Валерий. — Или тогда они случайно сошлись?»

— Разбалованная! — высказал свое предположение Томмот. — Вот выйдет замуж за этого ротмистра, он ее укротит...

Утром, запрягая коней, он оглянулся на звук шагов: Кыча в легкой одежонке стояла у дверей хотона, зажав уши ладонями.

— Томмот...

Томмот кинулся к ней:

— Холодно, Кыча! Ты продрогнешь!

Голыми руками она обняла его за шею и поцеловала.

— Будь осторожен, береги себя! Если что с тобой... Мне не жить тогда!

Кто-то, выходя из дому, скрипнул дверью. Кыча нырнула в хотон.

Сворачивая на большую дорогу, Томмот обернулся: Кыча стояла у коновязи и глядела вслед: «О, Кыча!»

Скоро с противоположного берега Амги донеслись отдаленные винтовочные залпы, застучал, захлебываясь, пулемет. Прислушиваясь, Валерий задержался на перекрестке дорог и вдруг свернул в сторону Абаги. Томмот по обочине догнал его.

— Разве мы не в Сасыл-Сысы?

— Дураков нет!

Томмот обрадовался: значит, встреча с нужным человеком состоится. Но вышло так, что пока они ехали, перестрелка утихла, и в Абаге они задержались не более чем на одну чашку чая.

На середине реки Томмот окликнул Валерия:

— Эй, Аргылов! Я шарф забыл в Абаге. Съезжу, а? Я быстро!

— Не будь растерей! Возьмешь на обратном пути.

На том берегу Амги их остановил патруль проверить пропуска, и так было несколько раз, пока они не добрались до штаба Вишневского.

В штабе сказали, что Артемьев находится в самом Сасыл-Сысы.

— Чего он там потерял? — нахмурился Валерий. — Все бы ему отвагой щеголять.

Пришлось скрепя сердце идти к Сасыл-Сысы.

Их провели в палатку, поставленную в густом лесу. В палатке жарко топилась железная печка, под ногами мягко пружинил толстый слой елового лапника. У фанерного ящика, заменяющего стол, склонились над картой несколько офицеров. Один из них, моложавый, с недовольной миной начал приподниматься, но Артемьев, надавив ему на плечо, заставил сесть и махнул Аргылову: подождите, мол. Скоро военные оторвались от карты, поднялись и сверили часы.

— Время уже подходит. Пойдемте, — сказал Артемьев офицерам и повернулся к Аргылову: — Почему вчера не приехал?

— Ваш вызов мне передали поздно.

— Некогда мне рассиживаться здесь. Пойдемте с нами. Там улучим время...

Выйдя из палатки, они зашагали на восток, преодолевая подъем.

К Валерию с Томмотом присоединился якут в шапке из лапок красных лисиц. Они пошли вместе, немного поотстав от группы офицеров.

По их разговору Томмот понял, что Валерий и якут в лисьей шапке друг друга хорошо знали.

— Прошлой ночью по приказу генерала Вишневского мы начали с красными переговоры. Теперь уже, как прежде, в парламентерах нужды нет, просто перекрикиваемся. Лежим почти нос в нос, — рассказывал якут.

— О чем переговоры? — без особой заинтересованности спросил Валерий. — Опять, чтоб сдавались?

— На этот раз разговор иной! От такого разговора, пожалуй, живот заболит.

— Что же такое?

— А дали им знать о письме Пепеляева из Амги: генерал Ракитин позавчера в три часа овладел Чурапчой.

— Не может быть! — ахнул Томмот, но, быстро одумавшись, добавил: — Вот здорово! Как же это было?

— А так: красный гарнизон в Чурапче сдался Ракитину, захвачено две пушки. Когда их сюда подвезут — конец Строду! Несколько снарядов в клочья все разнесут.

— Может, что не так? — усомнился Томмот.

— Да разве генерал станет писать неправду? — обиделся якут. — Нет, красным теперь крышка! По ночам скрипят пилой, отпиливают куски от мерзлых туш, перетопили на воду весь снег со двора. Ночью в белых халатах выползают с мешками за снегом. Ну а мы их — на мушку.

Томмот померк: неужели верно все это?

— Что ответили красные? — спросил Валерий. — Перестрелку-то продолжаете?

— Крикнули, что передадут командиру.

Поднялись на взлобок. Впереди за редким мелколесьем показался алас Сасыл-Сысы.

Сасыл-Сысы...

Томмот почувствовал: к лицу его прилила кровь. Прославленный алас был так мал, что, глядя на него со стороны и чуть сверху, трудно было поверить, что многочисленное воинство топчется возле него две недели.

На вершине взлобья чернел высокий бруствер из нескольких рядов мерзлых балбахов. Артемьев, одетый на этот раз в легкую пыжиковую дошку, быстро замелькал среди деревьев, сноровисто пробираясь к этому укреплению, остальные потянулись за ним гуськом по тропе.

— Ну как? — обратился Артемьев к солдату, который крутился юлой за бруствером, стараясь согреться на морозе.

— Все тихо.

Артемьев посмотрел на часы. Офицерам, пришедшим с ним, он отдал какие-то распоряжения. Те быстро разошлись.

— Посмотрим на них вблизи!

Решительным шагом Артемьев направился на самый край выступающего мыска. За ним шаг в шаг пошел Томмот. Валерий, постояв в нерешительности, двинулся следом.

Остановились, поляна отсюда просматривалась вся, как на ладони. Она оказалась чуть продолговатой, и Томмот опять удивился ее ничтожной, едва ли не игрушечной величине. От мыска, где они сейчас стояли, до противоположного лесистого края поляны было не больше двухсот метров. Довольно высокий непрерывный вал окружал дом с хотоном и амбаром на западной части аласа. За этим валом сейчас лежали те самые герои... Вал местами посверкивал, отражая лучи еще красного утреннего солнца. Это схватилась льдом вода, политая поверх балбахов. Местами он был очень не ровен, как баррикада, нагроможденная наспех из чего попало. Томмот присмотрелся и вздрогнул: как бы грозя стиснутым кулаком, из нагромождения торчала рука — мерзлый человеческий труп! Вон там еще... И там... И-эх! Герои продолжали сражаться и мертвые! Многие из них превратились вот в такой заслон, и много ли живых продолжают свой неравный бой?

Легендарные подвиги героев олонхо сейчас показались бы Томмоту детскими шалостями в сравнении с тем, что он увидел.

Но если и в самом деле белые подведут пушки...

— Эй! Что вы там решили? — крикнул кто-то со стороны белых. — Надоело ждать! Сдаетесь вы или нет? Сдавшимся гарантируем жизнь и прощение. Подвезут пушки — тогда уж все!

Настала тишина. Потянулись долгие секунды.

— Сейчас ответим! — донеслось наконец со стороны осажденных. Голос был простуженный, но молодой, совсем молодой.

И вслед за этим возгласом, будто бы подхватив его, с площадки по ту сторону баррикад высоко взметнулся шест, связанный, как видно, из нескольких санных оглобель. Когда шест встал вертикально, утренний ветерок медленно развернул на нем красное полотнище.

И одновременно под перехлест гармошки множество простуженных хриплых мужских голосов, постепенно набирая лад и силу, грянули:

Вставай, проклятьем заклейменный,
Весь мир голодных и рабов!
Кипит наш разум возмущенный
И в смертный бой вести готов!..

У Томмота захватило дух, как при взлете на качелях, которые, смутно помнится ему, тогда еще маленькому мальчику, устраивал меж двух деревьев отец. Все поднялось в нем! Подхватить гимн и чудом каким-нибудь оказаться по ту сторону баррикад вместе с героями! Это фантастическое желание было настолько остро, что он вскинулся как бы затем, чтобы бежать туда, но его ухватил за полу оказавшийся рядом Артемьев:

— Ку-уда! Слепой щенок!

Но порыв Томмота, по-своему понятый Артемьевым, подействовал на того. Отрезвев наконец, он обернулся к оцепеневшим от изумления дружинникам:

— Огонь!

И в ту же минуту противостоящие окопы на взлобке и ниже, каждая лиственница и каждый пень взорвались огнем. Затараторил пулемет, перекрывая винтовочную трескотню. С той стороны ответили ровные, частые залпы и слитный бой нескольких (сколько их там?) пулеметов красных. Из-за баррикад вместе со шквалами огня все еще доносились слова гимна:

Это есть наш последний
И решительный бой...

— По знамени! — кричал Артемьев. — Бейте по знамени!

Огонь становился все плотней, и Томмот, чтобы не видеть падения знамени, закрыл глаза. Но когда он открыл их, знамя по-прежнему развевалось на ветру.

— Бейте по знамени! — Артемьев суетно забегал вдоль цепи. — Сбейте знамя!

Он выхватил у кого-то винтовку и, целясь в древко, выпустил всю обойму. Знамя реяло над баррикадами.

Артемьев в ярости швырнул винтовку за бруствер.

— Чычахов! Слышишь, нет?

Валерий оттащил Томмота в прикрытие, за толстую лиственницу, и только тут Томмот услышал, как мерзлые лиственницы зашелушились под пулями, роняя щепу. Довольно долго стояли они здесь, под прикрытием дерева. А из маленького аласа тем временем с градом пуль под переливы гармошки неслась песня:

...На бой кровавый,
Святой и правый,
Марш, марш вперед,
Рабочий народ!

— Пусть сегодня поют! Завтра они захлебнутся в собственной крови! Завтра они поползут к нашим ногам, моля о пощаде! — Отойдя сюда же, за укрытие, Артемьев вытер шапкой разгоряченное лицо и вдруг уставился на Томмота: — Ты чему улыбаешься, нохо?

Томмот и вправду улыбался — ах, какой растяпа! Сообразив, что убрать улыбку уже поздно, он решил доиграть роль простачка. Продолжая улыбаться, он сказал Артемьеву:

— Сомнительно! Сомнительно, говорю, что поползут к ногам... Если до сих пор не взяли, то как взять теперь? Разве что пушкой...

Ошарашенный этой наглостью, Артемьев стал поочередно глядеть то на Валерия, то на Томмота.

— Он что у тебя — идиот? — спросил он Валерия. — Или вправду чекист?

— Чычахов — смелый парень, — вступился за Томмота Валерий.

Артемьев вышел из-за дерева.

— Если ты так храбр, то поди-ка вон принеси! — Артемьев показал рукой на винтовку, выкинутую им за бруствер. Винтовка, соскользнув со склона, остановилась где-то посредине.

Томмот прикусил губу. Отказаться было, конечно, нельзя — у этого зверя рука не дрогнет выстрелить, тем более смелые только на словах — кому они нужны? Завоевать же расположение Артемьева было необходимо. В задачу Томмота входило находиться среди белых до самого конца: если они ударятся в бега из Якутии, с ними должен был бежать и Томмот...

Томмот перегнулся через вал и глянул вниз. Винтовка чернела на снегу, шагах в двадцати. Он решился. И как только решился он, передав свою винтовку Валерию, сразу же вдруг уверовал всем существом, что останется невредим, ибо не может быть, чтобы его поразили пули своих!

Томмот подошел к краю взлобья и, сильно оттолкнувшись ногами, опрометью кинулся вниз по склону, не сводя глаз с винтовки. Едва он упал возле нее лицом

вниз, как пули вспенили снег вокруг него. Чычахов схватил винтовку, обернулся назад, примериваясь, и быстро, как выстреленная стрела, вымахнул наверх.

— Держите свое сокровище! — тяжело дыша, он протянул винтовку Артемьеву. — Но не думайте, что я испугался вашего гнева. Больше таких приказов я выполнять не стану.

Подбежал молодой русский офицер.

— Брат Артемьев, вас вызывает генерал Вишневский!

— Иду.

Офицер убежал обратно.

— Где нам тебя ждать? — спросил Валерий.

— Пусть ждет генерал! — ответил Артемьев. — Отойдемте-ка вот туда.

За надежным прикрытием толстых деревьев, куда они отошли шагов на десять, Артемьев кивнул в сторону Томмота:

— Действительно, отчаянный. Но оставим это. Разговор о другом. Каюк ему...

— Кому? — удивился Валерий.

— Конец Пепеляеву, говорю! Проиграл он, выдохся. Сил на Якутск у него уже нет.

— Как это?..

Лучшая часть дружины истреблена здесь, в Сасыл-Сысы. Если бы в свое время он послушался моего совета... Не послушался! Хвастал, что управится тут за день-два. Показали ему красные, почем дюжина гребешков!

— Так Ракитин же в Чурапче!

— Не болтай глупостей! В Чурапче сидит Курашов. И скорей его пушки разнесут самого Пепеляева.

— Ах, какая беда!

— Да, рухнула еще одна надежда. Не без твоей помощи, кстати сказать...

— При чем тут я? — удивился и струхнул Валерий.

— Да при плане этом! План красных, твои ценные сведения...

— Я же выполнял задание! По твоему же совету!

— Ладно, счеты сводить уже поздно! Слушай, что скажу. Красные — не дураки, скоро подойдут сюда. А нам придется по собственным следам уходить на восток. Пепеляев с людьми своими, конечно, подастся к иностранцам, а мы останемся в родном краю. Но не думай, что на этом борьба закончится! А пока найдем ухоронку

у охотских тунгусов. Чтобы поднять новый мятеж, потребуется много денег и прочего. Отсюда следует, что все богачи, вроде отца твоего, должны уйти и увезти с собой все что можно. Тут или расстреляют, или разденут до ниточки.

— Понял...

— Еще вот что. Люди Пепеляева перед тем, как податься назад, примутся грабить направо и налево, не посмотрят, кто свой, кто чужой. От моего имени передай зажиточным: пусть торопятся. Надо им подняться в дорогу в эти дни, не позже. Предупреди: кто станет увиливать да выгадывать — будет иметь дело со мной. Все!

— Уж больно неожиданно это! Может, твои пророчества преждевременны? У генерала достаточно сил...

— Нет! Надо смотреть правде в глаза, на то и война! Собирайся и ты. Прибудем в Нелькан, парня своего отдашь мне! Сделаю своим адъютантом...

Резко повернувшись, Артемьев быстро зашагал прочь. Аргылов, проводив его взглядом, подозвал Томмота, и они пошли к своим коням.

— Случилось что-нибудь? — догадался Томмот.

— Ничего! — отмахнулся Валерий.

— Поедем куда?

— К моим старикам.

— Мне бы заехать в Абагу, — уловив его настроение, быстро сообразил Томмот.

— С чего бы это?

— Говорил тебе, шарф оставил...

— Спятил ты, что ли, Чычахов? А ладно, поезжай да обернись побыстрей!

Глава тридцать вторая

Весть, принесенная сыном, оглушила старика Аргылова. Он догадывался, что у белых дела обстоят не самым лучшим образом, но никак не предполагал, что настолько уж плохо. Вроде и потери незаметные, и боев крупных не слыхать, а вот-таки выдохся генерал. Разные люди и рассказывают по-разному, но доверять россказням — что совсем не знать: могут пять превратить в десять, а десять переделать в сто. Если судить по войскам, что день и ночь толкутся по дорогам, людей у белых должно остать-

ся еще предостаточно. Почему бы им с этими силами не собраться и не ударить по Якутску? И подвод и коней, должно быть, собрано достаточно — спасу нет, сколько сил потрачено на это, сколько злобы накопилось из-за этих коней да подвод! Однако Михась Артемьев — светлая голова, слов на ветер не бросает. Уж, наверное, он-то не меньше нашего жаждет сжить со света красных этих, но если не получается — что же делать? А как надеялись на этого Пепеляева! Не знает старик Аргылов, как другие, но сам-то он вполне уверовал в его силу! И вот все насмарку! Неужели настали дни, когда всем его мечтам суждено развеяться в дым? Ох, беда-то какая! А может, Михась Артемьев все это наговорил сгоряча, с досады и горечи? Едва ли, однако, такие слова и сгоряча не бросают! Ах, горе! Камня на камне не оставить бы от этой проклятой страны, где все устроено так несуразно!

Ночью старик вовсе не сомкнул глаз, до утра проворочался на ороне. Ужасно даже представить, что ему придется покинуть родовое гнездо и двинуться в неведомые дали, навстречу неизвестности. Где, к какому берегу его прибьет? Ведь там у него не будет ни родных, ни знакомых, ни хамначчитов... Кто станет там оберегать его, защищать его достаток и благополучие? Надо сделать так, чтобы Валерий с этим Чычаховым сопровождали его неотлучно. А может, все же остаться тут? Это ничего, что Артемьев грозится, с Михасем всегда можно уладить миром. Он меня не тронет и пальцем, слишком многим обязан. А красные?.. В прошлые годы даже те, кто открыто выступал на стороне белых с оружием в руках, как-то оставались без ущерба. Могут и меня так же... Но тут течение мыслей старика прервалось: в его ушах явственно послышался вопль дышавшего на ладан Окейо: «Отомстит народ!» А вот и залитое кровью лицо старика Чаачара. Митеряй кончиком одеяла вытер с лица пот. Нет, пусть даже Чека и оставит его в покое, ему житья не дадут свои. Его ненавидит даже Банча, свой человек... Тем более что Митеряй сумел все-таки воздать Банче сторицей: отобрали коней, всех подчистую. Поделом ему! Надо было его еще и под дуло ружья поставить, но опять воспротивится этот Сарбалахов... Теперь, конечно, Банча этот не пощадит его, ох, не пощадит. Нет, нет! Оставаться здесь нельзя. Та стрела вонзилась в его коновязь совсем неспроста! Как бы он ни старался себя уговорить,

путь к спасению остался единственный: он должен бежать вместе с белыми. Артемьев передавал, что надо им готовиться к новым схваткам. Ну что ж, воевать так воевать! Теперь уже нечего беречься и оглядываться, все решено. Завтра же надо будет выкопать все спрятанное и перевезти сюда. На восток с собой придется взять Суонду, иного надежного человека у него и не осталось. Суонда с того времени, как на его глазах расстреляли старика Чаачара, стал неузнаваем. Перепугался дурень, разобраться что к чему у него мозгов-то не хватит...

Назавтра, поздним вечером, старик Аргылов с Суондой уже привезли откуда-то кладь на трех санях и перетаскали в амбар. На амбарные двери старик навесил тяжелый замок и, пробормотав что-то, похожее на заклинание, плюнул в замочную скважину.

Поужинали в гнетущей тишине, будто вернулись с похорон. И хотя старик Митеряй не обронил ни слова, все поняли, надвигается что-то зловещее. Коней старик велел на ночь отвести в лес на старый заброшенный выгон. Занес из амбара старую заржавленную берданку, полязгал затвором и поставил ее перед сном к изголовью. Когда Суонда привычно заложил дверь засовом, Митеряй рассердился и велел отодвинуть засов: ничего ценного в доме уже нет, все ценное лежит в амбаре, под замком. Пусть дверь останется открытой, сподручней при нужде выскочить наружу.

А Суонда тоже лежал без сна. За последние дни он передумал больше, чем за всю жизнь. Предметом его путаных и мучительных размышлений был его хозяин. Прежде Суонда считал его воплощением самого разума. Видимо, ошибался... Никаких других устремлений, кроме наживы, у того за душой не было. Умный человек разве станет себя так вести? Разве станет он бессмысленно все копить да копить? Век человеческий — вот он, не дальше броска сучком. Что же, Митеряй собирается все богатство взять с собой на тот свет или рассчитывает, что оно спасет его от роковой доли? Нет, подлинно умный человек не стал бы так поступать!

Прежде Суонда думал, что хозяин хотя и оскаливается по-звериному, да знает меру, различает, где добро, где зло. Оказалось, ошибался Суонда и здесь. Стараясь угодить Пепеляеву, разграбил своих сородичей подчистую! А что сделал он со стариком Чаачаром? О, этого Суонда

никогда не забудет! Разве возможно, чтобы позабылось такое? Даже к своим домочадцам зверь зверем. Подумать только: чуть не уморил голодом дочь! Вот почему, зная своего отца, Кыча не хотела тогда уезжать из города. А он-то, безмозглый дурак, увез бедняжку силой! Плохо вышло и с тем раненым красным, которого нашла и спрятала голубка Кыча. И там он поступил не по-хорошему... Окаянный я, одно только горе от меня моей голубушке... Как она, бедняжка, должно быть, сердится на меня! А ведь сама-то добра ко мне... Как бы счастлив он был, если бы довелось ему когда-нибудь доставить ей хоть малую толику радости.

Нет, совсем старик не похож на отца: задумал выдать Кычу за пожилого и лысого офицера! Даже зверь любит и лелеет своего детеныша, идет ради него на смерть. Нет, старик не зверь. Он хуже!..

Как бездумно до сих пор жил Суонда! Будто уши ему заложило, глаза не видели. Старик Чаачар ушел в тот мир, раскрыв ему глаза, отворив уши. Со времени того ужасного дела, которому он был свидетелем, с Суонды словно спала привычная сонная одурь. Но этого пока никто не знал. Об этом не подозревал сам хозяин, не догадывалась и Кыча.

К полуночи хлынул волной морозный воздух — это зашли снаружи несколько человек и оставили дверь приоткрытой.

— Хозяева! Гости пришли! Харлампий, затвори-ка дверь! Митеряй!

При свете зажженной свечи замаячили три фигуры.

— Откуда едете? — спросил старик.

— Наши дороги известны, возвращаемся из наслегов. Опять сборы подвод. Брр, мороз!

— Поднимись, старуха! Вскипяти побыстрее чайник! — приказал Аргылов и, склонив голову набок, вгляделся: — Кто это с тобой? — спросил он Сарбалахова.

— Не узнал? Это же зять твой, Угрюмов, ротмистр.

— Э-э...

Гости разделись.

— Харлампий, растопи печку, — распорядился Сарбалахов.

— Я тебе не истопник! — прорычал Харлампий, косолапя, подошел к спящему Суонде и стянул с него одеяло. — Кто это тут растянулся? А ну, подымайсь!

Суонда повернулся к нему спиной. Харлампий поддал ногой Суонде в мягкое место, схватил его за жесткие, как болотная осока, волосы и заставил сесть. Не выказав возмущения, Суонда стал одеваться.

Скоро камелек загудел, и вскипел чайник. Аанкс поставила на стол котел с мясом.

— Сколько ведете коней? — осведомился Аргылов.

— Четыре клячи. Были в обобранном наслеге, так что спасибо и на этом. Что-то на столе пустовато. Митеряй, не найдется ли чего-либо у тебя?

— На днях тут ночевали ваши, так они весь мой запас вылакали.

— Ладно тебе прибедняться! — стал уламывать его Сарбалахов. — Авось что-нибудь да найдется.

— Старая, пойди-ка посмотри, может, что и осталось...

Аанкс принесла бутылку спирта.

— Это дело другое! — обрадовался Сарбалахов. — К тому же гости мы не простые. Помнится мне, что в тот раз мы сватались, и твоя дочь обручилась с ротмистром, хоть и разошлись тогда не совсем как подобает. Так ведь, Николай Георгиевич?

— Да, да... — Ни слова не поняв из сказанного Сарбалаховым по-якутски, Угрюмов согласно закивал головой.

— А где же невеста? Хорошо бы и ее увидеть за столом.

— Приведи! — велел Аргылов жене.

Аанкс быстро метнулась и так же быстро вернулась из-за перегородки.

— Захворала она...

— Хе, что это она у вас все хворая да хворая? Притворяется небось! — усомнился Сарбалахов.

— Заматерела. Мужскую ласку хочет, вот и строит капризы, — громко чавкая, объявил Харлампий. — Хорошенько выездить ее — только и дел.

— Митеряй, ты погоди! — увидев, что Аргылов принялся было разливать спирт по рюмкам, всполошился Сарбалахов. — Смаковать из рюмок некогда, разливай в стаканы. Время не ждет, уже поздно.

Не раздеваясь, Суонда прилег на ороп и отвернулся к стене. Его клонило ко сну, но спать не давало какое-то беспокойное предчувствие. За столом, очевидно, выпили: все враз замолкли, доносилось только чавканье да посудный звяк.

— ...Почтенный Митеряй! Прежде чем поднять этот стакан, хочу я сказать вот про что. Помолвка между Николаем Георгиевичем и вашей Кычей уже состоялась давно. Ты сам знаешь, какая теперь жизнь. Не время выполнять все требования принятых обычаев. На войне — как на войне... Мы сегодня приехали к вам, чтобы завершить уговор, соединить жениха и невесту. Выпьем за это!

— Больного-то ребенка?.. — У матери задрожал голос. — Побойтесь хоть бога!

— А ты не бойся, Аанысь. Женщинам свойственно притворство. Как будто сама не знаешь. Вот увидишь: дочка утром поднимется здоровой.

— Старик, ты чего молчишь? Ведь она и тебе родная...

Аргылов лишь покосился на жену и промолчал.

У Суонды сон как рукой сняло. Повернувшись лицом к столу, он искоса стал наблюдать за происходящим.

— Харлампий, хватай ее!

Уронив блюдце на стол, Харлампий резво вскочил и, перебирая кривыми ногами, бросился к запечью. Кычу в накинутой шубке он настиг возле входа в хотон, оттащил ее назад и толкнул обратно за перегородку.

Аанысь бросилась к дочери.

— Харлампий, ты там стой! — распорядился Сарбалахов.

С винтовкой в руках Харлампий сел у печки:

— Покараулю! Ишь скачет, кобыла необъезженная...

Суонда обстоятельно разглядел громилу, затем перевел гневный взгляд на хозяина. Но до Аргылова его укор не дошел, он по-прежнему не замечал Суонду.

Поначалу Аргылов хотел было отказаться от этой женитьбы: что за смысл породниться с людьми, которые завтра уже начнут уносить ноги? Но затем в голову ему пришла мысль другая: люди Пепеляева, когда им станет терять нечего, совсем особачатся — об этом и Артемьев предупреждал. Не посмотрят, что он помогал им, разграбят, разденут до ниточки, спрос с них не велик будет. Надежда на Валерия своего тоже невелика — могут не посчитаться с ним. Другое дело — русский офицер. Такой зять оказался бы хорошей защитой.

Перебросившись с Угрюмовым несколькими словами, Сарбалахов зашел за перегородку.

— Ааныс, выйди отсюда. Молодых в брачную ночь принято оставлять одних. Ведь такой у нас, якутов, обычай.

— Он мне не зять!

— Что ты, Ааныс?.. Отец уже выпил рюмку, соединяющую дочку с ротмистром.

— Пил он, а не я, — возразила мать, теснее прижимая к себе Кычу. — Пока жива, не отдам дитя...

— Не очень-то выставляйся своей жизнью! Есть у нас под рукой мастер этого дела, он не поморщится.

— Мама, милая, иди. Я сама...

Ааныс поднялась и тут же упала на свою кровать.

— Ты меня за человека не считала, брезговала даже смотреть в мою сторону, — прогудел над Кычей Сарбалахов. — Отплатил я сполна за твою гордыню. Разборчивая невеста, говорят, на плешивого нападает. Х-ха! Выйди, старая! Прихвати постель...

Сарбалахов сильно дернул ее за плечо. Ааныс закричала, как под ножом.

— Ты что, спятила?! Чего орешь?

Вполголоса ругаясь, Сарбалахов отошел и натолкнулся на Угрюмова. Ротмистр, уже без кителя, весь взвинченный, топтался как беговая лошадь на старте.

— Ну?

— Мать не хочет выйти из чулана. Вы не обращайте на нее внимания.

— Добрый вечер, мадемуазель Кыча.

Кыча в шубе сидела молча, прижавшись к стене. На лице лишь затравленно горели глаза.

— Раздевайтесь, Кыча. В одежде — неудобно. Стесняетесь? Ничего, это на первых порах... Некоторые женщины предпочитают, когда их раздевают мужчины. И вы, может...

— Не подходите!

— Ка-ак не подходить?! Я вам муж... Куда и зачем я пойду от собственной жены?И чего вы боитесь? Родители ваши согласны. Ведь мы не тайком... Или страшно впервые? Не бойтесь, милая.

Рассудив, что объяснений достаточно, Угрюмов перешел к действиям — протянув руки, он нагнулся над девушкой. Кыча, напружинив ноги, внезапно ударила ими ротмистра в грудь. Попятившись, ротмистр чуть не упал.

— Ах так? Есть женщины, которым нравится поломаться. Знаю я и таких!

Угрюмов схватил Кычу за левую руку и потянул ее к орону, когда заметил в правой ее руке уже занесенный и направленный в ударе нож. Ротмистр успел вывернуть ее руку, и выпавший нож звякнул об пол. Угрюмов отшвырнул Кычу к стене.

Ааныс закричала дурным голосом и вцепилась в его спину. Ротмистр, не оборачиваясь, толкнул ее прочь, поймал вскочившую Кычу, повалил на орон и сверху донизу разорвал на ней платье.

— Суонда! Суон-да-а! — отчаянно закричала Кыча.

Весь превратившийся в глаз и ухо, Суонда в два прыжка очутился за перегородкой, оторвал от Кычи Угрюмова и, схватив его в охапку, вышвырнул, как сноп, из чулана к камельку. И встал, загородив собою вход в чулан.

— Стреляйте! Стреляйте же в него! — в поиске револьвера хватаясь за бок, закричал упавший ротмистр.

Харлампий заклацал затвором, досылая патрон в патронник, но Суонда, изловчившись, выдернул за ствол винтовку из его рук. Харлампий, не устояв, растянулся на полу. Страшней медведицы, защищающей детенышей, взревел, потрясая стены дома, Суонда и застыл, подняв над головой, как дубинку, винтовку, готовый обрушить страшный удар на голову того, кто посмеет шевельнуться. Ротмистр и Харлампий лежали на полу, вобрав головы в плечи. Сарбалахов сделал движение выхватить из кармана пистолет, но Суонда, заметив это, сейчас же подскочил к нему и, целя прикладом в голову, заорал:

— А-аа-ыы-ыы!

Побледнев, Сарбалахов выдернул из кармана руку.

— Суонда! Что с тобой? Успокойся! — Аргылов стал осторожно подходить к Суонде.

А тот, как юла, вертелся на месте, стараясь одновременно уследить за всеми. Увидев, что Харлампий вытягивает из-за голенища торбасов нож, Суонда занес винтовку над его головой. Улучив момент, Аргылов незаметно схватил свою берданку и спрятал у себя за спиной. Увещевая и успокаивая своего хамначчита, старик Митеряй все подходил, подходил к Суонде сзади и, подойдя, изо всех сил ударил его окованным в железо прикладом чуть ниже затылка.

Суонда начал медленно поворачиваться лицом к хозяину и вдруг рухнул к его ногам. Ротмистр, Харлампий

и Сарбалахов, все трое, набросились на Суонду и стали вязать его.

— А он жив ли? Может, мы вяжем труп? — спросил, останавливаясь, Сарбалахов.

— Живой, живой!

— Он нам нужен живым. Увезем в слободу, мы там с него семь шкур спустим!

Сарбалахов завернул голову Суонды к себе.

— Старик Митеряй, а рука у тебя до сих пор еще тяжела!

Остывший ротмистр преувеличенно властно распорядился:

— Собирайтесь! — И подхватил с крюка шубу.

Суонду, все еще в беспамятстве, потащили к выходу. Ротмистр злобно плюнул в сторону перегородки и вышел.

Кыча изо всех сил забилась в руках матери, пытаясь освободиться:

— Суонда!

Сарбалахов подошел к перегородке:

— Дочка твоя рвется поехать с нами? Можем взять с собой.

— Нет! Тарас, почему ты нас мучаешь? Что мы тебе сделали плохого?

— Спроси дочку! Запомни, Кыча: брезговать Сарбалаховым — нажить себе врага! Мы еще наведаемся...

— Собаки!

Аанчыс зажала Кыче рот.

— Покажем еще, какие мы собаки!

Захлопнулась дверь. Затих вдали удаляющийся скрип санных полозьев. Мать с дочерью, обнявшись, плакали. Аргылов некоторое время стоял, прислушиваясь к ним, что-то хотел сказать, да не нашел что.

— Тьфу! — сплюнул он, оглядев ружье. — Сломал об затылок того сатаны... Хорошее было ружье...

— Суонда! — захлебываясь слезами, заплакала Кыча.

— Жив он, голубка моя! Его оглушили. Бог поможет...

Шатаясь, Кыча вышла в переднюю и упала на опустевший орон возле дверей.

С непривычной поспешностью объехав окраинные южные наслеги, Валерий и Томмот возвращались назад в предрассветных сумерках зимнего утра.

Чычахов ехал сзади неторопкой хлынью, ведя за собой двух коней, запряженных в пустые сани: объехали несколько наслегов, а добыли всего две подводы. Томмот заметил, что Валерий на этот раз действовал без прежнего злого ража, и коней этих он скорее выпросил у зажиточных людей, чем отобрал. С тех пор как они побывали в Сасыл-Сысы, Валерий заметно изменился. Он стал мрачен, немногословен, что-то его угнетало. А от Томмота все не отступала мысль: что с красным отрядом Курашова в Чурапче? Если правда, что белые разгромили отряд и захватили пушки, то почему Аргылов так хмур, словно и не рад этой вести. Будто заранее предполагая, что в этой поездке добыча у них будет небольшой, Валерий не стал дожидаться возвращения Лэкеса, уехавшего за сеном. Сказал, что управятся сами. В наслегах заезжали почему-то только к богачам да зажиточным, минуя бедняков, и каждый раз Валерий с хозяином усадьбы старался остаться с глазу на глаз, чтобы о чем-то тайно побеседовать. Томмота же под всяким предлогом высылал из дома. И еще заметил Томмот: беседы эти были не из приятных: у хозяина дома всякий раз пуганые глаза...

Почти рассвело, когда Валерий остановил упряжку.

— Покорми коней! — бросил он Томмоту, а сам молча отошел к обочине.

Когда Томмот управился, они уселись рядом на передние сани.

— Что происходит с тобой?

— А что со мной? — огрызнулся Валерий. — Ничего!

— Врешь! Разве я слепой? На этот раз ты выехал не для сбора подвод, а для чего-то другого. Объясни, что случилось?

— Раз ты все видишь и понимаешь, то чего еще тебе надо? — отвернулся Валерий.

— Слушай, Аргылов! Я не тросточка, которую кому угодно можно прихватить с собой. Я не хочу подставлять голову, ничего не зная. Если и лишусь ее, то мне надо знать — за что. Если не хочешь, можешь не рассказывать, я молить не стану. Но знай одно: мы больше вместе не будем. Если нет доверия, то лучше ходить врозь.

— Кто тебя привел сюда? Через кого ты удостоился этого доверия? Отвечай!

— Еще неизвестно, кто кого привел, — спокойно возразил Томмот.

— А куда ты собираешься идти? Без меня...

— А хоть к Топоркову, не отвергнет, думаю, если приду к нему.

Не дожидаясь ответа, Томмот остановил коня и направился к своим саням.

Поехали дальше.

«Больше вместе не будем... — негодовал Валерий. — Ишь, наглец, как заговорил! Мало ли ты чего захочешь? Последнее слово останется за мной. А пока будешь ходить в упряжке! «Еще неизвестно, кто кого привел». Смотри-ка ты! Хамначчитское отродье... Грозит, что пойдет к Топоркову! Конечно, тот его не отвергнет, такой легкий на подъем да бесстрашный парень — подарок хоть кому. А вдруг и в самом деле... Кроме него, нет у Валерия ни одного надежного человека. Не успеешь оглянуться, как тут же тебя продадут с потрохами. А этот из тех, про которого говорят: «У доброго коня — плетка одна, у доброго молодца — слово едино». Расставаться с ним никак нельзя, а тогда что же — выложить ему все?»

Валерий придержал коня.

— Чычахов, иди сюда! Поговорим...

— Мы уже поговорили. Холодно, давай погоняй!

Валерий кинул лошади клок сена и пошел к Томмоту.

— Не сердись! — заулыбался он еще издали и, подойдя, сел рядом. — Был неправ, таясь от тебя. Велено было молчать...

— Ну и молчи себе дальше, раз так велено.

— Ладно, не обижайся. Или правда думаешь, что не доверяю тебе?

— Хватит! Не нуждаюсь я в твоих секретах. И слушать не хочу.

— Не говори так! То, что я расскажу, касается нас обоих. Мы сидим в лодке, которая идет ко дну.

— Что-о? — резко повернулся Томмот.

— Да, именно так...

— Ты можешь объяснить по-человечески?

— Проигрываем мы, Томмот.

— Шутишь! Проиграть без сражения?

— Почему без сражения? А Сасыл-Сысы?

— Да ведь мы, мы обложили их!

— Еще неизвестно, кто кого там обложил. То, что Пепеляев в Сасыл-Сысы потерял лучших бойцов, это еще не беда. Самое страшное, что он потерял время.

«Не его слова, — догадался Томмот. — Вторит кому-то».

— Какой трус так говорит?

Валерий стал стегать кнутом на обочине.

— Говорит человек похрабрее нас с тобой.

— Кто он?

Валерий, не решаясь, покряхтел.

— Ладно, хватит! — Томмот подхватил вожжи.

— С каких это пор ты стал таким обидчивым?

— Не люблю вот так — с подходцем да с оглядкой. Говорить, так говори, молчать, так молчи.

— Говорил мне это Артемьев.

— Артемьев? — искренне удивился Томмот. — А пушки, захваченные у красных в Чурапче?

— Враки!

Выронив вожжи, Томмот сник головой, пряча лицо.

— Артемьев говорит, что сейчас уже надо готовиться к новым схваткам, а улусным баям велит вывезти отсюда все свое добро. Не вешай носа, Томмот! Придет пора, когда и в нашем озере всплывет малявка, и в нашем небе зальется жаворонок.

— Так что же делать-то?

— Вот решай, но чтобы об этом разговоре молчок! Не думаю, что ты проболтаешься, но для порядка должен предупредить. На восток поедешь с нами?

Этот с виду простодушный вопрос — Томмот знал хорошо — и был и приказ, и угроза: «Попробуй только откажись!»

— Придется... В Чека меня встретили бы без лобызаний.

Уже шагая к своим саням, Валерий обернулся назад:

— Артемьев тебя хвалил!

«Сообщить немедленно! И как-нибудь воспрепятствовать увозу ценностей! Так, значит, Артемьев мне поверил... Ну что же, продолжим знакомство там, на востоке»...

В слободе, как только Валерий и Томмот успели перешагнуть порог штабного дома, полковник Андерс накинулся на них с бранью.

— Почему так долго? Командующий потребовал к себе новую партию боеприпасов и оружия. Подвод сколько привели? Только две? Берите вдобавок еще одного коня. Вот по этой бумаге из склада получите оружие и боеприпасы. Передадите генералу, что обоз с продовольствием прибудет к ним сегодня вечером.

— Брат полковник, мы очень устали...

— Выполняйте приказание! Боеприпасы сдайте лично начальнику штаба полковнику Леонову. — Знаете, куда везти груз?

— Как куда? В Сасыл-Сысы... — Валерий понял, что отговорки бесполезны.

— Не в Сасыл-Сысы, а туда, дальше Абаги, — Андерс махнул рукой куда-то на север. — Из Чурапчи идет отряд Курашова, генерал их должен перехватить... Поторапливайтесь! Из охраны складов возьмите дополнительно еще одного солдата.

— Из Чурапчи? Красные?

— Да, именно они, красные! Чего вы тут болтовню развели?

«Как же это? А как же тогда их план?» Валерия пронизал страх: о ложности доставленного им плана красных догадался еще Артемьев, теперь догадка подтвердилась...

— Где мы там найдем дружину?

— Местность, как бишь ее... Арылах, что ли... Знаешь такую?

— Да знаю...

— Вот, там... где-то там! И нечего стоять!

Пораженный услышанным, Валерий повел коней к складам, а Томмот направился к конному двору за пятой подводой. Здесь он отыскал краснобородого начальника транспорта и передал ему приказ полковника Андерса. Тот из сине-бледного сделался красным, как его борода:

— Опять коня? Где я его возьму? Рожу, что ли?

— А вы чего на меня кричите? — в свою очередь повысил голос Томмот. — Разбирайтесь сами с полковником.

— Поймите мое положение: все тягло подчистую забрали еще позавчера, сегодня приказано снарядить еще один обоз. А тут все давай да давай!

— Федя! Э-э... извините, брат начальник. У Гришки добрые кони, так мы на обоз возьмем Гришкиных, а этому отдадим... Есть тут у меня кобыла...

Прошка! Услыхав знакомый голос, Томмот едва удержался, чтобы не броситься навстречу.

— Клячу не приму! — задиристо сказал Томмот.

— Он будет еще привередничать! — опять взъярился начальник транспорта.—Проша, запряги ему, и пусть проваливает!

С недовольной миной Томмот нехотя проследовал за Прошей. Вместо приветствия перемигнулись. Хлопоча вокруг коня, Томмот рассказал все, что узнал от Валерия, и велел эти сведения передать по цепи.

— Надо улучить момент повидаться с дьяконом, — сказал Проша. Затягивая ремень чересседельника, он зашептал Томмоту: — Позавчера возил дружинников к Арылаху. Кажется, белые готовят там засаду. Думал перебежать к красным, но удобного момента не подворачивалось. И вот еще неприятность: товарища из Абаги Артемьев послал в сторону Нелькана. Тот никак не мог открутиться. Надо бы наших предупредить. Послал я предупреждение через Чакыр, но там эстафета сильно окольна, сигнал не успеет дойти.

— Не успеем предупредить о засаде — быть беде!

— Понимаю, но следят за каждым шагом. Буду стараться попасть в сегодняшние обозники.

Когда Томмот подъехал к складам, там уже нагрузили на сани патронные ящики, и вскоре втроем с солдатом, которого им выделили, на пяти подводах, тронулись в путь.

Остановились они в той небольшой деревеньке, где однажды ночевали, возвращаясь из поездки по северным наслегам. Улучив момент, Томмот выскользнул из дома и быстро пришел в юрту, где жил старик Охонооп.

В маленькие оконца с кусками льда вместо стекол едва пробивался зыбкий свет. Перед камельком немолодая женщина в ситцевом платке мутовкой взбалтывала жидкий тар.

— Рассказывайте!

— Нечего, — ответила хозяйка, подоткнув на щеках платок. — А у тебя?

— И мне рассказывать не о чем. Где старик Охонооп?

— Пошел осматривать петли. А ты откуда будешь?

— Из абагинской стороны.

— Какая потребность в Охонооне?

— Так, пустяки... Вернется старик, передай, что был человек, заходивший недавно.

Когда Томмот вышел из юрты, за ним тотчас же вышла и хозяйка.

— А тебе... горностаевые шкурки не требуются? — спросила она, теребя концы своего платка.

Томмот резко обернулся и подошел поближе:

— У вас у самих-то одна-единственная...

— Оказывается, это ты, — улыбнулась хозяйка. — А говоришь, из Абаги. Ты ведь приехал из слободы?

— Из слободы. Когда вернется Охоноон?

— Не знаю. Позавчера, только прошло мимо нас войско белых, он лесом — за ними на лыжах. Торопился так, что путем и чаю не выпил. Третий день уже нет. А взял с собой только четверть лепешки.

— Ничего не велел передать?

— Велел. Если появится человек, который интересуется горностаем, сказать ему, что он пошел выполнять свое задание.

— Не беспокойся, старик вернется! — Томмот ободряюще пожал сухой кулачок женщины, боязливо прижатый ею к груди. — Передай, что человек этот благодарит. И не печалься, эджей![1]

Торопливо перекусив, возчики двинулись дальше на север. Валерий спешил как можно скорее отвезти дьявольский груз, сдать его и вернуться назад. Больше всего он боялся ненароком попасться на глаза Пепеляеву или Топоркову. Говорил, дескать, что красные не пойдут ни со стороны Якутска, ни со стороны Чурапчи, а как обернулось? Слава богу, о нем еще не вспомнили. Не нарваться бы самому... Скажут, что врал, да к стенке — это у них свободно! Не станут разбираться, что красные могли план свой изменить! Или не дай бог приехать во время боя: в два счета поставят в цепь — и в пекло!

Коней, впряженных в тяжело нагруженные сани, Валерий гнал во всю мочь — лишь бы скорее сбыть груз, а на обратном пути пусть ползут, как хотят.

Рвались они туда, в Арылах, а когда приехали, оказалось, что генерал, заступая красным дорогу, уже перешел с дружиной в местность Сырдаах и расположился близ аласа Билистях. Только поздно вечером дозорные привели их к штабной палатке в лесу.

---

[1] Эджей — обращение к пожилой женщине.

— Стой! — постовой преградил Валерию путь штыком. — Нельзя.

— Вызовите начальника штаба полковника Леонова.

— Нельзя!

— Мы привезли боеприпасы. Бое-при-пасы!

— Нельзя. Отойдите назад!

Валерий в сердцах сплюнул. Из палатки доносился гул голосов, а вскоре высунулось оттуда распаренное, как видно, у печки лицо адъютанта Малышева:

— Вестовой! Зовите сюда полковника Рейнгардта!

— Поручик! — успел окликнуть Валерий нырнувшего было назад Малышева.

Адъютант вышел наружу, широко улыбнулся и протянул руки, будто встретил драгоценнейшего из людей:

— А, Аргылов! Чего надо? Откуда взялись?

Знал Томмот, почему адъютант так неуемно ласков с Валерием. С недавних пор, когда Валерий подарил ему вот эти его длинные курумы из шкуры харгина[1] и шапку из лап лисиц-сиводушек, они стали друзьями не разлей вода.

— Привезли из Амги боеприпасы. Полковник Андерс наказывал мне лично донести об этом начальнику штаба.

— Послушай, дружище. Я бы посоветовал вам обоим не показываться на глаза командующему. С тех пор как стало известно о выходе красного отряда из Чурапчи, генерал рвет и мечет. А полковник Леонов сейчас как раз на совещании у командующего. Дела в общем-то неважные. Вчера отряду Курашова устроили засаду в Арылахе, да, видно, их предупредил кто-то, свернули на другую дорогу. Напрасно мерзли всю ночь под звездами.

«Дело рук Охоноона!» — с благодарностью подумал о старике Томмот.

Узнав, что генерал в этой палатке, Валерий поблагодарил про себя постового, что тот не пропустил его.

— Что же мне делать вот с этим? — нетерпеливо спросил он и указал на свой обоз.

— Я вызвал полковника Рейнгардта, он сейчас подойдет. Скажи ему, он распорядится. Ну, меня хватятся!

Едва поручик исчез в палатке, появился полковник Рейнгардт.

---

[1] Харгин — редко встречающийся вид оленя.

Валерий пошел ему наперерез.

— Брат полковник, мы привезли боеприпасы. Немедленно должны поехать назад. Полковник Андерс велел у вас узнать, что требуется.

— Пулеметные ленты привезли?

— Есть.

Валерий протянул ему сопроводительную бумагу. Быстро пробежав бумагу глазами, Рейнгардт подписал ее на своем планшете и отдал назад.

— Три подводы разгрузите здесь. Прапорщик! Берите этих людей, обойдите цепь и раздайте всем боеприпасы. Быстро!

— Слушаюсь! — словно возник из-под земли и вытянулся перед полковником в струнку молодой худощавый прапорщик. Он повернулся к Аргылову. — Берите две подводы, и за мной!

— Я останусь разгружать тут, — сказал Валерий Томмоту и шепотом добавил: — Побыстрей там, надо проваливать отсюда.

Томмот с прапорщиком двинулись вдоль цепи лежащих в засаде людей, оставляя где пулеметные ленты, где ящики с патронами. Объехав всю цепь, они возвращались уже, когда Томмота окликнули:

— Чычахов! Я Лэкес! Здесь я!

— Чего ему надо? — спросил прапорщик, не поняв по-якутски.

— Говорит, в винтовке заело патрон. Просит помочь.

— Ладно, сходи. Я подожду там.

Глубоко зарывшись в снег возле толстого пня, Лэкес, не попадая зуб на зуб, встретил Томмота жалобой:

— Смотри вот — не взяли меня с собой, так пригнали меня сюда.

— А чем лучше участвовать в грабеже людей? Воевать легче...

Лэкес промолчал.

— Когда-то ты говорил, что не станешь стрелять в ревкомовцев. Но, кажется, стрелять тебе придется. В тех, среди которых и твой Силип.

— Тише! По обе стороны от меня лежат истые собаки. Но стрелять все равно не стану.

— Да-й сюда ружье, — Томмот залацкал затвором винтовки. — Заставят стрелять.

— Все равно не стану! Чычахов, прошу тебя, возьми меня с собой... — Голос у парня задрожал и пресекся.

— Мне сейчас в слободу.

— Умоляю...

— Боишься?

— Да не боюсь я, ненавижу их... — Лэкес прикусил губу. — Возьми меня с собой...

— Нельзя, Лэкес! Ты должен остаться здесь.

— З-зачем?

Томмот испытующе глянул на Лэкеса и, решившись, приник к нему:

— Сегодня решающий день. Сегодня каждый покажет каждому — кто он. Помнишь, ты мне сказал, что я не белый? Я и правда не белый.

— Чычахов! — восхищенно пробормотал Лэкес. — Я сказал тогда без задних мыслей... Так сболтнул...

— Лэкес, сейчас нет времени на эти разговоры. Говори прямо: хочешь ли ты помочь красным?

— Хочу!

— Тогда улучи момент и перебеги. Там расскажешь об этой засаде.

— Не дадут такой возможности. Давеча хотел сходить в лес по нужде — вернули. Никого в сторону леса не пропускают.

— А ночью, в темноте?

— Ночью группируют по три-четыре человека.

— Тогда вот что. Как заметишь приближение красных, сразу начинай палить. Чтобы предупредить их.

— Х-хорошо...

— Не боишься? Схватят, пощады не жди!

— Пусть!

Где-то сверху, с увала, Томмота окликнул прапорщик:

— Эй! Где ты там? Побыстрей!

Томмот протянул парню винтовку, ободряюще коснулся его плеча:

— Надеюсь на тебя!

— Надейся! — твердо ответил парень.

— Лэкес, вернется твой ревкомовец Силип, пошлет тебя на учебу. Будем учиться вместе в Якутске. Ты понял?

— Понял!

Ах, как захотелось Томмоту сорваться по снежному целику в бег, скрыться в лесной чаще и добраться до

своих! Только нельзя, никак нельзя! Дадут отойти шагов на десять—двадцать и изрешетят пулями. Где сейчас этот старик Охоноон? Он мог бы уже вернуться и вести тут наблюдение! А что, если ему, Томмоту, остаться тут на ночь, вызвавшись участвовать в бою? Ночью было бы сподручней бежать. Только оставит ли его тут Валерий — вот что сомнительно. Или попросить разрешения у Рейнгардта? Только как же тогда побег с Артемьевым на восток? Но об этом можно подумать позже, а сейчас надо как можно скорее предпринять что-нибудь. Если сработает западня, устроенная красным, не известно, как пойдут события дальше. Нет, надо на что-то решиться...

Подъезжая к палатке, Томмот невдалеке за деревьями увидел беседующих Валерия и Артемьева.

— ...а вдруг они одержат верх? — донеслись до него последние слова Валерия.

— Здравствуйте, Михаил Константинович, — подошел Томмот.

Артемьев чуть заметно кивнул.

Свидетель в этом разговоре был явно ему не нужен. Томмот почтительно отошел, однако не настолько, чтобы ничего не слышать. Артемьев был возбужден. Судя по отрывкам их разговора, Артемьев настойчиво убеждал Валерия в том, что исход предстоящего боя ничего уже не значит. Если белые и победят, то лишь оттянут свой конец на несколько суток. Генерал Ракитин, имея двести пятьдесят человек, напал в Тюнгюлях на гарнизон красных в шестьдесят человек и был разбит. Артемьев настаивал на отъезде как можно скорее, они встретятся в условленном месте. И скорей, скорей, потому что завтра красные могут уже перекрыть дорогу.

— Но если все предрешено, зачем же напрасно проливать кровь? Не лучше ли отступить сразу?

— Ни в коем случае! — возразил Артемьев. — Тебе что, жалко пепеляевцев, которые драпают в Японию? Пусть воюют! Пусть они побольше уничтожат большевиков, нам потом будет легче.

— Михаил Константинович, — вышагнул вперед Томмот. — Хочу принять участие в бою. До сих пор не удалось побывать ни в одном сражении.

— Глупости! — оборвал его Артемьев. — Поезжай вот с Аргыловым! — Однако, увидев опущенные глаза парня, добавил чуть мягче: — Боев еще хватит и на

твою долю. Аргылов, захвати с собой Харлампия. Он будет понадежней того недоумка. И спешите, спешите!

Откинулся полог палатки, и наружу выглянул человек, заросший щетиной, с отвислыми дряблыми щеками. Он сделал несколько жадных глотков морозного воздуха и опять скрылся. «Да это же Пепеляев! — удивился Томмот. — Как может измениться человек за несколько суток!»

Заметно темнело, затушевывались очертания деревьев вблизи, скрадывались дали. Валерий поехал первым, Томмот в середине, замыкал обоз Харлампий. Они переваливали через небольшой перелесок, когда спереди донеслась брань Валерия:

— У тебя что, глаза вытекли? Не видишь, что люди едут?

— Как мы можем сворачивать с грузом! Вы же порожняком...

Голос Прошки! Томмот вынул из кармана блокнот, карандашом наспех набросал план аласа, где белые устроили засаду, отметил расположение цепей белых и где установлены пулеметы. Оторвав листик, он положил его в наружный карман.

Валерий зарысил дальше.

Тронув коня, Томмот резко вывернул его поперек дороги, рассчитывая зацепить встречного коня. Глухо столкнулись оглобли, заскрипела сбруя, взвизгнули озлобленные кони.

— Ты что, и вправду слепой?..

Томмот сошел с саней и пошел вперед.

— Чего опять остановились? — сзади крикнул Харлампий и, не дожидаясь ответа, пустил коня обок с другой стороны.

Прошка стоял возле своего коня, поправляя сбившуюся сбрую.

— Пепеляев устроил засаду около Билистяха, в Сырдахе, — торопливо зашептал Томмот. — Прошка, этой ночью ты должен перебежать к красным и предупредить их. Будь осторожен, белые приняли особые меры. Они знают, что кто-то осведомляет красных...

— Ладно. Передашь моим, что я в далекой отлучке...

— Держи. Я тут набросал план местности, расположение цепей и пулеметов...

— Хе-хе... Я спешил к тебе, Прошка, на помощь, думал, вы уже на кулаки перешли. А они — ан!.. — мир-

пенько перешептываются. Прошка, не оделишься ли кусочком бумаги? Замучился с куревом, потерял где-то трубку.

— Потом, потом! — засуетился вокруг коня Прошка.

— В другой раз шею сверну! — погрозил Прошке Томмот.

— То мирно, то в крик! — удивился подошедший из обоза Прошки. — Чудно...

Глава тридцать третья

Хотя Валерий и предупредил отца, чтобы тот был готов сняться с места в эти же дни, старик Аргылов не спешил. Сказать легко: снимись да поезжай! И Артемьев, и Валерий не окропили эту землю своим потом, они давно уже как отрезанный ломоть — сначала все учились, затем с ружьями за спиной не слезали с седла. Конечно, им-то просто: вскочили на коней, дали им кнута и были таковы. А ему, всю жизнь сызмальства до стариковского возраста прожившему на этих землях, великим рачением и потогонным трудом накопившему свой достаток, трудно было уехать, оставив нажитое. Вот потому он и съездил на свою старую усадьбу дать указания Халытару и Аясыту, как поступить, если он отлучится надолго по делам. Когда и зачем он должен поехать, старик, конечно, не обмолвился.

Жене и дочери он как-то сказал, чтобы те собирали пожитки, возможно, они переедут на другое место. Но те, кажется, и ухом не повели. С тех пор как зятем стал у них тот лысый, с Аргыловым перестала разговаривать даже жена. За столом лепешки и мясо ему, главе семьи, она не дает, а швыряет, как собаке подачку. Уже и зла не хватает на эту неразумную бабу. Сказать им про дальний путь на восток, поехать доброй волей ни за что не пожелают. Но, хотят они или не хотят, старик-то их все равно тут не оставит. Оставь эту чертову девку здесь, так она быстренько выскочит замуж за какого-нибудь беспартошника-большевика. Чем иметь такого зятя, лучше уже не иметь дочери. Увезет он их все равно...

Правду говорят, что у богача сон на острие шила. С тех пор как перевез ценности к себе на подворье, Аргы-

лов лишился сна. Позавчера, выпросив у знакомого в Абаге, старик привел сторожевую собаку, да, кажется, пес попался дряхлый, выживший из ума: днем беспробудно спит, не облаивает ни пешего ни конного, ночью же брешет не переставая. В первую ночь старик хватал берданку и выбегал на двор, как только взбрехивала собака. Но каждый раз, оказывалось, впустую, так что в конце концов он отчаянно продрог. Затем уже глубоко за полночь Аргылов решил проверить — что же это такое беспокоит пса, и стал подглядывать за ним в приоткрытую дверь. Обнаружилось, что пес облаивал луну. Чуть тогда не разрядил обозленный старик свою берданку в глупую голову старого пса. «Да, это тебе не твой Басыргас», — думал Митеряй. Хотел отвести собаку обратно к хозяину, да раздумал — пусть хоть со стороны подумают, что у них есть сторож.

Этой ночью старик решил не обращать внимания на собачий брех, но берданку свою из рук не выпускал. Беспокоило, что в последние дни у него стали дергаться мышцы на лице — худая примета. Может, от усталости? С тех пор как белые увели с собой Суонду, пришлось поработать и ему. Узнать бы, что с ним там, хотя после случившегося какой он теперь работник? Кажется, переменился он с тех пор, как при нем убрали старика Чаачара. Да, времена! Даже такие скоты, как Суонда, теперь стали думать и рассуждать... Как же дальше-то жить?

Мысли Аргылова прервал скрип саней, въехавших к нему во двор. Собака, весь вечер не дававшая уснуть, почуя людей, умолкла. Ну и сторож, черт ее подери! Аргылов притаился, вслушиваясь.

Скрип снега под ногами людей все приближался и наконец достиг дверей.

— Уже уснули?

Аргылов оторвал голову от подушки.

— Валерий, ты?

— Да, это я! Томмот, зажги-ка свечу, а ты, Харлампий, растопи печь.

Босой Аргылов пошел к шестку одеваться. Ааныс с обычной расторопностью встала, сходила за мерзлым мясом и поставила его вариться.

— Напрасно затеяли варево, — сказал Валерий. — Нам надо спешить.

— Куда это? — вскинул глаза старик.

— Не прикидывайся — знаешь куда!
— А что за беда такая?
— Пока нет беды...
— Так зачем тогда? — вспылил старик. — Нохо, ты со мной говори серьезно!
— Торопиться велит Артемьев. Говорит, чтобы не позже этой ночи... Должно, он знает, что говорит. Сейчас мы едем из Билистяха. Там Пепеляев в засаде поджидает отряд красных.
— Отряд большой?
— Не знаю. Идут из Чурапчи.
— Если из Чурапчи, то красных не должно быть много, — рассудил старик. — А если Пепеляев их перебьет?
— Все равно надо убираться быстрей! Это приказ Артемьева.
— Тут нет ничего, нажитого им, пусть не распоряжается чужим добром!
— Может, ты желаешь попасть в Чека?
— Такие дела не в спешке делаются. Отправимся с утра.
— Старик прав, — затягиваясь из трубки, подал голос Харлампий. — Не зря говорят, что торопливая сука приносит слепых щенят...
— Кони устали, — поддержал и Томмот. — Надо им дать передышку.
Угревшийся у печного жара, Валерий обессилел — его разморило, голова стала наливаться тяжестью, веки смыкались.
— Разве только встать спозаранок... — с трудом, едва не засыпая, проговорил он.
— Это сделаем! — старик Аргылов покосился на Ааныс. — Поторапливайтесь с варевом!
Из-за перегородки вышла Кыча. Она переставила котел с мясом и чайник в самый жар, подгребла под них угли. Томмот кинул на нее быстрый взгляд. Как поступит старик Аргылов с женой и дочерью? Нельзя допустить, чтобы Кычу захватили с собой. Если и утром она окажется тут, ее увезут силой, это ясно. Значит, ей надо бежать. Найдется ли поблизости место, где бы она могла спрятаться? И как ей это передать?
Ночные гости сели за стол, из домашних никто с ними не сел.
— Коней накормишь? — спросил Валерий отца и, не дожидаясь ответа, пошел спать.

Томмоту постлали на ороне под правыми окнами. Харлампий занял место Суонды.

Выжидая удобный момент, Томмот замешкался возле камелька, как бы прибираясь.

Старик Аргылов оделся и вышел кормить коней.

— Ааныс, мне бы иголку с ниткой, — распялив на пальцах рваную рукавицу, Томмот подошел к хозяйке.

— У меня руки мокрые... Кыча, ты еще не ложилась?

— Нет еще.

— Помоги-ка парню — рукавицы у него порвались.

— Давай сюда.

За перегородкой Кыча обвила его шею руками.

— Кыча!

— Молчи!

— Послушай меня... Что говорит отец?

— Сказал, чтобы мы собирались.

— Знаете ли, куда он хочет вас увезти?

— Наверное, в свой наслег.

— Нет, он собрался с белыми на восток. Белые проигрывают.

— На восток? — отшатнулась Кыча.

— Тебе надо бежать в эту же ночь. Утром тебя увезут насильно.

— Бежим вдвоем!

— Нельзя. Я должен быть с ними. Задание у меня...

Вошел отец со двора.

— А где парень? — зорко углядел он отсутствие Томмота.

— Кыча рукавицу ему зашивает.

Томмот с нежностью глядел на ее вздрагивающие ресницы, на прямой белый пробор волос, разделенных надвое. Много бы он дал за счастье прижаться губами к ее глазам, трепетной рукой погладить эти блестящие косы. Но вместо этого Томмот зажмурил глаза, затряс головой и беззвучно, одними губами, сказал:

— Беги! Беги!

Желая сказать что-то свое, Кыча с мольбой протянула к нему руки, но Томмот уже пошел к камельку, чтобы положить рукавицы на загрядку.

— Доченька, почему не ложишься? Утром, слыхала ли, поднимутся рано. Спать надо.

— Лягу, мама. Я лягу...

Не раздеваясь, она прилегла к матери и вместе с нею накрылась одеялом с головой:

— Мама...
— Что, птенчик мой?
— Задумали бежать на восток, к Охотску.
— О ком ты?
— А все! И мы тоже.
— Не может быть! Зачем отцу подаваться в такую даль? В Охотске ему нечего черпать, а уж насчет барыша он не промахнется!
— Едет он туда, мама!
— А кто говорит?
— Не за барышом едет, а удирает от красных.
— Ты откуда узнала?
— Знаю.
— Придумаешь же, доченька! Аргылов себе во вред не сделает! Небось задумал пересидеть бурю где-либо в дальнем наслеге. Спи, доченька, спи!
Помолчали. Затем, глубоко и горестно вздохнув, Кыча опять прошептала:
— Мама..
— Чего?
— Ты поедешь с отцом?
— Едва ли он спросит меня. Распорядится, и все.
— А ты не слушайся.
— Как же я не послушаюсь? Он богом назначен, он мой тойон.
— А я не поеду.
— Не говори так, доченька. Не надо отца гневить. Да и лучше так. Уехать бы подальше от этих чудищ-бандитов.
— Так в Охотск же, с людьми Пепеляева!
— Опять ты начала нести пустое!
— Ох, как мне тебя убедить! Почему ты мне не веришь?
От бессилия Кыча заплакала.
— Спи, пташка моя...
— Мама, бежим вдвоем! Встанем сейчас, уйдем отсюда и спрячемся у кого-нибудь. Пусть уезжают без нас...
— Не дури! Спи-ка лучше.
Кыча отклонила объятия матери, поднялась и прилегла на свою кровать не раздеваясь.
На восток, в Охотск... Так вот почему отец выкопал и привез сюда припрятанное добро! Собирался бы куда поблизости, не стал бы и вырывать этот клад. И Вале-

рий тут появился для того, чтобы вывезти всех вместе с добром. Значит, дни белых сочтены. А что же сделает она, Кыча? Выйти через хотон и бежать — это можно. На худой конец ночь могла бы провести и в лесу. Зато спаслась бы, стала бы вольной птицей, поехала бы в Якутск!

У камелька появился отец: поворошил затухающие угли, поставил затычку в трубу и вышел вон. Скоро он вернулся, чертыхаясь на мороз, и лег.

Мама, бедная! Сейчас она не верит, в ее голове не укладывается, как можно удариться в побег из родных мест в какие-то неизвестные края. Утром она узнает правду. Будет ли она и тогда послушна тойону, господом богом ей назначенному? А не захочет, так все равно увезут силой. Едет с ними и Томмот. Так что же получается? Неужели она убежит, спасая только себя и оставив двух самых дорогих ей на свете людей? Значит, пусть они терпят лишения, пусть они хоть сгинут, лишь бы мне было хорошо? Нет, если она убежит, то весь век станет казниться. Побег этот станет ее проклятьем, ее стыдом и позором.

У нее есть три любимых человека: мать, Суонда и Томмот.

Бедняжка Суонда попытался ее защитить: да сам попал в беду. Жив ли он, или уже замучили? Это все он, все отец — толкнул Суонду хищникам прямо в пасть. Бедняжка Суонда...

А мать какова! «Не перечь отцу, не гневи его...» Желает мне добра, а не может понять, что смирением своим только злит меня. Бедная моя мамочка, неужели отпущу я тебя одну?

Томмот... Если не кривить душой, так это только его она любит самой большой любовью! Жаль, что поняла она это поздно. Правду, оказывается, говорят, что человек умнеет в страданиях. Хоть что с ней делайте — ругайте, бейте, убейте! С этого момента вплоть до последних мгновений жизни она будет только с ним, с Томмотом! Нет, Томмот, я не отпущу тебя одного. Не думай, что я стану тебе обузой. Нет, я стану тебе помогать. Помнишь, пусть и немного, но все же я помогла тебе при побеге того чекиста? За наше счастье мы будем бороться вместе.

Кыча решительно сбросила с ног торбаса и юркнула под одеяло.

Поднялись утром в глухую темень.

— Собирайтесь! — велел Аргылов жене и дочери. Затем он обратился к мужчинам: — Сначала погрузимся, запряжем коней. Завтракать будем перед отъездом.

Нагромоздили на сани сундуки, ящики, кули, переметные сумы, кожаные кошели, накрыли поклажу сверху сеном и натуго перетянули сыромятными веревками.

— А это? — обратилась к ним Ааныс, держа в руках большой узорчатый матарчах[1]. — А посуду?

Ааныс обвела глазами ряды берестяных ведер, деревянных чаш и мисок, глиняных горшков, собранных ее стараниями за долгие годы жизни.

— Выбрось вон!

Увидев Кычу, захлопотавшую возле стола, Томмот отвернулся, а у Кычи захолонуло сердце: «Не ругай меня! Не сердись, голубчик! Как я могу исчезнуть, оставив вас одних? Ну, взгляни на меня, улыбнись...»

Чуя недоброе, Ааныс не сводила глаз с мужчин. Протягивая мужу стакан с чаем, она спросила:

— Куда переезжаем?

— Приедешь — узнаешь.

— Скрываешь? — возмутилась Ааныс, бледнея от злого предчувствия.— Сказать, куда едем, у тебя язык не поворачивается?

— Куда едем — так тебе и подавай! Я и сам не знаю, куда нас прибьет.

— Как же это?

— Хватит!

За столом установилась недобрая тишина. Не стерпев, Валерий поставил свой стакан на блюдце кверху дном.

— Уже рассветает. Надо спешить.

— Погоди немного... — неподвижный, весь наливаясь тяжестью, старик неторопливо, с передышками, тянул из блюдечка чай. — Неизвестно, вернемся ли мы сюда и будем ли вот так распивать чай...

— В какую все же даль ты собрался? — опять подняла голос Ааныс. — Или язык проглотил? Если так, отправляйся один. Я из родных мест никуда не уеду. И дочь с тобой не отпущу. Мы остаемся!

---

[1] Матарчах — сосуд из бересты.

— Не мели чепухи! Обе поедете! Смотри-ка, у них есть «родные места»! Места эти «родные» уже не для нас, а для большевиков! Понимаешь ли ты это, баба?

— Не поедем! Останемся!

Аапыс рывком развязала платок: ей перехватило дыхание.

И тут будто вихрем сорвало входные двери:

— Руки вверх!

В клубах морозного пара с пистолетами в руках к столу подскочили Топорков и Сарбалахов.

Топорков обвел внимательным взглядом мужчин с поднятыми вверх руками.

— Полковник, что за шутки? — первым пришел в себя Валерий. — У нас времени в обрез. Приказ...

Топорков на него и не взглянул, ткнул пистолетом Харлампию в грудь:

— Ты можешь опустить руки, — кивнул также и старику Аргылову: — И ты можешь. — Затем повернулся к Валерию. — Опусти руки и ты. Хотя тебя надо было расстрелять! Жаль! Артемьев за тебя ручается. Но с тобой разговор у нас впереди...

В голосе полковника были жесткие беспощадные ноты, и встревоженный Валерий прикусил язык.

Заметив, что и Томмот начал было опускать руки, Топорков подскочил к нему:

— Руки! Наконец-то ты попался, брат чекист! Я тебя сразу почуял! Не будь командующего, да не объякуться он так... Ну, теперь-то не вырвешься! Сарбалахов, возьми у него пистолет.

Томмот усмехнулся:

— Это начинает надоедать! И каждый раз: «чекист» да «чекист»!

— Не смейся, товарищ чекист! Скажи-ка лучше, кого ты отправил из Билистяха к красным?

«Знают или подозревают?»

— Если мы и отправили кого, знает Аргылов. Мы с ним все время были вместе.

— Полковник, мы вдвоем...

— Тебя не спрашивают! Чычахов, если хочешь остаться в живых, назови агентов Чека, оставшихся еще в дружине. Допрашивать долго — времени нет. Даю тебе три минуты.

«Знают они что-нибудь точно или нет? Что им известно?»

— Полковник, все имеет свой предел, в том числе подозрительность, — твердо ответил Томмот. — Я буду жаловаться генералу Пепеляеву.

— Я выполняю приказ Пепеляева! Ну, говори!

— Коммунистам языка не развяжешь. Это я знаю хорошо, — зашепелявил Харлампий. — Если он из Чека, надо к стенке...

— Ты будешь говорить или нет?

— Я не знаю, что ответить, полковник. У нас, якутов, есть пословица: «Во всем виноват один Моттойо». По-русски это то же, что «Все шишки валятся на Мишку».

— Ты мне зубы не заговаривай! Нам все известно. Если не хочешь рассказать сам, слушай меня. Нынче ночью мы задержали твоего агента при попытке перехода к красным. Мерзавец оказал вооруженное сопротивление. Не желая сдаваться живым, в перестрелке ранил ротмистра Угрюмова.

— Полковник, — Томмот пожал плечами, — почему вы стараетесь обвинять меня каждый раз, когда в ваши руки попадается незнакомый мне человек?

— Разве же ты его не знаешь? Ха-ха, они незнакомы! А ты знаешь, что мы нашли у него в рукавице?! — Свободной левой рукой Топорков вынул из нагрудного кармана френча скомканный небольшой лист бумаги. — Помнишь, что нарисовано? Тут схема расположения цепей и пулеметных гнезд. Схему составил ты, вручил своему агенту вчера вечером, встретившись с ним в пути.

«Прошка! Не прорвался, погиб... Донес на него, очевидно, тот возчик, который просил дать бумаги на закрутку».

— Теперь ты понял? Останешься в живых, если назовешь всех других.

— Покажите, полковник, эту бумажку, — попросил Валерий и, развернув скомканный листок, поднес его к свету свечи. — Чычахов, дай-ка сюда твой блокнот.

— Там, — кивнул Томмот на стену, где висела его шуба. И внезапно, лишь взглянули в ту сторону, ринулся он к выходу, стараясь на бегу вырвать из внутреннего кармана пистолет.

— Стой! — вскричал Топорков.

— Стой, стреляю! — кинулся вдогонку Сарбалахов.

Полуобернувшись к ним, Томмот нажал на собачку выхваченного пистолета. И тут же захлопали ответные выстрелы.

Томмот успел уже забежать за толстый подматичный столб возле дверей, когда сильно ударило в правое предплечье. Отбросив телом дверь, он выскочил наружу и кинулся к лошадям, привязанным к столбам ворот. Правая рука, повиснув вдоль тела, как плеть, уже не слушалась его, и Томмот попытался отвязать повод ближайшего к нему коня здоровой рукой. В проеме раскрытых дверей высверкивали красноватые вспышки выстрелов.

— Живым! Взять живым! Бейте в лошадь! В лошадь!

Испуганная лошадь при каждом выстреле всхрапывала и пятилась. Отвязав повод, Томмот взлетел в седло и, направив коня на дорогу, ударил пятками в его бока. Но конь, едва войдя в рысь, споткнулся и с маху упал, уткнувшись головой в придорожный снег.

Томмот выплюнул снег, набившийся в рот, мазнул себя пятерней по лицу и попробовал было вскочить, но упал снова: правая нога его была придавлена упавшим конем. Томмот попытался высвободиться, его полоснуло болью, в глазах пошли круги. И все же он продолжал биться, пытаясь высвободить ногу и встать.

— Не стреляйте! Взять живым!.. — Впадая в полузабытье, совсем рядом услыхал Томмот голос Топоркова.

Придя в себя, он обнаружил рядом Харлампия, который поддерживал его за руки.

— Важничает! Не нести же мне его на руках. Пусть идет сам!

Харлампий оттолкнул его от себя, Томмот упал.

— Несите его! — приказал Топорков.

— Чего с ним нянчиться?! — крикнул рассвирепевший Валерий. — Собаку стоит пристрелить, как собаку. Дайте мне!

— Не-ет! Я хочу представить его генералу Пепеляеву. Пусть взглянет на него «милосердный» генерал. Несите его!

Харлампий с Валерием волоком притащили Томмота во двор.

Брошенный наземь, Томмот схватился здоровой рукой за жердину изгороди и через силу поднялся. Валерий стал тыкать Томмоту пистолетом в лицо, обдирая кожу.

— Подлец! Хотел сделать из меня приманку?

— Стой! — Топорков оттолкнул озверевшего Валерия прочь и наклонился к Томмоту. — Поговорим по душам там. Без спешки. Так, что ли, господин чекист?

— Радуйтесь, радуйтесь, господин полковник! — мотнул головой Томмот, утирая с лица кровь.

— Радуюсь! Якуту это, должно быть, знакомо! Охотнику радостно, когда он добудет редкого зверя!

— Еще больше возликуете, узнав, во что я вам обошелся! — усмехнулся Томмот.

— Ты у меня еще умоешься кровавыми слезами! — И Топорков крикнул людям во дворе: — Побыстрей там! Чего копаетесь?

Из раскрытых дверей дома донеслись нечленораздельные прерывистые звуки: это билась с кем-то Кыча, кто-то ей зажимал рот. Кыча, голубушка, не подходи ко мне! Не выдай себя! О, почему ты не послушалась меня, не ушла ночью?

— Куда там баба запропастилась! — вне себя кричал старик Аргылов.

Вдруг далеко в южной стороне где-то раздался оглушительной силы удар, подобный грохоту, когда в дерево бьет молния. Показалось, что под ногами чуть вздрогнула земля. Топорков и Валерий остолбенели, повернув лица туда, откуда донесся этот грохот. Харлампий выпучил единственный глаз, а старик Аргылов уставился в небо, как бы ища там грозовое облако.

Грохот повторился, и вслед за ним земля явственно вздрогнула еще раз.

— Орудие? — взглянул Валерий на полковника.

— Кажется, да...

— Бэлерий, что это? — обернулся Аргылов к сыну.

— Красные бьют из пушки по слободе... Пошевеливайтесь!

Позабыв о боли, Томмот стоял на одной ноге, превратившись в слух, и глядел на юг. Сердце колотилось. Пришли! Наши пришли! Убежденный, что со стороны Якутска опасности нет, Пепеляев основные силы двинул на север, а наши, пользуясь этим, скрытно подошли к Амге — вот что там было! Так громите же их, испепелите это логово!

На подворье Аргыловых поднялось беспорядочное движение, как при пожаре. Сам Аргылов бесцельно забегал между амбаром и домом. Харлампий, чтобы облег-

чить сани, стал сбрасывать с возов все, что не было закреплено. Захрапели и стали биться в упряжи испуганные кони. Из дома, шатаясь, выбрался раненый Сарбалахов. Он доковылял до ближайших саней и упал на них, как мешок.

Валерий подскочил к Топоркову:

— Полковник, зачем нам таскаться с этим большевиком?.. Генералу сейчас не до него. Расстрелять его, и все! Тут, на месте!

Помолчав, Топорков кивнул:

— Делай! — И пошел к своим саням.

Валерий схватился за кобуру, но тут из дома выскочила Кыча, раскосмаченная, в располосованной рубахе, и стремительно кинулась к Томмоту. Следом за дочерью выбежала Ааныс, но дорогу ей успел преградить муж.

— Где ты запропала, сатана?! — гаркнул на нее старик Аргылов, поднимая кулак.

Отброшенная сильным толчком в грудь, Ааныс ударилась головой об колоду сенных дверей и, оглушенная, опустилась на пороге.

Подбежав к Томмоту, Кыча крепко обняла его, припала лицом к его окровавленному лицу:

— Томмот! Что они с тобой сделали? О, Томмот!

Он попытался оттолкнуть от себя Кычу здоровой рукой:

— Отойди... Отойди от меня! Зачем и тебе погибать? Живи... Прошу, уйти отсюда! Расскажешь потом... в техникуме. Обо мне... о нас...

— Я от тебя никуда не отойду!.. Я тебя никому не отдам!

— Нельзя, Кыча! Это невозможно! Отойди...

Но она прижалась к нему еще теснее.

— Слыхала пушку? Это наши, они взяли слободу. Через несколько часов они будут здесь, прошу тебя, умоляю... Останься жить! Ради меня...

— С победой! С твоей победой, Томмот!..

Растерявшийся от неожиданности Валерий пришел в себя, схватил Кычу за плечи и рывком повернул к себе:

— Поди прочь, дрянь! Пристрелю!..

— Валерий!

— Прочь отойди! Стреляю!

Кыча обняла Томмота за плечи и умоляюще посмотрела на брата:

— Убай...

От этого нежного, давно уже не слышанного им от сестры слова Валерий будто отрезвел.

— Убай, послушай меня. Красные победили, опомнись! Спасешь Томмота — красные тебя пощадят...

— Не-ет! — дико вскричал Валерий и направил на них пистолет. — Отойди!

Кыча в ответ взяла руку Томмота в свою и сомкнула две руки в замок.

Старик Аргылов, успевший уже отнести на сани лежащую без памяти Ааныс, метался, как полоумный, ничего не видя и не слыша, и только повторяя бездумно: «Поехали... Поехали...»

— Ну, чего стоишь, Аргылов! — сидя неподалеку на санях, обернулся Топорков. — Харлампий, иди...

Харлампий живо поспешил. Оба — один пистолет, другой винтовку — направили на Томмота.

— Прощай, Кыча!

Томмот вырвал свою руку и оттолкнул девушку.

Но ни стрелявшие, ни расстреливаемый не успели заметить, когда и как Кыча метнулась вперед, заслоняя собой Томмота. До сознания Томмота еще не дошел грохот этих выстрелов, как он увидел возле себя падающую Кычу и успел подхватить ее:

— Кыча!

У нее мелко затрепетали ресницы:

— Вместе... Вдвоем...

Осознав происшедшее, Томмот отчаянно закричал:

— Зачем? Зачем! Зачем?!

Голова девушки бессильно свесилась. Прижав Кычу к себе, уже бездыханную, Томмот начал медленно сползать вниз, скользя спиной по жердине ворот. Подошел Валерий, приставил пистолет к виску Томмота и нажал на собачку.

...Бешеная дробь копыт удалилась по дороге на север. Когда последние сани исчезли за лесистым мысом, с противоположной стороны дороги — с юга, выкатилось черное пятно и, быстро увеличиваясь, превратилось в бегущего человека. Это был Суонда.

Не разбирая дороги, прямиком по снежной целине, Суонда из последних сил рвался к опустевшему дому Аргыловых. Ладонями сбрасывая со лба струящийся

пот, он остановился перед распахнутой дверью, переступил через порог, сейчас же вышел обратно и тут только увидел содеянное. Он не поверил своим глазам, но страшное видение не исчезало. Постояв немного, он, крадучись, двинулся вперед, упал на колени, снял рукавицы и тихо-тихо коснулся голых рук Кычи. Лицо его окаменело, спина ссутулилась, руки повисли, как неживые. Суонда ткнулся лицом в землю.

Где-то за скотным базом каркнул ворон.

Словно подстегнутый этим звуком, Суонда вскочил, бездумно закружил-завертелся по двору, и тут на глаза ему попался старый топор-колун.

— А-аа-аа-а!

Суонда схватил колун и бросился бежать по дороге на север — в ту сторону, где незадолго до этого скрылись беглецы.

Софрон Петрович
Данилов

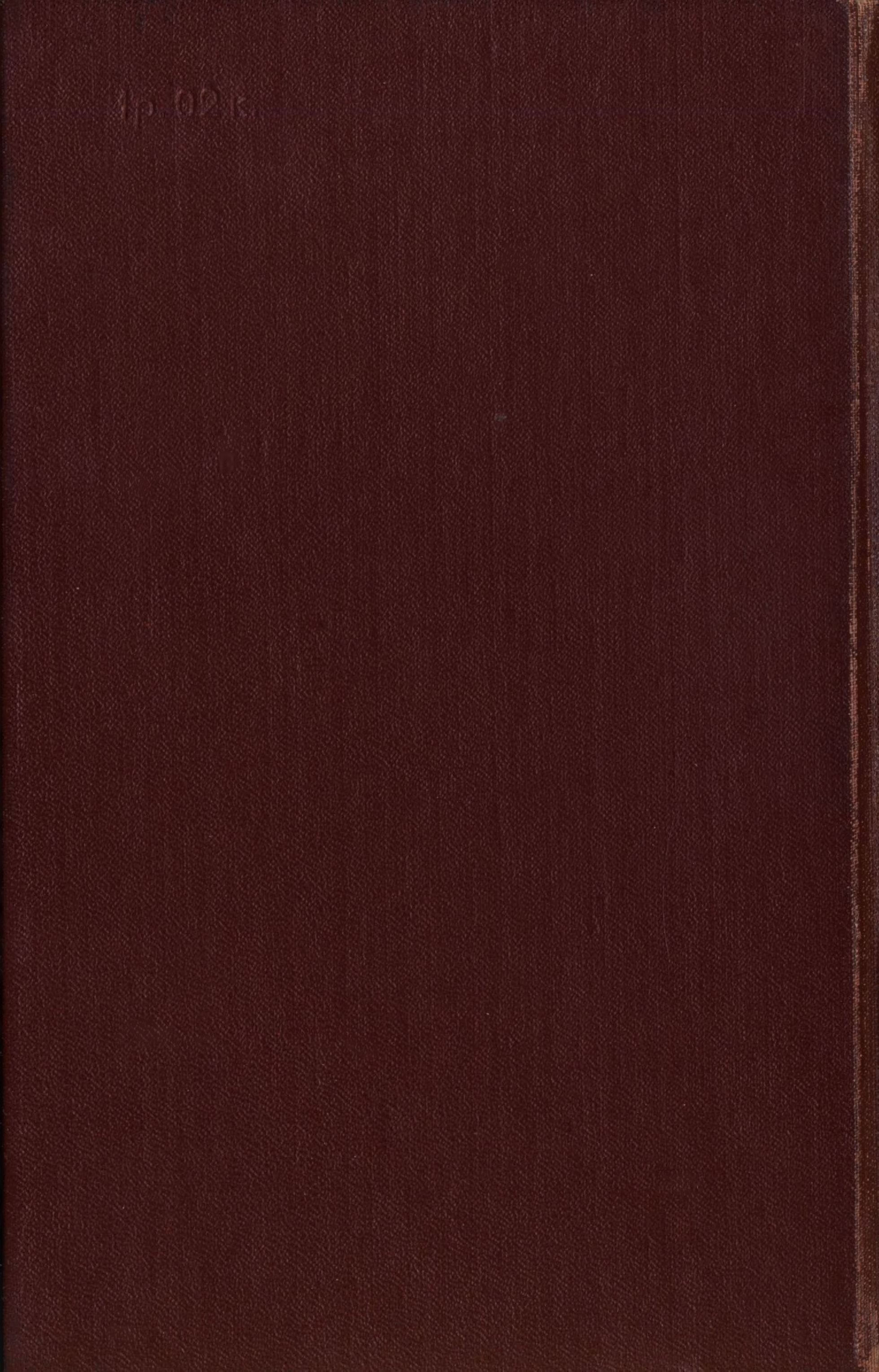
КРАСАВИЦА АМГА
Роман

Редактор **Н. Гавриловец**
Художественный редактор **Б. Мокин**
Технические редакторы
Л. Анашкина, В. Никифорова
Корректоры
Н. Саммур, О. Голова, В. Марычева

Сдано в набор 15/XII-1975 г. Подписано к печати 30/III-1976 г. А12649. Формат изд. 84X108 1/32. Бумага тип. № 1. Печ. л. 13.5. Усл. печ. л. 22,68. Уч.-изд. л. 24,49. Тираж 100 000 экз. Заказ № 129. Цена 1р. 02 к.

Издательство «Современник» Государственного комитета Совета Министров РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли и Союза писателей РСФСР
121351, Москва, Г-351, Ярцевская, 4

390012, г. Рязань, Новая, 69/12
Рязанская областная типография



Софрон Данилов Красавица Амга